

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

9



1995

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 9(845)

Сентябрь, 1995 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“»

СОДЕРЖАНИЕ

АНАТОЛИЙ КУДРЯВИЦКИЙ — Потоп, стихи	3
МИХАИЛ КУРАЕВ — «Встречайте Ленина!». Из записок Неопехе- дера С. И.	5
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА — Косточка авокадо, рассказ	28
ВАЛЕРИЙ БЫЛИНСКИЙ — Риф, рассказ	48
АНДРЕЙ ФИЛОЗОВ — Две твердыни, стихи	57
НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР — Роман воспитания. Окончание	62
ИННА КАБЫШ — Детские игры, стихи	100
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ	
ВЛАДИМИР НАБОКОВ — Образчик разговора, 1945, рассказ. Пе- ревел с английского Дмитрий Чекалов	109
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
АРИАДНА ЭФРОН — «Наш Север манит нас... — зла не помня- щих». Публикация и подготовка текста, вступительное слово и заключение Анны Саакянц	117
ПУБЛИЦИСТИКА	
А. ПАНАРИН — После юбилея...	132
М. ГРОМОВ — Архитектурные символы России	143
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
МИХАИЛ ПЕСКОВ — На угоре. Записки крестьянского сына	150
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
ЕКАТЕРИНА ЭЙГЕС — Воспоминания о Сергее Есенине. Предис- ловие и примечания С. В. Шумихина. Подготовка текста С. В. Шумихина при участии С. И. Субботина	181
ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНА ЕСЕНИНА. Письма С. А. Толстой-Есени- ной к М. М. Шкапской, Б. М. Эйхенбауму и Е. К. Николаевой. 1925 — 1944. Предисловие, публикация и примечания С. В. Шумихина	196

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СВЕТЛАНА СЕМЕНОВА — Воскрешенный роман Андрея Платонова. Опыт прочтения «Счастливой Москвы» 209

ПО ХОДУ ДЕЛА

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ — Чучело России 227

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 230

Алена Злобина. Заплечных дел искусство.

Юрий Кублановский. «Используя известную классификацию Данте...».

Олег Мраморнов. Иван Бунин перед загадкой русской души.

Е. Ознобкина. Книга для всех и ни для кого

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Л. АФОНСКИЙ — В плену отвлеченных схем... 244

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ 249

КНИЖНАЯ ПОЛКА 251

ПЕРИОДИКА 252

SUMMARY 256

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивать во всех отделениях связи).

Если вам удобно самим приезжать за номерами журнала, не оплачивая почтовые расходы, вы можете оформить подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская») с 10 до 18 часов, кроме пятницы, субботы и воскресенья. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала.

В розничную продажу «Новый мир» не поступает, наложенным платежом не высылается.

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

Акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в А/О «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 тысяч экземпляров журнала «Новый мир».

АНАТОЛИЙ КУДРЯВИЦКИЙ

*

ПОТОП

1

Это потоп,
это пот и топот,
трепет рош,
опыт неплотного прилегания
седалищ к сиденьям,
это поседение влас,
последний глас
ветвяной, нутряной,
больной,
это воцарение серости
небесной и земной,
это час сырости
и сытости водяной,
скорости прибывания вод
и времени пребывания. Вот
такую видна суть —
час покоя, пузырей подводных,
белых тел холодных.
Не обессудь.

2

А потом остается одна вода.
Гребешки волн хохочут, они — как слюда.
Сюда
не поставишь ногу,
горем не прослезишь дорогу
душ надводных — к Богу.

А потом остается одна беда
на всех.
И уже не засахаривается смех
подмокших репутаций, прошлых заслуг,
оказанных сдуру окаянных услуг,
недосказанных слов, терпких на слух.

Из двух
пропастей доверь тело свое глубочайшей —
и мухой в кулаке зажужжит твой дух.

3

Кто-то наблюдает сверху.
 Ну зачем ему смотреть?
 Курицу и водомерку
 ждет все та же смерть.

Любопытство — это стыдно.
 Стадно устлала дно.
 Тех, кого уже не видно,
 бросил Бог в судно.

4

А воды рады —
 принимают береговые парады,
 кличут в свидетели горы,
 но горизонты голы.

Логос —
 это заледеневший голос,
 последний утес в океане отчаянья,
 твердь причальная.

Если люди все вышли —
 вглубь ли, ввысь ли, —
 остаются запечатленными мысли —
 следами археоптерикса на камне.

А потом время закрывает ставни,
 пресекает луч остатний.
 И восходит темь во всей своей карме,
 роняя: «Мир был, в сущности, карлик».

5

Кто сидит в ковчеге,
 грызет ковриги?
 Кто читает коллеге
 безумные книги?

Кто отобран — образцы породы
 или отбросы?
 Чем вы лучше того народа,
 что отброшен?

Вы остались одни,
 безумцы.
 Нет богов, и нет от них
 презумпций.

Уцелевшие, вы теперь —
 посланцы.
 Ждите: вот судьба открывает дверь,
 вам гостинцы.

6

Помянем прощальным словом,
 оловом литым, плавким.
 А кто-то будет снова и снова
 наводить справки:

сколько да где,
 покажите остов ковчеге...
 В ветре он и в воде.
 Ищи позалрошлого снега!

В толще памяти эпический сон
 запечатлен многократно.
 Вы же — роете склон
 Арарата.



МИХАИЛ КУРАЕВ



«ВСТРЕЧАЙТЕ ЛЕНИНА!»

Из записок Неопехедера С. И.

ОТ ПУБЛИКАТОРА

Никогда не думал, что придется писать предуведомление в духе литераторов ленивых и лишенных воображения.

«Совершенно случайно ко мне попала рукопись, с автором которой я не был никогда знаком...»

Рукопись попала ко мне не случайно!

Рукопись попала ко мне благодаря моей известности, благодаря тому, что я известен не только почти по всей нашей лестнице (семь квартир), но отчасти и во дворе (два дома, один завод и одно общежитие). Здесь-то и произошла моя встреча со «случайной» рукописью.

Ранней весной, когда о наступлении весны в нашем городе невозможно еще и предполагать, я увидел, как молодой доктор из Политехнического института громоздит на багажник своего «Запорожца» какие-то дрова типа бытовой рухляди.

За двадцать лет знакомства мы привыкли говорить только по существу.

— На дачу? — вместо «здрасьте» поинтересовался я.

— Тесть умер, — кивнув на стянутые веревками деревянные спинки, ножки и прочую дребедень, сказал сосед, тут же поясние: — Комнату освобождаю.

— Это все, что осталось? — полувопросительно и достаточно скорбно проговорил я, сообразив, что на багажнике не дрова, а тщательно разобранный мебель.

— Нет, есть еще макулатура. Не знаете, где теперь принимают? Вы же у нас человек тоже пишущий?

Пока я соображал, обижаться или сказать, где принимают, сосед вытер руки и направился в свой подъезд. На полпути он обернулся:

— Вы меня подождите, у меня для вас кое-что есть...

Через минуту я держал в руках завернутый в газету и перетянутый бумажной веревочкой жиденький сверток. Газета была несвежая, с фотографией К. У. Черненко на избирательном участке. Бумага казалась сухой, ломкой, пропитанной пылью. Автор, судя по всему, не раз возвращался к тексту, может быть, дополнял, совершенствовал, но заворачивал все в ту же газету, изрядно обветшавшую.

— Хорошо, я прочитаю и обязательно верну, — сказал я, обрадованный тем, что рукопись невелика.

— Нет-нет, — запротестовал сосед, втискивая в машину облезлые стулья без сидений. — Вы уж употребите как-нибудь... у меня сейчас ремонт... дача... все равно потеряется или на подклейку пойдет...

В современных условиях жесткой конкуренции в литературе на свет не имеют права появляться сочинения, если они не несут в себе чего-нибудь небывалого. Есть у Неопехедера небывалое!

Первые в истории мировой литературы текст сочинения написан мелким, по-ленински убористым почерком на обратной стороне протоколов Выборгского районного комитета КПСС!

Естественно, сами протоколы свято хранятся там, где положено, а вот черновики, наброски, проекты, все без исключения носящие строго секретный характер, те, что готовил, надо думать, покойник, вот они — перед вами.

Несжатой полоской на ниве отечественной истории остался приезд В. И. Ульянова (Ленина) поздним апрельским вечером в город на Неве и несостоявшаяся его встреча с тысячами трудящихся, пришедших его приветствовать.

Быть может, я и неловкий жнец в вопросах истории, но история — моя слабость, а когда видишь, как уже более четверти века стоит несжатая полоска и с каждым днем опадают, безвозвратно осыпаются бесценные зерна исторических подробностей, приходится отринуть природную застенчивость, отбросить ложный стыд и взяться за перо.

Орехи памяти и промахи стиля потомки, на чье снисхождение я надеюсь, простят, молчание — никогда.

Встреча Владимира Ильича Ленина на Финляндском вокзале, та, первая, в 1917 году, поражает воображение не только массовостью (хотя массовостью в первую очередь и поражает, его же десять лет в России не было!), не только торжественностью (легендарный Иисус Христос въезжал в Иерусалим с меньшей помпой) — поражает это событие прежде всего той волшебной внутренней силой, давшей неизбывную энергию множеству последующих событий.

Но вот что удивительно: огромной энергией оказываются заряжены и *непроизшедшие* события, не говоря о том, что *отсутствующий* предмет также может оказаться символичным.

Мысль простая, даже очевидная, но кое-кому может оказаться не по зубам, погодите немного, я ее разжую чуть позднее.

Идея повторной, или мемориальной, встречи Владимира Ильича на Финляндском вокзале в рамках юбилейных торжеств в связи с пятидесятилетием Великого Октября, пришла в голову *мне*, что бы там потом ни говорили.

Исторические мысли легче всего приходят в голову в исторических местах.

Именно таким, удивительным по исторической насыщенности, местом является средостение проспектов Карла Маркса и Энгельса, там, где один естественно переходит в другой, на пересечении с улицей Сердобольской, у подножия неожиданного для ленинградского ландшафта взгорка, обозначающего древнее русло отошедшей на пять километров в сторону Смольного Невы.

Почему именно на пересечении с улицей Сердобольской проспект Карла Маркса заканчивается приютом? Почему проспект Энгельса, начинающийся от пересечения с улицей Сердобольской, начинается с богадельни, построенной безутешной графиней Новосильцевой на месте злосчастной дуэли ее сына с семеновским гвардейским офицером Черновым.

Стрелялись на восьми шагах. Оба наповал.

А через перекресток, по диагонали, усадьба генерала Ланского, взявшего в жены вдову с четырьмя детьми, осиротевшими после роковой дуэли на Черной речке. А если подняться на островерхую башенку на даче Ланского (теперь этохозпостройка интерната для глухонемых детишек), с нее видны и Черная речка, и место дуэли.

Случайно ли на противоположной стороне проспекта, напротив вышеупомянутой богадельни, устроился хлебозаводик имени Максима Горького?

О! запах свежего хлеба уведет нас далеко, к могиле Демокрита, о котором, кстати, писал диссертацию Карл Генрих Маркс на заре своего поприща.

Как умирал Демокрит? Многие уже подзабыли, как я убедился.

Он умирал в глубокой старости, исчерпав жизненные силы, исчерпав интерес к окружающей его монотонно повторяющейся жизни. Рассудив, что голодная смерть самая тихая и безболезненная, преклонных лет мудрец отказался от пищи, в остальном положась на природу.

Служанка, ходившая за ним, а последнее время лишь подававшая воду, попросила хозяина не портить своей смертью надвигающуюся праздничную декаду, то есть пожить еще десять дней. Угасающий в голоде философ попросил принести ему свежеспеченный хлеб и кувшин с медом. Решивший умереть от голода старик, впрочем, уже умирающий, стал дышать через ломти свежеспеченного хлеба и поддерживать свои силы, вдыхая аромат меда. По завершении празднеств в Абдерах служанка поспешила сообщить, что больше препятствий к осуществлению задуманного нет.

Демокрит отложил хлеб, отставил мед и тихо угас во сне.

Хлебозавод напротив богадельни и богадельня в благоухающем травами и цветами парке Лесотехнической академии...

Вы следите за моей мыслью? Следите лучше за сцеплением исторических фактов, за перекличкой исторических рифм!

Не подумайте только, что я забыл о *несжатой полоске* и вожу вас вокруг да около, нет, перед тем как войти в храм, человек должен очиститься, настроить свою душу и мысль надлежащим образом, также, я полагаю, прежде чем прикоснуться к *несжатой полоске* истории, надо очистить слух, промыть взор, укрепить нервы и вспомнить про закон, по которому живет земля, где происходят в высшей степени наглядные события.

Проект
(Строго секретно)

К заседанию Бюро Выборгского РК КПСС ... ноября 1966 года

О передаче членов КПСС 5-й жилконторы на партучет в 17-ю жилконтору.

О составе и движении районной партийной организации за первое полугодие 1966 года:

— улучшен качественный состав: I квартал 65,7% рабочих, II квартал 72,6% рабочих;

— в числе принятых в КПСС снизился удельный вес женщин;

— наложено взысканий — 70, снято взысканий — 29.

О выведении из номенклатуры РК КПСС должности директора фабрики-прачечной № 19.

Об утере штамника-гасителя в партийной организации цеха № 9 завода им. Климова. (Поставить на вид.)

Об утере штамника-гасителя парторганизации завода «Лентепло-энергоприбор». (Поставить на вид.)

Об утере штамника-гасителя парторганизации п/я 731. (Указать.)

О переносе отчетно-выборного партийного собрания в Первом дошкольном педагогическом училище.

Да, от богадельни, от приюта, от сырых, убогих, больных и калек, от земли, политой кровью декабриста Чернова и флигель-адъютанта графа Новосильцева, шел Владимир Ильич в Смольный, к штабурвалу революции.

Теперь это место отмечено многоэтажной громадой, которая высится над станцией «Ланской», высится над необъятным парком с прудами и лесопитомниками, огромная арка по-братски приобнимает соседний шестизэтажный дом, тот самый, где Владимир Ильич успешно скрывался от ищеек Временного правительства. Над углом, выходящим на пересечение проспектов, водружена башня с колоннами и фронтонами, и сверху просится шпиль. Ну конечно, шпиль. А шпиля нет!

Не вавилонский ли столп напоминает людям, знающим историю, эта обезглавленная башня?

Какая сила остановила здесь, на этом возвышенном во всех смыслах месте, рвущихся в небо строителей?

Кто лишил этот из ряда вон выходящий дом достойного его завершения?

Анастас Иванович Микоян.

Вот факты.

Беда в том, что на расстоянии одной трамвайной остановки находится кондитерская фабрика им. Микояна, бывший «Ландрин». Здесь-то собака и зарыта. В Ленинграде был особого рода этикет: когда приезжал А. Н. Косыгин, его везли на ткацкую фабрику им. Косыгина, А. И. Микояна непременно везли на фабрику им. Микояна. В начале пятидесятых годов Василий Михайлович Андрианов, привезенный из Москвы Маленковым для организации и приведения в исполнение расправы над много о себе возмнившими героями блокады, на правах хозяина города встретил прибывшего с деловым визитом члена Политбюро товарища Микояна и сопровождал его в поездке по городу. Приехали на фабрику им. Микояна. Заодно секретарь обкома решил показать члену Политбюро уже почти готовый дом, говорящий о возможности и в Ленинграде вести высотное строительство, охватившее в то время Москву. Он привез Микояна к огромному зданию и пояснил: «А вот здесь будет шпиль!» — «Шпиля не будет», — буркнул себе под крючковатый нос Анастас Иванович. И что поразительно, нет уже Андрианова и Микояна нет, а след от дуэли между Василием Михайловичем и Анастасом Ивановичем остался, как дырка на картине после выстрела Сильвио из памятной с детства повести Пушкина.

Не иссякла сила вполголоса произнесенных слов, как не иссякает никогда сила хорошего заклатья.

Под отсутствующим шпилем есть хорошо известная подоплека.

Незадолго до ареста, последующего суда и расстрела А. А. Кузнецова, секретаря ЦК, бывшего во время блокады секретарем Ленинградского горкома партии, дочь Кузнецова, Алла, вышла замуж за сына члена Политбюро Микояна, Серго Микояна. Свадьба Серго и Аллы проходила на даче Кузнецова в тот самый день, когда на объединенном пленуме ленинградских обкома и горкома А. А. Кузнецов был разоблачен как «зиновьевский последыш», тайно замышлявший реставрацию капитализма. (Эх, дожить бы ему до нынешних дней!) На свадьбе, куда поздно вечером после пленума приехал А. А. Кузнецов, он много пел. Голос у него был баритон, но ближе к тенору. Арестован он был позднее, в Москве.

Проект
(Секретно)

...работает продавцом магазина № 91/94 Выборгского райпищеторга.

22 декабря 1966 года т. Лейкин А. Г. народным судом Выборгского района осужден на три года лишения свободы за обман покупателей и попытку дать взятку.

Парторганизация Выборгского райпищеторга единогласным решением 27 марта 1966 года вынесла решение: Лейкина А. Г., члена КПСС с 1950 года, п/б № 00547785, за систематический недолив пива покупателям, как имеющего строгий выговор с предупреждением и осужденного Выборгским народным судом на три года лишения свободы, из членов КПСС исключить.

Бюро РК КПСС ... 1966 года решение парторганизации Выборгского райпищеторга об исключении Лейкина А. Г. из членов КПСС за систематический недолив пива покупателям — утверждает.

Сектору единого партбилета и статистики комплект партийных документов погасить.

Кузнецова расстреляли, хотя и противу логики, ведь именно он успешно и беспощадно боролся как раз с «зиновьевцами», на чем в свое время и выдвинулся в Луте. В общем, Микоян лишился свата, в чем была прямая вина Андрианова, придавшего репрессиям особую жестокость. И в этой связи реплика Анастаса Ивановича: «Шпиля не будет» — была как бы предупреждением Василию Михайловичу: не заносись.

Так отсутствующий шпиль на последнем доме по проспекту Карла Маркса приобрел значение исторического и политического символа.

Да и весь проспект по-своему символичен. На одном его конце, у Невы, собирался один из первых марксистских кружков, кружок «Борьбы за освобождение рабочего класса России», а на другом конце, всего в пяти километрах, была последняя конспиративная точка основателя Советского государства, откуда он пошел к штурвалу революции. Что это — факт или образ исторической палки о двух концах?

Но вернемся к Ленину.

Мысль о том, чтобы встретить Владимира Ильича на Финляндском вокзале, пришла мне в голову совершенно внезапно.

Как работнику Выборгского райкома партии и человеку с исторической жилкой, мне было поручено курировать бюст Владимира Ильича, который надлежало открыть в день рождения вождя в скверике у дома, где на последней тайной квартире Владимир Ильич прятался от ищеек Временного правительства.

Этот шестиэтажный безликий дом и вовсе высился бы одиноко на глухой окраине среди жалких лачуг и деревянных домишек, если бы на противоположной стороне так же одиноко не стоял такой же безликий семиэтажный дом. К полувековой годовщине Октября было принято решение украсить глухой семиэтажный брандмауэр крупномасштабным панно на тему «Движущие силы революции. Рабочий с винтовкой. Солдат с винтовкой. Матрос с „Авроры”». Панно появилось в развитие принятого решения о монументализации пути следования Владимира Ильича с конспиративной квартиры в Смольный 24 октября 1917 года. Нижние два этажа на брандмауэре заняла рельефная карта-диаграмма пути вождя, а весь верх — панно.

Курируя объект, я был тесно связан и с Насебуллиным (панно), и с Захаровым (бюст).

Зимой в городе темно, неба не видно, горизонта нет, зябко на окраинах, и в центре не лучше. Редкий день вдруг выглянет солнце, только чтобы проверить, живы мы там или нет. Увидит, что все вроде бы на местах, копошимся, ползаем, — и снова спрячется на неделю, а то и больше. Понятно, что в зимнюю пору каждый солнечный день кажется праздничным.

Проект
(Секретно)

К заседанию Бюро РК КПСС ... августа 1966 года

1. Возглавить поход трудящихся Ленинграда за превращение города Ленина в благоустроенный центр социалистической культуры и образцового общественного порядка.
2. Проникнуться глубокой ответственностью за судьбы юбилейных обязательств.
3. Учредить: вымпел «За конкретную и действенную наглядную агитацию».
4. Утвердить: «Положение о вымпеле за конкретную и действенную наглядную агитацию».
5. О смотре пионерских дружин. «Поход следопытов Октября»? «Сияйте, ленинские звезды»? «Из искры возгорелось пламя»? «Близится эра светлых годов»?

В один из таких редких солнечных дней в середине января месяца Захаров пригласил меня на прикидку бюста по месту. Бюст у Захарова

получился отличный: голова вождя на высокой прямоугольной призме из серого камня, поворот головы динамичен, в нем и вызов и зов, и решимость и уверенность в победе. Ленин гордо смотрел в сторону виадукка, по которому полз как-то нерешительно, словно в раздумье, погромыхивая сцепкой, тяжелый грузовой состав в сторону Финляндского вокзала...

Вот этим поворотом головы, как мне показалось, Ленин сам подсказал окрыляющую мысль — Финляндский вокзал! И в этом знакомом ленинском прищуре я увидел дружеский и ободряющий жест: действуй!

От скромного шестизэтажного дома на некогда глухой петербургской окраине моя мысль метнулась туда, на площадь, где вокзал, где броневик, где бронзовый Ленин!..

А главное, я почувствовал, что сейчас, здесь, на этом месте, казалось бы уже до предела пропитанном историей, будет написана мной новая строка, а может быть, и страница и останется навсегда на этом искрящемся снегу.

Нет, я не буду стремиться к сбивчивости и лихорадочности в своем повествовании, замешанном, как вы видите, исключительно на исторических фактах, чтобы передать атмосферу времени и состояние моей души.

Сбивчивость и лихорадочность, надеюсь, сами придут от сгущенности и непредсказуемости событий, напирających одно на другое.

Тем, кто ищет ключ к загадке крушения коммунистического эксперимента, не грех заглянуть и в замочную скважину. И другого хода на площадь перед Финляндским вокзалом в ту памятную ночь нет, потому что вот уже двадцать лет эти события умышленно вытравливаются из памяти и прячутся за семью замками в архивах.

Чтобы перевести дух от нахлынувшего, я представляюсь.

Я представляюсь именно потому, что мое имя, а в особенности фамилия большинству граждан ни о чем не скажут, я же, отчасти как историк, знаю, как сформировалась наша фамилия и откуда взялось такое причудливое отчество. Имя мое — Соломон, отчество — Иванович, именно Иванович, фамилия — Неопехедер.

По преданию, мой отдаленный предок имел прозвище «Хедер», ставшее со временем его фамилией. При очередной какой-то переписи то ли пьяный, то ли косоглазый, то ли не очень-то грамотный писарь слепил воедино инициалы и фамилию, с тех пор мы пошли писаться нелепейшим, исторически случайным и бессмысленным наименованием. А вот дед, отец моего отца, влюбленный в революцию до последнего дня жизни, вплоть до расстрела весной 1935 года здесь же, в Ленинграде, по «кировскому делу», чтобы отмежеваться от своих братьев и политически незрелой сестры, охваченный пафосом обновления жизни, приписал к своей исконной фамилии еще и приставку «нео», что значит «новый». Торопя победу всемирного интернационала, всех своих детей посчередно назвал: Иван, Шамиль и Марат.

В истории много случайного, это отрицать нельзя, но сквозь дебри случайностей прокладывает дорогу необходимость.

В основе моей фамилии — «хедер», что значит «школа», а наш Выборгский райком партии занимает здание, построенное перед революцией для Учительского института!

Вот почему мое пребывание в этих стенах казалось мне таким органичным.

Я историк, но в ленинском смысле слова. Помните, у Владимира Ильича сказано: «Революцию интереснее делать, чем о ней писать». Вот и я для себя решил: историю лучше делать, чем ее изучать. Я представляю собой довольно распространенный тип историка-практика, в чем-то внутренне близок к Василию Сергеевичу, чья звезда, увы, закатилась, а также и к Михаилу Сергеевичу и Борису Николаевичу, чьи звезды сегодня восходят. Мне памятна теоретическая статья Василия Сергеевича в «Ленинградской правде», где он убедительно, с фактами в руках доказал,

что в практике коммунистического строительства теория на каком-то этапе идет впереди практики, потом сливается с практикой и, наконец, практика обгоняет теорию и ведет ее за собой.

Мы видим сегодня, насколько далеко практика ушла вперед от теории, вот я и выбрал для себя то, что можно назвать практической историей. С институтской скамьи на комсомольской работе, потом на партийной, и это естественно, поскольку все сколько-нибудь значительные исторические свершения в истекающем столетии были делом партии и лиц, ею взращенных. Партия и сегодня может гордиться тем, что прошедшие сквозь ее горнило вожди, публицисты, идеологи хотя и не настаивают больше на социальной справедливости, но по-прежнему стойко защищают от посторонних авангард движения человечества к своему счастью.

Моя партийная деятельность (комсомол для краткости опускаю) развернулась в конце пятидесятих годов на ниве Выборгского райкома. Из комсомола, как водится, пошел инструктором в сектор. Сектор укрепил — сделали завод. Через два года уже утвердили и. о. зам. зава отделом. Не могу сказать, чтобы времена были скверные, даже по сравнению так и наоборот, но, сами понимаете, где Иванову достаточно охапку принести, чтобы его заметили, мне нужно воз тащить. И я ташил. Ташил и ждал, когда же он наконец появится на моем пути, этот Аркольский мост... И он настал!

Я сознавал всем своим нутром, что этим мостом станет встреча Владимира Ильича на Финляндском вокзале. Я родил эту идею, она плод, как говорится, чрева моего.

Но точно так же, как какому-нибудь забытому сегодня финикийцу уже невозможно доказать, что еще до Колумба, до Америго Веспуччи его нога побывала по ту сторону Атлантики, и мне сегодня уже не доказать, что приоритет за мной. Раньше я о приоритете не думал. Я знал, что, если все пойдет нормально (а как оно могло еще пойти?!), я завотделом с перспективой на Академию общественных наук. Два года в Москве, надежный круг друзей, единомышленников — и, считай, биография сделана. С этой точки зрения я считал себя неплохо подкованным...

Романтик! я не понимал, что недостаточно открыть Америку, еще надо, чтобы рядом с тобой был Вальдемюллер, который твоим именем назовет открытые тобой земли.

Заразившись идеей, так сказать, повторной встречи, встречи на новом уровне, на новом историческом витке, Владимира Ильича Ленина у Финляндского вокзала, я старался не сходить с твердой почвы фактов. Увы, силы, превосходящие мои скромные возможности, решили подойти к истории с другой стороны — со стороны возрождения массовых народных празднеств, характерных для таких революционных городов, как Париж, Петроград, Гавана и т. п. Мои попытки объяснить несостоятельность вторичной художественности оказались тщетны.

Проект
(Секретно)

Дополнения к повестке дня Бюро РК КПСС ... сентября 1966 года

7. О фактах политической близорукости, допущенных партбюро и редколлегией стенной газеты «НАШ ПУТЬ» Бондарного завода ВНИИ Литпром» (отв. Дромограй Ч. Ж.). (Всем троим строгий б/занесения.)

76. КАЦНЕЛЬСОН Евсей Вениаминович, русский, 1921 г. р., образование начальное, маляр автобазы завода Лепсе. Член КПСС с 1944 года.

Неоднократные систематические аморальные поступки в быту, тесно связанные с употреблением спиртных напитков. Прогулы на почве пьянства.

Находясь в больнице на излечении, напился и устроил дебош, оскорблял лечебный персонал, нарушал нормы общественного поведения, за что был досрочно выписан из больницы.

Будучи в нетрезвом виде, появился на территории автобазы, зашел в комнату общественных инспекторов и стал всех присутствующих оскорблять нецензурными словами. На предложение идти домой отказался. Более того, ударил т. Козубая (беспартийный) по лицу перчаткой.

За непартийное отношение к товарищам по работе, за систематическое употребление спиртных напитков и появление на работе в нетрезвом виде, за моральную неустойчивость в быту и на производстве — строгий выговор с занесением в учетную карточку.

77. БУЛАВСКИЙ Анатолий Тимофеевич, русский, 1935 г. р., образование н/высшее, инструктор райпрофсожа. Член КПСС с 1962 года.

Тов. Булавский, работая в райпрофсоже на должности инструктора, по совместной работе познакомился с гр. Выжигиной, с которой с мая 1965 года стал сожительствовать, оказывая ей материальную помощь. По несколько дней не являлся в свою семью, состоящую из жены и троих детей, так как в это время находился у сожительницы гр. Выжигиной, имеющей также троих детей.

Своим поведением т. Булавский нанес тяжелую травму жене и детям. При беседе в Парткомиссии т. Булавский осудил свое поведение и обещал впредь ничего подобного не допускать.

В настоящее время т. Булавский возвращен в свою семью, отношения налаживаются.

За аморальное поведение и непартийное отношение к семье — выговор с занесением в учетную карточку.

Меня, родившего грандиозную идею встречи Владимира Ильича Ленина у Финляндского вокзала в день пятидесятилетия его возвращения в революционный Петроград, от детища моего отторгли. И только когда все рухнуло, уже на пепелище, на обломках, сам Василий Сергеевич, к которому меня и не подпустили, — а я бы мог воздействовать на него в моем направлении, — так вот, сам Василий Сергеевич только и сказал: «Какой идиот это все придумал?!»

Вокруг были те, кто мою идею унизил, распял, опошил и провалил, рядом с Василием Сергеевичем были лишь те, чьими руками, можно сказать, на площади у Финляндского вокзала Владимир Ильич был вторично похоронен, они-то в ответ на законный вопрос Василия Сергеевича разом вспомнили и с радостью сообщили: «Есть в Выборгском РК Неопехедер, видите ли, Соломон Иванович». — «Сортиры ему чистить, вашему Соломону Ивановичу», — сказал под горячую руку, превозмогая боль в горле (об этом чуть позже), багровый от гнева Василий Сергеевич.

Гневные слова Василия Сергеевича были поняты узко, как директива, меня вышвырнули из райкома и бросили на коммуналку, т. е. в комхоз, где я и погрузился в безвестную жизнь и никогда уже вплотную к истории не приближался.

Пусть хотя бы в этой истории не будет темных пятен, я хочу пролить свет на Болутву. Это он, в каких-нибудь пять лет превратившийся из Шурки в Александра Ерминигельдовича, оттеснил меня от моего детища, и все благодаря Нине Петровне Авчарниковой, которая была тогда в горькоме на пропаганде и Шурке покровительствовала.

Я думал, что Нина-то Петровна, как женщина, поймет, что нельзя отрывать дитя от родителя.

Да что говорить! Добро бы отторгли вчистую и забыли, отобрали, ну и несите всю полноту ответственности, но когда дело дошло до «жареного петуха», я имею в виду Василия Сергеевича, то меня же вспомнили, меня же подставили...

И все-таки я вернусь в самое начало, не для того, чтобы обогатить повествование новыми подробностями, а лишь для того, чтобы вернуть себя в то легкое состояние крылатой молодости, пережить все

еще раз, еще раз переволноваться, испытать горькую, но полную чашу той ясной, еще ничем не замутненной жизни, которой, казалось, не будет конца.

Наверное, каждый ученый, когда его озаряет счастливая мысль, испытывает такое же душевное сладострастие, какое довелось мне испытать лишь один раз в жизни.

Стоял январь.

Юбилейный год начал свой отсчет времени.

Пятидесятилетие Октября уже наступало на пятки, готовилось расширенное Постановление ЦК и Совмина по всем праздничным мероприятиям. Победителям юбилейного соцсоревнования будут отданы на вечное хранение памятные доски и знамена, а под знамена и доски будут большие награждения. До нас под большим секретом дошел слух о том, что готовится новый орден, то ли «Аврора», то ли «Революция», большой орден, выше Красного Знамени. Руководство нацеливали на поддержку инициативы и творчества масс. Вот почему, когда под грохот железнодорожного состава по виадуку у меня родилась мысль о встрече Ленина на Финляндском вокзале, сердце буквально замерло и остановилось, чтобы своим предательским трепетом не выдать счастливую тайну.

...Сейчас январь... До встречи всего три месяца... Это мало? Будет поддержка, хватит... Будет поддержка. Еще как будет!

«Идея становится материальной силой, когда она овладевает массой!»

Выберем массу. Массу надо выбрать точно.

Не подумайте, что я отвлекаюсь от Ленина, просто Владимир Ильич не существует вне контекста, ни в земной жизни, ни в последующей. И все, что произошло на площади у Финляндского вокзала, можно понять исключительно через контекст. Через Перхотина и Безднина ничего не поймешь, а только через того же Болутву, через Нину Петровну, Замятина, Бобовикова, ну и Василия Сергеевича, естественно.

Мысленно я пробежал по составу руководящего ядра райкома.

...находясь на службе в СА, проводил работу со школьниками в подшефной школе № 105.

В мае 1966 года имел место случай, когда т. Подгосник Г. Г. угостил одного ученика 8 класса виноградным вином, и впоследствии ученику стало плохо. Родители ученика подали заявление в партийные органы.

За спаивание спиртными напитками несовершеннолетних мальчиков-школьников и поучение обманывать родителей и взрослых т. Подгосника Г. Г., члена КПСС с 1939 года, п/б № 50164522 (билет находится в РК КПСС), из членов КПСС исключить.

Сектору единого партбилета и статистики комплект партийных документов погасить.

Перхотин и Безднин чувствуют, что я дышу им в затылок, так что на их поддержку рассчитывать не приходится. Один впечатлителен, но самолюбив, раз не он придумал, станет палки в колеса совать хотя бы и самому Ленину, у другого, наоборот, полное отсутствие задора. Болутву я решил обойти. Когда все будет решено, поставлю его перед свершившимся фактом. Я его явно недооценил, а как, с другой стороны, было оценить, если он тогда еще не развернулся? Это потом уже мне друзья по комсомолу рассказывали, как меня предложили на хорошее место в область. Только Замятин, Фрол Дунайч, наш первый, обвел глазами расширенное Бюро, приглашая высказываться, как Болутва тут же, хотя его никто и не собирался спрашивать, он вообще другой вопрос готовил, вдруг небрежно так объявляет: «Неопехедер — это не фигура!» И все! Все. Фрол Дунайч только плечами пожал: «Ладно, решим в рабочем порядке. Следующий вопрос...»

Не фигура, говоришь? Посмотрим, как вы будете выполнять поручения и докладывать о ходе исполнения, уважаемый Александр Ерминигельдович!

Я решил действовать наверняка, через Татьяну Ивановну Барышневу, у нее прямой ход на Замятина, Замятин выходит на Бобовикова, Фрол Дунайч человек Бобовикова, а Бобовиков впрямую замыкается на Василия Сергеевича. Я был на сто процентов убежден, что Василий Сергеевич идею поддержит. Пока Москва там раскачивается, а мы уже — гром и молния! — «Встречаем Ленина!» Так и слышу его чистый голос, в котором, кажется, не только слова, но и каждую букву слышишь: «Инициатива Выборгского РК? Неплохо. Дай команду Замятину своему, пусть действует». Замятин поздравляет Барышневу и берет на контроль, у Татьяны Ивановны своих забот полон рот, тут-то и пригласит меня: «Ну-ка, Соломон Иванович, поздравляю: есть «добро» от Василия Сергеевича, так что давай засучивай рукава, разомни идейку, обсчитай, составь план, подключай парткомы, поднимай людей, готовь вопрос на Бюро. Действуй! Тебе, как говорится, все карты в руки».

Эх, если бы все! Когда «сдали карты», на руках у меня были одни шестерки, а единственный козырь, то, что мною все это рождено, мое детище, так про это сказали, чтобы я помолчал, поскольку наверх доложили, что это «инициатива снизу», то есть масс. Вот так ускользнула у меня из рук жар-птица и даже перышка волшебного на память не оставила.

«Ты человек творческий, с фантазией, — сказала Татьяна Иванна, — это в тебе положительное, но сейчас нужен крепкий организатор. Руководство приняло решение поручить Болутве возглавить это дело. У него и режиссер на это есть, крепкий, проверенный, и хватка...»

Если бы коммунист мог заплакать, я бы заплакал.

У Татьяны Ивановны добрая душа, она сразу мою боль почувствовала: «Ты, Неопехедер, не думай, что тебя кто-то от этого дела отодвигает. Будешь работать как миленький. Я скажу Болутве, чтобы он с тебя не слезал. Придумал — теперь воплощай!»

Для искренности скажу, что Болутву я знал еще по комсомолу. В обстановке внеслужебной он был человеком веселым и неглупым собеседником, никогда лишнего не проронит. Роста высокого и внешности приятной, но, когда доходило до дела, всех давил. Своей наружностью, принужденно деланной, с умеренным акцентом на моду, он как бы заранее оповещал о своем усердии. При внешней стройности меня всегда изумляла в нем внутренняя округлость, все с него скатывалось, все стекало, а сам он тоже все время катился, и только в гору. После того как все рухнуло, Бюро по событиям у Финляндского вокзала поручили кому готовить? Болутве! Как «владеющему вопросом». Он подготовил вопрос, выговоров навешал, как игрушек на елку, и себя не забыл, вписал в проект решения «поставить на вид», так его еще за самокритичность похвалили. Приходится только завидовать таким людям, которые даже молча, одним своим видом и выражением лица говорят о готовности умереть за правду или убить. Такие люди с необыкновенной легкостью в нужную минуту приобретают вид жертвы собственной искренности, чем обычно и вызывают ссочувствие старших и вышестоящих.

Проект
(Секретно)

**Об увековечении и приведении в порядок
историко-революционных памятников и исторических мест**

1. Установить на здании ЛПИ им. Калинина мемориальную доску: «В декабре 1905 года Владимир Ильич Ленин был в здании политех-

нического института и осматривал подпольную мастерскую по изготовлению бомб».

2. Увековечить путь В. И. Ленина из последней подпольной квартиры на Сердобольской ул. в Смольный 24 октября 1917 года:

а) установить скульптуру В. И. Ленина в сквере у исторического дома;

б) установить монументальную карту «Путь Ленина» от Сердобольской ул. в Смольный;

в) установить мемориальную доску на доме № 56 по пр. К. Маркса, где в помещении Выборгского райкома партии В. И. Ленину в 1917 году был вручен партийный билет № 600 и куда он приходил с Н. К. Крупской платить членские взносы.

3. Торжественно отметить 50-летие со дня возвращения В. И. Ленина из вынужденной эмиграции в Петроград 3 апреля 1917 года.

Организовать факельное шествие трудящихся к Финляндскому вокзалу, к месту встречи В. И. Ленина 3 апреля 1917 года.

Еще долго чувствуя за своей спиной благодетельное дыхание Авчариновой Нины Петровны, обладавшей поразительной партийной красотой, Болутва руками своего приятеля, «режиссера народных празднеств» Чикоруди, устраивал всевозможные торжества вроде «Алых парусов» на Неве, «Кuem мы счастья ключи» в ЦПКиО и то ли «Товарищ книга», то ли «Товарищ песня» на стадионе им. С. М. Кирова.

Уж не знаю, как там относительно меня ориентировала Татьяна Иванна Болутву, только он и не думал на меня «залезать», я сам его искал целую неделю. Только через неделю поймал, захожу и на самой дружеской ноге спрашиваю: «Как дела, Александр Ерминигельдович, какие идеи?» Он долго и неподвижно смотрел на меня, будто ждал, пока звуки моей речи преодолеют огромное пространство, нас разделяющее, и до него донесутся, и когда сказанное вроде бы до него донеслось, заговорил поспешно, все так же неподвижно глядя мне куда-то в ухо: «Хорошо, что ты зашел. С идеями покончено, план-прикидка есть, все заматано, подключен Выборгский дворец культуры, надо решать практические вопросы. — И снова замолчал, глядя, как у меня мысленно вытягивается лицо. — В общем, так. Самое узкое место, как я понимаю, это броневик. Музейный броневик только через труп Голицына. Не дадут. Да и выглядит он мелковато. Решай с броневиком. Срок — до тридцать первого марта. Держи контакт с художником... с заслуженным художником РСФСР... — все-таки заглянул в настольную шестидневку: — ...с Егором Петровичем Окнопевцевым... Вот его телефон, он отвечает за все оформление, будешь ему помогать организационно».

Вот так, вместо капитанского мостика я оказался в трюме, да еще в каком трюме. Под кем? Под Окнопевцевым!

Когда Егор Петрович, гнездившийся в мастерской Монументальной скульптуры в монастыре Анны Кашинской на проспекте Карла Маркса, там секс-шоп напротив, так вот, когда Егор Петрович познакомил меня со всем комплексом оформления, я хотел его чуть-чуть подвинуть к правде факта. Куда там! Окнопевцев только хлопнул меня по плечу своей нетрезвой рукой и расхохотался: «Саня! Все заматано, давай вкалывать! Пиши отношение на «Ленфильм», проводи через райком, делай гарантийное письмо, а я тебе списочек подобью, что нам надо у них просить...»

«Соломон» ему выговорить трудно — Саней звал, а вот «Ерминигельдович» выговаривал без запинки даже сильно пьяный. Но дело не в имени, он был не первым такого рода «крестным», дело в том, что все мои предложения тонули в грохочущем хохоте. Как я вскоре узнал, работал Окнопевцев аккордно.

В общем, от правды факта взяли курс на «театрализованную манифестацию», отказавшись от первоначального скромного факельного шествия.

А я хотел, чтобы было как тогда, тем более что паровоз № 293 правительство Финляндии передало нам еще в пятьдесят седьмом году. Тот самый паровоз подошел бы к тому самому перрону... На перроне почетный караул. Ленин обходит строй. Краткая речь. Встреча с депутатией в том самом зале. Краткая речь. Триумфальный выход на площадь. Тот самый броневик! Краткая речь. Торжественное шествие к особняку Кшесинской... Революционные песни... Проектора...

Свою главную ошибку я понял чуть позже: все дело в том, что и в воображении своем я не мог влезть в шкуру Василия Сергеевича. Василий-то Сергеевич был настоящий, а Ленин, как бы ни был похож, все-таки как бы понарошке. Не станет же реальный, подлинный, настоящий секретарь обкома разъезжать на броневике с ряженым Лениным? Вот почему сразу и безоговорочно был принят план Болутвы — Чикоруди, там было четко обозначено: в центре Василий Сергеевич на трибуне, а все остальное вокруг — шествия, депутатии, делегации, броневик, Ленин...

Я хотел восстановить историю, вернуться хотя бы на мгновение в тот момент, когда революции еще не было, когда только был выкинут лозунг-мечта: «Да здравствует социалистическая революция!»

Однако история назад не движется и на миллиметр.

Ну ладно, погружаться в подробности адовой, нервной, изматывающей работы, когда чуть не до последнего часа все висит на волоске, нет никакого смысла. Вклад в целом получился у меня большой, только под обломками вклада не видно.

Логика вещей сильнее логики человеческих намерений.

Проект
(Секретно)

К заседанию Бюро РК КПСС ... ноября 1965 года

28. КОЛОСЕНЦЕВ Гавриил Стефанович, русский, 1917 г. р., образование начальное, рабочий завода им. Фрунзе. Член КПСС с 1942 года.

12 июля 1965 года при отцепке платформы от локомотива т. Колосенцев небрежно установил «башмак» под колеса платформы, в результате платформа двинулась и придавила охранницу, которая скончалась в больнице.

Тов. Колосенцев отстранен от работы и осужден на 3 года условно Выборгским районным судом.

По работе характеризуется исключительно с положительной стороны. В жизни партийной организации участвует, выполняя отдельные поручения.

Правильно оценив свой поступок, т. Колосенцев обещал честным трудом оправдать доверие товарищей.

За халатное отношение к служебным обязанностям и неискренность при проведении предварительного расследования — выговор с занесением в учетную карточку.

31. РАХМАРОВ Константин Сергеевич, русский, 1901 года рождения, пенсионер. Член КПСС с 1921 года.

Изменить формулировку записи в 21 пункте учетной карточки, записать ее в следующей редакции:

«В период с 1925 по февраль 1926 года, в бытность слушателем Ленинградского Военно-морского инженерного училища им. Дзержинского, допускал колебания от генеральной линии партии. В декабре 1925 года на партийном собрании ячейки чугунолитейного цеха Балтзавода воздержался от голосования резолюции, осуждающей поведение ленинградской делегации на XIV съезде партии.

После XIV съезда партии отклонений от линии партии не допускал».

Накануне заветного дня мы приуныли. Откуда-то набежал холод, пошел мокрый снег, но, как бывает в апреле, на следующий день выглянуло солнце, все высушило, и хотя деревья стояли неопушившиеся, не оделись зеленью ни кусты, ни трава, но главное, было сухо и чисто. К вечеру по проспекту легкий ветерок перегонял пыль.

В семь вечера колонны завода «Светлана» и завода им. Энгельса должны были слиться у райкома с трамвайщиками и кондитерщиками.

Половина седьмого... без четверти... я не удержался и двинулся в сторону «Ланской», им навстречу. Так получилось, что я стоял на том самом месте, где в январе меня осенила счастливая мысль, и вот теперь на этом самом месте я услышал надвигающиеся звуки еще невидимого большого барабана. Тугая кожа сдерживала звук, а он рвался на волю, казался больше самого себя, и с каждым шагом еще невидимой колонны он становился все ясней и ясней, казалось, вот-вот он вырвется из барабана и станет видим!

Идут.

Идут!

Идут!!

Они еще только подходили со стороны проспекта Энгельса к богадельне Новосильцевой, к хлебозаводу Максима Горького, а уже над пологим взгорком показались алые верхушки флагов, полотнища транспарантов. Они вырастали словно из-под земли, они раздвигали сошедшуюся над ними твердь, вырастали на глазах... И вот на трамвайных путях, посередине проспекта, на вершине взгорка разом показалась первая шеренга с первым транспарантом, текст которого готовил и утверждал я: «Мы идем встречать Ленина!»

Чувствуя, что опаздывают, первая шеренга бросилась бегом вниз по отлогому склону. Натянувшийся парусом транспарант, как невод, наполнился весенним воздухом, казалось, демонстранты хотят огромным красным сачком поймать что-то неуловимое, разлитое в весеннем воздухе.

Волна за волной, со смехом, с криками, неудержимой лавой шеренга за шеренгой скатывались вниз к перекрестку.

Колонна получилась внушительная, народ был исключительно молодой, множество девчат в красных косынках, ребят по большей части в тулупках и картузах, а если и в пальто, то под ремнем. Многие были в сапогах, хотя питерские-то заводские рабочие как раз сапог не носили, это деревенщина спешила обзавестись сапогами. В цехе сапоги ни к чему, да и стружка раскаленная может попасть. Опасно.

Я узнавал солдатские шинели и пахахи времен первой мировой войны, завезенные с лентфильмовских складов под мои гарантийные письма. «Солдаты», хотя и без оружия, прекрасными историческими штрихами дополняли общую картину.

Уже за железнодорожным мостом расстроившиеся в беге ряды выровнялись, оркестр ударил во всю мощь, и грянула песня, оборвавшаяся где-то около Новороссийской улицы:

Ты не думай, что я невнимательный
И цветы не бросаю к ногам,
Я тебе в этот день замечательный
Свое верное сердце отдам...

Движение было снято, и колонна текла, широко развернувшись во всю ширину проспекта, удивляя прохожих старинной вязью названий заводов и лозунгов на кумаче: «Заводъ Я. М. Айваза», «Светлана», «Ландринъ», «Сампсониевская бумагопрядильная мануфактура», «Л. М. Эриксонъ», «Невская ниточная мануфактура», «Новый Леснеръ», «Людвигов Нобель»...

Неторопливой поступью, разрастаясь, взрываясь в разных концах песнями, к восьми часам вечера колонна вышла на набережную Невы,

повернула налево и двинулась вдоль бесконечных корпусов Военно-медицинской академии в сторону обретавшего новый облик Литейного моста с тем, чтобы разлиться на необъятной площади перед Финляндским вокзалом.

Да вот разлиться-то и не пришлось.

Проект
(Строго секретно)

**О ходе подготовки Ленинградского отделения
Союза писателей РСФСР к 50-летию Великого Октября**

Слушали: доклад первого секретаря ЛО СП РСФСР М. А. Дудина.
Постановили: писатели все еще слабо участвуют в подготовке новых пьес для ленинградских театров.

Ослабили творческую работу поэты-песенники. Недостаточно места в песенном творчестве занимают произведения гражданского звучания.

Читатели не получают крупных произведений о нашем современнике.

Серьезные упущения имеются в воспитательной работе с молодежью, с молодыми писателями, что привело к срывам в поведении некоторых из них, к появлению отдельных ошибочных произведений (т.т. Марамзин, Уфлянд, Бродский, Кушнер, Попов В. и др.).

Принять меры к своевременному поступлению рукописей и тщательной редактуре новых значительных произведений, достойных великой даты.

Я пристрастен, я не могу быть объективен, но колонна, излучая пусть наивный, но трогательный, чистый магнетизм, притягивала к себе людей. В этот прозрачный апрельский вечер под светящимся бескрайним небом люди, заслышавшие в неурочный час звуки праздничных оркестров, легко заражались энтузиазмом демонстрантов.

Разъединяет чувство ответственности, а соединяет чувство радости.

Движение в колонне обладает совершенно особой привлекательностью, оно освобождает от мелких сомнений, от незащищенности, от навязчивых мыслей, сообщает уверенность и освежает душу.

Вот из парадной дома сорок четыре, на углу Смолячкова, выскочил длинный малый в кепке и бобриковом пальто.

— Куда собрались, девчата?

— До Ленину... Будемо потяг устречать, — певуче под общий хохот сообщила шедшая с краю, то ли в роли представительницы Украины, то ли действительно украинка.

— Девочки, а вам одним не страшно? — поинтересовался, пристраиваясь к шеренге. Но хитрость не имела успеха.

— Товарищ, вы же видите, у нас колонна, — к нему подошел паренек в кожаной вытертой куртке с красной повязкой на рукаве.

— Так и я в колонну! Тесней ряды, товарищ девочки!

— Вы посмотрите на себя, в каком вы виде! — сказал ответственный в кожанке, окинув лезущего в попутчики уничтожающим взглядом.

— Вид у вас, товарищ, не революционный, — сказала девушка в перепоясанном ремнем стареньком пальто, и снова грянул смех.

Странной ревностью была поражена эта толпа, не желавшая делиться радостью предстоящего свидания.

— Не отставать! Не отставать! — подгонял ответственный.

Бобриковый в кепке попробовал втиснуться в колонну завода «Компрессор», но и оттуда вежливо попросили. Дальше шли кондитерщицы с «Ландрина».

— Девочки, куда же вы?!

— На свидание!

Они действительно шли на свидание, тайну которого не хотели открывать и самим себе, благо в толпе лучше всего прятать свои чувства. Смехом и беззаботным щебетом они готовы были все обратить в игру, если вдруг всерьез ничего не получится.

Молодой человек пошел рядом, потом быстро «по-ленински» заломил кепку, поднял воротник, втянул голову в плечи и объявил:

— Я прирожденный эсер и меньшевик, направлен решением ЦК сбить вас с генеральной линии...

— О! такие нам нужны!

— Слушай, эсер, а у тебя еще кадета знакомого нету?

Его втянули в шеренгу, тут же вручили древко от транспаранта «Мы вспоминаем 1917 год» и затащили «Рябину кудрявую» прямо с припева.

И главным чувством, светившимся в большинстве лиц, было ощущение веселых последствий затеянного похода.

Солнце убралось, но недалеко, наверно, ему тоже было интересно взглянуть хоть одним глазком на возвращающегося из непроглядной дали вождя, вот оно и спряталось только за край горизонта, чтобы в любую минуту высунуться обратно.

Станный был вечер, странным было и бесцветное светлое небо, на котором то здесь, то там стали вдруг вспыхивать звезды.

За Невой, над Летним садом воссияла белым пышущим светом большущая сгорающая от любопытства звезда.

А в самом начале улицы Лебедева, рядом с глухой стеной Артиллерийской академии, ждал своего часа обшитый красной материей броневик «Враг капитала», раза в полтора больше натурального.

— Будет дело! — словно старому знакомому, подмигивали броневичку демонстранты.

В начале девятого, еще засветло, колонны заполнили примыкающие к площади переулки и набережную вдоль Невы.

Толпа волновалась во всех направлениях, вспыхивала смехом и выразительными восклицаниями завязтых шутников, помогавших волнующимся перед исполнением нетвердо выученной роли преодолеть смущение и робость.

Молодые люди без дальних замыслов изображали влюбленность, ревность, со смехом припоминали обиды, и все это так, чтобы не выдать своих истинных чувств, не предназначенных для демонстраций.

Проект
(Секретно)

О работе партийной организации Райпищеторга и Треста столовых по коммунистическому воспитанию работников торговли и общественного питания

В Тресте столовых значительная часть руководящих работников не выступает с политическими докладами.

Не произошло резкого улучшения воспитательной работы в магазинах № 28, 44 и столовой № 80.

Редки встречи молодежи с ветеранами труда.

Не изжиты случаи нарушения правил торговли.

За первый квартал — 22 товарищеских суда, за второй квартал — 44 товарищеских суда.

В резолюцию: улучшить лекционную работу, ввести в практику регулярные «громкие читки», систематически выпускать стенгазеты.

На площадь колонны не выпускали, хотя стоявшие в оцеплении милиционеры и курсанты не препятствовали любому желающему в одиночку выйти и посмотреть на площадь, изготовившуюся к торжественной встрече.

С правой стороны от памятника Ленину, в центре площади была выстроена «красная трибуна». Над трибуной на транспарантах полыхали

приветствия Ленину и лозунги, почерпнутые из еще как бы не оглашенных «апрельских тезисов»: «Никакого доверия Временному правительству!», «Долой министров-капиталистов!», «Мир народам!», «Хлеб голодным!».

Площадь всей своей шириной выходит к Неве, и вот как раз посередине, у набережной, там, где ступенчатый спуск к воде, возвысилась «черная трибуна», зловещая цитадель контрреволюции. Затянутая в черную ткань трибуна пестрела мрачными лозунгами на белой и черной материи: «Война до победного конца!», «Солдаты — в окопы!», «Да здравствует Учредительное собрание!», «Временному правительству — ура!». Но главное, посредине трибуны угнездился огромный черный двухголовый орел, раскинув в разные стороны метров на пять черные крылья с растрепанными на краях перьями. Хищно раскрытые клювы змеились изогнутыми языками.

Если на «красной трибуне», где был установлен микрофон, в ожидании высоких гостей прохаживались только распорядители с повязками, то на «черной трибуне» было тесно от контрреволюционеров в котелках, офицерских фуражках, шляпах, были даже две шляпы со страусовыми перьями, а какой-то капиталист пришел в полной униформе, в цилиндре и с мешком денег, на котором по трафарету было наведено «Награблено».

Но главное украшение и главную декорацию праздника должны были воздвигнуть прожектора, по углам площади на автомобильных платформах, они возвышались как циклопические кастрюли, в которых будут варить свет.

Никто не знал, что будет дальше, когда начнется.

После девяти все-таки стало смеркаться. С севера, из-за вокзала, по небу стала разливаться непрозрачная фиолетовая краска, площадь вспыхнула розовыми лампами.

От Невы потянуло холодком с легким запахом мазута. Публика, притомившаяся ожиданием, стала ежиться. Попробовали греться танцами, попрыгали «летней-енкой», но нетерпение и неопределенность мешали отдаться вынужденному веселью.

Ожидание небывалой забавы стало сменяться равнодушием ожидающих опаздывающего поезда, кое-кто из нетерпеливых и предприимчивых убрался восвояси. Странная апатия стала водворяться в толпе.

На все расспросы милиция и курсанты отшучивались — дескать, история в руках начальства.

Вот эти часы вечернего неопределенного стояния у холодной реки под весенним небом были свидетельством нерассуждающей преданности и революционной идее, и Владимиру Ильичу. Если бы не он, так бурно перемешавший всю жизнь в России, их родители навряд ли могли бы встретиться, а стало быть, и им, стоящим и поющим здесь сейчас, не суждено было бы родиться. Одного этого сознания хватало на то, чтобы питать энтузиазм встречи.

Однако апрельский вечер все глубже и глубже погружался в темноту, а тысячи молодых людей в недоумение. Толпа уже переминалась вяло и бесцветно.

В конце концов решили, что ждут именно того исторического часа, когда исторический поезд должен подойти к перрону. И всем было немного неловко оттого, что никто часа этого не знал и не помнил.

Когда казалось, что терпению вот-вот наступит конец, от площади по толпе и в переулки и на набережную прокатилось: «Приехали! Приехали! Сейчас начнется».

«Красная трибуна» быстро заполнилась гостями, партийным и городским руководством, ветеранами партии, сиявшими красными носами то ли от волнения, то ли от возраста.

На противоположной стороне площади, вдоль здания Калининского исполкома было черно от поблескивающих лаком начальственных легкоушек.

Как и было задумано по плану Болутвы — Чикоруди, к микрофону на «красной трибуне» подошел Василий Сергеевич и грянул во весь голос, полным дыханием, вкладывая всю душу и страсть в каждый звук, в каждую ноту:

Вставай, проклятем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов...

Певец повел головой, ожидая, что товарищи и гости подхватят песню и ему можно будет чуточку сбавить, ведь и взял так сильно только от уверенности в том, что через мгновение его голос потонет в многотысячном хоре. Но площадь перед трибуной была по-прежнему пуста, народ толпился в отдалении, а революционные старички и коллеги на трибуне лишь по-рыбьи открывали рты, их революционный шепот не достигал микрофона.

Василий Сергеевич слышал, как установленные в разных концах площади мощные динамики разносят его одинокий голос.

Многие на трибуне готовы были активно подтянуть, но для этого надо было сгрудиться у микрофона или оттеснить Василия Сергеевича.

Певец бросал полные гнева взоры на стоявших рядом и в припев партийного гимна вкладывал нескрываемую угрозу.

Партийный гимн подробен и длинен, в нем обстоятельно перечисляются многие беды трудового народа и кары, уготованные на головы «псов и палачей».

Василий Сергеевич понимал, что сбавлять нельзя, завтра же долетит до Москвы, надо выдержать предельный пафос, так нерасчетливо заявленный в самом начале, и не только выдержать, но и сохранить силы для финала.

Голос у него был похож на баритон, но ближе к тенору.

Динамики на площади лишь подчеркивали необъятность пустого пространства, а вместе с дрожащим от напряжения голосом, казалось, из металлических колоколов вот-вот хлынет, как из горла, кровь.

Никто не даст нам избавленья,
Ни бог, ни царь и ни герой...

В голосе Василия Сергеевича слышалось отчаяние, он поднял правую руку и сделал призывный жест тем, кого видел со своего капитанского мостика под сенью красных знамен в устье улиц, на набережной и в переулках, примыкавших к площади. Он звал их, но оцепление ждало специально согласованной команды. Он видел в них спасение, они могли прихлынуть сюда, под самую трибуну, вон их сколько, и без всякого микрофона молодыми, задорными голосами подхватить слова великой песни... Если бы петь под сопровождение, он бы успел дать команду, а тут... И жест его был не больше чем взмах руки пловца, барахтающегося в морской пучине и силившегося привлечь к себе внимание дымящего у горизонта парохода.

Василий Сергеевич пел!

Он сам уже не понимал, почему горло не треснуло, почему до него доносятся из динамиков произнесенные им слова... Привычные строки гимна не занимали сознания, и потому в голове чередой проходили злые мысли: «Почему нет оркестра? Почему не пригнали хор из капеллы? Почему не поставили десять! двадцать! сто микрофонов под нос этим старым болтунам, пусть поют, а не выясняют перед каждым праздником, кто из них больше большевик, а кто из них меньше меньшевик...» Как он ненавидел этих старцев, докучающих незанимательными рассказами, содержащими ценнейший *жизненный опыт*, которым никто никогда не захочет воспользоваться, а если и захочет, не сумеет: жизнь уже не та.

Это они, красноносые, подбили его затянуть гимн! Как надоело слушать их жалобы, поучения и разбирать доносы друг на друга!

Сообразив, что дело подходит уже к предпоследнему куплету, Василий Сергеевич чуточку сбавил, чтобы наддать в последнем куплете и все, что останется, вложить в последнее, заключительное исполнение припева.

Проект
(Секретно)

К заседанию Бюро РК КПСС ... апреля 1965 года

8. АНДРЕЕВ Александр Андреевич, украинец, 1912 года рождения, образование среднее, рабочий. Член КПСС с 1939 года.

Нарушал принцип добровольности при реализации билетов денежно-вещевой лотереи. Присвоил деньги в сумме 60 рублей.

За грубость с рабочими, неискренность с руководством и сутяжничество при разборе персонального дела — строгий выговор с занесением в учетную карточку.

9. ШТУКА Антон Демьянович, русский, 1914 года рождения, образование 5 классов, слесарь завода «Красная заря». Член КПСС с 1943 года.

15 января 1965 года т. Штука А. Д. в пьяном виде учинил скандал у себя в квартире, за что был сотрудниками милиции доставлен в 19-е отделение и оштрафован на 5 рублей. 16 января т. Штука А. Д. совершил прогул, за что имел административное взыскание.

Тов. Штука А. Д. и ранее замечался в злоупотреблении спиртных напитков, привлекался к административной ответственности (из выступлений коммунистов на собрании).

На беседе в РК КПСС т. Штука А. Д. вину свою признал, объясняет такое поведение плохие условия в быту. В одной комнате живет две семьи. С решением парторганизации согласен. (Строгий выговор с занесением в карточку.)

Голос звенел в глубокой, пронзительной тишине, в этот час Финляндский вокзал из уважения к событию не принимал и не отправлял электрички.

Чем дальше тысячи людей слушали сольное исполнение гимна, тем очевидней становилось чувство неловкости: весь смысл, весь текст, вся идея «Интернационала» в многоголосии — «лишь мы», «никто... нам», «наш последний», — песня на индивидуальное исполнение была явно не рассчитана, а одинокий голос, еще и в присутствии множества людей, выглядел вовсе неправдоподобно.

Когда Василий Сергеевич запел последний куплет, наверное, в душе его птицей встрепенулось горделивое чувство: а ведь могу! надо будет... и день и ночь... Он уже не слышал себя, в ушах звенело, а над площадью гремел готовый сорваться на крик и хрип голос немолодого человека без музыкальных способностей с очень скромными голосовыми данными.

Последний раз над Невой, вокзалом и райсоветом прозвучало обещание: «...воспрянет род людской!» — и наступила тишина, было слышно, как плещется на гранитных ступенях спуска к воде легкая невская волна. Плескало тихо, как бы с чувством вины.

«Контрреволюция», успевшая принять горячительного, — ей, как говорится, терять было нечего, — попробовала захлопать, но сама же и испугалась.

Василий Сергеевич ровно полминуты простоял неподвижно у микрофона, все ждали, а он, глотая слюну, старался превозмочь боль в горле, потом резко повернулся и, ни минуты не думая ни о старых большевиках, ни о молодых, ни о демонстрантах, ни о Ленине, где-то томившем-

ся в ожидании триумфального выезда на площадь, решительно сошел с трибуны под недоуменными взорами партийного актива.

В сопровождении телохранителя он двинулся к своему черному блиндированному лимузину мимо Ленина, крепко стоявшего в распахнутом пальто на башне броневика, вознесенного на пятиметровую высоту. Сдвинутая над прямоугольными блоками онежского гранита башня с вождем казалась парившей в воздухе. Василий Сергеевич невольно оглянулся: простертой рукой Ленин как бы ловил убегающего секретаря обкома.

Следом за Василием Сергеевичем потянулись старшие милицейские чины, сотрудники безопасности.

Опережая телохранителя, Василий Сергеевич сам распахнул дверку лимузина и нырнул на заднее сиденье. Телохранитель мягко прикрыл тяжелую бронированную дверку и бросился на сиденье рядом с шофером.

Водитель запустил двигатель и взглянул на телохранителя, обычно общающего маршрут. Тот молчал.

— Поехали! — незнакомым хриплым голосом скомандовал Василий Сергеевич.

Мотор взревел, словно машина собралась прыжком сигануть через Неву. Убедившись в том, что все полторы сотни лошадиных сил в упряжке, шофер, чуть повернув голову в сторону хозяина, поинтересовался:

— Куда едем, Василий Сергеевич?

— (Неприличное.)

— Понял!

Машина рванула на Арсенальную набережную, вытягивая за собой хвост сопровождения. Черная стая летела мимо «Крестов», мимо психбольницы, мимо дачи Кушелева-Безбородко, с балкона которой непревзойденный Дюма любовался величавым разворотом Невы и Смольным собором на той стороне реки.

Над площадью неведомо по чьей команде вспыхнули прожектора. Четыре огромных светящихся столба уткнулись в небо, потом закачались и, пересекаясь, как ножницами, стали резать недосыгаемую темень. Стало красиво и тревожно, будто ждали опасности откуда-то сверху.

Болутва сбежал с «красной трибуны», быстро подошел ко мне и, строго глядя в глаза, проговорил с поспешностью:

— Тебе, Соломон, лучше сейчас куда-нибудь смыться... Бобовиков в ярости. Будет кровь.

Не желая или не имея времени что-нибудь пояснить, а может быть, боясь скомпрометировать себя общением со мной, он быстрыми шагами отошел к теснившимся за трибуной чинам КГБ и милиции. Я знал, слава богу, нрав Бобовикова, славившегося грубостью и непрекаемостью. Я понимал, что на трибуне произошло что-то непоправимое. И снова недооценил Болутву: ну конечно, ему, именно ему нужно было меня куда-нибудь в эту минуту убрать, чтобы я не мог объяснить тому же Бобовикову, что все задумано было иначе. Но задним умом все сильны, в ту минуту я поддался испугу и решил: пусть уж лучше меня ищут, чем топчут в горячке.

Где спрячешься на площади, куда денешься?

Я пошел к народу. Спросят — скажу, пошел к народу, узнать настроение, поддержать, ободрить.

Ближе всего были те, что стояли на набережной.

Увидев, что я иду от «красной трибуны», ко мне бросились с вопросами: «Когда начнется? Чего дальше? Ленин-то приехал, нет?»

Черная тоска сосала меня после отъезда Василия Сергеевича, ощущения мои были смутны. Что я им мог ответить?

Я поискал глазами звезду, ту, что сияла в белесом вечернем небе над Летним садом. Звезды больше не было. Впрочем, может быть, она и была, но стала неразличимой среди множества других звезд и звездочек,

высыпавших разом на черный небосвод, чтобы своими глазами увидеть этот кошмар.

На «черной трибуне», надо думать, еще выпили и вовсе уж не по сценарию стали кричать: «Да здравствуют министры-капиталисты! Ура!» — и сами же себе отвечали: «Ура! Буржуазному Временному правительству — ура! Войне до победного конца — ура!» Скучавшая на набережной толпа, изрядно уже поредевшая, повинувшись инстинкту, по которому на демонстрациях положено кричать «ура!» по любому поводу, не слыша, скорее всего, подстрекательских призывов, вдруг стала подхватывать это глумливое «ура!».

Тщательно спланированное, согласованное и утвержденное событие стало двигаться путями неожиданными, ненормальными, странными... Это уже было похоже на какой-то бред, на припадок, когда все движения судорожны, болезненны и непредсказуемы.

Оцепление из курсантов и милиции куда-то незаметно исчезло, выход на площадь был открыт, и беспорядочные группы и одиночки в хаотическом движении, без плана, как во сне, стали перемещаться во все стороны. И если бы не флаги и свернутые транспаранты на плечах у многих, эта толпа затрапезно одетых молодых людей напоминала бы грибников, вывалившихся с вокзала из пригородных электричек и в каком-то забвении продолжающих свой промысел на городской площади.

Девушки в перехваченных ремнями пальто и молодые люди в русских сапогах усугубляли тяжелое впечатление.

Нельзя было сказать, что они искали именно Ленина, о Ленине уже как бы и забыли, но продолжали еще чего-то ждать.

Через полчаса после отъезда Василия Сергеевича «красная трибуна», по-прежнему охраняемая милицией, опустела совершенно. Не осталось и черных машин у здания Калининского исполкома — стало быть, начальство разъехалось.

Я недоумевал, что же делать, но видеть никого из наших не хотелось, и не только в целях безопасности — на душе было скверно.

На площади показалось несколько милиционеров с мегафонами в руках, лица у них были натянутыми и тревожными. Не имея духа сказать людям правду, через милицию довели наскоро придуманное оповещение:

— Граждане! Мероприятие на площади у Финляндского вокзала окончено. Расходитесь по домам!

Проект
(Секретно)

16. КОРЕНЮК Юрий Николаевич, русский, 1926 года рождения, образование начальное, рабочий, токарь завода «Красная заря». Член КПСС с 1963 года.

Тов. Коренюк Ю. Н. 2 декабря 1965 года обратился в партком с заявлением об исключении его из членов КПСС, так как он не может разобраться с решениями сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС.

Партийная организация цеха № 20 постановила исключить т. Коренюка Ю. Н. из членов КПСС за малодушие, невыполнение политики партии и необеспечение авангардной роли коммуниста на производстве.

22 декабря 1965 года т. Коренюк Ю. Н. обратился в партком объединения «Красная заря» с заявлением, в котором просит поданное им заявление 2 декабря 1965 года считать недействительным, так как с решениями сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС разобрался, с ними согласен и готов выполнять.

Партком объединения «Красная заря» 27 января 1966 года объявил т. Коренюку Ю. Н. строгий выговор с занесением в учетную карточку за проявленную неустойчивость в подаче заявления о выходе из партии.

(Решение парткома объединения «Красная заря» утвердить.)

Я удивился точной выверенности текста объявления, он явно был согласован, мне показалось, я узнал руку Болутвы. Не «товарищи», а «граждане», не «площадь Ленина», у нее же есть имя, а площадь «у Финляндского вокзала», и обращение не к делегациям, не к предприятиям, а так, как бы к случайным прохожим: «расходитесь по домам».

К этим вестникам с мегафонами в руках стали подходить и спрашивать, а они, не отнимая микрофонов от уголков рта, общались только через свой радиоколокол: «...мероприятие окончено... расходитесь по домам...»

В глазах у многих молодых людей я увидел недобрую горячку — после долгого стояния на холодке, ожидания, неизвестности их оскорбленные души рванули наружу.

Флаги, плакаты, лозунги, транспаранты — все полетело на землю. Такого еще не было!

Случалось, конечно, после демонстрации находить в самых неожиданных местах, в подъездах и подворотнях, портреты и членов Политбюро, и Маркса, и Энгельса, и даже Владимира Ильича, но их же находили, то есть они были спрятаны, а здесь вот так, прямо на виду, швыряют к подножию пустой трибуны, как в свое время на Параде Победы кидали знамена поверженного врага к подножию Мавзолея. Но тогда был порядок!

Ну, вот он, мой Аркольский мост, мелькнуло вдруг в голове, ну!

Схватить брошенный флаг и побежать! Куда? За Василием Сергеевичем? Вбежать на «красную трибуну», сказать краткую речь? Зажечь массы? А дальше? Провозгласить «социалистическую революцию»? Рядом тюрьма, «Кресты», рядом и психушка. Флагов полно. Аркольский мост вроде бы есть, а врага нет. Против кого и куда, куда бежать?..

С расстроенными нервами я смотрел на опустевшую «красную трибуну» как на окоп, брошенный в минуту решающей атаки. Противник даже не стал его ни штурмовать, ни занимать.

Я вынул из урны воткнутый полотнищем вниз транспарант «Мы вспоминаем 1917 год», поднял с земли два флага.

Прожектора погасли, и после праздничного света над площадью стало темновато. Небо, поблескивавшее множеством иронических звезд, придвинулось к площади своей черной массой. Вот тут-то все увидели, как над «черной трибуной» стал вздыматься вверх, в черное небо черный двухголовый орлище с растрепанными перьями на концах зловещих крыльев и злобно распахнутыми клювами. Это чудовище было укреплено на спрятанной внутри трибуны автовышке, и теперь телескопическая штанга вздымала страшенькую птицу над площадью, усыпанной знаменами, над памятником Ленину, над городом.

Это уже излишне, подумал я. Зачем же еще и такие символы, хватит, что с лозунгами и здравницами в честь «министров-капиталистов» поозорничали. От лезущего вверх торжествующего хищника попахивало политической провокацией.

За это кто-то должен будет отвечать!

Но оказалось, что политического-то смысла как раз в этом всползании орла в поднебесье не было.

Когда телескопическая штанга вытянулась до невозможности, огромный черный орел вознесся так высоко, что казалось, уперся своими коронованными головами в небесную твердь, после чего замер в привычном для него окружении звезд.

Зловещий символ самодержавия недолго красовался в поднебесье.

В середине орла что-то полыхнуло, донесся удар взрыва, и повалил дым. Согласно замыслу Егора Окнопевцева, это была его главная, «гвоздевая» идея: взрыв петарды, символизируя взрыв народного гнева, должен был разнести чертову птицу в щепки. Но щепок не получилось, и пиротехнический план с фигурными фейерверками тоже провалился. В середине орла получилась всего лишь обширная дыра с тлеющей по краям фанерой. Орел оказался на недостижимой высоте, да еще и с пламене-

юшим как бы сердцем, если смотреть снизу. Первая мысль пронзила молнией: «Хорошо, что Василий Сергеевич не видит».

Через дощатые настилы на «черной трибуне» я пробрался к автовышке и залез в кабину.

— Опусти орла немедленно! — ничего не объясняя, приказал я.

— Пошел ты на (неприлично), — сказал водитель, не предполагая, что я из райкома.

— А я тебе сказал, опускай! — пропустив грубость, потребовал я вновь.

— А я тебе сказал, чтобы ты шел на (неприлично). — Он повторил ту же грубость.

Я растерялся, хотел спросить фамилию начальника колонны, но тот заговорил сам, причем резко, грубо:

— Влип я на (неприлично). С этой (неприлично) сколько я должен еще (неприлично)? Там же еще два заряда, мать их (неприлично)! Я спущу на (неприлично), а они как (неприлично)! У меня же в обоих баках бензина до (неприлично)! Это же все тут вместе со мной на (неприлично) разнесет. Пока эта (неприлично) тлеет, спускать ее нельзя. А сколько эта (неприлично) гореть будет, (неприлично) ее знает!

Вот такой разговор. Подробности я опускаю, поскольку явно в состоянии стресса водитель вскользь коснулся в самых резких выражениях политического руководства города, сказав, что на месте Ленина залез бы обратно в броневик и всех их тут же уложил из пулемета.

Разговор этот был мне неприятен. Понимая, что орлу надо просто дать время тихо сгореть, я снова вышел на площадь.

Только сейчас стало заметно, что с колоннами молодых демонстрантов на площадь пришло довольно много и пожилых людей, именно они пытались сейчас образумить совсем уж расхолодившуюся молодежь: «Ребята, ну зачем же так?» Они подбирали брошенное оформление, пытались уговорить молодых людей взять это все с собой, отнести обратно.

А что слышали в ответ?

— Я, как баран, стоял три часа, а теперь, как верблюд, должен обратно весь этот хлам тащить? Вот ты был всю жизнь ослом, на тебе они ездят, вот ты и таскай!..

И все в таком же духе, на «ты», грубо.

А старики только твердили:

— Ну нельзя же так, нельзя, это же флаг... — и собирали в кучи поверженные кумачовые стяги.

Но и это еще была не окончательная развязка всего дела. Последнюю каплю внесла тюремная машина для перевозки заключенных, мирно ожидавшая окончания праздника где-то в тени у Литейного моста.

Я помогал собирать флаги, когда услышал: «Ленина везут! Ленина везут! Ленина поймали!»

Это была злая шутка.

Все выходы на Арсенальную набережную, где могучей крепостью из красного кирпича вознеслась главная городская тюрьма «Кресты», были перекрыты, и только сейчас кто-то разрешил увязшей в торжествах глухой тюремной машине аккуратно проехать по набережной и через площадь. Красную подсветку на площади еще не выключили, поэтому тюремный фургон появился на площади в розовом свете. Его природная серая окраска легко приняла красноватый оттенок.

Интересно, был ли на свете хоть один человек или пророк, который мог бы загодя, хотя бы за час, за два, предсказать эту последнюю каплю, эту развязку?

«Ленина поймали! Ленина везут! Ленину — ура!»

Под сенью зловещего орла с пламенеющим в черном небе сердцем не сигналя, медленно, среди расступающейся, дающей дорогу публики полз красноватый автозак под аплодисменты, свист и дурацкие возгласы...

Досада и недоумение, тяжелая и пронзительная тоска, не оставляющие меня уже много лет, наконец придвинули к этому листу бумаги, заставили все рассказать.

Нет, что ни говори, а история как снисходительный учитель, не надеясь на умственные способности и сообразительность своих учеников, подсказывает, подталкивает, сует под нос... а мы видим и не понимаем. Понимаем — не делаем выводов. Делаем выводы — не желаем ими пользоваться.

История — ревнивый автор, пишет без черновиков и не дает заглянуть под руку.

Я пытаюсь угадать, что же было на уме у истории, когда она сочинила эту фантастическую и непредсказуемую бль.

Сейчас уже многие не верят в Ленина, многие стали верить в Христа, верят во Второе Его пришествие, ждут, а я не верю и не жду, потому что, как показывает весь мой горький опыт, ничего хорошего из этого все равно не получится.

Проект
(Секретно)

...при вступлении в кандидаты в члены КПСС в 1942 году и обмене партийных документов в 1954 году произвел скрытие своей принадлежности к партии эсеров и пропаганду политики этой партии среди крестьян, за что в марте 1955 года Калининским РК КПСС Лобанову Г. Ф. был объявлен строгий выговор с занесением в учетную карточку.

Тов. Лобанов Г. Ф. отрицает свое членство в партии эсеров, но признает, что работал с эсерами и голосовал на выборах в Учредительное собрание за их список.

Учитывая, что т. Лобанов Г. Ф. принимал активное участие в боях за Родину в Отечественной войне, награжден тремя боевыми орденами и семью медалями, партвзысканий после 1955 (март) года не имеет, по работе характеризуется исключительно с положительной стороны, РК КПСС решает выговор с занесением в учетную карточку за сокрытие своей принадлежности к партии эсеров и пропаганду политики этой партии среди крестьян с Лобанова Г. Ф., 1891 г. р., п/б № 56421980, — снять.

... апреля 1967 года.

Санкт-Петербург.
1995.



ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА

*

КОСТОЧКА АВОКАДО

Рассказ

«...**У** меня не получились страусы и косточки у авокадо оказались слишком большими, — печально признался Бог, очутившись по случаю на Земле».

Вот так замечательно зацепился в памяти какой-то американский фильм, из которого ничего не помню, а вот на страусов теперь без нежности смотреть не могу. Неудачные вы Его! Лапочки... Такие не фламинго...

С тех пор как я поняла, что мне и половины не сделать из того, что должна была и могла, проблема большой косточки авокадо стала мне застилать свет. Боюсь неудачи. Я даже специально купила эту Божью поделку, добралась до твердой середины. Действительно, можно было и поменьше... Зато как хорошо лежит в кулаке, как шершавится! А если еще запустить в глаз... Нет, это не вишня и даже не слива...

Хотя хорошо бы написать именно про вишню, про то, как она цветет, какой белый дым стоит. Такое счастье набухает внутри, что трещат ребра. Но за вишневый сад и схлопотать можно. Он у нас один — цветущий, срубленный, в печи стопленный, на все голоса спетый, а потому неча про него... И сливовую косточку не тронь: ею уже сто лет все не может подавиться один невоспитанный, жадный до фруктов мальчик.

Обтопанные, захватанные, залюбленные поля и нивы, люди, львы, орлы и куропатки...

«— Мадам! Все продано. Есть перо от страуса и косточка от авокадо.

— Благодарю вас. Беру косточку».

...Ночью и пришел этот авокадовый рассказ. Пришел почему-то бочком и застил свет ночной лампы, под которой лежал нормальный детективчик из тех, что про английский замок, в котором совсем не обязательно скелет в шкафу, зато непременно лорд-гомосек с отполированными до нечеловеческой красоты ножными ногтями. Перед ними я всегда столбенею. Хочется быть лордом и даже — пусть! пусть! — гомосеком. Какая разница, если хочется носить лепестковые ногти. Так вот на этом замиральном от черной зависти месте мне застило лампу, ибо бочком... Хотя нет, как раз не бочком, а прямо, вперед, двумя широкими шагами преодолевая мою прихожую, вошла ко мне эта глупая история. Пришла и стоит в моей прихожей, хотя не звали. Дети только что ввалились из школы, выедают в нетерпении мякиш из батона, через три часа по местному времени по этому поводу загунявит муж о своем военном детстве и той пайке, которую он съел не то что с горелой коркой, а с прилипшим к ней куском грязной газеты. В стомиллионном повторении это должно нами восприниматься как вершина его жизненных испытаний! Апофеоз войны. В этот момент я думаю о Верещагине! Как ему в гробу? Не жмут ли стенки? Не повернуться ли ему на бочок?

Бочок... При чем тут он? Оказывается, это она, моя гостья, стоит уже здесь — бочком, как раз на фоне светящегося закатным солнцем окна кухни, в которой дети уже доели мякиш, а Верещагин...

Развожу все по местам — дети, мякиш, женщина в прихожей — это все правда жизни. Это Илья Глазунов. Верещагин, уютненько повернутый со спинки на бочок, муж, который придет и загунявит про пайку, — это воображение. Это Пикассо со своей треснутой об колено скрипкой. Но для меня-то все это сразу и одновременно! Вот в чем тайна тайн.

— Оставьте батон, паразиты моей жизни! — кричу я детям и, повернувшись к гостье, говорю голосом высшего с отличием образования, что рада ей бесконечно, все-таки два раза в жизни встречались. Родные, можно сказать. А встречались мы с ней, между прочим, тоже в прихожей, правда, другой, с большим зеркалом в металлооправе и с таким оглушительно правильным отражением, что я его ненавидела и каждый раз вспоминала свою любимую покойную подругу, которая говорила: «Зеркало, дура, должно быть мутным или висеть в темном месте, чтоб, посмотрев на него, ты убедилась в своей красоте, а не в изъянах кожи. Убедившись, ты воспрянешь духом и станешь красивее, уничтожая этим все свои изъяны. Теорема такая: радуюсь (пусть даже обману) — значит, хорошою, а недостатки, как побитые собаки, заползают туда, где им и место». Так вот та прихожая, где я встречалась с гостьей, на мою голову, была наоборотной. В ней при помощи зеркала ты сразу убеждался в землистости кожи, в неизгладимой глубинности морщин, которые называются «собачьей старостью» и настигают, сволочи, тебя лет эдак в двадцать пять; в тусклости и сечености волос, бывших когда-то, по определению завистников, гривой, и теде и тепе. Можешь спускаться все ниже и ниже по самой себе и портить себе же настроение.

Я любила тот дом и его хозяйку, но прихожую ненавидела. Из нее всегда было трудно уйти быстро, вечно в ней толклось множество людей, надо было на виду безжалостного зеркала извлекать из глубин крючков своего лысого кролика, а какой-нибудь интеллигент — это непременно — на тонюсеньких лапках и в дымчатых очках — тоже непременно — норовил подскокить на носочках, помогая тебе овладеть зайцем, и, пока я попадала в рукав, вытаскивая из него по ходу шапку и шарф, зеркало-гадина отражало все это без стыда и совести, строго по законам физики. Вот однажды, вернее дважды, мы и встретились глазами с сегодняшней моей гостьей, которой я солгала, что безмерно рада ей, вот только дети жрать хотят, а обед у меня готов на три четверти, так что...

— Я подожду, — сказала она.

На самом деле обед готов был, оставалось налить две тарелки. На самом деле я выкраивала время на «сообразить»: что могло понадобиться этой малознакомой женщине в моем доме? С какой сырости она завелась у меня? Господи! Да тысячу раз получужие дядьки и тетки вваливались, не звоня и не предупреждая, и ничего! Я кормила их, поила, спать укладывала, а дети — чай, не баре — сами вполне справлялись с половником и чайником и спать сами укладывались, а утром перешагивала через мертво спящих на полу гостей, которых Бог послал.

Нет! Случайным гостем меня не удивишь. Я к нему, как пионер, всегда готова. Тут было что-то другое. Я *чуяла*. Ну как я могу объяснить сквозняк под ложечкой или хлопанье ставен, которых нет, или то, как по серебристой дорожке пыли, высвеченной закатным солнцем в моей кухне, некто скатился кубарем и тут же велел его нарисовать. Вместе с дорожкой из пыли и ставнями.

Вот почему я попросила у гостьи пARDону и, быстро разделавшись с оголодавшим потомством, скрылась на две-три минуты в ванной, приплюснувшись к холодному кафелю. Я стала «собирать дух». Я же не знала, что ко мне пришло. А жизнь научила меня всегда быть готовой к неприятностям большим, чем меньшим.

...Итак, сначала... Месяца декабря ко мне пришла малознакомая хорошо беременная женщина, с которой меня сводила судьба у чужого гадостного мне зеркала. Жизненный опыт загодя выплюнул перфокарту предупреждения, как-то: чужие беременные, звонящие вам ни с того ни

с сего в дверь, всегда чреватые осложненными обстоятельствами. Их мог забрюхатить ваш муж. Или сын. Или брат! Ваш приятель, у которого уже есть семеро по лавкам. Ваш папочка, выстреливающий на вдвоей старости лет бездумно, стихийно и страстно. Так как — повторю — моя голова устроена для усложнения мира, то я подумала все сразу. И молила Бога, чтоб это был многодетный приятель, пусть лучше он. Я уже готова помогать ему материально в виде круп и макаронных изделий, а также несношенных детских вещей. Когда я выходила из ванной, кубарек с солнечной дорожки гнусно хихикнул на горячем кране и сказал довольно громко и без малейшего сомнения: «Дура!»

Гостья сидела в кресле, широко раздвинув ноги. Молния на джинсах была разверста до своего упора, и хорошо виделась натянута на пупке голубых трусов. Завозились в голове мысли. Ну пришла бы к чужому человеку беременная я, пусть даже с распахнутой ширинкой? Разве не прикрыла бы я голубые трусы любимым подручным предметом — концом блузки, носовым платком, шарфиком, шапкой, наконец, моей диванной подушкой, что лежала рядом как бы специально. Возьми, мол, и прикройся! Но так поступила бы я, и с этих самых своих мыслей я окончательно и бесповоротно вступила в глупость истории.

Беременная девушка с лежащим между ног животом сказала:

— Я беременна. — И почему-то встала и повернулась туда-сюда, видимо считая позицию стоймя убедительней.

Я всплеснула руками, как бы до этого ничего не заметив, не увидев, а теперь, увидев, удивилась, восхитилась и плещу руками.

— Поздравляю! — радостно сказала я. — Ребеночек — это замечательно! — Гостья посмотрела на меня как на идиотку. В соседней комнате не на жизнь, а на смерть скандалили радости моей жизни — дети, деля линейку.

— Хотите чашку чая? — прогнусила я голосом Элизы Дулитл.

— Лучше кофе, — ответила она.

Кофе надо было варить, у меня не было растворимого. Я позвала ее на кухню. Пришлось отодвигать столик, чтоб тяжелой девушке было удобно сесть, она брезгливо умащивалась на пластмассовой тонконогой, охлаждающей зад табуретке. Я сдуру предложила ей нормальный стул, напрочь забыв: в кухне стул не помещается — в ней всего пять метров, и все ее возможности давно изучены при помощи строкомера.

Я внесла стул и вынесла из кухни все, что могла, загромоздив крошечную переднюю. Стол почти вплотную приблизился к плите, и я сторожила кофе на расстоянии, зависнув над столешницей. Холодильник был от меня отрезан напрочь, но язык, живущий независимо от меня и от обстоятельств жизни, предложил гостье «колбаски и сырку». Беременная девушка рылась в холодильнике сама — он ей был доступен. Рылась, рылась и нарыла заныканную «Виолу», по тем временам дефицит. Я, грешница, хранила сырок для себя, для того редкого момента, когда в доме никого, я одна-одинешенька, свободна, так сказать, от постоя и у меня на этот счастливый момент все сделано. Тогда я завариваю персональный чай и лакомясь, набирая на кончик ложечки эту самую «Виолу». Даже дети были ко мне в этом случае щедры и снисходительны. Сын говорил сестре: «Не ешь эту «тетку»... Это мамино баловство». — «Я, конечно, ее не хочу, — отвечала дочь, — но делиться честно. Я возьму капельку».

В этот раз мне не осталось ничего. Господи, прости меня! Не жалко. Ни тогда, ни теперь. Почему же я так подробно про себя, нелепо зависшую над столом, про нее, смачно намазывающую «тетку» на полбатона, про табуретки, загромоздившие вход и выход в квартиру? Про то, как она, привстав, слегка приспустила джинсы, тихо ругаясь при этом?

Я толкусь на этом, ибо это был процесс погружения в идиотию. В прошлом веке написали бы — морок. И оно пришло мне на ум, это слово, но куда оно к табуреткам, ширинкам и плавленому сыру? Не всякое слово не во всякую строку лезет. А идиотизм ситуации в том, что я не задаю ни

одного действительно существенного вопроса, она тоже не соизволит мне объяснить, с чего вдруг пришла и пьет мой чай с моим сырком.

Напоминаю: виделась в чужой прихожей. Я маялась с интеллигентом на голову ниже меня, который норовил меня всунуть в «зайца». В зеркале — проклятущем зеркале! — мы встретились с ней глазами. Я — гостья уходящая, она — пришедшая. Вот и вся любовь. А теперь — она съела «тетку» и спускает у меня штаны.

Ладно. Жду.

— Я закурю, — говорит она.

— Пожалуйста, — отвечаю я, хотя в моем доме, где практически можно все, «не курить» — единственное условие. У меня на дым аллергия.

Но беременным не отказывают. Беременных лелеют. Она курит, я за-скакиваю в ванну, чтоб закапать себе нос. Дети с выгаращенными глазами, унюхав запрещенный дух, смотрят на меня через нагромождение табу-реток.

— Это будет не простой ребенок, — сказала мне гостья. — Он в честь Булгакова. Я зачала его на Патриарших в Вальпургиеву ночь.

— На чем зачала? — спросила я, будучи душой и не сумев охватить объем информации.

— На скамейке! — почему-то закричала она. — Это вы все на диванах и кроватях. А на меня смотрели звезды!

Дети выглянули в табуретный проем. «Какие примитивы, — печально подумала я. — Типично кроватно-диванная продукция. Что с нее взять?»

Мистер Воланд нагло хихикнул в вентиляционную решетку. Я выпрямила стан. Ну ладно, ладно, не стан — туловище. Затекшее в идиотской позе... Но выпрямила — точно. Выпрямилась. Потому что хихикнул Воланд? Да нет же, нет! Кто такой Воланд? Дитя. Дитя Булгакова.

А Булгаков — это святое. Можно потерять ум, честь и совесть, но потерять одиннадцатый и первый номер «Москвы» с «Мастером» не просто нельзя. Это смерти подобно. Как-то ко мне в очередной раз приехал очередной гость из провинции. Он почему-то ходил босиком, а носки сворачивал в малюсенькие катышки, даже не знаю, как это у него получалось, и клал на видное место, на трюмо там или на книжную полку. Вот на полке он у меня и углядел переплетенного Булгакова, тогда еще раритет из раритетов.

— Это тебе надо? — спросил он, стуча кургузым пальцем по светло-коричневому томику.

У меня просто слов не нашлось от возможности постановки такого вопроса.

— Жаль, — сказал он. — Мне очень надо.

— Всем надо, — ответила я. — Это же Булгаков!

— Нет... не в этом дело. Я совершенно не понимаю эту книжку. Совершенно! По-моему, это чепуха. Я начинал читать три раза — и не смог. Я что, дурак? Нет. Я умный. Я хочу разобраться...

Этот экскурс к человеку с носками-катышками можно вычеркнуть к чертовой матери. К истории моей глупости он отношения не имеет. Так, вспомнилось время, трахнутое Булгаковым. Каким же удивительным мастером оказался незабвенный Михаил Афанасьевич — поимел сразу и всех.

И вот — оказывается! — у меня сидит на стуле, одновременно неся в животе почти готового ребеночка, человек — женщина, который любил писателя не так, как все, — ля-ля, ля-ля! — а до кошмара конкретно. Пришла на Патриаршие, легла на скамейку (твердо же!), где-то там шебуршились ведьмы и ведьмаки, тихий дух бедолаги Аннушки прятался в телефонной будке, предмайская иллюминация сбивала с толку нечистокровных грешников, внося сумятицу и в их и без того сбитые с толку души. Только чистокровные знали, что разноцветные огни зажигаются в их честь и говорить тут не о чем. Их праздник! Праздник всеобщей порчи.

Значит, так... Туловище мое, туло — пряменьское, фантазия моя буй-ненькая, экстаз поленький. Решеточка вентиляционная колыхается.

И это вместо того, чтобы спросить: а кто делал вторую часть ребеночка? Я человек верующий, но с фактом непорочного зачатия отношения — скажем — непроясненные. Червь сомнения меня гложет. Змей...

А беременная девушка, оказывается, давно мне что-то рассказывает, и, возможно, самое главное, я, балда, прослушала.

...площадью не поделится. И вообще не поймет. На диване ей было бы понятно. У нее многие на диване... Дверь закроют и как будто Галича слушают. А Галич для звука... Ложное включение. Понимаете? Мне так за него обидно делается...

— Он бы на это не обиделся, — почему-то брякнула я.

— Нет, обиделся! — возмутилась гостя. — Поэтому я на это никогда бы не пошла. А я что, не имела возможность под музыку? Да пожалуйста. Вы же знаете, вы же сами приходили...

— Куда я приходила? — с ужасом спросила я. Этот ужас мой очень важен. Я едва не потеряла сознание, потому что совершенно не могла вообразить, где я бывала и где воспроизводство человечества шло под песни Галича. Ведь речь шла о некоем чуть ли не постоянном потоке действия, из которого отважные диссиденты, можно сказать, выплывали, выбирались и, встряхнувшись, бежали ложиться навзничь возле светлой памяти Аннушкиного маслица.

Только через какое-то время до меня дошла дичь информации. Оказывается, речь шла о тишайшей, добрейшей, плохо видящей моей подруге Асе — у нее жило в прихожей отвратительное мне зеркало, — гостеприимство которой мне в Европе сравнить не с кем. У нее кормились, поились, спали, жили день, два, четыре, восемь люди, кошки, собаки, птицы, черепахи, кролики. Ее бывало трудно разыскать на этом толковище. Близорукая, нездоровая, она, конечно, где-то гнездилась, за какой-то из закрытых дверей, откуда звучали то Галич, то Высоцкий. А сейчас моя гостя убеждала меня, что там не слушали музыку. Но я-то слушала! Сидя на диване, между прочим.

— ...Меня зовут Женя, — сказала мне гостя.

В конце концов это надо было когда-то сделать — познакомиться. Я знала, что некая Женя, не поступив в институт, как-то попала к Асе. К ней всегда попадали как-то. Это был демоприемник, где отлеживались, отсиживались, где прятались. Как во всяком приемнике, в нем, случалось, хамили именно тем, кто кормил и вытирал сопли. Ася хамства не видела по причине особого свойства. Ее подопечные были выше подозрений. О них нельзя было подумать плохого, а уж сказать!

Тут опять на выброс просится эпизод вне сюжета.

...Звонит Ася. У нее только что поменяли разбитый толчок, в туалете непролазная грязь, новый и разбитый унитазаы стоят рядом и практически лишают смысла существования данное место пользования. Не могла бы я...

Дело в том, что Ася — умница, прелесть, душа — всемерно косорука. Не в прямом смысле, а в том, что ничего из того, что знает и умеет всякая баба, она делать не умеет. Она замирает над хорошо выбритой импортной курицей, не будучи уверенной, нужно ли помыть ее еще и мылом или достаточно почистить, как яблоко. Звонит и спрашивает. Она не умеет стирать свое интимное. Она не знает, как метут пол и скребут кастрюлю. Это ее удивительное свойство — откуда только оно взялось, если она девушка из семьи работающих участковых врачей, — всегда было для меня раздражающей тайной. И надо сказать, что, любя ее, в минуты ее косорукости я готова была ее убить. И не раз. На неумехости хозяйки жирели ее приживалы. Сваренный неизвестно откуда взявшейся девицей супчик становился предметом такой Асиной благодарности, такой преданности, что можно было не беспокоясь жить у нее год. Сама она — ни за что! — никого ни о чем не просила, просто супы варились потому, что пришлая девица сама захотела поесть и полезла в шкафчики. Меня же Ася могла попросить о чем угодно, — это была ее слабость, а моя гордость до этого самого слу-

чая. Ну так вот... Она мне позвонила, что в уборной нельзя сделать пи-пи, так как разбитый толчок стоит на пути к цели.

И я к ней безропотно поперлась через всю Москву, правда, кляня ее, дуру, что не попросила рабочих вынести за собой мусор. Наверняка они сломили бы с нее более чем, Ася в деньгах не разбиралась, как и в курицах, но хоть за пределы сортира можно было этим сволочам пролетариям вынести толчок? Потом я узнала: все так и было — пролетарии сволочами не были, они вынесли разбитый унитаз в коридор. Но у Аси в тот вечер было много людей, и даже два поляка-переводчика, и, с точки зрения музыки и литератур, стоящий посередине предмет как-то не звучал... Поэтому она сама — кретинка эстетка — попросила его запятить назад.

Я всегда была закаленной бытом женщиной. (Написала почему-то «пытом». Может, так даже точнее.) Я носила и ношу тяжелое туда, сюда и обратно. Умею самолично двигать мебель. Даже пианино лихо качу по комнате, упершись в него задницей.

Но вынести разбитый унитаз на помойку — это пардон. Не потому что чванюсь, а потому что не осилю. Съесть-то он съест, да кто ему даст?

— А я думала, ты сможешь, — расстроено сказала Ася. — Ты ведь ловкая.

Двери в комнаты были закрыты. И в первой и во второй звучали сме-хи свободных людей.

Я распахнула двери. Квартира была полна в основном мужчин. Они пили вино и заедали его сыром рокфор. Им было жарко, и некоторые, совсем не отягощенные путами, были голые по пояс. Блеклые, тощие половинки били в глаз.

Я ведь открыла дверь не просто так: мне хотелось соединить мусор и бицепс, сделать это за деликатную Асю, которая никогда бы не посмела прервать умную беседу ради такого вонючего дела. Я — другое дело. Я, конечно, тоже могу за рокфором ляпнуть какую-нибудь оригинальную мысль, но, как выясняется, не этим я человечеству полезна. Я могу выносить говна. Это главное. И даже могу нагло попросить мне помочь. Именно так коротко, как прораб, я и сказала:

— Надо помочь. — И ушла. Не стоять же над душой, пока оденутся блеклые тела.

Толчок из туалета мы с Асей вытаскивали вдвоем. Я помню напрягшееся Асино лицо, ее пальчики, которые ничего не могли ухватить, свои пальцы, которые удачно попали куда-то в волглую трубу и дали мне хороший рычаг для движения.

Одним словом, битый красавец остался в коридоре, мусор я вымела и бежала от Аси так, как не бежала, пожалуй, ни из какого дома больше.

С тех пор я бывала там все реже и реже. Однажды отразилась в ее зеркале в день ее рождения. В другой раз приехала по «скорой» искупать шелудивого кота.

Аси уже нет. Я не знаю человека добрее и отзывчивее ее. Я не знаю другого человека, которым так бесстыдно пользовались все кому ни лень.

Но мы еще во времени ее жизни. И у меня гостья, которая — оказывается! — костерит Асю.

Я потихонечку вникаю в смысл.

Во-первых, Ася в упор не видит, что она, Женя, носит в себе конкретное доказательство любви русской женщины к литературе.

— ...Я становилась к ней боком...

А! Вот почему и ко мне она входила таким макаром. У нее уже были основания подозревать людей в куриной слепоте. Боком она как бы выходила из застенья, а мы, дураки...

— ...Она заталкивает меня в больницу, думает, у меня печень, раз меня рвет, а у меня поздний токсокоз. Я прочитала в энциклопедии.

А! Подумала я. Ася мне уже звонила: Женечка — знаешь, у меня живет девочка? — ослабла от рвот, видимо, что-то с желчными протоками, не могу ли я устроить ее в больницу? Нет, ответила я. Сама умираю. Конеч-

но, я ответила не так. Я даже куда-то звонила, но у меня всю жизнь нужных связей — ноль. Сама не знаю, что это, но я до сих пор как от чумы бегу от тех, «кто по какой-нибудь части». Я заранее уже боюсь, чтоб меня не заподозрили: не случайный телефончик в книжечке записан, корысть в нем, корысть! Все это не потому, что я хорошая, а потому, что плохая. Во мне страшного Божьего греха — гордыни — великое количество! Тьма! И бита бываю за это Всевышним чаще частого, но ничего не могу с собой поделаться. Лучше сдохну, чем позвоню, попрошу... Лучше сдохну. И очень может быть, что когда-нибудь и сдохну. Врача своего нет, а сколько их возникало естественным путем. Нет, не надо, спасибо! Врача не вызывали. Поэтому и жду, скрючившись, неотложку, чтоб элементарный укол сделала. Ну что за балда, если за жизнь не приобрела своей медсестры по близости.

Но это так. А пропо... Вскрик седалищного нерва.

Одним словом, от *устраивания* Жени в больницу я тогда быстро *устранилась*. Устра-устра... Птица такая может быть с наглым клювом и близко сидящими глазками. Гав-чук!

— ...*Мне же ехать некуда. У меня родители верующие. Убьют.*

А! Подумала я. Ребенок большой и вот-вот... Если мать убьют, то и ему хана. А в нем замысел, он не просто ручки, ножки и пупок, он из Вальпургиевой ночи к нам едет. Ему плохо сделай — неизвестно чем кончится. Вон она как на меня смотрит, мать-несушка. Строго и побуждающе. Может, требует, чтоб к тем моим некачественным, кроватным детям я прибавила еще одного, сотворенного по правилам, а не абы как, чтоб уснуть скорей?

— ...*А что, ей комнату жалко? Да? Одна в двух... Это честно? А меня обзеть?*

Обзеть — она не говорила. Это я придумала. Потому что поняла: началась история и я в ней уже сижу по самую маковку. Асю обидеть не дам ни ради какого ребенка. И эту девушку ночи тоже не дам. Дитя жалко. И Воланда боюсь. Это растительное масло, несешь-несешь — и кокнешь.

Тут-то я и задала неприличный материалистический вопрос, кто автор второй половинки ребенка.

— Это не важно, — сказала мне гостя. — Он женат. У него дети. Мы с ним просто единомышленники.

В этот момент я продвинулась в своем развитии неизмеримо дальше, чем за все предыдущие годы.

Я знавала детей от любви. Даже целовала их. Знавала от расчета. Вполне хорошенькие. Дети от недосмотра тоже были вполне. И даже от изнасилования ничем плохим не отличались. Дети же по пьяни и по глупости — так ими же просто кишмя кишит.

От единомыслия знакомых детей у меня не было. Я пошла в ванную и приложила к лицу мокрое вафельное полотенце. Маленькая сволочь ку-барь все еще сидел на горячем кране.

— Пошел вон! — сказала я ему.

— Я еще приведу товарищей-единомышленников! — засмеялся он. Ясное дело! Шабаш... Какая же я кретинка, что не отдала Булгакова тому своему знакомому, что делал из носков катышки и складывал их на книги. Пусть бы читал, вникал, понял и имел все остальное. Ведь с кем поведешься...

Лично я повелась тогда с райкомом КПСС. Шабаш так шабаш. Внутри этого места работала одна женщина, с которой судьба свела меня на юге. У нас с ней было одно время на какую-то водную процедуру, убей бог, не помню какую. Не важно.

Она была ко мне строга — по своему положению. Она была ко мне добра — по существу глубоко спрятанной, чтоб не нашли, души. В ней все это боролось, колошматилось, нервировало, и когда я уезжала, она так радостно меня провожала, что я поняла: из ее жизни вывели козу. Дело в том, что она дозналась, что я автор одного порочного сочинения. Партий-

ное содержание возмутилось, что меня и ее кормят одним и тем же. Она была не виновата. Просто она хотела четкого соблюдения форм и правил. Я не должна была быть там, где она. Но если уж такое случилось, я должна была иначе проявляться, чтоб не возникало путаницы. Одним словом, от меня ждали больших безобразий, а я даже чижика не съела и даже в естественном разврате юга замечена не была. Со мной можно было ходить по терренкуру, заглатывать воды, со мной не было проблем, как застегнуть лифчик на распаренном теле, если он не сходится. Я была до противности ординарна и не соответствовала своему досье. Мне было это сказано «с доброй сестринской улыбкой». И я обрадовалась.

Ее звали Анжелика Геннадиевна. Сокращению и упрощению такое имя в ее положении не могло быть подвергнуто, его надо было носить полностью, а народу произносить.

— Как вас называла мама? — бестактно спросила я, достаточно перегревшись на солнце.

— Так и звала, — строго ответила Анжелика Геннадиевна, и хоть она — положительный герой моего рассказа, я все-таки ее сокращу. В конце концов, я ей не мама. Впредь она у меня А. Г.

Было ясно сразу — это не телефонный разговор, надо самой ехать в райком, значит, куда-то надо девать из кухни мою беременную. Вот-вот придет с работы муж, а он никогда оттуда не приходит в хорошем расположении. Табуретки в прихожей могут стать той самой каплей, от которой неизвестно что и куда прольется. Хороша же я буду, если все это не предусмотрю заранее. Поэтому гостя была пересажена опять и снова в кресло в комнате, ей было разрешено курить и там, табуретки вернулись на свое законное, записка мужу была написана в лучшем эпистолярном стиле. «Дорогой! — писала я. — У нас сидит девушка. Потом расскажу. Пусть курит. Проветрим. Ужин на плите, можешь предложить и ей, но она не помещается на табуретке. Отнеси ей в комнату. Я ставила ей в кухне стул, но это сложно... Потом расскажу! Я поехала в райком по делам этой девушки, к той бабе, которая — помнишь, я тебе говорила? — гнобила меня подозрениями в санатории. Но, в общем, она ничего и одна может помочь. Партия — вдохновитель и организатор... Не злись, что отягощаю чужим человеком, но тут — сам видишь — беременное дело. Я постараюсь быстро».

Вернулась я поздно, потому что пришлось ждать А. Г., пока она закончит совещание по подведению итогов чего-то там. Она пришла возбужденная, слегка гневная, но отчасти и довольная, так что я поняла: итоги нормальные. Идем вперед.

Конечно, я своим рассказом свела на нет всю созидательную работу А. Г. в текущем году. Я повесила ей на плечи распутствующих девушек, верующих родителей и Некий Дом (мною тщательно скрытый), где сохранилось вне закона и вовсе беременело тудеядство.

— Она не работает? Она не стоит на учете в женской консультации? У нее связь с женатым? Но кто-то на это смотрел? Кто-то этому потакал?

Конечно, можно было А. Г. удручить фактами несовершенства руководимой партией страны. Можно было со смехом рассказать, как беременность эта наивно принимается за болезнь печени и желчных протоков, но тогда А. Г. совсем бы запуталась. «Грязь жизни» под грифом «Совершенно секретно» в их кабинеты поступает регулярно, но наивность с доверчивостью, а отзывчивость с легковерием, настоянные на ритуальном чтении какого-то писателя, — это уже из разряда проблем, с которыми разбирается другая, родственная им организация. Я, умная, проводила дело своей госты по легчайшему разряду — разряду бытовой распушенности. А. Г. смотрела на меня строго, она говорила мне глазами, что у ее знакомых подобное не случается. Так хотелось, так хотелось переложить все это на плечи Михаила Афанасьевича. Его же рук дело! Это по его заветам в последнюю апрельскую ночь шли двое единомышленников на лавочку Берлиоза. Но я веду себя тихо, безропотно, я соглашаюсь с гневными глазами

А. Г. Это мои знакомые, мои. Это мое распутство, мое. «И только вы, А. Г., только вы можете починить этот примус».

Все-таки райкомы — место деловое и решительное. Теперь таких нет. Раз-раз — и уже роддом готов принять без прописки и документов беременную *М* в любое время, хоть сегодня в ночь.

Это было прекрасно: сегодня и в ночь. Я вернулась домой, взяла Женю, на такси мы приехали к Асе, и пока туда-сюда «большая» собирала вещи, я молотила про больницу и отделение терапии. В общем, я увозила от Аси как бы печеночницу. Ася благодарно хватала меня за руки, нежно за плечи Женю, не замечая, как та от нее отряхивается, как хамит скошенным ртом, как хлопает дверью, а потом лифтом. На тебе, на! Нота бене: ни один добрый поступок не остается безнаказанным.

В больнице нас приняли душевно, в палате было тепло и чисто, две женщины лежали вверх высокими животами, а одна ходила туда-сюда, поддерживая его обеими руками снизу. Понятное все дело.

Когда я уходила, Женя сильно ущипнула меня за руку, может, она так выражала «спасибо», а может, усиливала этим свои слова.

— Пусть она меня пропишет и отдаст нам комнату.

«А кормить вас кто будет?» — подумала я, но не спросила. Я только сказала, что теперь, когда она под приглядом, я расскажу Асе, куда на самом деле я ее увезла, а потом будем искать выход, уже все вместе.

— Нечего искать, — ответила Женя, — и делать проблему из ничего.

Ничего себе ничего!

У Аси толокся народ. Какие-то ряженые показывали слайды. Ася хотела меня вовлечь в восхищение, но я уволокла ее в кухню.

— Слушай сюда, — сказала я, разворачивая ее от идущих из комнаты звуков бубна. Там при определенных картинках старый обшарпанный дядька ударял в игрушечный бубен, набрехав всем, что бубен подарил ему очень продвинутый посвященный, который не просто бывает *там* и *тут*, но и приходит по зову. Следовательно, когда обшарпанный нужное количество раз бряцнет возле слайда, продвинутый тут как тут и явится. Надо только открыть в доме все замки и закрылки. Я увела Асю, когда шло всеобщее отворение. Некоторые дамы расстегивали пуговички, щелкали замками сумок, ширкали ширинки.

Я повернула Асю лицом к кастрюлям. Я закрыла в кухню дверь, но тут Ася была непреклонна — дверь все-таки приоткрыла.

Чертов продвинутый! У меня голова шла кругом от накопившихся слов и от неисповедимости дальнейшего проистекания событий, а тут детский бубен, кучка малахольных и умница Ася на страже открытых для чуда дверей.

Не заскучаешь с вами, товарищ Воланд. Не заскучаешь.

В самых что ни на есть вульгарных словах я обрисовала Асе ситуацию. Это был правильный тон и правильная ненормативная лексика. Ася хлопнула дверь и бессильно рухнула на голубенькую табуреточку.

— Падаешь! — ехидно сказала я. — Падаешь! Что ж ты, не видела, что у Женьки зад стал в два раза больше твоей табуретки? Я ее на стул сажала.

— Вон стул, — сказала Ася. — Я думала, ей нужна спинка. Она жаловалась на позвоночник.

— Интересно, — спросила я, — за какое явление природы ты приняла бы схватки?

— О ужас! — пробормотала Ася. — Только не это!

Каждый из нас в чем-то силен, а может, даже велик. Каждый из нас в чем-то беспомощен и слаб. У каждого из нас своя температура плавления. Знал бы — закалялся.

У Аси было слабое место — младенцы и все, что им предшествует и восшествует. Ну плохо ей от этого делалось, плохо. Был у нее какой-то мистически-брезгливый ужас перед самым фактом явления на свет. Вернее, перед способом явления. Ну не нравился он ей, этот способ. Не нравился! Согласна, не самый эстетичный и не самый благоуханный, кто ж возражает? Но как-то за всю историю человечество смирилось со всем

этим раскоряченным кошмаром. Не такие, как мы, женщины — королевы и царицы, можно сказать, — а проходили через это унижение.

Сказано же было дуракам — «в муках». А какая больше мука, чем унижение? Вот этого-то «горя-злосчастия» в рождении более чем... Или это только у нас, русских? Как там растопыриваются американочки? Как там у них проходит процесс клизмы и потуги? Да ладно... Неделикатная это тема — физиология рождения. Вот Ася и хлопнула дверью и, может, напрочь закрыла дорогу продвинутому, который уже топтался на порожке, скреб подошвочки о старый Асин халат, распятый на резиновом коврикe. А тут возьми и хлясни дверь. Труба тебе, продвинутый. Ибо за дверью более важное — за дверью Асю тошнит от суровой правды рождения человека.

— Я не хочу! Не хочу! — трепыхалась моя горемычная подруга, как будто это ее ведут на рождальное кресло. — Не хочу! Не хочу!

Самое время было сказать ей про то, что Женя хочет у нее поселиться навсегда. Самое время... Не правда ли?

Я успокаивала Асю и наконец успокоила. Просто сказала, что как-нибудь с Божьей помощью что-то да придумаю.

— Ты не знаешь, кто ее единомышленник? — спросила я. — В конце концов, взять бы его за причинное место.

Но в Асиной светлой голове такая информация помещена не была. Женатый и с детьми? Тут все такие. Сдвинутый великим романом? Другие сюда просто не приходят. Что делали в минувшую Вальпургиеву ночь? Жгли свечи, а одна фанатка танцевала голой и пяткой напоролась на кнопку. Кровищи было! Ася бегала к соседям за йодом, потому как по нервности не нашла у себя. И Женя была. Кажется, была... Но долго ли смотреть на Патриаршие? Туда и обратно? Может, именно когда потекла кровь и голая девушка плакала горькими слезами.

На следующий день позвонила А. Г. и твердо сказала: надо вызывать родителей. Она не хочет неприятностей себе на голову.

Неглубоко мыслил райком. Неглубоко. Я эту мысль давно отдумала и уже искала другую. Ведь, исходя из слов Жени, верующие родители с дитем в подоле ее не примут. Нужна была тонкая политика, вышивание гладью.

Я ломала себе руки. Потом, естественно, вправляла их обратно. Не та у меня жизнь, чтоб ходить все время с заломленными руками. В конце концов, я ими ем. Да и дети простые мои просят каши, муж требует понимания, жизнь требует сил, а Ася не слезает с телефона. «Ну что? — вопрошает. — Что будем делать?»

Утром в газете прочла информацию: где-то в Мурманске гикнулся самолет. Автоматически отметила, что рейс служебный и детей на нем не было. Успокоилась. Потом, успокоившись, покрыла себя позором, стала виноватиться и уже *так жалеть* погибших, будто они мне все двоюродные братья. Есть во мне, есть эта хохляцкая завываемость. Есть «Ой, лышенько, лышенько, ой, лышенько, лышенько...». Живу, живу, а потом как заскулю на ридний мови... Вот зачем-то это моему организму надо, чтоб и «выли витры», и чтоб они были «буйни», и чтоб «дерева гнулысь». Одним словом, «ой, як болить мое сердце, а слезы нэ льються». Сволочи слезы. Русскоязычные они, что ли? Но это так, шуточки, заметки на полях, маргиналии по-ученому. Но Булгаков тоже, между прочим, вырос на Украине. А про Гоголя я молчу. Не им заквашен этот глупый сюжет.

Заметочка о разбитом самолете оказалась в пандан. Она вспорола во мне отсек с замороженными на случай войны «выходами из положения». Там, сказала я себе, под Мурманском (я именно так поставила ударение для убедительности истории) погиб родитель другой половинки ребенка. Никакой он не женатик, тем более не отец каких-то там детей, не проходимец, а скорее землепроходец, который ринулся на Севера (именно так, именно), чтоб заработать деньги на семью (у меня дальше шли сплошь неправильные ударения: историю для простых верующих надо было плес-

ти именно языком идиотов. Это должно было заменить подвывания тюменьщины, которых я не знала).

И вот с Асиного телефона, — старательно выставив всех продвинутых и нет, с бубнами и без, голодающих Поволжья и голодающих за права всех и всякие, — я кричу в далекие края неизвестной мне женщине жалостливую историю. Несчастливая переспрашивает меня тысячу раз, и ее занимают (так мне кажется) только глупости: почему дочка ничего не писала и почему не звонит сама? Я кто? Кто я вообще?

Я — соседка. Чья? Аси. (Она знает, что Женя жила у какой-то Аси.) А где Ася? Ася — оказывается! — тоже в больнице. Ася машет руками, ей не нравится эта часть моей брехни. Надо, значит, поправляться. Асе уже лучше, кричу я, много лучше, но она потом сразу уезжает за границу. Ася машет руками у меня перед самым лицом. Значит, и это не то... А! Доходит до меня. В квартире ремонт, кричу я бескрайним просторам, у Жени аллергия на краску, поэтому ее забрали в больницу. Ася радостно кивает: то! то! Ничего страшного, ничего! Это кричу я. Дома, с вами, с мамой, она быстро придет в себя от краски. Краска — главная тема разговора. У Жени, оказывается, это с детства. (Это же надо! Как я попала!) Но я не уверена, что там, на том конце провода, понято главное: Женя вот-вот родит и забирать ее надо скоро. Сейчас. Нет, мать этого не слышит. Она говорит, что, конечно, приедет, куда же деваться, раз девочка больна. Но, может, после Рождества? Это когда же Рождество, соображаю я. Да, седьмого... Поздно! Поздно... «Поздно! — кричу я. — Надо успеть до Нового года. Как бы не родить в самолете?» — «Родить?» — спрашивает мать. И я начинаю снова. Упираю на погибшего жениха и на тяжелое моральное состояние Жени. «Вы нужны!» — кричу я. «Никогда же не была нужна, — отвечает женщина. — Сколько времени ни одного письма». — «Простите ее, — кричу я, — простите!» Женщина молчит, а потом спрашивает, можно ли купить в Москве цигейковую детскую шубку. Для семилетней племянницы. «У меня есть! — кричу я. — От дочери. Практически новая. Отдам!» — «Спасибо большое! — говорит женщина. — У нас зима такая холодная». — «Когда вас ждать?» — кричу я. «А может, племянница приедет? С девочкой. Померяет шубу!» — «Жене нужны вы!» — отчаянно ору я. «Да бросьте! — говорит она. — Шубка у вас какого цвета?»

Ася стучит перед моим лицом пальцем по циферблату. Мы говорим уже двенадцать минут. Мы не продвинулись никуда.

Вопрос, приедет — не приедет за Женей мать, остался открытым. Дома я стаскиваю с антресолей детскую шубку. Я погорячилась — она отнюдь не похожа на новую. Нормальная обтрюханная детская шубейка, с поблекшим от саночек задом. Нет пуговиц, нет вешалки. Зато в рукавах варежки на резиночке. Копаюсь в детском мешке, что еще можно прибавить к явно непрезентабельной шубке? В конце концов, пусть берет что хочет, ничего не жалко... Только пусть скорее эта глупая история кончится.

Еду к Жене. Рассказываю, что звонила ее матери, что та теперь все знает и — возможно — приедет за ней. Молочу и про то, что придумала ей для порядочности погибшего в Мурманске жениха, как бы почти мужа. Говорю, а сама жду, как она гневно закричит и выставит меня вон. «Это вы ловко, — говорит Женя. — Вы мне сообщите место и рейс и как его зовут?» — «Но имя-то придумайте сами!» — возмущаюсь я. «Да нет уж! — скошенным ртом отвечает она. — Ваши с Асей дела. Значит, не пропишет?» — «А с какой стати? — возмущаюсь. — Вы ей кто?» Женя смеется всей левой стороной лица. «Фальшивые люди! — кричит она. — Вам соврать легче, чем поделиться квадратами!»

Я тороплюсь уйти. Я, можно сказать, бегу... Потому что не хочу слышать от нее свои мысли. Почему так все носятяся с какой-то нечеловеческой щедростью русски? По части последней рубахи, куса хлеба, чтоб одну со страстью сорвать с себя, а другой дать откусить по самые пальцы, — нет нам равных. Нас надо сгонять в блокады, в войны, в комму-

налки, чтоб как драгоценный эликсир из нас начинало это капать — великое русское... Но какие же мы свиньи в хорошей жизни! Тут уже не капли, тут тазы подставляй под нашу зависть, злость, ненависть, что у другого наличник фигурней, а крыльцо позакovskyристей. Дорогая моя Ася... Я тебя сужу тайным судом, и я же тебе помогаю совершать то, что мне глубоко не нравится. Вот такой у меня бег из роддома.

В метро я всю себя изжевала и выплюнула. Такой себе противной я давно не была и не знаю, как себя вытянуть из заводи, которую сама напрудила. Спасая косорукую подругу, мнящую и слывущую защитницей сырых и убогих? А может, надо было ей сказать: «Дорогая моя! Гони их всех в шею! Ну что это за доблесть — кормить всех дядек и теток, объявивших себя духовными личностями? И что это за духовность, если унитаз разбивают, а осколки выносить гребуют? Голые девушки с нежными младенческими пятками, тонконогие бородатые сыры и тонкоперстые девы. Все фурфурные, воздушные, всем претит работать, а моя библиотекарьша (Ася! Ася! Это она сидит в отделе библиографии, где почти нет света, а тепла нет вообще)... Это она на свои девяносто пытается их всех накормить. Денег едва хватает на пять дней, на остальное — займы! Займы! Займы! Да! Еще есть малюсенькие фарфоровые звери. Когда-то они были произведением искусства, потом мещанством, теперь опять произведения, которые едят. И еще воруют. Стыдно же их прятать. Асе. Они стоят у нее как стояли — всегда в старинной горке.

— Я такая беспамятная, — говорит Ася. — Мне кажется, Лиса я не продавала, а его нет... — Конечно, не продавала, сперли его у тебя, подруга. Взял и положил в карман какой-нибудь «очень продвинутый», взял и скушал.

Меня заносит в эту сторону, заносит. И я уже и слепая, и глухая, и вообще сволочь. Потому что гадости я думаю, гадости.

Всякий там люд был, всякий. Да, паспорта у них не спрашивали; и лис они уносили. Но сколько она прикрыла своим анемичным телом, моя Ася. «Косили от Афганистана» — у нее, от вызовов для всевозможных бесед — у нее. От участковых, от соглядатаев, да мало ли от кого закрыться хотелось. Да черт с ним, с Лисом. Ведь нет-нет, они и хлеб принесут. Сами. И молоко. А вино сухое так почти всегда. И как хорошо-то! Под крышей спасения.

У Аси было сумрачно, две-три тихие фигуры сидели по углам, сама она металась.

— Все так легко проверить, — сказала она. — Ну что это за глупость ты придумала с авиакатастрофой?

— Это не глупость. Катастрофа была на самом деле. А одним человеком больше, одним меньше... Чего сейчас про это, если мы уже все сотворили... Надо держаться легенды...

— Я не буду, — тихо говорит Ася. — Не буду. Как хочешь. Я запираю квартиру и еду к тетке в Пышму. У меня три года не отгуляно. Кота берет соседка за осеннее пальто. Я его все равно не ношу. Электрик для меня чересчур.

Первая моя реакция — Ася остается ни в чем. У нее из теплого это самое «электрик-чересчур» и вытертая до белого тела полудожка из кролика, купленная в комиссионном на Даниловском рынке. Ношенная-переносенная, она пахла всеми бедностями сразу, во всяком случае теми, которые я сама знаю не понаслышке. Бедностью войны... Нет-нет, тот шубовый кролик в войну не жил, не надо думать, что я не подозреваю, как быстро это с кроликами случается — жизнь и смерть. Кролики войны по отношению к этим схороненным в полудожке все равно как мне сенная девка у Ивана Калиты. Это я не к тому, что имею ко двору (к его сеням хотя бы) какое-то отношение, сейчас это очень носится, очень. Я о пространстве-времени и о запахах. Так вот, у дошки моей Аси был запах бедности войны, кислотовато-несвежий, запах вещи, которую уже несли на выброс, но случилась война, и ее вернули, и долго держали на гвоздочке у самой двери,

чтоб легче было выкинуть, когда случится победа. А она, сволочь, все затягивалась. Еще дошка пахла бедностью шестидесятых, когда враз встали в очередь за хлебом с ночи, а народ к тому времени уже разбаловался, валенки сменил на опущенные румынки, старые шубейки на пальто колоколом, которое, конечно, к телу не прилегало, зато — вид! Но вот выросла опять и снова исторически неизбежная для России очередь и завоняла старыми шубами и пыльными валенками. Еще Асина полудошка пахла бедностью восьмидесятых, то бишь запахом отдельной колбасы и пота. Кстати, только сейчас, начертав слово «отдельная», я подумала, что за имя-отчество у колбасы — отдельная? Отдельная от чего? Впрочем, нашла про что... Я ведь о том, что без «электрик-чересчур» Ася, в сущности, оставалась ни в чем. Зайчишка ее и пах невкусно, и уже давно ни черта не грел. А Пышма, между прочим, на Урале... И я стала думать, как утеплить дуру подругу, и все остальное из головы вон.

Проблема шерстяных рейтуз, встав во весь рост, разрешилась в полном соответствии со всей происходящей идиотией. Их принес черт. Мне и сейчас от этого не смешно, а тогда так просто страшно было.

Итак, представим... Поздний вечер. Дети спят. Я в ночной рубашке проверяю «свет, газ, дверь, воду». Муж с отвращением читает «Литературку», в ...надцатый раз призывающую нас, так сказать, интеллигентов, осмыслить самих себя. Я в эти игры уже не играю, муж еще да. Я себя давно осмыслила. Мое, мною осмысленное пространство, — мало и узко. И пусть. Ибо знаю: как только я попытаюсь расширить себе территорию, мне не свободней, а тесней. Таков мой личный парадокс. Одним словом, «не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна» написано про меня. За пределами себя самой я оказываюсь в клетке, на пяточке же себя самой я вольная птица... Я и счастлива-то бываю *только в коконе биополя*. Никому этого не скажешь. Люди почему-то обижаются, когда без них вполне обходишься. Муж же с ненавистью играет в собственную как бы нужность человечеству и ходит вечно со свороченной скулой. Фигурально, конечно. Самос смешное в этом, что всякие там обязательства перед чадками и разными другими чадцами я при своем зверином эгоизме сполняю лучше, а он совсем никак. Я — отдельная (отдельная колбаса, ха-ха), а он всенародный... как бы. Я тороплюсь и бегу в себя, а он норовит в люди! в люди! Про скулосвороченность я уже, кажется, сказала.

Это я рисую пейзаж явления черта.

Так вот, я в ночной зимней бумазеевой рубашке с шелковыми повороточками в пандан к кружавчикам почти приближена к своему идеальному состоянию отдельности, когда уже не надо говорить слов, этих крючков общения с ненужным мне миром.

И именно тут раздается звонок в дверь.

За всю свою жизнь я так и не научилась задавать неизменный вопрос: «Кто там?» Во-первых, мне всегда это неудобно, потому что фраза мне кажется лишенной смысла. Это я не сейчас придумала, это с детства. Может, потому, что «тут» и «там» были для меня всегда менес всего конкретными понятиями. Там — было внутри, а тут — то, что и за дверью, и перед ней. Итак, звонок... На длинную бело-розовую ночную я напяливаю мужнин черный болоньевый плащ, становлюсь листьяще-шелестящей и в таком виде без вопроса распахиваю дверь.

Он стоит передо мной на копытцах. И это я вижу прежде всего.

— Добрый вечер! — говорит он вкрадчиво. — Извините за беспокойство.

И он сучит ими, копытками.

Я не из тех, кто сразу кричит от страха, тем более что в данный момент кричит муж. «Кого это принесло?» — задает он из постели вопрос гуманиста и демократа.

— Я на минутку, — вежливо, как бы мужу, говорит черт. Я же, собравшись с духом, продвигаюсь в его органолептическом познании снизу вверх.

Коротковатые и узкие брюки почти облегают тонкие кривые ножонки. «Брюки отнюдь». Их вытянутые коленочки чуть-чуть подрагивают в стоячем положении, то есть в бездвижности. На уровне коленок колыхается тряпичная хозсумка, бывшая когда-то занавеской. Над экс-занавеской возникает курточка, тоже отнюдь... Из тех материалов, которыми советские экспериментаторы от легкой промышленности стремились плавно перейти из резины в кожу. Курточка и являла собой процесс этого перехода. Как в том старом-престаром анекдоте, в котором ученый по заданию партии из дерьма делал красную икру. На вопрос, как идут дела, он радостно ответил: «Уже все получилось, осталось прогнать запах».

Идем выше. Из курточки резко и отважно возникала тонкая пупырчатая шея, которую слегка прикрывала — правильно поняли, правильно — пегая борода клиншиком. Сказала бы — калининская, но я же помню, что копыта... У всенародного старосты, говорят, тоже были — четко козлиные ноги. Но чего теперь только не скажут!

Крохотное, с кулачок лицо.

Синие, ясные глаза излучают... Есть запах... Тройного одеколona. (Кто бы мне объяснил, почему тройной? Слили три вместе?)

А тут он стянул с головы вязаную, с бомбоном серенькую шапчонку, и два немощных кривоватых рожка предстали перед моими ошалелыми глазами.

Он протягивал мне сумку из шторы.

— Это рейтузы, — сказал он. — Там ведь холодно, Север... Они безразмерные. Тянутся...

Я приняла сумку и только тут щелкнула выключателем. Лампочка в прихожей была двухсотваттная, сильная, и без светильника: сын кокнул его лыжной палкой.

Черт же — видимо, испугавшись света — быстро засеменял к лестнице, сопровождаемый моим полуистерическим и нервным смехом познания.

Хороша я, хороша, да плохо одета... Никто замуж не берет девушку за это... И правильно делают, между прочим. Мало того, что в ночнухе и болонье с чужого плеча, так ведь еще же и без ума! Приняла за черта махонького мужчинку, у которого не копыта, а старые-престарые туфли на высоких каблуках. А как ему жить иначе, бедолаге, если параметры не выдержаны. Встанешь тут на каблуки. На котурны взлезешь. Рога же... Господи Боже ты мой! Это была просто-напросто сто лет не мытая головенка и три волосины дыбом. Правильный поступок — его побег. Правильный. Таким мужчинам надо жить в зоне вечной ночи и чтоб электричество еще изобретено не было. Лучина. Вот его время и место. Вот так, исходя желчным смехом, я внесла сумку и вытащила из нее черные громадные рейтузы. На ярлыке была пропечатана марка магазина «Богатырь».

Куда они Асе? Куда? Узенькая в части бедер, безмясная в эротическо-седалищной части, моя подруга могла войти в них целиком с головой, я могла затянуть над нею резинку и столкнуть в ближайший водоем как не выдержавшую проверку жизнью человеческую особь. Неумеха и растеряха. Трусиха и покорница, разутая, раздетая, сто раз обкраденная, не умеющая носить «электрик», цвет победоносных женщин. А заботник-то, заботник каков? Козел-недомерок, приходящий в ночи специально, чтоб слабоумные женщины в рубаше, испугавшись, могли принять его совсем за другое, гордое, копытное.

Я даже сразу хотела позвонить Асе и сказать все, что думаю о ее рейтузах, но муж выразительно щелкнул нашим семейным бра, и я поняла все, что мне полагалось при этом понять: мало того, что днем у меня то и дело возникают чужие беременные, битые толчки, шелудивые коты, хождение в райком (нормальная беспартийная туда пойдет?), но и ночью может прийти кто угодно, и я почему-то позволяю себе громко смеяться при этом, а дети спят. Пришлось укладываться остороженько, боком, я

старалась ненароком не свистнуть носом или еще чем, чтоб не ущемить погранные мною интересы семьи.

Я лежала тихо и долго, я думала о том, что, как всегда, неправа во всем. Ведь в чем штука: мою подругу так стремительно утепили, а я ведь только вечером сего дня «расчесала себя» на эту тему: Ася бедная, Ася несчастная. Все ею пользуются. Ан нет. Не все.

В сюжет органично вплыли рейтузы. Все равно как. Важно, что человек оказался хороший. Я только подумала, а он осуществил. Ну не чудо ли?

Хотелось бы на себя посмотреть спящую. Видна ли на лице глупость? А если видна, то как? Как она выражена? Бежит ли из уголка рта струечка радостной белой слюны или, может, губы растянуты в некой не поддающейся описанию улыбке? Или, может, распахнут рот, источник речи?

...Я сплю... Мне снится один из моих снов-спутников. Их три. Снится первый. Я иду по лестнице вверх, которая, оказывается, идет вниз. Я перешагиваю как бы на правильный путь, но опять иду не туда. Две мои вечные лестницы, такие понятные с виду, пока по ним не начинаешь идти. Я сто лет как разгадала этот сон, без особого, можно сказать, труда. Я живу не так, как надо. Элементарно. Иду не туда. Не туда прихожу. Возвращаюсь и возвращаюсь снова. Как выглядит знак бесконечности? Как пьяная восьмерка, лежащая на боку. А может, не пьяная. Уставшая. Уставшая от бесконечности бесконечность. Она и прилегла умереть...

Утром я отвезла Асе рейтузы. Она очень удивилась моему рассказу, потом засмеялась и сказала:

— Похоже на Сеню... Он из котельной Большого. Когда-то играл в оркестре на гобое, но товарищи «по духу», духовики, его схарчили. Сеня — человек Божий, ему в стае трудно. Он ушел принципиально.

Господи! Как я Тебя понимаю!

Ты придумал альты, гобой, котельные, пастбища и лесные урочища. Ты придумал нож, вилы, серп, молот. Ты радовался, что научил и оснастил нас, слабых и голых. Могло ли прийти Тебе в голову, что мы будем становиться *принципиальными гобоистами и кочегарами*? А что мы сделали с серпом и молотом, вместо того чтобы пользоваться ими по назначению? Собирал ли Ты, Господи, по этому безобразию всех своих Петров и Павлов? Кричал ли на них? Лишал ли тринадцатой зарплаты? Или смирился сразу? Пусть, мол... Пусть будут принципиальные альтисты, пусть... Только обидно за брошенные пастбища. Таким образом, Господи, я у Тебя договорилась. Я свалила собственные дурьи дела на Твои очень далекие и высокие плечи. Полагаю, что, не дотянувшись до них, я уронила мелкоту своих проблем и мыслей на какое-нибудь несчастное африканское племя. Под звуки гобоя оно радостно подхватило мои нещедрые дары и теперь сожрет каких-нибудь собратьев... Роняем мы гадости, роняем. А их надо — в круглую кучку и в дым...

Значит, приходил ко мне в ночи гонец с рейтузами, дисквалифицированный гобоист оркестра, а ныне принципиальный его отопитель.

— Я приняла его за черта, — сказала я Асе.

— Ничего удивительного, — ответила она. — У него деформированы стопы, большой палец раздвоен. Он носит особую обувь.

— А я думала, что он просто коротышка на каблуках.

— Временами ты мне противна, — ответила Ася. — Среди маленьких мужчин процент гениев выше, чем среди высоких. Но тебе подавай мужчину большого.

— Мне подавай, — ответила я. — Я хочу мужской видимости. Когда это мне и с кем еще случится добратся до гениальности...

Я посадила Асю в поезд Москва — Свердловск, в теплое купе с чистыми занавесками. Везет же людам — они куда-то едут. Мне же досталась беременная Женя, рассерженная А. Г. и мать Жени в виде неясности: приедет? не приедет? А приедет, куда мне ее девать? Ася закрыла свою квар-

тиру, ключ вместе с котом и пальто-электрик отдала соседке. Последние ее гости жались к батарее на лестнице и жалобно смотрели на закрытую Асину дверь. Сначала имелось в виду, что все они пойдут на вокзал махать вслед уходящему. Но к вагону мы подошли с Асей вдвоем. Неприка- янный народ по дороге рассосался. Сени-гобоиста не было вообще, а рейтузы как раз были на нужном месте.

Конечно, звонок от матери Жени был ночью. Сама же дала телефон, кретинка. Конечно, самолет прилетал поздно вечером. А когда же еще?

— Я не знаю Москвы, встретьте меня.

— Попалась! — злорадно сказал муж. — Будешь знать... Говорю сразу — меня ни о чем не проси.

И я снова пошла в райком. Вот видите, какая правда жизни! Я ведь шла туда за спасением, потому что только А. Г. могла организовать дешевую гостиницу, а еще лучше — комнату в общежитии и опять же быстрый обратный билет.

Конечно, пришлось ждать. А. Г. пришла сердитая. «Как неудачно», — подумала я. Я еще не знала, что сердилась она на меня, хотя я ей еще и слова не сказала.

Выяснилось.

Женя в роддоме качала права. А так как она была по звонку от А. Г., ей там потакали. Перевели в палату на двоих, но вторую койку не занимали. Поставили настольную лампу. Еду приносили в палату, хотя Женя была ходячая. К ней приходил «психолог», который вел с ней красивые беседы о радости материнства. Но Женя лыком шита не была, она как-то быстренько усмотрела, что «психолога» интересуется и многое другое. Девушка просто зашла в радости отмщения. И «психолог» узнал много полезного. Как в некоем доме некая женщина собирает сброд, который трясет бубнами, маракасами и другими разными ксероксами, предаваясь грехам плотским и политическим.

— Ну? — спросила оскорбленная А. Г. — Я, получается, всему этому помогаю.

— Но она же не трясет бубном, — говорю я. — Она наоборот. Она сдает всех скопом. И вообще начитанная, любит Булгакова. У нее от него, можно сказать, ребенок.

Это я так остроила, потому что до смерти боялась, что сделаю сейчас А. Г. ручкой отмашку — и на моей голове заскрипит гнездо с Женей, едите, ее мамой и — откуда я знаю? — может, и залетный, у которого жена и дети, спикурует. Чего только не случается с пролетающими над гнездом кукушки.

Мне хотелось обнять А. Г. и понычть ее на руках. Хотелось сделать какой-нибудь душевный подарок райкому. Вышить бы мне крестом партийные суры или наковырять в рисовом зерне Мавзолей. Да мало ли что...

Только, только бы А. Г. меня не выпихнула в грудь.

— Забирайте ее немедленно, — твердо сказала А. Г. — я уже позвонила, чтоб ее выписывали. Занимаем больничные места неизвестно каким контингентом.

— Я потому и пришла, — сказала я. — Прилетает ее мать. Конечно, они сразу и назад, но мало ли... Может, захотят что купить младенцу или какие продукты... Пусть ее мать и заберет из больницы.

Что тут скажешь. Все-таки надо вышивать крестом суры. Она была мне безропотной помощницей, эта Анжелика Геннадиевна, дай Бог ей здоровья. Уже через полчаса я уносила в кулаке телефон и адрес некоего дома приезжих, рядом с аэропортом, где мать и дочь могли перекаптоваться какое-то время.

С вечера я засела в аэропорту, но самолет ночью не прилетел.

Не прилетел он и днем. Много говорили о керосине. В дремоте явился китаец, представился: «Керо Син». — «Я так давно вас знаю!» — воскликнула я правду.

В моем детстве у нас в глубине буфета всегда стояла бутылка авиационного керосина с притертой пробкой. Как он попадал в наше захоlustье, не знаю. Ничто железное летающее не могло бы у нас ни сесть, ни взлететь в силу причудливости рельефа — то кочка, то яма, то террикон, то шурф. Но тем не менее авиационный керосин в доме волился всю мою детскую жизнь. Может, весь его извели на мое хлипкое горло, которое лечилось именно им? Бабушка лекарства не жалела, с тех пор от ангин как от бедствия я избавилась. А если иногда прихватит — ищу авиационный керосин. Хотя нет, вру... Я ведь, по правде говоря, не знаю, чем авиационный отличается от того, что в примусе и керогазе. Жизнь через эти зажигательные предметы тоже прошла. И, бывало, прихватит кого горло, отвалили рюмашечку от щедрот из простецкого бидона.

Нет, нас так просто не взять, не взять. Вот сижу я сутки в аэропорту, неумытая, с нечищеными зубами, жду чужую маму и ловлю себя на том, что абсолютное бессмысленное терпение есть свойство моей души. Я уже с ногами на лавку и кулак под голову ложилась, а могу и просто на газетке на каменном полу... Многого могу, когда вокруг меня много многих... Человеческое количество перегородило путь вовнутрь себя самой, отделило меня от собственных мыслей и чувств, я стала толпой, я жужжу, меня много. Если повторять «много» несколько раз, возникает другое слово. Потом, через годы этим будет увлекаться Андрей Вознесенский, а я напрочь забуду, что знала этот орфоэпический кунштюк давно. Впрочем, я так много уже забыла, что, если начать жить собственную жизнь сначала, вполне можно снова прорубать тобою же пробитые просеки. Господи! Как я тебя понимаю! Ты посмотрел и увидел нас таких. «Да, — подтвердит тот, что ошую, — они опять свалились в ту же яму. Я знал, что так и будет». — «А я надеялся, — закричит в сердцах Господь, — я надеялся, что на этот раз...»

Вечером меня нашел в аэропорту муж, грубо тряхнул за шиворот. Потом так же грубо и невежливо он оставил в радиосправочной информацию для прилетающей пассажирки рейса номер Она же должна была в справочной взять адрес дома приезжих и отправляться туда.

Я тупо подчинилась, тупо приехала домой, тупо лежала в ванной. Я оставалась толпой, и момент индивидуализации еще не настал. Дети были робки, участливы, муж, вымыв меня и уложив, довольно похрюкивал. Я отметила, что человеческое и свинячье завсегда вместе. Как горн и барабан.

Утро было ясным и умным. Я была дома, была чиста. Я сделала, что могла. Сейчас я позвоню в дом приезжих, и, если наконец самолет прилетел, мы пойдем забирать Женю. Вместе с мамой, которую я уболагу по дороге. Я нарисую ей счастье иметь внуков и подтолкну к деликатности по отношению к дочери, невесте и вдове.

В фантазиях меня заносит. Погибший «жених» казался мне все более и более живым. Для убедительности правды всегда нужны подробности. Я придумала ему изъяны — левоногую хромоту (кусочек чертовщинки). Очки с сильными диоптриями и косой шрам от соска в подмышку. Хорошо бы она меня спросила, откуда я знаю про шрам. Это был бы король вопросов. Подходящий ответ — мыла, мол, маленького в стоячей воде, как сестрица Аленушка брата Иванушку. Другой вариант: мне шрам выплакала в грудь Женя и, может, именно этим пронзила: как пальчиками своими нежно шла по шраму до самой щеколки!

Какие детали! Как обрастал обман, как плодоносил! Какие там ребра скамейки над грязной патриаршей водой. Очки и шрамы, шрамы и очки.

Я позвонила в дом приезжих — названная дама не объявлялась.

Я позвонила в роддом сообщить, что Женю заберем не сразу, не утром, но мне сказали, что она уже выписалась и ушла.

Гнездо на голове закрипело и как бы накренилось. Пришлось выпрямить позвоночник, но гнездо продолжало крениться, норвя свалить меня с ног.

Я сказала себе: всё. Я хотела, как лучше. Я сделала, что могла. Я чуть не вышла суры... Я не виновата, что все ушли незнамо куда... В конце концов, это их право. Не маленькие. Все, слава Богу, в рожальном возрасте и старше. Потеряются — найдутся, а мое дело — сторона. Я отпратила в Пышму дурочку Асю, а она пристроила кота. Всё!

Никто не звонил. Бараний суп получился вкусным, вот и славно, сказала ему я. Я вычистила до блеска гусятницу. Хорошее, в сущности, дело. Не надо никому врать и ничего клянчить, надо успокоиться. Выстирала дверной половик. Самые лучшие и правильные дела — простые. Я носила с собой секатор, и если вдруг из мокрого половика начинала вылезать нить и в ней шершавилась Ася со своим омшаником, то секатор был тут как тут. Кастрюльное дно — важнее и выше. Ах, как они у меня блистали в этот день. Дны. В день.

Я абсолютно не знала, куда делись мои подопечные, и знать не хотела. Конечно, было интересно, где они. И почему я, единственный человек, который может их свести, не востребован к деятельности. Я даже не смогу доложить Асе о завершении операции. И А. Г. тоже человек, не собака в этой истории. Может позвонить и спросить: «Ну как?»

Никого и ничего.

Через два дня я стала до смерти бояться. Объясняю чего. Боялась несчастия с ними. Ну мало ли... Неуклюжая беременная без прописки попадает под машину. На глазах у матери, которая идет ей навстречу. Обе при смерти и никому не нужны. Я расчесала свою вину до крови, и меня было в пору сдавать компетентным инстанциям.

— Ну где же они? Где? — задавала я вопрос мужу и, глядя на себя со стороны, комментировала: «Ишь как заламывает руки!»

Муж на вопросы не отвечал. Он всегда презирал качество моих проблем. Он, можно сказать, ими гребовал. Да, приволок меня из аэропорта, да... Но не потому! Не потому что пожалел... А потому что постыдился. Жены постыдился, которая коротает сутки на вокзальной лавке по причине полной идиотии. Не много ли раз мелькает у меня в тексте лавка как таковая? Но я ведь не нарочно... Так по жизни, а значит, и в моей голове... Не воспаряю я. Не птица. Нэ сокил... Если лавка-скамейка реализм, то я собака, которую привязали к ржавой ее ноге. Кто привязал? Наверное, Ты, Господи... Каждому городу нрав и права. Каждый имеет свой ум-голова... По-моему, это Сковорода или кто-то еще из философствующих хохлов. Одним словом, каждой собаке место.

Передала ли я свои дурь и смятение тех дней? Если нет, значит, не умею... Простите автору его беспомощность...

А потом позвонил телефон. Звонила наша общая знакомая с Асей. Мы дружили с ней книгами, обмениваясь ими у Аси — так было удобно географически.

Лена спросила, где Ася и что за странные люди живут у нее на квартире.

— Какие люди? — поперхнулась я.

— Но это я вас об этом спрашиваю, — засмеялась Лена.

Лифт не работал, и я шла пешком. Под батареей лежал Асин кот. Рядом стояла консервная банка с остатками рыбы. Пахло, как говорят теперь, круто. Кот открыл глаз, и я поняла, что он знает, что я его знаю.

— За тебя дали пальто, — сказала я ему. — Ты не беженец и не бомж, а в полном своем праве.

Кот фыркнул и встал на лапы. Я поняла, что он пойдет за мной, может, специально для нашей с ним встречи лифт и был сломан. Так сказать — бессмысленность и дурь жизни строго и четко детерминированы. Бесхозяйственный кирпич летит, зная куда и зачем.

Дверь в квартиру Аси была широко распахнута. Женя с веником в руках стояла в прихожей, и величественный профиль живота сиял в ослепительном зеркале. Зато в позиции «фас» брякли губы, спелые, мокрые,

коричневые. Губы выворачивались наизнанку, они сигналили, что все поспело и пришла пора обернуться мякотью, соком и плодом... Такой готовенькой роженицы я сроду не видела. Некая женщина собирала с пола ошметки старых газет, на столе стоял какой-то мужчина, тряпкой на палке снимал паутину.

— Здравсьте! — сказала Женя. — А мы уже дома. Где мои рейтузы? — Она хихикнула. — Чужое надо отдавать.

Асин кот терся об ее ноги. О, великая кошачья мудрость пренебрежения к обременительному чувству любви. Что ему Ася, отдавшая за его благополучие «электрик». Ему нравились большие икрыстые ноги Жени, и какая ему была разница, каким таким образом эти ноги сюда пришли.

— У меня же ключи! — засмеялась Женя.

Мать Жени уже стояла рядом с дочерью. Это была маленькая, можно даже сказать, мелкокалиберная женщина. Мелким инструментом ей наковыряли глазки, и даже на худом, детской формы лице они смотрелись как амбразурные щели. Нижняя губа оттопыривалась вниз, делая лицо похожим на кувшинчик с носиком. Губа была треснута, видимо, по причине частого истечения вод.

— Нехорошо, — сказала я. — Нехорошо въезжать в чужую квартиру.

— А хорошо занимать одной две комнаты? Хорошо? А не отдавать чужие рейтузы?

— Я куплю вам рейтузы, — ответила я. — Я думала, это не вам. Асе.

— Асе? — закричала Женя. — Это с какой же стати?

И она повернулась в сторону мужчины с палкой. Сеня-гобоист выглядел жалко, а главное, он делал мне какие-то знаки при помощи свисающей с палки паутины. Я не умею читать палки. И еще в гневе я тупею. Если я не ору, не подбочениваюсь, не плююсь и не прибегаю к народной мове, то только потому, что хорошо себя знаю. Исплюю себя и изжую потом, уже все забудут, какая я была, а у себя самой я останусь как бы в раме... Навсегда. У меня есть не скажу сколько таких портретов. На Страшном суде их расположат вокруг меня. Не знаю, какого веса будет котомочка добрых дел, но «Я в раме» будет звучать убедительно, поэтому... Поэтому я в гневе тупею и молчу. И чем усердней молчу, тем круче тупею. Вязкий вар истекает из только ему известного места, спрямляя в голове извилины и бороздки мыслящей материальной части.

Стоя в прихожей Аси, я хорошо видела себя в зеркале, бегущую к апофеозу тупости, когда я вполне могу поздравить их с новосельем, предложить помыть полы или сходить в магазин за свежей рыбой для кота, да мало ли на что способен человек с вязким варом в голове.

Надо было бечь. Это было нормальное и грамотное чувство, которое только одно и могло вывести из дури нелепых обстоятельств.

Но я шагнула в комнату к гобоисту, играющему на паутине, захлопнула дверь и сказала ему подбоченившимся голосом:

— Чтоб ноги их здесь не было. Я куплю рейтузы, чтоб ее не просквозило. Если они тут задержатся, я скажу матери, кто вы... Она ведь этого не знает? — Гобоист тряс седую бородою. — Более того, я сообщу вашей жене о вальпургиевых играх.

Главное я успела. Потому что дверь распахнулась, и Женя сказала, что пойдет куда надо и «Асин притон накроют», а ее не тронут как кормящую мать, у нее уже молоко появилось.

— Вот! — сказала она, тыча пальцем в сырой след на халате.

— Все будет в порядке, — ответил он.

— Ключи и кота отдадите соседке. Ей заплачено. — Я закрыла за собой дверь. Последнее, что я видела, была я сама, выходящая из квартиры. Зеркало, как всегда, было на высоте. У меня самой было еще то лицо. Так сказать, по другую сторону красоты.

В ближайшем спортивном магазине я купила безразмерные рейтузы. Возвращаться не хотелось, но надо было, во дворе поискала мальчика с выражением «доброе вестника», но такое выражение те-

перь не носят. И если сам его не имеешь, какие такие претензии предъявляешь другим?

Они гуляли по двору — Женя и гобоист. И, судя по жестикуляции, гобоист был пылок. Я сунула им штаны без слов и пожеланий, он меня сам догнал и сказал, что все в порядке, «они уедут».

Почему-то меня это уже не занимало. Совсем.

Потом вернулась Ася. Позвонила. Сказала, что в квартире кто-то жил. Но, кажется, ничего не пропало. Только дракончики. Их было шесть, а осталось два. Но, может, их давно нет? Она такая стала невнимательная. Ася приглашала в гости, но я отговорилась. Она же мне сказала, что у Жени родился сын и его назвали Михаилом.

Показалось или на самом деле в голосе Аси было некое смятение, хотя с чего бы ему быть?

А к следующей Вальпургиевой ночи Аси не стало. Ее сбила машина. Не насмерть, слегка. В больнице она подробно и радостно рассказывала, как «еще бы чуть-чуть...». И мы все всплескивали руками. А ночью случился обширный инфаркт. В гробу у нее было выражение человека, выскочившего из-под трамвая. Разрыв же сердца выражения не оставил...

На поминках я сидела на приставленной сбоку лавке рядом с гобоистом. Он гордо сообщил, что у него родилась дочь.

— Сын, — поправила я.

— Помимо, — ответил он. — Помимо. Дочь Маргарита. — В голосе была гордость. Он заерзал костлявым тазом, маленький гобоистик Большого театра.

— Вы ешьте, ешьте, — говорил он мне, как хозяин стола, и подталкивал тазик с оливье. — Весна чревата авитаминозом.

Пришлось бежать. На улице было тепло. Апрель как бы раскоцегаривался изнутри. По краям его было мартовски сыро, а из глубины уже парило... Странные почки мыслей и чувств...

Странные, ни про что — вот они как раз и прорастут, глупая история наберет силу и пробьет толщу. И я напишу именно этот рассказ, а не другой... И с этим ничего поделаться нельзя.

Ну чем вам не косточка авокадо?



ВАЛЕРИЙ БЫЛИНСКИЙ

*

РИФ

Рассказ

Мне было пятнадцать, когда родители переехали вместе со мной на новое место жительства, в поселок Флорес. К тому времени я стал двуязычным, позабыл о сливах, яблоках и грушах, перешел в девятый класс школы, основанной на месте католического женского монастыря, и все так же продолжал свое плавание, начатое через час после приземления бело-синего ИЛа в аэропорту имени Хосе Марти, когда я впервые, в солнечной гостинице Сьерра-Маэстра, увидел океан так близко, что мог с балкона допрыгнуть до него. Ныне плаванью было почти два года, я жил во Флоресе, океан был метрах в трехстах, и у меня появились новые приятели, оказавшиеся и одноклассниками, которые прослышали о моем прозвище — Флиппер. Флиппера я получил от прежних друзей после первого морского опыта, когда, взяв напрокат пику, впервые нырнув, насадил на нее крупных размеров шара — так мы называли иглобрюха, на которого охотники вроде нас всегда вели промысел. Поддерживая имя, я всегда старался принести намного больше рыб, чем они, хотя, надо сказать, мать половину выбрасывала, да и я рыбу почти не ел. Мне больше нравился кубинский рис, цыпленок в соусе, рефреска и апельсины. Иногда я весь день ел одни апельсины. На море мы ходили сразу после занятий, когда вода с балкона еще смотрелась зеленой, а рифы под ней — коричневыми, я собирался быстрее всех, закачивал воздух в пневматическое ружье, хватал ласты, маску, трубку, подводный нож и стучался в соседнюю дверь, где жил Игорь, затем в дверь в соседнем подъезде, где жил Женя. Мы шли в шлепанцах до разрушенного мола, прятали обувь в камнях и залезали в воду, в которой можно было сидеть вечно. Доплывая до Рифа, мы проводили там день, а с заходом, напоминающим медленное, ярко-оранжевое выключение неба, возвращались, стараясь переплыть залив побыстрее, так как был уже вечер, из убитых рыб сочилась кровь, а рыбы внизу, окрашенные в розовый свет, начинали темнеть, кораллы казались замками, а обитатели их — существами, которых следует избегать. Неприятней всего и страшней было то, что все время хотелось оглянуться назад, туда, где уже начиналась светлая, с рифами созвездий, ночь; подходили ночные рыбы, а те барракуды, которые только наблюдали за нами днем, готовились напасть. Со дна поднимались особые, ночные мурены, трехметровые тела которых я видел только в городском океанариуме. И если бы даже я никого не увидел оглянувшись, то наверняка заметил бы и почувствовал, что океан — это незакрытая дверь. Чтобы уничтожить, преодолеть закатный страх, приходилось напевать. Это могла быть мелодия из популярной тогда «Аббы», наскучившая за день, а теперь пришедшая вдруг в голову, или просто ав-

Былинский Валерий Игоревич родился в 1965 году в Днепропетровске. Закончил там же художественное училище; основная профессия — художник. После службы в армии поступил в Литературный институт (в 1992 году). В настоящее время занимается в семинаре А. Е. Рекемчука. Печатается впервые.

томатическое шелканье языком — лишь бы разум уснул, ласты равномерной пенили воду, а порожденные тьмой чудовища не обретали образа. Но на земле я почти переставал быть Флиппером. Едва я, избавившись от школы, уроков, заданий и прочих мук, выходил из дома на Авениду, меня окружали силы едва ли враждебные, но явно смеющиеся и, может быть, даже презирующие. Когда мы с Женей, в шортах, в шлепанцах и с зажженными сигаретами «Популарес», появились в кинотеатре «Карибе» — там шел фильм «Кровожадная акула» (в Америке именуемый «Челюсти»), — то путь в темноте нам, как обычно, высветляла девушка маленьким фонариком. И когда мы шли за ней по узкому проходу, то я заметил, что светит она небрежно, скорее себе под ноги. Мы заняли места в первом ряду, продолжая курить. Девушка, непонятно зачем, уселась в кресло слева от нас, тогда как место ее, конечно, было у входа. Она скорчилась на своем кресле, уткнув голову в колени. А потом вдруг исчезло изображение на экране: что-то случилось у киномеханика. Зрители сразу заорали, засвистели, кто-то начал хлопать. В это время Женя шепнул мне: «Смотри...» Я взглянул налево, увидел дрожащее в темноте синеватое свечение. Девушка, вытянув руку к стопе, медленно пробиралась фонарным светом по своей ноге. Снизу вверх. Сначала по левой, осторожно, будто лаская себя, все выше и выше, до того места, где в кожу бедра врезались шорты. Потом по правой, все так же задумчиво, нежно. Достигнув вершины восхождения, синеватый свет тихо опускался и взбирался на ногу опять. Вокруг орал. Девушка, оставив ноги, вдруг высветила свою грудь. Она у нее была почти обнажена, светлая блузка, больше схожая с майкой, лишь стягивала, а не прикрывала ее. Полная темнота, редкие огоньки сигарет и правая женская грудь в кружочке света. Кричать перестали, продолжился фильм. Девушка больше не светила в себя, ей пришлось отправиться к входу, где столпились зрители. Она была маленькая, ниже меня ростом, но с крупным задом и с плотными ногами, как и многие кубинки. Я так и запомнил ее: без лица, цвет кожи флуоресцирующий, такой же у кальмаров, когда они проплывают ночью ближе к поверхности воды, а ты лежишь на теплых плитах малекона и смотришь вниз. А однажды на Авениде во время прогулочного безделья меня захватили высокие негритянки. Женщины, дыша крепким ромом, буквально заставили меня идти вместе с ними, они были, наверное, баскетболистки, я видел таких, они тренировались, бегали, отжимались на брусьях, изнемогая от напряжения, истекая потом, когда мы проходили мимо стадиона, направляясь на охоту. Их было четверо, две обняли меня, сжав шею и руки, а две другие шли рядом и хохотали. Я, хоть и знал испанский, притворился непонимающим, а они отпускали шуточки одна понятнее другой. Но не это злило и пугало меня. Я бы с удовольствием прошелся с любой из них по ярко освещенной Авениде, и заглянул бы даже в кафетерий, и заказал бы холодного пива, и взял бы цыпленка с кукурузой. Деньги у меня были. Ужасно было то, что я не мог вырваться. Разумеется, баскетболистки не вели меня совсем уж силой. Я делал вид, что вроде бы иду сам. Но их влажные, темные руки захлестнули меня как змеи, сила которых проявлена лишь наполовину. Я хорошо знал, что, если попытаться, пусть якобы для удобства, пусть невзначай, «свободиться», их объятия тут же станут мощней. И мне не вырваться. Я начну как бы в шутку, а потом всерьез с ними бороться, а они — гораздо сильнее, чем я, попросту скрутят меня, каждая одной рукой, и будут, смеясь, все равно тащить дальше, вверх по Авениде, жестоко насмехаясь над моим физическим унижением. Сознывая смехотворность и ужас положения, внутри — мучаясь, а ртом — улыбаясь, я собрался все же начать борьбу, но позже, когда будет хотя бы пройден тот участок Авениды, где могут встретиться знакомые. Женщины провели меня пять или шесть троллейбусных остановок и остановились только у одного из баров Наоттики. Там они поцеловали меня в обе щеки и отпустили, оставив фразу на русском «А ну, отвали, черная сучка» невысказанной, а намерение поступить по-

мужски неосуществленным. Я помнил о них только то, что они были страсть как сильны и пахли ромом и говорили мне «ниньо», что по-испански значило — мальчишка, малыш. Иногда, забредая в районы сплошных католических, белых, как песок на солнце, храмов, в такие каменные места, где пальмы уже не росли, а сидели лишь высохшие старики на ступеньках и бегали, выпрашивая жвачку, негритята с огромными животами, мне и вправду казалось, что я уже привык к этому миру и именно здесь я перестану наконец быть «ниньо» и превращусь в «мучачо», то есть в парня, свободного человека. Мне мерещилось, что я уже не русский, а странный потомок кабальеро, видевшего, как погребали умершего Колумба в Кафедральном соборе. Что моя кровь состоит из тысячи оттенков и что почему-то я умею говорить по-русски. Я вспоминал все что мог о ностальгии и смутно догадывался, что такое чувство здесь могут воспринять как грех. Как можно, очутившись в раю, грезить о чем-то другом? Я вспоминал прочитанную много раз книгу о бриге «Баунти». Я, живя два года в Гаване, и понятия не имел о Хемингуэе, а историю этого корабля выучил наизусть. Я будто сам был членом того экипажа, который взбунтовался и высадил капитана, офицеров и непослушных на какой-то остров. Северный, никчемный остров. А сами мы отправились искать место, где не существует человеческого принуждения. Мы объездили весь архипелаг Южных морей, мы останавливались на Таити, и часть наших моряков осталась там. Бедные, бедные люди. Они не знали, не могли догадываться, что за ними через десять лет все равно явится карательный корабль и солдаты, высадившись, будут разыскивать по одному всех англичан, приплывших на бриге, и туземцы наивно укажут карателям всех до одного. Счастливы оказались те, кто успел к тому времени умереть. А мы, проблуждав в океане, утром открыли глаза и увидели необычайно зеленый остров. Вот тогда-то помощник капитана и сказал: «Слева по борту рай, сэр!» Те, кто читал, те помнят, что рай оказался адом. Это грустно. Это правда. Но они попытались не только найти, они попытались вступить на него! А дальше им надлежало лишь понять, лишь почувствовать красоту тления — и тогда восхищение убийственным великолепием заменит боязнь за жизнь. Здесь, в Гаване, все было исполинским, начиная от зарифовых рыб и кончая лягушками и бабочками. Все раскрашено в цвета, достигающие, как децибелы в звуке, предельной границы человеческого восприятия, а иногда и переходящие ее. Здесь можно, надышавшись красных цветов, умереть потом в больнице от аллергии. Здесь дарят друг другу только пластиковые цветы. На улицах кучи отбросов, вершину которых занимают обычно заплесневелые батоны белого хлеба. Люди ходят медленно, но при любой возможности потанцевать танцуют. Все курят крепкие сигареты, даже двенадцатилетние дети. Говорят, во время карнавала пожилые люди часто умирают танцуя. Но что значит в этом городе смерть? За два года жизни здесь я ни разу не видел похороны. У меня здесь есть друг, студент Сиро, он летом подрабатывает на старом маяке, в предместье Гаваны, плавает за опоясывающий побережье Риф и изучает биологию Мексиканского залива. Я к нему приезжаю стрелять ронх и губанов и остаюсь ночевать. Родители мои довольно дружной — еще бы, они много раз видели Сиро, приглашали его в гости, а мама даже сватала его один раз своей знакомой переводчице. Но Сиро хохотал над этим предложением — еще бы, ему двадцать и у него полно женщин, каждую неделю появляются новые, и только звуки, что я слышу, просыпаясь у него в маяке по ночам, кажутся мне одинаковыми. Сиро всегда расположен к веселью. И хоть он тоже называет меня «ниньо», я на него — одного из всех — не обижаюсь. Когда я спросил у него, а как же все-таки проходят у кубинцев похороны, он тоже заулыбался. «Кубинцы, — весело сказал он, — в последнее время умирают все меньше, потому что больше времени стали уделять любви. — И добавил: — Хочешь стать бессмертным, ниньо?» Мысль о смерти в этом городе, где работа — пустое занятие, а сотни видов кустов и деревьев зацве-

тают каждый месяц, разумеется, не часто посещала меня. Но все же я вспоминал о ней. Это происходило внезапно, чаще всего ночью. Больше всего меня беспокоила мысль о месте предполагаемых похорон. Мне казалось, что обряд погребения тщательно скрывается. И умерших тайно выносят по ночам, как раз тогда, когда уставшие жители спят. Но ведь Гавана засыпает поздно, всю ночь в маленьких квартирках сложенных католиками белых домов шепчут и кричат измученные и счастливые любовники, и как только кончаются ласки одних, начинаются поцелуи у других, и так — до восхода солнца, когда проснувшиеся сменяют заснувших и влага жизни перетекает в день. Хотя лучшего времени, чем предполагаемое — с часу до трех ночи, — не найти. Этого достаточно, чтобы пройти половину старой Гаваны старинной, сложенной из белого камня улицей, где ширина местами такова, что трудно разминуться даже двоим. Зачем португальские, испанские католики, завоевав остров, сложили вокруг Кафедральной площади хаотичную геометрию этих улочек-ниш? Ступеньки вверх-вниз тут столь часты, что кажется, будто ступаешь по лестнице, а перепады высоты столь значительны, что внезапно можешь увидеть крышу собора под собой, а потом тут же погрузиться в щель между двумя зданиями, куда днем с балконов кидают отбросы и ночью их поедают крысы. К чему эти склепы-ходы? Неужели завоеватели их сделали специально, чтобы похоронными процессиями не омрачать померевшийся им с кораблей рай? Я представляю, как это происходит. По узкой каменной улице медленно несут покойника. Тишина. Маятник любви остановлен. Несут мертвых, и гробы задевают стены, оконные рамы, глухо стучат в окна, совсем как человек, желающий войти. Я представляю тех двоих, что в одной из квартир. Это парень и девушка, мулаты, в возрасте Сиро. Услышав стук, они замирают, лежат, учащенно дыша, сплетенные руками и ногами. Они с тоской и ненавистью вспоминают, что слышали этот стук раньше, слышат его каждую ночь, — и все-таки каждый раз забывают об этом, ложась в постель. Им не только досадно, им еще и страшно. Они оба явно не смеют встать, подойти к окну, раздвинуть деревянные жалюзи и посмотреть — на гроб, заслоняющий дом напротив. Они ведь молоды. А пожилая пара этажом выше, он и она, лицо в морщинах, желания все те же, что и двадцать лет назад, — не курят ли они попросту «Популарес», равнодушно пережидая, пока процессия пройдет? Или, может быть, мужчина курит высунувшись в окно? Мне приснился похожий сон. Будто я, ушедший в одиночку охотиться на рыб, заплыл так далеко, что возвращался уже ночью, ориентируясь на огни Гаваны. Выбравшись на берег в районе Кафедральной площади, я забрел на одну из таких улочек. Я был в одних плавках, в руках — подводное снаряжение: ласты, маска, ружье, убитые губаны и ронхи, с которых кровь стекает так же, как с меня вода. Я иду босиком по теплым белым плитам. Затем слышу стук, пока еще далеко. Сон мой навеян не только эпизодическим воспоминанием о смерти, но и истинными похождениями Сиро, который рассказывал, что один раз действительно заплыл так далеко, что вылез глубокой ночью в районе старой Гаваны, через двенадцать часов после того, как зашел в море на пляже поселка Наутика, где он жил. Он и вправду тогда шел босиком по теплым каменным плитам и волок за собой огромного, застреленного за Рифом групера. И я ему верил. Ведь он периодически, прямо на моих глазах, плавал за Риф. А это было в моем воображаемом Королевстве место, куда я смел лишь заглядывать. Там начинался настоящий океан, медленно понижающееся, поросшее редкими горгонариями дно вдруг исчезало в крошечной, пугающей, как ночь без звезд, сини. Взгляд туда, когда, пересекая солнечный Риф, достигаешь другой его стороны и, улегшись на сплетениях кораллов, зачарованно кладешь с глухим стуком рядом ружье, — один лишь взгляд туда, в зарифовый мрак, останавливал все мысли, связанные со светом и с миром видимым, возникала сладкая боязнь глубины. Если смотреть в бездну долго, то можно вычленить в синеве сту-

пенчатый мираж дна, рассмотреть мероу, увеличенного в десятки раз и выплывающего, медленно и равнодушно, к тебе из гигантской пещеры. Можно увидеть — внезапно, реально — глаза никогда не виданного тобой кита, туманные и чуть прозрачные, нехотя и сонно пропускающие сквозь себя какой-то особенный обратный свет. Да, с той стороны Рифа, с несуществующего дна, всегда поднимался обратный свет, благодаря которому во мраке можно было что-то рассмотреть. Но иногда я, особенно когда приплывал на Риф на заре и, подстрелив двух-трех первых ронх, видел зависших над обрывом зарифовых рыб невероятных размеров, освещенных со спины белым солнцем, а снизу неподвижными зайчиками нижнего света. Рыба — а это был обычно мероу (называемый еще группер или каменный окунь) — приходила из своего дома в гости, на мелководье, к малькам, в юность, может быть, в девственность. Рыба стояла, купаясь в свете, почти не шевеля плавниками. Один раз я, решившись, тихонько оторвался от Рифа и, осторожно шевеля ластами, поплыл к ней. Медленно я выдвинул ружье вперед, распустил удерживающий стрелу фал, перехватил курок указательными пальцами обеих рук. Я не знал, как и куда я буду стрелять, ведь я никогда не имел дела с большими мероу. Маленьких и даже средних я иногда стрелял на Рифе, это не совсем легко: каменный окунь потому и прозван так, что принимает в пещере окраску камней. К тому же я знал, что на больших рыб ходят с настоящими ружьями, испанскими или итальянскими, по внешнему виду напоминающими гранатомет. На что я мог рассчитывать со своим шаробоем в шестьдесят качков? И все же я надеялся. Бывают моменты, когда, осознавая неосуществимость задуманного, вдруг забываешь о том, что такое проигрыш, неудача или смерть. Подплыв к Групперу на полтора метра, я увидел, что у него голубые глаза. В них-то я и должен был стрелять, следуя правилу Больших Рыб, чтобы гарпун прошел тело наверняка. Группер медленно стал разворачиваться — до этого он стоял ко мне глазами, а теперь подставлял свой бок. Я выстрелил чуть раньше, чем осознал нажатие курка. Глухой щелчок. Мероу вздрагивает. На его теле белая полоса, он медленно уплывает вниз, в свою глубину. Его уже не освещает солнечный свет, он темнеет. Я подтягиваю свисающую на трехметровом фале стрелу. Трогаю наконечник пальцами, понимаю: острие коснулось Большой Рыбы, живущей за Рифом. Позже, опустив голову, вижу свои ноги в лапах — они шевелятся над бездной. Этот группер был более двух метров длины. А ведь Сиро рассказывал, что из-за Рифа его друзья приносили стокилограммовых мероу и даже меч-рыб. Я вновь в своем Королевстве, среди спасительного леса кораллов Оленья рога. Я ступаю по ним, крушу их ластами, выпрямляюсь и стою в километре от берега, по пояс в теплой воде и, даже не опуская голову в маску, вижу бесчисленное множество снующих разноцветных рыб. Я вижу, как выползает из убежища лангуст. Я вижу такую плотную стаю мелких ронх, что если выстрелить в них не целясь, то наверняка пронзишь две или три. Я вижу слепяще-зеленую рыбу-попугая с клювом, похожим на птичий. Два губана, один на другом, тонут в глубокой нише, едва шевеля плавниками, беспрестанно меняя цвет. Мне кажется, они умирают. Не опуская голову в воду, я стреляю, делая поправку на излом отражения. Один из них погиб, другой ушел умирать глубже. Кто из них она? Я чувствую, что мастерство Флиппера уплывает в прошлый год. Ныне я играючи настигаю ронх, окуней, морских солдат. Я выучил правило маленькой рыбы. Мое обещание поймать самого большого шара, данное давным-давно одноклассникам, невыполнимо сейчас, когда я знаю, что самый громадный шар не покидает свой Риф. Я уплываю, умертвив по пути камбалу. Дома я обхожу подъезды и справляюсь, где же, наконец, мои друзья. Они в гостях, отвечают мне родители Жени и родители Игоря, они в гостях у какой-то вашей одноклассницы. А ты почему не пошел? — спрашивают они удивленно. Я не знал, говорю, хотя знал. Я даже целовал как-то эту Танечку, и руки мои даже дошли ей до пояса, но быстро вернулись назад. Мы гу-

ляли с ней по Авениде, мы говорили с ней о том о сем. Я пригласил ее в «Капелию», и мы ели мороженое: по три разноцветных шарика. Она почти вытащила меня на пляж — на вполне обычный, без ружей и подводных регалий пляж, — но я предпочел ее обмануть, чтобы не обманывать ее там своим телом рядом с телами темнокожих Аполлонов. Строение, толщина моих ног, рук, грудной клетки всегда казались мне сомнительными. Во время плаваний я никогда не снимал футболку, отговариваясь, в частности, тем, что могу на солнце обгореть. Мое тело не знало, что такое загар. Когда заканчивались школьные четверти, то в актовом зале часто организовывались танцевальные вечера. Я каждый раз мучительно переживал свои уклонения от них. Как-то весной, перед каникулами, я возле дома повстречал друзей. «Привет. Давно не виделись, — говорю, — а ведь сейчас отличная погода, на рифе не штормит», — и кивнул в сторону моря, где стоял полный штиль. Они сказали, что тоже туда — выпить, покурить и поболтать. Мы пошли вместе, уселись на берегу на вынесенных давным-давно сундуках, открыли банановый ликер, закурили «Популарес», поговорили. Я сказал, что приду на вечер. Через два часа я надел свои новые джинсы «Ли». Ноги в ломком коттоне показались мне слишком худыми, я натянул под них еще пару тренировочных штанов. Затем, посмотрев в зеркало, поддел еще одни. Весь домашний запас спортивных брюк был на мне. Стало жарковато, но зато появилось хоть какое-то подобие ягодиц. Слои нижней одежды я затыл, скатав их трубочкой до колена — чтобы не попасть впросак, если придется сесть на стул. Мои плечи тоже никогда не внушали мне уверенности, поэтому я, сняв рубашку, растянул ее в плечах до невозможности — пока не затрещали нитки, удерживающие швы. Я напялил три майки под гуевер — испанскую рубашку с коротким рукавом, что лучше, чем футболки: их не видно, и поэтому можно расстегнуть ворот, не опасаясь разоблачения. Я просидел в комнате, ожидая автобусного времени, с час. Затем вышел из дому, не очень-то спеша, да и невозможно было торопиться в обычную жару в необычной одежде. Полагаю, мне хотелось втайне опоздать, но все же, увидев, что автобус отходит, я чуть было не побежал за ним, но вовремя остановился, сознавая, что это будет еще смешней. Я возвратился. А по дороге встретил Диму, моего приятеля и одноклассника, по каким-то своим удивительным причинам тоже не поехавшего. Дима был высок, прыщав, увлекался волейболом и пробовал заниматься карате. Он слегка испортил мне настроение тем, что, поздоровавшись, как-то рассеянно ухватил меня пальцем за отворот гуевера, мгновенно увидел три майки и задумчиво, чуть улыбнувшись, сказал: «А... Куча маек...» — и пошел своей дорогой. С Димой мы раньше тоже плавали, он неплохо бил шаров. Теперь он, как и Женя с Игорем, почти не интересуется морем. Так что часто я возвращаюсь с плаванья один, иду берегом, несу ронх, навстречу мне кубинцы, русские, чехи, немцы, поляки, болгары, женщины, девочки, мужчины, подростки, дети, одноклассники, фланирующие туда-сюда, с магнитофоном, с сигаретами, с одноклассницами. Как-то один из них крикнул, когда я проходил мимо: «Эй, Флиппер!» Я обернулся. «Ну что, поймал ты своего большого шара?» Я посмотрел на него. Парень стоял в плавках, в солнцезащитных очках, улыбаясь. Я сказал что-то невнятное, махнул им рукой и, сделав усталое лицо, отправился домой по красной, земляной дороге, мимо бесчисленных нор, вырытых земляными крабами. Мать, как всегда, половину рыб выкинула. «Морозильник забит», — пожаловалась она. Перед экзаменами я уговорил Женю с Игорем съездить к Сиро, сплавать. Мы вернулись с Рифа затемно, как и раньше. Приготовили с Сиро осьминога, лангуста, запили все это ромом «Каней». А в понедельник в школьном автобусе Игорь толкнул меня и шепнул, указывая на девушку-водителя: «Знаешь, кто это?» Я сказал, что нет. «Да ты что? Это же Хуанита!» — «Кто?» — «Ху-а-ни-та, — прошептал Игорь, тряся у подбородка растопыренной пятерней, — ты что же, не помнишь? Мы вчера видели ее у Сиро. Это же новая дев-

чонка Сиро!» Я непонимающе посмотрел вперед, где сидела спиной девушка с черными, ниже плеч волосами, и внезапно почувствовал, что вот-вот весь этот мир, вся его душная влага, все миазмы цветения, негритянки, склепы-ходы, белые камни, аллеи королевских пальм, музыка Багамских островов и огромный уплывающий меру — все обрушится сейчас на меня, утопит и задушит, уничтожит чужака, зачем-то понимающего испанскую речь, — только за то, что я понял: *что есть такое и что значит этот мир*. «Ху-а-ни-та...» — прошептал я про себя еще раз. Я сжал пальцы в кулаки, тело напряглось — блаженство сидеть в школьном автобусе и ехать, не выучив английский! Блаженство смотреть в окно и видеть тысячи чужих лиц. Никто не знаком мне, а я — я узнаю себя. Я почти уже сплю — так мне хорошо. Я вспоминаю. Такое было у меня уже один раз: океан, поблескивающий от солнца, до которого можно допрыгнуть, я плыву куда-то в школу или к маленькой мулатке по имени Хуанита. Хуанита. Какое кофейное, какое бесконечно банановое, лимонно-манговое и кокосовое имя. Кокосы, кокосы, кокосы, запахи темноволосых девушек в переполненном транспорте, танцующие ноги в шортах, вкус жареных бананов, тень на подбородке, пляж, кафетерии, ледяное пиво в бутылках, ожидание карнавала в карнавальную ночь, рассказы, истории, маленькие квартирки в маленьких домах, водители, едущие без прав, машины марок всех стран мира прошлых лет, каменный малекон и крепость «Эль-Моро», прогулки влюбленных по параплету набережной, прибор, мороженое, сладкий табак, курящие дети, влюбленные старики. Я иду. Иду по прохладному розовому песку, разрисованному крабами и ночными черепахами. Я пошатываюсь. Я тащу добычу: маленьких меру, маленьких окуней, кальмара и лангуста. Из маяка выходит сонный Сиро. «Ого-го, Павлик! Ты что же, ночью охотился?» — «В три часа утра вода на Рифе такая спокойная, Сиро. А мне не хотелось спать. Знаешь, как здорово возвращаться до того, как начались волны? Я сегодня видел большую черепаху. И видел летучих рыб, прямо огромных, они перелетали над моей головой, когда я плыл. Я даже стрелял по ним и оборвал фал, еле потом стрелу нашел. Слушай, Сиро, а ведь ты обещал взять меня за Риф. Я специально приехал». — «Давай после карнавала, — сказал Сиро. — Ты ведь тоже поедешь?» — «Не знаю», — ответил я. В эти дни, в июне, в городе начинался карнавал, три-четыре-пять дней никто не работает, все танцуют. Даже те, кто продает пиво, ром и рефреску, тоже, наверное, танцуют, праздник начинается у всех: несколько летних ночей, а потом вся Гава на спит. Я спрашивал у Сиро, что значит здесь, в Латинской Америке, карнавал. «Мы любим веселиться», — отвечал он. «Но и я люблю... Мы тоже любим», — говорил я, чувствуя неуверенность, что говорю от имени всех. «У вас все-таки другое, — говорил мне Сиро. — Вот ты, например, Павлик. Ты стоящий охотник, и мы после карнавала обязательно сплаваем за риф. Но ты стесняешься. Вы, русские, всегда стесняетесь. Во всем вы как-то застенчивы. Потому-то у вас и нет такого, чтобы вся страна бросала работу и шла танцевать». — «Ну, конечно, — отвечал я, слегка задетый, — это только у вас на улице ко мне может подойти какой-нибудь парень и запросто взять орехов из культи в моей руке. У нас так не делаю. У нас это знаешь как называется?» — «Знаю, знаю... — Сиро улыбался, — заком-плек-сованность? А? (Он произнес это слово по-русски и засмеялся.) Кстати, тебе надо поучиться танцевать у Хуаниты, мы ведь поедем смотреть карнавал втроем и...» — «Хуаниты? — Я вздрагиваю. — Она что, здесь?» — «Она — здесь», — говорит чуть силовым, будто бы простуженным голосом черноволосая девушка, высовывая голову в дверь. Она выходит на каменный порог, босиком, в длинной футболке. Смуглая кожа, глаза прищурены — глаза индианки. «Привет, ниньо», — говорит она, подходит ближе. Она маленькая, намного ниже меня. Подойдя вплотную, Хуанита складывает руки за спиной, встает на цыпочки и, чуть оперевшись о меня упругой грудью — я покачнулся, — целует, почти попадая в губы. Вдруг закружилась голова.

Я чувствую, как пахнет кофе, крепким, черным. Голова у меня кружится так же, как в тот день, когда я впервые закурил. Я говорю, зачем-то тоже стараясь сказать сишло: «Привет, Хуанита...» Хуанита рассматривает мою рыбу, выбирает самую большую, идет готовить. «Ты сможешь, Павлик?» — Она оборачивается и, не в силах удержаться, громко зевает, вытягивается всем телом, широко разводя чуть согнутые в локтях руки. Затем, бросив окуня, поднимает руки, голова закинута, футболка ползет вверх, и я вижу, догадываюсь, что под ней ничего нет. У многих, у очень молодых девушек здесь сишлые, с хрипотцой, влажные голоса. Голос Хуаниты всегда был будто невыспавшийся, чуть смеющийся, чуть беззащитный. Такие голоса странно, страшно слышать у высохших старух. Будто ветер колышет старое сухое дерево, и оно хрипит, вспоминая о страсти. А Хуаните было тогда, кажется, восемнадцать. После полудня мы вышли втроем на трассу, остановился автобус, и проснулся я уже в Гаване, возле гостиницы «Тритон». На малеконе уже установили деревянные трибуны, продавали из бассейнов пиво со льдом. Сиро купил всем по огромному стакану, в который входило четыре бутылки. Мы бродили по старой Гаване, где-то здесь жила Хуанита. С ней беспрестанно здоровались какие-то парни, какие-то мальчишки вроде меня. Один из них, негритенок, подскочил ко мне, хлопнул по плечу, вырвал стакан и отпил пива. Я его толкнул. В это время девчонка лет двенадцати кинула в меня серпантин. Я оглядываюсь. Крутом низкие белые дома. Старики, выглядывающие из дверей, с любопытством смотрят на меня. Девчонка, бросившая серпантин, танцует. Мальчишка с пивом куда-то исчез. Я слышу музыку, где-то на малеконе. Ни Сиро, ни Хуаниты нет. Толпа маленьких негрят окружает меня, у них отвисшие животы, они дергают меня за шорты, за рубашку. Голос Хуаниты, она хрипло кричит, ругается. Моя рука в ее руке. Ее пальчики меньше моих в два раза, но они крепкие, я точно привыкан к ней. Она куда-то меня тащит по узким улицам, мы тремся о белые стены домов. «Здесь, — говорит она торопливо, — здесь, сейчас, ниньо...» — «Это твой дом?» — Я кричу, потому что музыка, треск барабанов, маракасы рядом, где-то близко уже началось. Я ничего не понимаю, мне кажется, что уже темно, я стараюсь посмотреть наверх, но вижу лепные балконы, плиты, камни. Я не знаю, который час. Хуанита меня куда-то тащит, временами она резко останавливается, и я ударяюсь о ее спину, вздрагиваю, ткнувшись подбородком во влажную ткань ее цветастой кофточки. Она оборачивается: «Ну давай же, ниньо, давай», — и запах черного кофе кружит голову, щекочет ноздри. На каком-то переходе — я споткнулся — мы очутились на коленях, лицом к лицу, и я вдруг приоткрыл рот, дотронулся губами до ее губ. «Ты не ушибся? — насмешливо, хрипло спрашивает она. Потом встает, поднимает меня, берет под локти. — Уже пришли, уже почти, — сишло, беззащитно, — вот сюда...» Она возится с ключами, музыка тише, она где-то очень далеко. Мы идем. Мне кажется, в этих комнатах полно людей, я слышу их запах, терпкий, горячий, и спрашиваю, где они. «Они все на карнавале». — «А где Сиро?» Хуанита приносит ром «Каней», ставит два бокала на стеклянный столик. Мы садимся на коврик из пальмовых листьев. Потом я пробую возвратиться на кресло-качалку, но сразу пол с потолок меняются местами. «Что с тобой, ниньо?» — Она садится на корточки рядом, заглядывает в глаза. Запах жутко крепкого кофе. Меня мутит. У нее невероятная грудь. Она сидит, ягодицами на полу, широко расставив ноги в коротких, невероятно тесных шортах. «Сейчас...» — Я перешагиваю через ее голову. «Ты куда?» — «Я сейчас». Ищу туалет, ищу место, где бы спрятаться от страха. Потом ишу душ, кран, чтобы включить воду. Почему так темно? В шуме воды мне слышатся слова, едкие, равнодушные: «У тебя. Ничего. Не получится». И тут я слышу, как она говорит — хрипло, насмешливо, зажигая каждой упирясы мой засушливый стыд: «Эге-гей, где ты, мучачо?» Я возвращаюсь, укутаясь руками в стену, на запах кофе, щекочущий мне ноздри. Я вновь могу держаться прямо, я не сутулюсь. Как темно! Я ни-

когда не думал, что это у меня случится в такой темноте. Я сначала нащупал спинку двуспальной кровати, потом, продвинув руку, нашел теплую ступню Хуаниты, и тотчас маленькие пальчики нашли щелки и поместились — уютно и уверенно — между моих растопыренных пальцев. «Ну же, мучачо...» Медленно, очень медленно, стараясь не дышать громко, я отвожу ее правую ступню. Левая рука ищет левую. Ее пятка похожа на вспотевшую ладонку. Я нависаю над ней, разведя руки. Мои локти утопают в ее подколенных ямках. Я погружаюсь, медленно, дыхание за дыханием выпуская из нее крик, — так толчками выходит кровь из рыбы, подстреленной на очень большой глубине. Затем что-то происходит. Вдруг все меняется, да-да, вдруг. То ли она первая услышала, то ли я. Но я повернул голову. Глухой удар. Нет, стук, прямо в окно — ты слышишь, Хуанита? Она слышит. Недоумение, брезгливость на ее лице. «Хуанита, что это, это — они?» — «Кто это они?» — «Да не притворяйся, ты же все знаешь, говори: они?» — «Ах, это... Стук! Ну да, они, ну так и что ж, пройдут к себе, и все тут...» — «Да как они смеют!» — Я разъярен, открываю жалюзи, распахиваю окно, и мне в глаза бьет розовый свет солнца. Слабый, терпкий запах кофе. «Вставай, вставай, Павлик, — трясет меня за плечи Хуанита, — пора вставать, сейчас явится куча моих родственников». — «А где Сиро?» — зачем-то спрашиваю я. «Он на работе». — «Какая работа? Ведь карнавал, никто не работает...» — «Ну, маяк должен светить каждую ночь. И никакой карнавал тут не поможет. Ну что, поехали. — Она прямо в постели одевает меня. — Позавтракаем в кафетерии. У нас ведь нет времени». — «А ты-то куда?» — спрашиваю я, искренне удивляясь. «И я — на работу, — она хрипло смеется, — я теперь в гостинице «Линкольн» работаю, знаешь? Ну что так смотришь, да, теперь я возить вас в школу не буду. Какая-нибудь другая объявится. Влюбишься в нее, а, ниньо?» Она смеется, целует меня. На стенных часах шесть. Мы выходим, Хуанита запирает дверь. В узком проходе между двумя домами, прямо под нашим окном, застряла карнавальная конструкция — из тех, что ставят на грузовик, и сверху, на нескольких ярусах, танцуют. Конструкция была опутана серпантинном, и легкий ветерок шевелил разноцветные ленточки. На пути к автобусу мы не встретили ни одного человека. Оставшись один, я задумался. Впереди — длинный день, спать уже не хотелось. Сквозь дома поблескивало море. Приняв решение, я купил билет на рейсовый автобус. Всю дорогу до Фары я смотрел в окно, видел красную сухую землю, редкие пальмы, плантации ананасов, гуавы и представлял, каково сейчас в море. Добравшись к полудню до маяка, я Сиро не застал — должно быть, он ушел в деревню за молоком. Но я знал, где спрятан ключ, и вошел, решив перед тем, как проверить снаряжение, перекусить. Я нашел кофе в термосе, кукурузные лепешки в листьях и пакетик йогурта. Затем, выкурив полсигареты, я понял, что больше всего на свете мне хочется спать. Растянувшись на кровати Сиро, засыпая, я еще успел услышать, как он вернулся и говорил кому-то, кажется Жене: «Не надо его будить. Он ночью плавал за риф».

АНДРЕЙ ФИЛОЗОВ

*

ДВЕ ТВЕРДЫНИ

И никто из ушедших не возвратится.

*А. Э. Хаусман,
«Шропширский парень».*

Тут же пристроились и кошки.

*Дж. Хэрриот,
«Собачьи истории».*

Сказал ей:

— Выключи газ.

Она спросила:

— Разве он уходит?

— Да, да, разумеется, он уходит, —

сказал я ей.

— Закрой кран, выключи газ, он уходит.

Слышишь тонкое, как тетива,

Нежное, как сумерки,

Тонкое и нежное, как струйка белого пара

Из котелка с островов Восточных морей,

Как свист стрелы, поражающей беззащитную плоть,

Как дыхание

болотной гадюки —

Бедной твари,

чей яд

Поражает беззащитную плоть за десять секунд —

Помнишь, у старого толстого мистика —

Сыщика-неудачника и непризнанного поэта,

Рыцаря печального образа Темзы,

Помнишь —

в поместье убийцы-врача, задолго

До времени белых халатов,

Помнишь — у доктора в комнате

Несгораемый шкаф,

Глухое железо, скрывавшее

чуткую смерть —

Шепот в ночной тишине, —

Поражающую беззащитную плоть за десять секунд,

Вещь, в ночи приходящую,

Помнишь, слышишь — свист,

Тонкое и нежное дыхание несотворенной твари,

Грубо сработанной руками грубых людей,

Дитя плоской мысли и чутких пальцев, —

Закрой газ, он уходит,

Поверни кран в крайнее левое положение,

Распахни окно пошире —

Закон левого — правого, согласия и отрицания,
 Да и нет, рассекающий
 Тело воли, чувства и чудом
 Не проникающий тело
 Разума, поражающий
 Бедную сотворенную плоть за десять секунд.
 И тому,
 Кто понял этот закон и все же не хочет,
 Не в силах себя умолить захотеть
 Подняться над ним, выйти из-под его власти,
 Освободиться от царства случайности и необходимости,
 Лучше уж, как советует лучший
 Или один из лучших поэтов
 Последних лет прошедшего века, —
 Если нет сил захотеть открыть путь воде —
 Чистой, ломкой, открыть окно, распахнуть его,
 Чтобы внутренний свет вышел в слезах,
 Как в водяных брызгах, навстречу
 Внешнему свету, —
 Так вот —
 Лучше ему повернуть черный кран,
 включить газ,
 Отворить кровь, открыть кингстоны,
 Предоставить времени течь, как песок сквозь пальцы,
 Разом уже отказаться от выбора,
 От двух царств — от царства
 Любви и разума, воды и света,
 от царства
 Воли и чувства, случайности и необходимости,
 От их вечной борьбы —
 И предоставить убийце в белом халате
 Цепляться вместо него за его жалкую жизнь,
 До крови проплакать его бедную сотворенную плоть,
 когда разум,
 Верный и вечный, сквозь хрустальные брызги и радугу слез
 Холодно отмечая верное, вечное сострадание,
 Начинает обратный отсчет коротких минут:
 — Шесть, пять, четыре, три, две, одна, —
 Пока он не разогнется над телом, став старше
 Еще на шесть минут сострадания жизни,
 Что ушла, ее больше не будет уже, а глаза
 Явят его взору из-под очков неподвижность зрачков
 Расширенных, а чуткие стрелки приборов,
 Созданных попушением вечной Любви
 поддержанию
 Любви временной и земной — стрелки на терминале застынут
 В крайнем левом положении.

АВТОРСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

«Две твердыни» — название второй части эпоса Д. Р. Р. Толкиена «Властелин колец», повествующей о противостоянии царства людей, наделенных правом свободного выбора, царству мирового зла.

Восточные моря — здесь: распространенное простонародное название Японской империи, бытующее в Китае. В ходе чайной церемонии — одной из принятых в Японии практик буддизма, символизирующего для автора торжество кос-

ной человеческой воли над провидением Господним, вода для заварки готовится в котелке.

Болотная гадюка, созданная воображением А. Конан Дойла и ставшая орудием убийства в рассказе «Пестрая лента», никогда не существовала в природе. В стихотворении автор упоминает о ней наряду с газовой горелкой и кое-чем еще как о явлениях одного порядка, отсутствующих в первоначальном замысле Бога о людях и выступающих, следовательно, закономерно убийственным результатом самодостаточной человеческой деятельности.

...оттуда ли нам ждать Света? — Мф. 24: 26. Иисус предостерегает от поисков «частного» спасения в «пустыне» (здесь: аскетическом уходе от мира, нуждающегося в человеческой помощи) и в «потаенных комнатах» — внутренних помещениях Иерусалимского храма, открытых только священникам (здесь: формальном следовании Закону, оборачивающемуся в этом случае «законом жизни и смерти», — см. ниже).

Придет ли... — здесь автор применяет иронию.

Привет от того, кто сказал... — Речь идет о знаменитой эклоге Вергилия, ставшей для христианского мира предметом бесчисленных споров и пререканий.

...по воле своей или случая... — Отказавшись от «внешнего Света», отринув Бога, человек во многом утрачивает свободу выбора, переходя в мир, где всякое действие направляется лишь его собственной, поврежденной волей или становится проявлением темных иррациональных сил.

...один из лучших поэтов... — имеется в виду восьмистишие А. Э. Хаусмана «Если случится, что глаз твой соблазнит тебя...», перефразирующее известные строки Писания. Проповеди Иисуса о спасении ценой самоотречения Хаусман противопоставляет призыв к окончательному утверждению личной воли, предписывая отчаявшемуся в борьбе со злом самоубийство. Стихотворение предвосхищает дальнейшую участь самого поэта.



НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР

*

РОМАН ВОСПИТАНИЯ

Школа

Света зашла в учебную часть. Там сидел лишь один старшеклассник в трусах. Физкультурник, наверное.

— Вы одежду принесли? — вошел завуч. — Да, вот полюбуйтесь. Хотел вынести серную кислоту! Положил пробирку в карман, а она лопнула.

— А я думала, физкультурник.

— Вы просто... гармонично воспринимаете действительность! — Куницын веером распустил свой второй подбородок, представился и стряхнул соринку с воротника Светы — в нем, видимо, еще осталась частица мужчины, не переваренная бюрократом. — Ваше заявление? Кофе хотите?

Пока он читал заявление, Света коротала время, составляя словесный портрет завуча: анфас — утомление, в профиль — переутомление. В сутках двадцать семь часов. Любимый жанр — трагедия.

— Скажите... это правда, что ваша Настя моет пол? А разве может первоклассница выжать тряпку!

— Почему нет?

В ответ Куницын изобразил такое огромное сочувствие Насте, что даже оставил чашку с кофе. Света пустилась в разнузданную ироничность:

— Остынет кофе!.. Жалеть-то легче, чем воспитывать...

— В этих немецких чашках кофе очень долго горячий, — ласково улыбнулся завуч, но подобрал свой второй подбородок.

Света послешила уйти. Школа шумела ломающимися голосами старшеклассников. «Замётано, замётано!» — «Что замётано?» — «Что ты дурак!» Боги, боги! Эта шуточка ходила по коридорам еще во времена Светиною детства. «Подайте слепому на цветной телевизор!» А вот это уже совершенно новое что-то... «Самолет, самолет, ты возьми меня в полет!» — пропел сонливый дошкольник, сын уборщицы. Ну, это уже будет вечно звучать, пока самолет не превратится в космолет. Интересно, в пору космолетов уборщицы тоже будут жить в подвалах школ со своими маленькими детьми?

Из класса выглянула Расисим:

— Очень ждем вас! Сколько у меня проблем с вашей Настей! Девочку от всего тошнит. Надо лечить ребенка, раз взяли...

Молчаливый хор всеобщего осуждения стукнулся в уши Свете. А может, давление подскочило.

— Предложения Настя никогда не заканчивает! И откуда она знает, что такое девственная плева?! — уже гулаговским голосом вопрошала Расисим.

Света начала про то, что ничего плохого нет в интересе ребенка к устройству своего... своих органов. Настя хочет определиться. Нас ведь раздражают люди, которые не определились в половом отношении. Женственные мужчины, например. Соловейчик в своей книге пишет, что... Цитата убеждала сильнее, чем слова живого человека. На Свету уже смотрели с уважением. Сталинизм ядреный. Мнение, пропущенное через цензуру печати, их сразу покоряет, думала Света.

Когда выходили, отчим Лады подал Свете пальто и предложил пройти пешком две остановки — до дома.

— Вы выглядите как студентка, — сказал он при этом.

— Просто пальто с пелериной. Нет денег на новое... А вообще-то Пушкин считал, что каждый должен выглядеть на свой возраст... — Света смолкла, она вдруг поняла, откуда ей известна фамилия Куницын, — это был один из учителей Пушкина в Лицее. — Смотрите: позы деревьев совсем человеческие под тяжестью снега.

«Вольф, Рудольф, Адольф?» — пыталась она вспомнить немецкое имя отчима Лады.

Было скользко, и отчим Лады предложил Свете руку, она с облегчением приняла помощь. Рудольф, кажется! Он не немец, а просто мода ведь на красивые имена была тогда... По бабушке Потапыч.

— Лада растет такая обидчивая у нас! — сказал он, как бы прося какого-нибудь педагогического совета.

— Но она же меланхолик.

— Нет!

— Разве холерик?

— Нет!

— А кто?

— Нормальная!

Света поняла, что преувеличила знания попутчика.

— Светочка! — донесся знакомый голос. — А еще один поэт писал, что женщины светобливы... Они тут по ночам гуляют, понимаете ли!

Это был Лев Израилевич с красной повязкой на руке — в составе дружины заставляют ходить по улицам: без пяти минут доктор наук — и в дружину! Как только не стыдно этой действительности! Так примерно говорила Света, знакомя его с попутчиком: отчим Лады это! Какой такой Лады, Лев Израилевич ничего не понял, но на всякий случай пообещал, что Мише ничего не скажет.

Мама Лады

Как-то Настя заявила:

— Мама Лады купила б мне джинсовый сарафан, да! Она говорит: нет времени, а то бы они оформили меня к ним жить. Чтоб с Ладой вместе жила.

— Ну! Как? Помнишь, у них картина эта с волчатами. Три волка на луну воют. Еще лунный свет мастерски... Как с волками жить? По-волчьи выть, что ли? — Света машинально осуждала людей, повесивших такую картину.

— Просто у мамы Лады нет времени меня оформлять... А то б они взяли меня и любили, как родную! — твердила свое Настя.

— Перестань говорить ерунду, Настя. Ты прекрасно знаешь, что все это сочинила сама! — грозно заявил Миша, которому хотелось спокойно почитать.

Но Настя упрямо стояла на своем: серьезно, мама Лады ее полюбила, хочет взять, но вот только оформлять долго, ей некогда!

— Мы поможем быстро оформить! — не выдержала Света. — Пошли!

Миша отвернулся к стене, показывая, что он в этом спектакле участвовать не хочет. Поздно уж очень. Но Света быстро оделась, а Настя за-

чем-то спрашивала у Сони, где ее фломики. С собой хочет фломастеры? Ну и ну!

— Говорю вам: на ночь глядя не ходите! — простонал Миша с дивана. — Настя хочет счастья, она и подождет до утра.

Про себя он твердил народную мудрость вроде того, что утро вечера мудренее и сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит.

— Нет, она не выдержит до утра! — взвизгнула Света. — Ты хочешь оттянуть Настину счастливую жизнь до утра, ну и ну!

Про себя она думала: Настя никогда ей не простит, если встать на ее пути к счастливой жизни.

— Да, не выдержу до утра! У них аквариум в кладовке двести кубометров, вот! — прокричала Настя.

— Ты сама там, Настя, будешь плавать! — захохотал Миша. — Но! Света, дай мне слово, что вернешься с тем же настроением, с каким ушла. Не хуже!

На улице было темно. На доме Лады горело три буквы: «ОНО» — «ГАСТРОНОМ» было когда-то. А вот рядом на пирожковой горят четыре буквы: «РОЖ...А».

Не жаль мне, не жаль мне
Растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне
Разрушенных белых церквей, —

зачем-то вслух прочла Света.

— Это Рубцов? — спросила Настя. — Я к вам в гости буду приходить! Помнишь, ты рассказала, как его баба убила топором! Все из-за того, что люди из детдома. А я никогда не буду в детдоме!

Если умолять: «Настя, не уходи!», то потом она будет пользоваться этим и шантажировать: «Купи сарафан, а то я!..» Много сил потрачено на девочку, но зато узнали, какие люди бывают... как мама Лады! Да, чтобы узнать людей, не жалко и потраченных сил... Познание вообще бесценно. На вытаявшем куске асфальта сидела кошка цвета асфальта. Охотница за воробьями. Сейчас и Настя сменит окраску в сторону окружающей среды дома Лады. Будет говорить не о поэтах, а о вещах...

— Здравствуйте! Вот Настя говорит, что вы ее взять хотите.

А Настя в это время уже разделась и смотрела на себя в зеркало.

Родительница Лады ушла, убавила звук телевизора и вернулась в прихожую:

— Ну что ты, Настя! С чего тебе в голову это пришло? Мы такого ничего не говорили.

— А-а! Это слышала Лада, и тетя Паня подтвердит! — крикнула Настя, полагая, что если их припереть, то уж точно ее возьмут.

— Рудольф! Рудольф! — закричала мама Лады, словно призывая стаю волков, которые выгонят незваных гостей.

Рудольф вышел с красным от пива лицом и сразу поднял голос на жену свою:

— Ты что! В самом деле говорила *такое*??

— Но Настя сама попросилась... Ей с Ладой хочется. Но вы ведь не отдадите? — с надеждой в голосе спросила мать Лады.

Вышла Лада и заявила:

— Двенадцатый час ночи. Вы чего тут?

— Ребенок ведь не котенок, чтобы им перебрасываться, — зевнул отец Лады и ушел дальше смотреть телевизор.

— Вот именно. А теперь Настя считает, что вы ее больше понимаете. И вам придется ответить за свои слова: взять девочку к себе!

Настя уже двинулась было в комнату вслед за Ладой, но мать Лады остановила ее рукой: нельзя! Свете она сказала так:

— Вы что! У нас бабушка умирает от рака! И нам не до Насти!

Настя вдруг начала покашливать — от неловкости положения.

— Видите! — добавила мама Лады. — Она у вас болеет часто! Ладочку будет заражать еще... Да и о вас Настя никогда не говорит плохого: дядя Миша читает вслух каждый вечер, Света — рисует... А у нас ничего этого не будет, Настя!

— А мне и не надо! — радостно кивнула девочка, полагая, что начался торг и можно уступить кое в чем.

— За свои слова нужно отвечать. На словах легко быть хорошими. А вы делами докажите. Позвали — берите.

— Цвета, пойдем, — позвала вдруг Настя.

— Сами эту дрянь взяли, сами и воспитывайте, — закричала мама Лады. — Чтоб она нам вшей и лишаи нанесла! Нет, не бывать...

— Вши, лишаи... А вы как думали?

Света говорила спокойно, ведь она обещала вернуться с тем же настроением, что... У нее не одна Настя, силы на других нужны. Но в это время рука Рудольфа выросла над Настей и вышвырнула ее вон из квартиры. А в руки Свете кинули пальто девочки. Дверь захлопнулась. Света думала, что Настя все поняла. А Настя в это время думала: все испортили! Специально эти Ивановы ночью пошли туда! Сразу... А надо было постепенно приучать родичей Лады... Вообще-то она твердо была уверена, что всем нужна, во всем мире, просто ее еще не знают. А как сделать, чтобы узнали? Может, картины помогут?

Вернувшись домой, она сразу же взяла бумагу. Что рисовать? Кого? Себя! Автопортрет. Сама-то она у себя всегда под рукой! Миша думал, что она хочет извиниться своим рисованием, и эта слепота его приведет в конце концов к тому, к чему приведет... Но и Настя ведь тоже была права: человек должен быть нужен.

Будни

Позвонили в дверь: телеграмма от Светиной матери о том, что приезжает. И Света пала духом вопреки известному призыву «Духом окрепнем в борьбе!». Где уж тут окрепнуть в борьбе с мамой Лады, предстоящим визитом инспектора по опеке плюс родная мамочка, которая будет все время учить жить, с первой минуты: «Света, как ты села — ну-ка ногу на место! Смотрите, она все еще ногу под себя на диване!.. Дочь, не размахивай сумкой во время ходьбы — ты меня позоришь!» Конечно, придется вылизать весь дом, у Антона кровать и под кроватью, как сознание и подсознание (сверху заправлено, аккуратно, а под кроватью яблочные огрызки и фантики из-под конфет, батарейки и грязные носки).

— Свет, ты что, первый ребенок в семье у родителей, что ли? Ну понятно — первенцами всегда недовольны... к ним повышенные требования, их ждали... Теперь понятно!

— Что понятно, Андрей? Говори.

Когда Света вышла мыть посуду, йог Андрей вышел за нею:

— Почему ты взяла Настю? Хочешь матери своей доказать, что неродную вот любишь? В то время как она тебя, родную, не ценит... С точки зрения Фрейда...

Света начала бормотать про мать: мол, с нею говоришь — как бы идешь по узкому коридору, тесно, боишься лишнее сказать!

— Но мне-то еще хуже, я вообще единственный, — чуть не заплакал йог Андрей, втайне надеясь этим выманить у Светы на опохмел; и он рассчитал все точно — она налила ему два бутылка кукурузных рылец, спиртовой настой.

И тут пришла Инна Константиновна.

— Что это Настя дома не сидит?

Света сразу же подарила инспекторше мемуары сестры Цветаевой. Щедрым голосом Инна Константиновна сообщила: одна артистка ТЮЗа просит себе Настю! Такая одинокая женщина, сама шьет, вяжет. Ах, не

отдадите! И чего вы за нее держитесь? Уникальная личность? Но это не Цветаева все-таки. Вот у Цветаевой — уникальность.

Света лихорадочно прикидывала, что бы еще подарить гостю, а Миша думал: «Да ты бы Цветаеву в упор не заметила, когда б ее живую увидела! Думала б: седая изможденная женщина в платье, просвечивающем от ветхости. Да встретиться ты с самим Шагалом!..»

— Вы почему не на работе, Миша? — строго спросила Инна Константиновна. — Ах, пол лаком покрыли в издательстве, что вы говорите! Деньги у них есть, значит... А на дом вам дали задание?

Йог Андрей наскоро призвал всех организовать союз читателей и первым пунктом устава записать: не читать членов союза писателей. Он надеялся успеть на вторую смену на работу. Там-то уж он сможет хорошо похмелиться, патриарх лекарственных трав! И Света вспомнила, что она патриарх плюсов. Сейчас она покажет инспекторше камни, что дети собирают.

— Сад камней в Японии — это изумительно, — в ответ начала Инна Константиновна рассказывать о своем турне по Японии. — Да вы ко мне в гости придите! Я покажу все, что привезла.

Йог Андрей понял, что пора делать ноги. В последнее время он утратил интерес к женщинам, даже таким красивым, как эта инспекторша. Много они хотят. Вот другое дело настойки — тоже женского рода, на спирту, конечно, способствуют медитации... Йог он или нет?

Света не доверяла йогам. Если бы они были такими могущественными, то разве позволили б этим варягам... англичанам... править у себя на родине!.. Наверное, все это одни разговоры, чтоб нравиться женщинам. И не больше.

— Одна — женщина, другой — мужчина, вот и вся причина, по которой камни... — лепетала Инна Константиновна, наслаждаясь интеллектуальным общением.

Света думала: чего бы уж такое ей дать, чтоб ушла поскорее? Миша мечтал сам уйти в себя. Инна Константиновна была уверена, что все счастливы общаться на таком высоком уровне. Андрей же думал о скорой встрече с настойкой. И все их мыслительные токи так сложно переплелись, что образовали ткань бытия. Можно было почти зрительно видеть паутину-сеть этих переплетений в ауре квартиры Ивановых...

Письмо: «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ БАБУШКА И ДЕДУШКА! ПОЛУЧИЛИ ВАШЕ ПИСЬМО. ОТВЕЧАЕТ ВАМ АНТОН. ДЕЛА У НАС НЕВАЖНЫЕ. МАМА СКАЗАЛА ПАПЕ: «ВЫХЛОПАЙ ОДЕЯЛО!» А ОН РАЗГОВАРИВАЛ С АНДРЕЕМ. И МАМА ВЫГНАЛА ПАПУ. ОН УШЕЛ ИЗ ДОМУ. НАПИШЕТЕ: ИЗАБРЕЛИ ЛИ У ВАС ДЕЦКИЕ САДЫ?»

— Ну и ну! — обрадовалась возможности поучить кого-то жизни Настя. — Антон, ты чего? Бабушка подумает, что родители развелись. А ведь когда это было! И Миша вскоре вернулся, помирился с Цветой, а ты об этом ни слова!

Антон вспомнил, что папа в самом деле вернулся уже. И повеселел и принялся с усердием выпускать свою занудную газету «Фаустенок». В номере два он поместил карту полезных ископаемых, точнее, так: карту полезных и бесполезных ископаемых в квартире Ивановых.

Миша вдруг заявил: не вынесет он тещи! Уйдет на эти дни из дома. Якобы в командировке. Теща пусть думает, что он уехал... А как же спина? Света так боялась остаться одна — ей не выстоять под натиском упреков своей мамы.

— Спина? Да, спина на вашей стороне. Остаюсь. Куда я с такой спиной? Болит она, — подумав, ответил Миша.

Антон хотел его порадовать и начал писать новое письмо родителям Миши: **«ДОРОГИЕ БАБУШКА И ДЕДУШКА! ПИШЕТ ВАМ АНТОН. ДЕЛА У НАС НЕВАЖНЫЕ. НЕДАВНО НАСТЯ ЗАЛЕМОНИЛА МНЕ ЯБЛОКОМ В ГЛАЗ. НАСТЯ — ЭТО НОВАЯ НАША СЕСТРА...»**

— Не залемонила, а лимон ведь все-таки! — чуть не заплакала Света. — Что ты все печальные новости им пишешь! Радовать бы стариков...
— Расисим ругается: дневник за вторую четверть все еще не подписали! — сказала Настя.

Миша ответил: нервы у него от спины в таком беспорядке, что он уже не вынесет вида ее дневника — подпишет с закрытыми глазами. Пусть Настя лишь ткнет его палец, куда поставить закорючку подписи. А она как раз не хотела этого: в дневнике четверки и пятёрки. Одна тройка есть, и то... Надо было прочитать по литературе «снег осел», а она прочитала «снег осёл»...

Света, женское начало семьи, материнская ипостась, стала говорить про то, что пора идти через час на вокзал, в конце концов, они встречаются не кого-нибудь, а ее родную маму, без которой ничего этого бы и не было.

— Нас лишили родителей путем прививки образа Павлика Морозова! — Миша горестно начал искать носки. — Все время мы их подозревали и мечтали донести, как Павлик. Мои родители заставляли меня воровать колхозное зерно. Без него скот не выкормишь. И пример Павлика меня терзал прямо... Он-то донес, вот и герой. А я уже не мог... почему-то... но думал об этом... Нашлось одиннадцать одиноких носков!..

Света возразила:

— Дело в том, что наши родители были всегда не на нашей стороне, а на стороне государства, учителей. Их в школу вызовут, поругают, а они все потом на нас!.. Я училась на «отлично», конечно, но были в поведении разные поступки... И как в шестом классе я удивилась, когда у нас появилась девочка из интеллигентной семьи. Ее родители *всегда* были на ее стороне. Лиза такая Пароходова... Вот тогда я начала что-то понимать...

— Видимо, были у нас воры, — печально стонал Миша. — Одиннадцать одноногих воров унесли одиннадцать одиноких носков...

— Фрейд бы сказал, что тебе не хочется идти на вокзал, вот и...

— А мне он внушает сомнение. Получается, что сознание хитрое, а подсознание — истина. Но ведь то, что под кроватью у Антона — огрызки эти, бумажки, не является сутью нашего сына! Если уж так... Сознание и подсознание... Да, Антон? Ты же аккуратист?!

Инну Константиновну они встретили сразу, как вышли из дома. Как в романе.

— О, вы ко мне, в районо? Да? Надумали? — обрадовалась она.

— Нет-нет, мы на вокзал... встречать.

— А то смотрите: ловите момент! Моменто мори, как говорится.

— Цвета, а бабушку как зовут? Александра Филипповна? Ну... мне не запомнить.

Миша сказал: все очень просто! Отца Александра Македонского звали Филипп. Вот и запомни: Александра Филипповна.

Но Настя вспомнила, как Миша им недавно читал рассказ «Филиппок». Так легко сразу запомнилось!

— Папа, а почему твои... бабушка и дедушка мои... тебя заставляли воровать это зерно? А не сами... — сдавленным голосом спросил Антон — видимо, его очень взволновали подробности из детства отца.

Миша не успел ничего ответить, а Настя уже все объяснила: понятно же, взрослых поймают — в тюрьму сразу. А детей... нет.

Очень бабушку свою,
Маму мамину, люблю!
У нее морщинок много,
А на лбу седая прядь.
Очень хочется потрогать,
А потом поцеловать! —

такими стихами, выученными как-то в детском саду, Антон встретил бабушку с поезда.

И Александра Филипповна сразу взяла его за руку. Сидела она в самом деле красиво — прядями. И гордилась своей молоджавостью.

— Дочь, ты чего это горбишься-то? Ну-ка... спинку прямо! — твердым голосом заявила Александра Филипповна Свете. — Не позорь меня на всю Пермь.

— Бабушка! — отвлек Антон всех от скандала. — А я написал письмо в газету: «У вас там работают идиоты, которые считают пауков насекомыми. Но пауки не относятся к насекомым, они же паукообразные».

Настя в это время то подбегала к Александре Филипповне сбоку, то отбегала, то снова подбегала, опять уходила в сторону, после с другого боку подходила. Сумеет ли она нарисовать бабушку так, чтоб та оценила и полюбила? Света сомневалась.

— Бабушка, а я провожу эксперимент по воздействию времени! — расхвасталась Сонечка. — Да. Фольгу золотую положила в первый день нового года. В свой ящик стола. И посмотрим, долежит ли она до следующего нового года. Это эксперимент!

Только Миша внес в квартиру две огромных сумки тещи, как сразу же свалился на диван и закрыл глаза. Спина опять отнялась. Александра Филипповна покачала головой, оглядывая тесноту комнат Ивановых. Вот, сказала она с укором, ухаживал за Светиком Валера Киселев в одиннадцатом классе, помнишь, он теперь деловой стал, в завкоме работает, у него квартира из четырех комнат... Мать уязвляла дочь самым уязвляющим уязвлением.

— А мы сами себе господа, — вяло отругивалась Света, ставя разогревать борщ. — Надо «скорую» Мише вызвать, ты за борщом-то посмотри сама, мама.

— Оспода! Вы себе оспода! Конечно... Что это за девочка с вами? Неужели взяли? Надо же! Чужая и свои, какое сравнение — как половик и ковер.

— Мама! Ты лучше уезжай сразу обратно, чем нам жизнь ломать, — сказала Света и отправилась за «скорой».

Александра Филипповна раздавала детям гостинцы, загадывая загадки:

— Сколько горошин входит в стакан?

— Я знаю: горошины ногами не ходят! — закричала Настя и получила свою шоколадку.

Вдруг Александра Филипповна посмотрела на часы и бросилась к телевизору. Шла какая-то очередная серия французского детектива. Александра Филипповна сидела перед экраном так напряженно, словно ждала: сейчас ей покажут что-то самое важное, главное для ее счастья. Герой фильма жил в роскоши (по советским понятиям), хотя в советских газетах все писали о нищих на улицах Парижа. Но Александра Филипповна с огромным доверием смотрела на все. Энергии в главном герое было столько, что она просачивалась сквозь экран. Александра Филипповна подкачалась энергией и с огромным напором стала давить на дочь: половик и ковер! Света вспомнила, какой они взяли Настю — одни ребра, на подгибающихся ногах...

— Ты родную мать хочешь выгнать из дома, чтоб чужую девочку воспитывать, да?! — кричала Александра Филипповна.

— Точно. Ты все точно поняла, мама, — спокойно отвечала Света.

— Да мы с Настей еще подружимся, может, правда, Настя? — не изменив тона, сделала поворот на сто семьдесят градусов Александра Филипповна.

Йог Андрей в это время вышел из туалета и представился Александре Филипповне:

— Я здесь настолько привычен, нечто вроде мебели, деталь обстановки, так сказать, очень рад познакомиться, вот советую принять двадцать капель элеутерококка, бодрит пожилых людей. — Он купил полсумки настойки элеутерококка для Ивановых якобы. За вчерашние хлопоты

— Какая глупость! — доверительно-громким голосом сказала йогу Александра Филипповна. — Взяли чужую. А деньги? Свои по миру пойдут...

— Мама, но ты же ходила по миру: во время войны вы с братом милостыню просили... И что? Выросла нормальным человеком.

Йог вдруг горячо возразил:

— По миру пойти? Они уже пошли по миру, только... мир сам пришел к ним! Друзья приносят и одежду, и обувь, то, что осталось от своих подросших деток...

Звонок Дороти

Мише позвонила жена писателя К-ова:

— Представляешь! Застала его в постели с другой женщиной!

— Как обидно, — растерянно отвечал Миша. (А что в таких случаях говорят-то? — лихорадочно соображал он.)

— Наоборот! Миш, это же новая шуба мне! — заливалась Дороти.

— Да, плохо быть бедным... — начал вслух в трубку размышлять он. — Что с бедного взять? С богатого шубу, а бедного можно только выгнать.

— Ты всегда не то говоришь. Бедного можно под это дело заставить вымыть окна, понял?!

— Понял, — сказал Миша, хотя на самом деле он ничего не понял. На что-то она намекала ему, что ли? Надо у Светы спросить...

Письмо Александры Филипповны

«Здравствуйте все: Света, Миша, Антоша, Соня и Настя! Во первых строках моего письма сообщаю, что доехала я хорошо. Отец меня встретил. Как живет дочь? Плохо, говорю, денег не хватает от полочки до полочки. Куда она деваает деньги? А я говорю: спрашивала то же самое, Света отвечает, что не пропивают, не прячут, не раздают, в карты не проигрывают, в землю не закапывают, в сберкассу не уносят... Мы уже привезли большую телегу навоза на огород, если не украдут до весны, то хорошо, да у нас вокруг у всех украли. У нас пока все нормально, жить можно, чего и вам желаем, всех целуем, но мы купили тушенку 0,5 говяжью, пришлем посылкой, если не вытащат на почте, то хорошо, но у брата вытащили, ему послали дети, вот у всех дети заботятся о родителях, а мы еще ничего от вас не получали. Да дай Бог вам всем здоровья! Деньги экономьте! И такие наши дела. Еще куплю подсолнечное масло и пришлю в канистре. Ваша мама, бабушка, ваш отец и дедушка».

Настя и смерть

— А сегодня ночью я чуть не умерла, да, Цвета?

Света вопросительно посмотрела на Настю.

— А пальцы на ногах сгибались и отгибались, сгибались и отгибались.

— Это судороги, от высокой температуры. Я дала тебе анапирин. — Света принялась целовать девочку, приговаривая, что вылечит ее и спасет.

Миша продолжал семейное чтение Гоголя.

— А что это за парикмахер, который приходит без спроса? — удивился Антон.

— Это смерть приходит без спроса — Гоголь ее назвал парикмахером.

— Очевидно, мы все умрем, — судорожно выдохнула Настя.

На обед Света сначала подала салат в длинной салатнице, украшенный цветком из половины яйца.

— Это называется «Похороны цветка»? — спросила Настя грустно.

Опять у нее эти мрачные мысли в голове! И Света с чрезмерной страстностью кинулась ласкать Настю. Тут Миша вызвал Свету якобы на предмет поиска носков в детскую.

— Ты еще ничего не поняла? — спросил он. — Все это у Насти — только повод получить побольше ласк от тебя! Не тревожься ты!..

В следующий раз, когда вечером Настя опять завела разговор о смерти, Света не тревожась сразу выдала ей три поцелуя, два поглаживания по голове, а также некоторое количество объятий и похлопываний.

Миша, заканчивая чтение очередной главы из Гоголя, солидно произнес:

— Вы слушали чтение «Сорочинской ярмарки» Гоголя. Московское время — двадцать часов. А сейчас сообщения о погоде...

Каникулы в Москве

Настя:

— Апельсинищи! Идем мимо памятника Пушкину: сидит на нем голубь! Идем обратно: нет голубя... Пушкин, наверное, потихоньку его смахнул и стоит как ни в чем не бывало. Клево так!.. Цвета, там стелько хороших вещей, что стоит толпа, и они еще спросили: «Перьмь — это что? У вас там хлеб белый есть? А асфальт?» Я сказала, что есть, но его каждый год ломают и делают, ломают и делают. Может, у них карта кладов, они ищут их... Цвета, Цвета! А шляпы в Москве во-от такие, — ведет пальцем столь сложную линию вокруг головы, что Света спросила: «Ты шутишь?» — «Нет, во-от такие» — и ведет ту же самую сложную линию.

Антон (чертя схему пермского метро):

— Дядя Вася живет в ослепительно сахарных жилых домах, как говорит папа, массивах... Первая остановка пермского метро — «ЦУМ»... Конверт купили, чтобы бабушке письмо послать, а там написано: «Изготовлено в Перми». Продукты в Москве вкусные... Через Каму метро можно провести, нет?.. Я покупал свирель в «Детском мире», она глухо звучала, я хотел поменять, а продавщица как закричит: «Дома знаешь как будет бить по мозгам!»... Я три схемы метро в Перми сделал — на всякий случай. Кольцевая по центру...

Соня (заканчивая лепить из пластилина «Памятник Пушкину» — весь в голубях, которые так размахались своими крыльями, что видны у поэта лишь ноги, кудри и шляпа):

— Мне в Москве понравилось набирать по телефону сто — и тут же тебе сообщают время! Точное! Таким важным голосом, словно после этого время на земле кончается... Только я за что в Москве ни схвачусь, меня бьет молния! Москва искрит как-то... Хотя в Перми я та же Соня, но меня не бьет молния. Папа, мы еще поедem в Москву? В мою?

Миша:

— В мою задумчивую поедem, а не в вашу суетливую и быструю, спешащую Москву! В столице, конечно, тоже загрязненность воздуха, но по сравнению с Пермью воздух кажется чистым! Я детям сказал: дышите сильнее этой загрязненностью, а то в Перми опять будем большей загрязненностью дышать... Продукты, правда, там вкусные. А у нас ешь словно глину — чуть различных оттенков, но одну и ту же глину. Встали мы в очередь за колбасой и дрожим: вдруг не дадут на всех, милицию вызовут, колбаса копченая, и я даже вспотел весь от напряжения: дадут — не дадут. Вдруг кто-то: «Продавец! Почему у вас колбаса на витрине не разрезана? Я как узнаю, с жиром или без?!» Я ждал, что она сейчас ему рывкнет в лицо, а она извинилась и... разрежала колбасу на витрине! А тот недовольно пробурчал: «Жирная» — и ушел из магазина. Только тут я понял, до чего нас в Перми довели... Или шли мы к «Новому миру» — там кинотеатр, по левой стороне, жара почти, капель, окна учреждений распахнуты, и в каждом окне на всех этажах мелькают одинаковые портре-

ты Ленина — ну точно как у Дали на картине «Вызывание Ленина». Дали вот тоже мы купили... очень дорого, правда... Японский! Качество-то!

Картина Дали «Осеннее каннибальство» показала Свете символом взаимоотношений между столицей и провинцией в родной державе. Из сел вагонами гонят в Москву мясо, а потом пермяки и все остальные рюкзаками его развозят обратно по своим домам. При этом москвичи обзывают провинциалов «мешочниками», а те называют жителей столицы «объедалами всея Руси», и уже непонятно, где одни, где другие, ибо совестливые москвичи еще шлют посылки своим родным и друзьям в глубинку, при этом на время становясь мешочниками и закупая всего помногу... поедают друг друга, конечно, не так изящно, как у Дали на картине, но это поедание по кругу именно на картине отражено... Ой, что это я, подумала Света, Дали еще жив и отменно здоров, если мои мысли до него долетают, то... ой, во второй раз спохватилась Света, какие мысли долетают!.. Сколько во всей стране-то альбомов Дали — сто? Девяносто? И цена альбома кому по карману? — две месячных зарплаты!

— Спи, ангел мой. — Света поцеловала Настю и убрала альбом, выключила свет, мельком взглянув на пакет с японским пиджаком и не подозревая, какие ее ждут перипетии как с пиджаком, так и с Дали.

Одежда в древней Советии

Одежда во времена Брежнева была еще партийной. В театр уже можно было надеть что-нибудь модное, но на работу — ни-ни. Какой переполох вызвал в издательстве Мишин новый бархатный пиджак японского производства! С этого дня Главный начал на Мишу коситься подозрительно. У него вообще была привычка коситься, выработанная специально: в прямом ведь взгляде нет намека, а посмотришь искоса — человек начинает ежиться, думать: чего Главный на меня искоса поглядел, может, работать мне получше надобно? Миша уж всем рассказал, что пиджак ему подарил друг Василий, который растолстел от сидячей работы... Про то, что это «способы общения с Абсолютом», он не говорил. Про то, что три часа в день Василий работает лопатой, тоже ни слова... Главный стал уже доставать Мишу этими частыми косыми взглядами.

А куда деться от косых взглядов Главного? На бюлетень, конечно, тем более что спина каждую весну у него сдавала. Но и тут Главный влепил ему выговор за неявку на ленинский субботник. Это же было сакральное действие, неодолимая вещь — 12 апреля одна тысяча девятьсот древнесоветского года... За это, кстати, Мишу потом премии лишили. А все японский пиджак! Миша уже готов был купить новый, но без премии — денег нет, денег нет — ходит в японском пиджаке. Круг замкнулся. Выход неожиданно предложил ему редакционный художник Петр Кузин, который навелит большого друга по поручению профкома:

— Чувачок, знаешь что... продай-ка ты Японию мне, а то они тебя выживут из издательства. Я ведь в Европу двигаю, к балтийскому морю! Жена-то моя литовка, в Литве еще коммунизм корешки не пустил так крепко, буду там в этом пиджаке... А ты, кстати, когда станешь мне письма слать, не спутай, пиши — Пятрасу Кузиначу, а жена моя отныне Кузинене. — И Петр латиницей на листе бумаги изобразил красиво, как настоящий художник, что нужно написать на конверте. Иначе письмо не дойдет.

Пиджаки, пиджаки, кругом японские пиджаки! Миша шел на работу в один из последних апрельских деньков, а они выскакивали на него из поперечных улиц, бросались навстречу, выползали из подъездов и смутно мелькали из окон автобусов, обретая внутри себя потомков Ермака, скрещенных с аборигенами (коми и манси). Многие пермяки казались похожими на зеленого змия, которому путем доморощенных заклинаний приходилось каждый день превращаться в человека — чтобы зарабатывать на водку, да, на нее, питательную для змия водочку.

Что же случилось? Ведь свой пиджак Миша никому не продал, потому что подарки не продают — есть такая примета. И тут произошла встреча с Кузиным, облаченным в коричневый японский пиджак.

— Старичок! Все в порядке — японцы завезли нам триста тысяч таких пиджаков за опилки Краснокамского комбината... Не знаю, как ты себя чувствуешь в этом инкубаторе, но я-то уезжаю в Литву!

И Миша понял, что если бы революция случилась вчера, то большевики, конечно, изрубили бы все триста тысяч коричневых пиджаков, но поскольку правили уже правнуки их, передельщиков мира, то они не чувствовали, что ради идеи можно пожертвовать красивыми японскими пиджаками. И вот сто тысяч коричневых японских изделий уплыло в область, а остальные носили пермяки: работники обкома, поэты, официанты в ресторанах и студенты.

А что же Главный редактор? Его косые взгляды, конечно, были смяты нашествием японской мануфактуры: отсюда виден пиджак — и отсюда виден пиджак, уже не накосишься, тем более что с поэтами он виделся ежедневно, да и в ресторанах бывал часто. Так получилось, что с утра пиджак и к вечеру — в ресторане — пиджак.

А пиджаки носились долго-долго. Причем первые пять лет они вообще выглядели как новые. Кстати, оказались они не совсем бархатными — просто так благородно отливали на свету. На шестом году носки японские локти получили красивые потертости, напоминая японские же старинные предметы, которые высоко ценились за древнюю простоту и странную настоянность на времени. А что касается йога Андрея, то он проносил пиджак всю перестройку и в нем же встретил эпоху рынка.

1 Мая

Кто запланированным воем просится на демонстрацию 1 Мая? Настя, конечно! Это когда у всех высокая температура и грипп диктует постельный режим...

— У меня же нет гриппа!

— Будет, если под снегом продемонстрируешь, вон какие хлопья!

— Это мультяшные хлопья, большие, как в мультике... Тем более что нам велели по двадцать веточек принести каждому, а вы мне не разрешили!

— Нечего природу всеблагою губить, Настя! А другие нам не пример. Почему? Потому что в классе сорок человек, умножь на двадцать веточек! А сколько классов в школе? А сколько школ в городе?

— На эти веточки цветы бумажные сделали — для демонстрации.

Света гладила постиранные шторы. утюг шипел, когда она брызгала на ткань водой, и Света тоже шипела: ради демонстрации всю зелень в городе погубить, что ли!

— А мне плохую оценку поставят!

— А нам не нужны хорошие оценки за плохие дела.

Антон, лежа в постели, играл на расстегнутом значке, пальцем щелкая по игле застежки: тым-тым-тым.

— Я скоро в музыкалке буду.

А Настя играла всеми хамелеонами своей души: премилому Антошечке все можно, а ей ничего. Всего-то мечтала: на демонстрацию вместе с Мишей, а он... а они... Антон уже играл на туго натянутой нитке: дныз-дныз-дныз.

— Я все держу как смычок: и ложку, и хлеб. Не зря хожу на подготовительные курсы в музыкалку. Скоро поступлю и...

Ладно, сказал Миша, пошли, Настя! Он выпил жаропонижающее и начал одеваться. Миша, ты быстрее можешь? Он задумался: может или нет? Мультичный снег падал, казалось, прямо внутрь, на сердце, — там что-то шипело. Еще быстрее ей — вы подумайте!

— До свидания, кисточки! — помахала Настя своим корейским новым кисточкам и бросилась в шум-гам праздника, представляя, как она будет забегать вперед колонны и дирижировать ею, потом отставать и подталкивать ее сзади.

Уже через полчаса Света услышала за окном голос мужа:

— Тетя Паня, вы Настю не видели? Мы с ней пошли на демонстрацию, а она вдруг исчезла...

— Дуги-то гнут с терпением, а не вдруг, — ответила дворничиха. — А почему нынче свежие огурцы? О-о, кожейдерство какое, о-о-о...

Огурцы, значит, Миша купил, когда заходил в магазин искать Настю. Апчхи. Боже мой. Апчхи. Боже мой. Дныз-дныз-дныз. Антон, прекрати, и кто это, Настя пришла? Но позвонил йог Андрей, а не она. А у нас грипп. А у всех грипп — он антигриппин принес. Водка? О, у нас Настя вместо алкоголя — так взбадривает... и обеспечивает непредсказуемость жизни, как у тебя алкоголь.

— Я ноги до колен износил в поисках этой дуры, — рассказывал Миша, сохраняя народно-тети-Панин стиль. Мультичный снег продолжал падать под громкую маршевую тра-та-та за окном. Йог усмехнулся: алкоголь как генератор непредсказуемости — Ивановы все еще помнят то его приключение, значит...

— Секретарша Аня тоже недавно напомнила, как я к ней в трусах... и босиком поутру.

— У тебя есть своя секретарша? И труд пишешь, как Василий? О!

— У меня нет своей секретарши. Но чужие-то секретарши у меня были...

Настя нет. И хорошо, подумал Миша. Тихо так без нее. А, это музыка за окном утихла, значит, демонстрация закончилась. А жаль. Сейчас ведь она придет. И точно: за окном голос:

— Сорок один — ем один! Все шарики мои! Жентос, не трогай! И ты, Сидор, уйди. Мои.

Со связкой разноцветных майских шаров ворвалась. На самом деле она понимала, что Миша имеет право обижаться, ведь сама ему говорила: «Вместе, вместе!» Умоляла его. И он выпил две таблетки, чтобы с нею пойти... Но если сделать вид, что она не понимает этого, то Цвета поверит или нет? И Настя зачастила: все там несут в руках что-то: кто гармошку, кто ветку с цветами, кто — портрет, кто — ребенка, и только Миша вышел пустой, как дурак, один такой, а ведь он взрослый — должен понять, что так нельзя. Вот она и побежала догонять маму Лады — увидела ее с шариками и догнала! Всю демонстрацию вместе прошла, до трибун. Дныз-дныз-дныз — прозвучало в наступившей тишине. Антон, прекрати наконец!

Настя сняла пальто, не выпуская связку шариков из рук, она изо всех сил держалась за них, потому что они напоминали, как она шла среди празднично одетых трудящихся. Правда, погода не располагала трудящихся к солидарности, сыпал снег, но Настя видела, что были энтузиасты, которые вертели сияющими лицами во все стороны, как милицейские лампы-мигалки, посверкивали белозубыми улыбками, словно призывая... а может, они были уже под мухой, подумала Настя.

— Настя, ставь градусник, — тихо сказала Света.

— Нет, пусть она демонстрирует, — заорал Миша. — Она же любит демонстрацию с шариками!

Антон дул разнообразно на дудочке, мечтая, что это какая-то торжественная музыка, но йог Андрей вовремя помог ему — на губах он довольно красиво заиграл марш «Прощание славянки»: прым-прим-прим.

— Вы, меланхолики, ничего не знаете о текущем моменте! — Йог взял в руки бутылку с антигриппином. — А кто так громко звонит? Я надеюсь, они не с пустыми руками.

Свое лицо торжественно внес писатель К-ов. Такое лицо надо носить, говорил взгляд Дороти, его второй жены, — и, возможно, последней.

— А Дороти потащила меня к вам смотреть Дали! — Писатель по очереди поцеловал у дам ручки и устроился на диване. — Забыли мы бутылку рислинга — приготовили и вот... дома оставили.

— Значит, будете чай пить, — сказала Света, ни секунду не верившая в то, что забыли. Просто люди экономят все время... на что-то. Антон пожалел, что игра в парад так быстро закончилась: он всего два самолета из газеты сделал — хотел пускать на параде, вот так.

— Убери это безобразие. — Света показала ему на самолетик, размокший в стакане у писателя К-ова. — Иди принеси чистый стакан. Вам с синей Настасьей можно поужинать в детской комнате.

— Сейчас, я только выпущу все через трубу и уж потом заправлю баки горючим — поужинаю. — Антон скрылся в туалете.

— Он мечтает стать летчиком или космонавтом, — наскоро пояснила реплику сына Света и достала с полки альбом.

Писатель К-ов великодушно согласился послушать о Дали, ведь если посмотреть со сто двадцать пятой точки зрения, то в будущем космонавту на неизвестной планете легче адаптироваться к странностям, если знает такие картины...

Миша вдруг стал вспоминать: в детстве он играл в космонавта: кошку завязывал в платок и крутил вокруг своей головы — это была центрифуга. Потом кошка спала очень долго.

— А мы-то спрашиваем у судьбы, за что все болезни и прочее. — Света широко раскрыла глаза. — А ты кошку мучил, и теперь надо расплачиваться...

— Да она потом жила еще сто лет!

— Вот так... все понятно...

Йог Андрей прошептал что-то вроде «карма» и мирно отключился.

Сонечка на всякий случай взяла Безымянку на руки.

— А я знаю, почему сказки хорошо кончаются! Потому что мы фашистов победили. Если б не победили, то в сказках бы Кашей сам всех съедал...

— Деточка, ты уже Дюма начала? — изумленно спросила Настю Дороти.

— Ну, Миша-то нам читает... каждый день! — Настя согрела голос максимумом восторженных нот, какие смогла выдать, чтобы помириться с домашними.

А Света все искала подходящую паузу, чтобы вставить слова Льва Израйлевича: да, плохих людей, может, больше на земле, но жизнь идет вперед благодаря хорошим. Кстати, почему его сегодня нет? А раз нет, то пора бы и остальным по домам — она демонстративно раздала детям градусники, и тут в дверь позвонили. Но это не Лев. Это Лю с сыновьями. А у нас грипп! А у нас тоже, ответила Лю. И с гриппом, значит, она пошла к Ивановым, возмутился про себя Миша, но Света взглядом сказала ему, что нужно все вытерпеть.

— А то сказки будут плохо заканчиваться — победой Кашея, — прошептала она.

— Чашек не хватает!

— Сейчас... Миша мне на юбилей свадьбы подарил пару. — И Света достала завернутые в целлофан с бантиком чашки, при разворачивании одна распалась на части — была разбита, но искусно скреплена целлофаном.

— Да разве можно в нашем государстве покупать что-нибудь в целлофане! — завелась Лю. — Мой благоверный цветы мне взял завернутыми... и что! Все сломанные оказались.

Тихим ангелом пролетел образ родины.

— Ладно, к счастью, — решительно всех успокоила Света. — Не будем много об этом... Как говорил мой дед, если бы ничего на свете не билось, не ломалось, то для кого заводы бы работали...

— Праведница ты наша! — Шерстяной свитер Миши пришелся Свете на шеку.

— Брат, достань там из сумки две бутылки водки, — сказала Лю закуривая.

Из детской доносилось: «Дура», «А вы осеннее каннибальство вообще», «Скелет», «Фиг его знает!».

— Что это еще за «осеннее каннибальство» такое? — спросила Лю.

— Альбом Дали купили — будешь смотреть? — Из последних сил Света старалась быть любезной с гостьей.

— Ну, поплачете вы, давая детям такие образцы! — усмехнулась Лю.

Света заметалась внутри себя в поисках положительных качеств Лю: не жадная, красивая, с юмором... А главное, что через этот крепкий узелок прошла нить ее, Светиной, судьбы — она через нее с Мишей познакомилась, нужно все вынести. И шарики под потолком своим шамански-мудрым покачиванием из стороны в сторону словно подтверждали это. Прилетел самолетик из детской — опять в чай!

Уже плачут

— Света, хватит! — Миша не находил слов для жены.

— Склеить Дали! Зная, что это для меня очень дорогая книга, да она и в самом деле двести рублей стоит! Нет, не могу... Мы должны сдать ее в детдом, сил больше нет! О мамочка, ты же говорила мне... Боже мой... Все мне говорили... Тетя Паня! Писатель К-ов, Лю, наконец.

— Ну, она же робко так склеила. — Миша размочил край альбома и разрезал страницы. — Репродукции не пострадали!

— И не сознается! Значит, так и жить — ожидая, что испортит нам завтра-послезавтра? Я не хочу так жить. Мама говорила, все мне это предсказывали, а я... Глаза выпучила и свое: другая среда, другая среда все исправит...

Миша сдался: в конце концов, ему тоже все это... Осеннее каннибальство...

— Главное, Настя говорит: последней смотрела альбом Лю. Вечно она оговаривает людей! Насте пока про детдом ни-ни...

— Наконец-то! Давно бы так! — обрадовалась Инна Константиновна, прочтя заявление Ивановых о детдоме. — Я вам всегда говорила, а вы — талант, талант! Вот и вся ее любовь к искусству: искусство склеила.

Видеть ликующую Инну Константиновну было тяжело, но Света в озлоблении уже потеряла свою функцию приращения.

— Пока Насте ничего не говорите, а то она вам все альбомы заклеит. — Инна Константиновна клацнула своей белоснежной вставной челюстью.

— Она... Настя... не очень виновата, ведь кто недополучил в детстве любви... У меня отец из детдома, я знаю. Но у нас просто силы кончились, — пыталась что-то доброе про Настю сказать Света.

— Да-да-а, — по-своему поняла Инна Константиновна. — Для таких единственный путь почувствовать себя значительными — зло... В общем, пока я оформляю, Насте ни слова не говорите!

Легко сказать: не говорите! Фигура умолчания буквально стояла в квартире. Света о нее спотыкалась, фигура росла, пухла, нельзя было пройти по комнате, чтоб не стукнуться о нее. И Света потащила Мишу из дому, в кино хотя бы...

Света уже красила губы, и Настя ей заметила:

— Ты могла бы сейчас затеряться в парижской толпе!

Слова были Мишины, но само умение вовремя сказать, прилепиться, понравиться — собственное, Настино. Хватка у нее, конечно...

Миша по дороге говорил: ничего, в детдоме она не пропадет — щеки вон налиты румянцем, руки налились силой. А помнишь?..

— Ну как Настя? Что рисует сейчас? — спрашивали в фойе у Ивановых знакомые — Света вздрагивала и что-то мямлила про Дали.

Света любила Тарковского: золотое освещение лиц, полутени, рембрандтовские говорящие глаза. Но тут шприцы в фильме опять напомнили ей вечные уколы Насте... Вдруг рембрандтовское ушло с экрана и хлынуло многоцветье Зоны, словно с картин Насти полилось раздолье красок. Операция над душой Светы шла под наркозом искусства, так что казалось, делают ее другим (то Писателю, то Ученому). Это им больно. Но вдруг режиссер забыл про наркоз: на экране пошли сплошь сломанные рельсы, проржавевший металллом, шприцы уже покореженные... это страх перед Комнатой, где сбываются желания. Даже не так: сбываются там сокровенные мечты. Но что, если кто-то спутает сокровенное с выгодным? Ведь все сбудется, все!

Света вошла в Зону вместе с героями и сейчас тоже спросила себя: какие у нее сокровенные мечты? У нее, Светы Ивановой, жены Миши и матери детей, и... и Насте не чужой... В Зоне герои должны по телефону сказать это сокровенное, а в жизни последние дни Света только то и делала, что говорила сама с собой. И она сказала без всякого телефона: пусть Настя останется у нас и вырастет человеком! Проговорив это, Света вышла из Комнаты.

Показался откуда-то из буфета йог Андрей и подарил им афишу «Сталкера» на английском языке.

— Заметила, как девочка двигает стакан взглядом? — спросил он. — Вся надежда на парапсихологию, йогов и экстрасенсов.

— Надежда на чудо, — сказал идеалист Миша. — А Настю мы не должны сдавать. Надо еще стараться.

Света сжала его руку, как в примитивном кино или романе. Это плохие мысли о Насте сделали их беднее на слова и жесты, сразу подумала она, но они еще постараются, и... другие найдет Света выражения чувств для мужа. Достойные...

Дома было прибрано, как всегда, когда Света и Миша уходили куда-либо. Настя лучилась: ну как — Фэ и Бэ в обмороке не валяются? (Она знала, что Миша обычно после фильма произносит: «Феллини в обмороке от зависти уж не валяется» — или: «Бергман без чувств не слег».)

— Такое кино, — сказала Света. — Когда-нибудь я вам расскажу... лет через десять — двадцать. Напомните, и я расскажу. Все.

— Фантастика? — спросил Антон, раскручивая афишу. — Интересно, мы одни во Вселенной или нет?

— Если одни, то должны пылинки друг с друга сдувать, — повторила Настя чью-то реплику, но Свете некогда было вспоминать и анализировать. Надо думать, как завтра у Инны Константиновны заявление вы- просить.

Мы работаем

— Вы видели «Сталкера»? — спросила Света.

— Тарковский — это не мое. — Инна Константиновна относилась к людям, у которых заготовлены ответы на неприятные вопросы.

— А мы видели. Вчера... И решили подождать, не сдавать в детдом.

— То, что вы решили, меня не касается. Я здесь работаю, мы все работаем, а не в игрушки играем. Вы написали заявление, я дала ему ход. Ждите результата.

— Но мы передумали, Инна Константиновна, голубушка! Прийти к вам меня заставил фильм... — Света не жалела себя — упрашивала, говорила банальности, плакала. Она довела Инну Константиновну до бешенства.

— Злом победить зло невозможно, — продолжала свое Света. — И мы наконец это поняли...

Инна Константиновна надевала пальто: у нее давление — верхнее инсультное, а нижнее — инфарктное, так что лучше не надо!

И это с таким-то давлением она идет на вторую работу (кажется, логипеда), а не берет больничный, думала Света. Железная женщина! Но мужчины могут все. Пошлю Мишу.

На юг

— Из Одессы вышли Бабель, Олеша, Катаев, а вошли туда совсем другие люди... — рассусоливал Миша. — Хорошо, что Лев Израилевич летит одним рейсом с вами: если что, поможет.

— Аэрон взяла, кулечки... четыре штуки, — вычеркивала Света из дорожного списка то, что уже уложено в сумки.

— В Одессе не стало того, что раньше, — нет одесситов. Раньше что: юмор, одессизмы, а сейчас... Говорят, что в Ленинграде так же вот не осталось ленинградцев... Что ты тянешь руку?

— Поддай стопку носовых платков! Где сумка на колесах?

У Насти в глазах уже было написано нетерпение пчелы-разведчицы: побывают у матери дяди Левы, а это новое медоносное пространство. И дом родичей Миши тоже, но там тетя Люся с сыновьями, там мало что перепадет.

— Дядя Лева, я скажу вашей маме, что вы — самый умный в Перми! — заранее распланировал Антон.

Настя поняла, что он так хитро будет выманивать что-нибудь вкусное у Баси Абрамовны, нет уж, она первая спросит: есть ли шкатулка с украшениями, есть ли там то, что никто не носит?

В самолете Настю вырвало восемь раз, шесть раз она сбегала в туалет. Наконец у нее вышло все через верх и через низ, так что один воздух циркулировал в организме туда-сюда.

— Цвета, какая мука, — выдавила она неестественным телевизионно-интеллигентным голосом.

Это не поездка в гости, это испытание, подумала Света... Очнулась от запаха: Лев Израилевич тер ей виски мазью «Звезда» и при этом испуганно тряс остатками курчавости.

— Светочка, нельзя же так близко к сердцу все, м-м... Не знаю, как вас оставлять такую! Я ведь с мамой попрощаться еду. Пока уезжаю один...

Куда? В Канаду. В какую Канаду? В такую... брат давно уже там. Все живут двойной жизнью, а Лев Израилевич — тройной. Все на работе говорят одно, дома, на кухне, — другое, а он еще ночами письма от брата читает.

— Вы меня отвлекаете так искусно? Или это правда?

— Правда, я уезжаю. Заставляют...

До Светы доплескивалось, что на работе у него скандал: из творческого кружка, который он вел много лет, одна студентка повесилась. Правда, ее удалось спасти, но записка попала в руки КГБ, что-то про подлость советского режима... Как она будет жить без его советов?

— Одесса-мама, — донеслось откуда-то. Света была как автомат: сумка на колесиках — раз, сумка «инь и ян» — два, рюкзачок Антона — три, Сонечка, дай руку, Настя, держись за дядю Леву!

Сели в автобус, и он вдруг так резко дернул с места, словно его попросили зуб вырвать! Дети повалились на Льва Израилевича, а Света на них. В Канаде так не дергают, наверно, почему-то пронеслось в мыслях.

— У вас, Бася Абрамовна, шкатулка есть? — спросила первым делом Настя.

— Пошли скорее к врачу, а то мы ее опоздаем, — ответила Бася Абрамовна (типичный одессизм, подумала Света).

Но Насте совершенно не хотелось идти:

— У меня все прошло!

— У тебя все прошло, как я — девушка, — мелькая со стаканами чая, говорила Бася Абрамовна. — Левушка, тебе покрепче? А вам, Светочка?

Сейчас жасмин... вот. — Она сорвала розовые лепестки с цветка на окне и каждому бросила в чашку по шепотке благоухания.

За чаем Антон успел сказать, что дядя Лева — самый умный человек в Перми. Настя испугалась, что теперь его задарят подарками.

— А шкатулка с украшениями у вас есть? — снова пошла она в атаку.

— Айнф! Пойдемте, я вам что-то покажу, — таинственно подмигнула им Бася Абрамовна.

Настя вздрогнула от предвкушения. Но вместо шкатулки старушка показала им балкон, весь уставленный ящиками с цветами. И большинство из них закрыли уже свои бутоны до утра.

— Закрываются цветы — спать ложиться должен ты, — прошептала Бася Абрамовна.

— Открываются цветы — просыпаться должен ты, — продолжила Сонечка, мечтая о завтра. — Мы у бабушки поедем в саду всего!

Настя сразу поняла, что Сонька подпевает Басе Абрамовне, чтобы побольше ей из шкатулки досталось завтра, тихая-тихая, а внутри-то... сережки уже примеряет, которые ей подарит баба Бася!

— Я вам, Светочка, стол свой письменный подарю, когда уеду, — вдруг сказал Лев Израилевич.

— И мы его будем называть «стол, который не поехал в Канаду», — вдруг поняла Света.

— Куда ты поехал? — залилась слезами Бася Абрамовна. — К Изе в Канаду?

— Бася Абрамовна! А когда вы нам шкатулку откроете? — гнула свое Настя.

И Света взорвалась: когда это кончится, где брать силы! Но Бася Абрамовна сразу открыла старую шкатулку, крышка которой держалась на одном шпигалетике-гвоздике. Насте достались серебряные старинные сережки, а Соне — бусы из кораллов. Антон получил таймер, присланный Изей из Канады. Дети уже спали с открытыми глазами. Но Настя свернула губу в очередную фигуру, приготовленную для воя: если ей бабушка Бася сейчас же не проткнет уши и не вденет подаренные сережки... Бабушка взяла иглу, одеколон, и через пару Настиных громких выдохов все было кончено.

Два менталитета

Александра Филипповна, мать Светы, обычно ругала своих детишек, которым было давно за тридцать, а они обижались, что подтверждало ее версию их глупости и детскости. Александра Филипповна думала: почему они обижаются, как дети, и когда они уже вырастут?

У Баси Абрамовны другой вид материнской любви. Это любовь тихая и глубокая, давящая в одну сторону. Она обкатывала ее сына так, что ему казалось: мать вообще его не воспитывает, как камню в реке кажется, что воды вообще нет, так она незаметно струится.

— Вы никогда, наверное, Бася Абрамовна, не нервничали, — завистливо сказала Света, — потому что у вас вырос вон какой сын.

— Разве это вырос? — спросила Бася Абрамовна. — Чтоб у вас было столько денег, как вам кажется, что он вырос. И дождусь ли, когда они вырастут?

— Зато, как все еврейские мальчики, он был послушен, — продолжала свои плоскости Света.

— Разве я вам не рассказывала? — спросила Бася Абрамовна, как будто они уже встречались много раз, а не впервые сели поговорить. — Левушка был хороший мальчик, но связался с компанией... такой! Бросил книги, приходил домой в три часа ночи. Иногда его приводили. Но если б я думала, что мой сын думает только об выпить, так ладно, а он же еще стал после думать, да-да, только об погулять. На курсе была гойка, по причине ее непереносимой красоты Лева безвременно женился...

Объегорила моего Леву. — Но тут Бася Абрамовна вспомнила, что Света — тоже не еврейка, и смутилась...

Пора было на автостанцию, и Лев Израилевич пошел провожать.

— Светочка, помните всегда, как делала моя мама: она выспится сначала, а потом уж... сына беспутного... поражает горестным видом.

За поворотом показался троллейбус. Мы еще увидимся в Перми? Света припала к остаткам курчавости Льва Израилевича. Да-да, я вам еще стол должен подарить, как обещал. Что мне стол — разве он заменит!.. А мне вообще в Канаде ничто никого не заменит.

Свекровище

— Люди стали ленивыми, вот и живут бедно! — выговаривала свекровь Свете. У Светы сразу нервно зачесалось глубоко в ушах, пыталась мизинцем почесать — не достает. А прошло лишь две недели жизни в гостях.

Света улыбалась какой-то неестественной, отчаянной улыбкой. Она думала, будет ли спасать свою свекровь, если вдруг ту... ну, в общем, паралич хватит. Горячая и молодая Александра Филипповна, тогда просто Сашенька, двадцати семи лет от роду, как сейчас перед глазами: ныряет в постель к парализованной свекрови, обнимает ее и засыпает. Она отогревала безмолвную старушку своим телом — сейчас бы сказали, что лечила биополем. И вылечила. А старушка даже не была в полном смысле слова родной — она взяла Светиною отца из детского дома уже большим, кажется, лет двенадцати. Он был несчастного 1928 года рождения: родителей раскулачили, а ребенок оказался в детдоме... А Света? Сможет ли она своим телом согреть?.. Но ведь с тех пор медицина ушла вперед и есть лекарства от инсульта, вот что.

— Ленивые мы, конечно. Но не виноваты... Родились-то от кого? При Сталине самых неленивых расстреляли, остались в живых серые, незаметные. Наше поколение родилось от таких...

Когда Миша приехал через две с половиной недели, он ничего не знал об этом разговоре (Света не успела написать), и мать сразу высыпала всю обойму: ленивые, бедные, для чего учились столько лет в институтах-то, где ум... А Миша отвечал:

— Ты думаешь, что я умный? А я не умный, я просто здесь родился и живу.

Возвращение

— Малиновое варенье возьмите! — Свекровь протянула трехлитровую банку. — Кордовый отрез, Света, мне не нужен, а ты соешь себе...

— Часы возьмите: нам наделили их столько, — свекор махнул рукой в сторону шкафа, — Миша, выбери, какие понравятся!

— Стены-то хоть оставьте! — усмехнулась Лю, которая здесь же отдыхала со своими сыновьями.

И Света поспешно стала застегивать замки на всех сумках: ничего не надо, тем более — кто понесет, ведь у Насти на правой руке мозоль от тугой ручки телевизора, а у Антона — от удочки...

— Люсенька, сходи в сад, ведро яблок-то принеси на дорогу! Брат у тебя один. — Свекровь Светы явно заслужила, чтобы ее в случае чего невестка отогревала своим телом.

Но в самолете, когда Миша всем раздал по яблоку, Антон сразу перекопился: кислятина!

— А я все равно съем — буду характер на них воспитывать! — бодрился брат своей сестры, то есть Миша.

Настя, выпив полтаблетки пипольфена, сладко спала всю дорогу. Но вот внизу показались скелеты вечно строящихся предприятий. И эти ребра недостроенных зданий еще раз напомнили Ивановым, что ждать отдельной квартиры не приходится. А как не хочется видеть соседку!.. И

впереди сентябрь, надо Насте столько всего купить, да Антону виолончель, а еще пианино... Света так устала за отпуск!..

— Пермь! — проснулась Настя. — Цвета, я хоть с дачи, хоть из Одессы возвращаюсь в родной город — он как новенький!

...Первым пришел в гости Василий, и дети закричали, что плечи у него стали шире! Во всех местах, добавила Света.

— Да, что я вижу на твоих нижних плечах... джинсы!

— Устроился на такую работу: платят бешеные деньги почему-то...

Света думала: вот только немного отдохнет от летнего отдыха, сразу начнет искать третью работу, надо столько всего покупать детям.

— Я так вырос, что раковина мне низко, — заявил Антон, вытирая руки.

— Все равно Антон какой-то споткнутый весь, — поморщилась Настя. — Вот я выросла так выросла! — И она прошла по комнате, неся на голове невидимый кувшин.

Вскоре Настя уже побежала к Ладе, захватив яблок и разных ракушек, и в дверях столкнулась с йогом Андреем.

— Ну что, все еще занимаешься медитацией? — с ходу спросил друга Миша.

— Да нет, я сейчас наблюдаю себя как проекцию мирового духа, — не моргнув глазом отвечал Андрей. — Ну, рассказывайте новости!

— Самая большая новость, что Лев Израилевич уезжает в Канаду, — сказала печально Света.

И вдруг Василий заявил: хорошо, что эти евреи уезжают, — навредили уже довольно русскому народу, хватит, масоны они!

— А я смотрю, вислоусый у тебя видок стал: косишь под русопетов? — удивленно произнес Миша. — Откуда ты этого набрался?

Вбежала Настя: взять тетрадку. Они с Ладой задачки придумывают — задали же придумать десять задачек за лето! Веки у нее были густо намазаны чем-то блестящим. Света завизбироваала: что это?!

— Блестки! Елочные игрушки натолкли. Красиво, да?

А что загноится кожа, а на лице так трудно лечить гнойные раны — сразу в мозг может инфекция перекинуться! Света уже кричала. Света кричит, а Настя спокойно спрашивает Мишу: какие можно придумать задачки?

— Очень простые. Девочки истолкли двадцать килограммов елочных игрушек для украшения морд. Утром они израсходовали два килограмма, а в обед — четыре. Сколько килограммов осталось на вечер? — Миша спокойным голосом диктовал, а Настя бесилась, но не могла возразить — сама же просила помочь с задачками.

— Любая проблема — это же приглашение к творчеству, а ты, Свет, в крик, — заметил йог Андрей.

Света протираала зеркало, оно вопросительно взвизгивало. И тут в его овал вошел Василий. Он сказал:

— Запад, — он важно и даже величественно, умным голосом повторил: — Запад! Он зарылся в благополучие, в процветание... Без паблисити нет просперити!.. Они ж дрожат над просперити и постепенно забывают, что, конечно, это нужно было, но для души.

— А зато у нас какое преимущество? — Миша весело рассуждал, потому что ему весело было вообще рассуждать. Что в лоб, что по лбу. — Мы выживаем, как герои дарвинизма, все силы уходят на выживание, брошены в бой. И тоже душа в стороне... где-то...

Василий с неслышимым миру зубовным скрипом сказал:

— Тебе, Миш, весело, подхихикиваешь, а это значит, что душа у тебя не болит. Вот Андрей Тарковский в Москве, я слышу, уехал на Запад — и что? Не стал давать бесплатных интервью. И чего добился? Журналисты просто не писали о нем ни строчки. Нет чтобы немного цену снизить! — смекалисто сказал Василий, тряхнув одним из подбородков. — Запад развратил его.

— Если б Запад его развратил, он бы давно процветал, усек бы, сколько брать и выгоднее что...

— Миша, тут серьезный разговор, а ты уходишь от серьезного разговора, — с большой мукой в своих маленьких глазках сказал Василий. В его лице все было красивое: глаза правильной формы, прямой нос, чистая кожа, высокий лоб, но все части были словно взяты вслепую из разных наборов во время какого-то сверхсрочного аврала. Света увидела вдруг огромный — от неба до земли — плакат на грубой шероховатой бумаге, сделанный кричащими случайными красками. Пронзительно красный Василий выталкивает бегемотьим животом за рубеж маленького лимонно-желтого Льва Израилевича. Внизу, как полагается, злобно-зеленая ершистая трава, а вверху несколько синих мазков на пустой целлюлозе...

— Больше чтоб не было ни слова про масонов! — приказным тоном выдала Света Василию. — А то...

Забегая вперед, скажем, что Василий понял ее с первого раза. И тема была закрыта раз и навсегда.

— Миша! Папа! — дико закричали на улице Настя и Антон. — Идите сюда! Скорее!

— Мама из тюрьмы пришла! Миша, помоги! — орала Настя.

Миша начал надевать носки, потом долго завязывал шнурки на кроссовках. В форточку донеслось Настино: «Скоро вы там? Они меня в гроб вгонят, эти меланхолики». Насте казалось: вечность уже прошла, а Миши нет.

Он вышел во двор. Темнело. Настя пыталась поднять с земли огромную тушу. Миша брезгливо стал помогать.

— Я не пьяная... я просто упала.

— Мама! Мамочка! Ты узнаешь меня? Я — Настя, Настя!

— Ты — Настя... Узнаю. А это Сережа, — мать Насти показала в сторону Антона. — Ты, Андрюша, дружно с Настей?

— Чего она меня то сережит, то андрюшит, — зло пробурчал Антон.

Вдруг мать Насти крикнула куда-то в сторону:

— Коле-ок!

Настя стала урезонивать мать: тише, не кричи.

— Коле-ок! Коле-ок! Иди сюда! У меня деньги есть.

Никто не подходил. Что делать? Миша помнил, что Новоселовы жили в первом подъезде, но совершенно не знал, есть ли у матери Насти ключи, откроют ли там соседи. Все-таки все двинулись к подъезду номер один. Движения у матери Насти были как у Буратино, деревянно-упрощенные. Вдруг на площадке ноги ее начали разъезжаться в разные стороны, и она села. Настя заплакала.

— Давайте ее сюда! — крикнул участковый милиционер, бегом поднимавшийся по ступенькам. — Это Новоселова?

— Она, она, — частила бабушка с Тобиком. — Вот и хорошо!

— Гуси! Ну гуси... — стала подниматься мать Насти.

— Густь да утка лебедю не пара, — ответила бабушка с Тобиком. — Она ведь задушила тетю Паню за тридцать рублей! Я вхожу в квартиру, а Паня уже лежит...

Настя истерично заголосила:

— За два часа успела! За тридцать рублей! За тридцать!

Невидимый кувшин слетел с ее головы: еще час назад она держалась прямо, и вот уже сторбленная, в соплях бредет между Мишей и Антоном домой. Бабушка с Тобиком идет следом и причитает: зачем Паня пустила эту гадину в квартиру — не знала, наверное, что соседей дома нет, крепкая была такая, еще могла двадцать лет прожить... после тюрьмы человек уже не человек... У подъезда стояла «скорая», на носилках выносили тетю Паню. Мише показалось, что глаза ее несколько раз моргнули, но он лишь сказал себе: темно, вот и показалось. Бледно-розовые мальвы вовсю цветут, тети Панины...

Света сразу начала причитывать, как бабушка с Тобиком: тетя Паня была еще крепкая, голосок чистый, поставленный, словно у артистки, которая играет героиню из народа. И курила она, как артистка, словно в

старых немых фильмах своего детства подглядела этот жест салонный: откидывала красиво сигарету в мундштуке... Детство, конечно, прошло в деревне — отсюда ее любовь к цветам, вышивки тоже все были цветочные: скатерть в анютиных глазах, коврик с розами, шторы с какими-то фантастическими волшебными алыми бутонами, окружала себя цветами, записывала добрые дела, кому это мешало...

— Послушай! — остановил ее Миша. — Если каждому дается по его вере, то тетя Паня уже в раю — за добрые дела. Правда, ее тетрадка с записями добрых дел может тянуть ее вниз, но...

Звонок в дверь. Света побежала в коридор — навстречу ей ползли три бледных червяка. Антон тут их поставил в открытой банке, а они захотели путешествовать. Света быстро собрала их в ладонь и так, с букетом из бледно-розовых червей, открыла дверь. Вошла бабушка с Тобиком:

— Не спите еще? И хорошо... Звонила я в больницу-то — будет жить наша Паня! Настя, слышишь? Может, и посадят твою мать, да хоть не расстреляют.

И тут же невидимый кувшин вспрыгнул на Настину головку — она распрямилась и кинулась настраивать антенну на телевизор.

...А тетя Паня скоро выписалась из больницы, но клумбы свои не хлила и не лелеяла, и мальвы стояли полусохшие. На вопросы Светы о самочувствии она неизменно отвечала:

— Спасибо, ничего.

Суд состоялся в октябре, матери Насте дали семь лет строгого режима. На другой день тетя Паня повесилась. Видимо, биополе от душивших ее пальцев, словно пуля со смещенным центром, было уже пущено по организму ее души и, пока не измесило все, не отпускало... Бабушка с Тобиком прибежала за Светой. Записки никакой не было. Вместо записки на стенке висел свежевешитый ковер с жуткими темно-фиолетовыми цветами. И сама тетя Паня висела с таким же темно-фиолетовым лицом.

Светлые мысли

Прошло три года по древнесоветскому исчислению. Стол, который не поехал в Канаду, много знал светлых мыслей. Светлые мысли срочно понадобились по самым неожиданным причинам: 1) прошли митинги протеста: обижались на весь мир, который не обрадовался меткомому ракетному попаданию в южнокорейский самолет; 2) власти разогнали городской Клуб любителей фантастики и т. п. Светлые моменты были под рукой, только нужно было их заметить. Миша считал: очень хорошо, что всех митингующих загнали в узкий издательский коридорчик без окон, закрыли тщательно двери в кабинеты и включили жужжащие лампы псевдодневного света. Народу было мало, часть писателей якобы нырнула в запой, некоторые разъехались по дачам. И это, возможно, зачтется им свыше по более светлому разряду, чем их многотомные сочинения, вызывающие язву у редакторов.

Света не ходила на митинг в свою школу, потому что у нее был отпуск по уходу за Дашей. Да, ведь тут родилась ее Даша.

А Антон уже учится в музыкальной школе, а Настя — в художественной. Тем временем магия власти начала шелушиться и осыпаться, и все получалось, как у дурака в сказке, — наоборот.

Тризну по КЛФ отмечали у Ивановых, и это было одно из самых веселых сборищ, потому что наши любители фантастики уже отвязались от своих надежд и поплыли в волшебном сияющем вакууме безнадежности. Когда в обычный воскресный полдень на заседание КЛФ приплыла дама из обкома и сообщила, что Ле Гуин пугает третьей мировой войной...

— Кто будет собирать ядерные грибы после ракетного дождя? — кричал подполковник Алешин.

— А что, последствия третьей мировой будут радовать? — тихо возмущалась Света.

— У этой дамы было трудное эмбриональное детство и тяжелое предыдущее воплощение, — заметил йог Андрей.

— Окружили и отрезали! — докладывал подполковник какому-то неведомому — самому высшему — начальству, которое может наказывать власть имущих. — Окружили и отрезали!

Антон и Соня появились из детской: мол, Даша проснулась. Даша проснулась, чтобы покраснеть щеками и блеснуть зубами и чтобы родители поняли: идет новое поколение, которое, может, изменит порядок вещей. Миша понял это сразу, потому что он не пил — ему же идти еще прогуливать Дашу, а она же запросится на горку, откуда ее трудно уводить. Горка для Даши — половина мира. Мир-то ребенка невелик, и гора — целая половина его. И плачет она по целой половине мира. Так что Мише пришлось оставить гостей и начать одеваться.

— Ты не потеряешь Дашу? — волнуется Света. — Ты не пил?

— Он пил пиво, а мы на целую октаву выше... водку... — ответил за Мишу Василий.

— Это Клуб любителей фантастики? — спросил писатель К-ов, протягивая заранее приготовленную бутылку портвейна. — Дороти обещала Насте позировать сегодня...

— Ений растет! — буркнул Василий, не выговаривая «г» и этим как бы намекая на то, что *растет* еще художник, а вот вырастет — тогда и присвоим полное именование. По неписаной договоренности вся компания терпеливо сносила антишутки Василия, потому что нелегкая действительность держала их в напряжении, а вместе, в куче, им было не так страшно потреблять общение и запивать портвейном суровую действительность. Они воспринимали друг друга как горькое, но необходимое лекарство.

— А Даша мне родная сестра! Да. У меня глаза пирожком — и у нее, у меня родинка на мизинце — и у Даши! — выпалила Настя, начиная набрасывать Дороти на альбомном листе.

Благостный с прогулки с Дашей вернулся Миша. Дороти, довольная своим портретом в карандашном варианте, помогала Антону по сольфеджио. Выпили за детей. Они — лучше нас, сказал Миша, нам тлеть... им время цвести. На фоне Пушкина снимается семейство-о... Что празднуете? — спросила соседка Нина, заглядывая на пение. Полноту бытия, ответил Миша. Как? А клуб? Клуб же запретили! — запричитал подполковник Алешин.

В это время в лезгинке, выбрасывая руки вперед и в стороны, влетела из детской Сонечка: а Безымянка родила. Она черного котенка родила, в белых гольфах. Ля-ля-ля!

— Всегда эмоциональный подъем — это можно назвать контрапунктом семейной симфонии Ивановых, — заметил Андрей.

— Но клуб-то запретили! — продолжал свое подполковник Алешин. Миша хорошо поет, но клуб-то как? Быть-то как?

Миша пел, ликуя, потому что он хоть что-то теперь понял в этой действительности. Ему год назад поручили собрать сборник местной фантастики, так называемый «Поиск», а потом стали ругать за то, что собрал. Миша послал это тогда Булычеву на рецензию, пришел фантастически хвалебный ответ, а Мише за это всадили выговор. Он озверел и раскидал рукопись сборника по кабинету. Две сотрудницы срочно стали собирать по листочку, а третья держала дверь, чтоб не вошел Главный.

— Клуб взяли и закрыли! — На кухне подполковник Алешин поведал Нине всю историю. — Ле Гуин, мол, пугает третьей мировой войной...

— Ночь темна перед рассветом, — рассеянно сочувствовала Нина, думая о своем: второй день магнитная буря, голова раскалывается, а соседки пьянку устроили, шум такой, что...

Подполковник увидел слезы на глазах и подумал, что это огромное сочувствие. Он не знал, что слезы от магнитной бури, и хотел обнять Нину.

— Безымянка второго котенка родила, — влетела на кухню Сонечка.

— Хватит! — закричала Нина, и ее сверчкообразный голос поднялся до недосягаемых нот. — Чтоб тихо стало, поняли? Я скоро комнату менять начну, чтоб никаких гостей... а то...

Всю ночь Безымянка перетаскивала котят к Насте в постель, та спронеья кричала:

— Цвета, Цвета! Убери! Опять котята!

— Ничего, просто кошка тебе доверяет...

И тут Свету осенило: надо выхлопотать Насте комнату, пусть соседка в нее поедет... раз уж здесь ей так не хочется.

Ревность

Каждый день во время уборки Света снимала с кухонного шкафа красную кружку с водой. Выливала. На пятый день она не выдержала и закричала: кто и зачем воду... на шкаф! Настя фыркнула: а она-то думает, какой дурак ее сладкую воду все выливает! Только разведет с сахаром — выльют. Настя ею челку ставит — по-модному, как лаком для волос. Миша пожал плечами: чего кто выиграл-то? Все выяснили, зато совершенно исчезло волшебство из жизни. Света яростно выпучила на мужа правый глаз: тебе хотелось, чтобы все с фантастикой прояснилось, да? Так и ей иногда хочется ясности. Настя, чего ты все в окно да в окно, работай себе, Дороти так ждет портрет! Но Настя решила, что и так сойдет, и убежала. (Хомо во дворе появился! Это какой Хомо? Про которого на заборе, как в баню идти, написано: «Осторожно, злая собака».) В дверь дико-нервно затрещивали. Мама Лады, за эти годы располневшая так, что стала походить на Екатерину Вторую времен пугачевского бунта.

— Извините! — зычно, но сдержанно произнесла она. — Ваша Настя! Да-да, Настя! Говорит, что убьет Ладу за то, что она отбила Хомо!

— Настя? — Света сразу обессилела и присела на корточки прямо в коридоре, в голове пронеслось вчерашнее — как вдруг ни с того ни с сего Настя спросила:

— Цвета! У нас будет хоть машина-то когда-нибудь, нет?!

Миша срочно позвал в форточку Настю. Когда она вошла, мама Лады властно, как настоящая Екатерина Вторая, спросила, правда ли, что она обещала убить Ладу.

— Убью! — ледяным голосом ответила Настя. — Отбила у меня парня!

Тут мама Лады забыла, что она похожа на царицу, — в голосе ее пошли зазубренные подголоски:

— Забыла, откуда тебя в люди взяли? С помойки! Забыла все, да?

— Все равно я ее убью.

— Настя! — снизу слабый голосок подала Света. — Ты почти шестьдесят картин написала уже! Мы с тобой столько книг прочли! Как ты можешь?

Настя поняла, что они перед нею пасуют, решила, что хоть чего-нибудь да вырвет у жизни сейчас: если Ладу не убьет, так Света и Миша спросят: «Чего тебе не хватает, девочка?», а она скажет: «Джинсов!» Но вместо этого Миша спросил: «Настя, можно тебя на секунду?» — и увел в комнату. Мама Лады подумала, что там сейчас он даст Насте такую затрещину своей могучей ручищей! Она даже зажмурилась, ожидая травматического крика Насти, она же не знала, что Миша стиснутыми губами спросил у Насти, как зовут маму Лады по имени-отчеству. Когда невредимая Настя снова вышла в коридор, на царственном лице мамы Лады показалось замешательство, словно она получила неприятное известие о графе Орлове.

— Я вот сейчас заявлю в милицию, Настю поставят на учет... — Мама Лады двинула последний аргумент.

— Мы разберемся, — монотонно бормотал Миша. — Разберемся, Лидия Сергеевна. Уважаемая!

— Вот убью, тогда и разберетесь! — сказала Настя и снова застыла взглядом на маме Лады, словно это смотрела стеклянная куколка из страшилок.

Лидия Сергеевна поняла, что поздно будет разбираться, если она в самом деле умертвит Ладочку! А ведь убила же ее мать тетю Паню. Душила и почти задушила... случайно соседка подошла тогда... Тут вдруг чекан лица засырел и потек, и она разрыдалась совсем по-простому:

— А вы... взяли, и вот теперь пусть не выйдет без вас она на улицу... сопровождайте всюду ее, ходите по бокам...

— Мы разберемся, — продолжал бормотать Миша кланаясь.

Когда лицо исчезло из квартиры, Света все еще никак не могла встать с корточек.

— Иди сюда! — Миша посадил Настю напротив себя и сказал: — Мы возьмем бурята! Мальчика шести лет, который вместе с Дашей лежал в больнице... помнишь, Света, какой он умный! Света, пиши заявление! Такой чудесный мальчик, пусть живет с нами тоже...

Настя прямо речь потеряла. Эти Ивановы делают такое! Какого еще бурята? Зачем он ей? И так денег не хватает на джинсы... Нет бы наказали ее, а они вечно ведут себя диким, непредсказуемым образом! Бурята в семью! Он же в детском доме учится на четверки, значит, ему там семья! Пусть он хороший, но сюда-то его зачем брать?

Съезд

Антон в последнее время надувался и важно смотрел на родителей. Они все свое: мусор да мусор вынеси, словно не понимают, с каким солидным человеком имеют дело!

— Мама, а сколько денег ты мне дашь на Москву? — наконец спросил он. — Ты что, газет не читаешь? «Пионерская правда» в каждом номере пишет про Всесоюзный съезд, а ты...

— Ну зачем в Москве деньги? Мороженое бесплатно. — Света вспомнила чей-то рассказ про такой Всесоюзный съезд: главное впечатление — мороженое бесплатно давали.

— Ты же знаешь главную заповедь? — спросил Миша. — Пионер, к поеданию мороженого будь готов! — Всегда готов! А что, в самом деле тебя выбрали? Не зря мы столько сил, я и мама, потратили на сына своего!

— Со всего Союза я увижу пионеров, — мечтательно ответил сын. — С Чукотки, из Грузии, из Эстонии...

— А мы в газетах будем дома читать: Антон съел девять порций мороженого — настоящий советский пионер! — Но Миша все же хорошо чувствовал брежневскую политику. По его расчетам выходило, не Антона должны послать в Москву, а сына обкомовца, например. — Так тебя точно выбрали делегатом, Антон?

— Папа, газеты читать нужно! Это Всесоюзный съезд, понял? Все пионеры съедутся в столицу нашей родины. — Антон даже пожал плечами: для чего и в пионеры вступать, если не для того, чтобы всем детям в Москве на съезде встретиться.

— У родины не бесконечные запасы мороженого, — ответил отец. — Поэтому сделали выборы. Из каждого города по одному-два. У вас в школе были выборы уже?

Еще и выборы? Если бы Антон заранее это знал, он бы боролся за возможность быть выбранным... как-нибудь. А теперь что? Ходил, мечтал — и все зря! Это в отца он такой мечтатель, вот что. В душу Антона впервые закрались диссидентские настроения: зачем вообще нужно вступать в пионеры, если на Всесоюзный съезд не едешь? Загоревал он, сразу начал покашливать, родители поняли, что нельзя дать сыну ослабнуть, а то мусор придется самим выносить.

— И туалетов не хватит! — сразу заявила Света. — Всю Москву завалить, что ли, пионеры хотят?

— Мама, ну можно ведь по квартирам расписать пионеров! — не сдался Антон.

Но и Света не сдавалась: что значит по квартирам? Вот в нашей квартире есть один туалет, мы в очередь по утрам выстраиваемся, а представь, что в это время на лестничной площадке еще очередь из пионеров извивается. Кому это понравится? Москвичам? Нет, завалят пионеры Москву своим пионерским... на букву «г»...

Антон: можно было этот съезд всех пионеров сделать по республикам, но куда-то пионер ездить должен! Пионер — значит первый, не зря роман у Купера так и называется — «Пионер». Первопроходец... Вон Инна Константиновна уже в четыре страны спутешествовала, а детям ничего.

— Для таких глупых, как она, лучше бы сидеть на одном месте, тогда хоть что-то начнешь понимать, а путешествие — это самовычитание для Инны Константиновны. Она съездила в четыре страны, и ее самой стало меньше, — сказал Миша.

— Ничего она не глупая! Надо о комнате для Насти хлопотать — Инна Константиновна все силы отдает, ты чего! — вскинула Света.

— Придумал! — закричал Антон. — Напишу в газету и предложу Все-союзный съезд пионеров у моря, у Черного, на берегу! Вот что!

— Ну и что? Море — это природа, и она не понимает, что есть пионеры, что надо выдерживать, у природы нет шеи, на которую можно красный галстук надеть и сказать: «Будь готова ко всему!..»

И тут звуки арифмометра в квартире дали знать, что Антон все понял и успокоился, сел на арифмометр просчитывать очередные расходы на фотодело, которым увлекся в последнее время. Арифмометр громыхал и сотрясался — он был куплен Настей в магазине уцененных товаров, и под его скрипучее громыханье шла жизнь.

То, что хочется забыть

Настя хотела убить Ладу, а потом аппендицит хотел убить Настю. Гюго бы тут написал главу, полную содроганий сердечной мышцы, а один из соавторов этого повествования тоскливо заявил:

— Там был дежурный врач, который ночью спал и не хотел идти к умирающей Насте, хотя Света стояла перед ним на коленях. Его можно описать, но не хочется о него пачкать русский язык!

— Ты опиши лишь бестеневую лампу в операционной, нестерпимый блеск инструментов, кровь...

— Не будем. Опишем, как хирург вынес Настин аппендикс: черный, нефтяной, словно набитый черноземом... мол, никогда такого не видел! И что у вас ребенок ел все детство?

— К душе Насти это не имеет прямого отношения. А что она говорила тогда?

— «Цвета, я никогда не забуду, как ты спасла меня, но вы не берите бурята... умного».

— Сентиментальность — слишком сильное оружие, его нужно использовать в микроскопических дозах, а не заливать ею мозги читателей, как лавой... Напишем лучше, что произошло далее.

— Настя уронила Сонечку с качелей. На юге. Ты побледнел, а ведь это была не беда, а чудо! Соня не дышала, но в это время и в этом месте — подумай! — оказался единственный человек, который умел делать искусственное дыхание. И он спас Соню, значит, она очень нужна в этом мире.

— Но полная потеря зрения!

— Она уже через сутки все видела. Зрение вернулось.

— Почему Света разрешила им качаться на этих качелях, когда за неделю до этого на них насмерть убилась первокурсница?

— Именно что Света запреща! А Настя же расторможенная, ей Соня кричала: «Остановись — у меня голова закружилась!» И Антон кричал. Даже старушки со скамейки и те орали, чтоб остановили качели... Но Настя еще сильнее их раскачивала... Света когда прибежала на зов, Соня уже была на коленях у тренера, но надо же «скорую» вызывать и прочее. Лишь через год Света спохватилась и захотела найти того тренера, отблагодарить, но его уже не было в живых. Машина перевернулась, на которой он ездил за спортивным инвентарем... Вот так. У него запомнившаяся фамилия: Простосердов.

В больнице Соню увели в процедурную, чтобы сделать внутривенно хлористый кальций, а потом оттуда медсестра выходит, а другая спрашивает ее: «Ну что?» — «Кончилось». Сердце Светы, конечно, остановилось. А медсестра продолжает: «Немой заговорил!» — «Заговорил? Вот и немой...» Это очередная серия по телевидению шла. Закончилась просто серия, телевизор-то стоял в процедурной.

— Ладно. А Настя что?

— Настя все повторяла два дня: «Я вся обескожуренная! Цвета, я вся обескожуренная».

— Ну понятно. Хотела сказать «обескураженная», но умишко-то слабенький. А Света дальше что?

— Дальше интересно. Перед поездкой на юг не было денег. Мишу в очередной раз лишили премии, наверно. А Василий же зарабатывал в своем военном институте кучи денег. И хвастался. И Ивановы у него попросили двести рублей взаймы, а он отказал. «Я не хочу рисковать». — «Да мы тебе вернем долг, а если не вернем, то это будем уже не мы!» — «А вдруг у вас не будет, не хочу так рисковать!» — «Но мы вот рискнули — Настю взяли, а ты!.. Мы тебе не простим этого никогда!» — кричала Света.

А деньги дали родители йога Андрея. Он попросил, и они запросто... И вот тут, в приемной, когда Сонечка уже живая, но еще слепая, Света помянула добрым словом Василия, что не давал денег, мол, не он сам — он выполнял волю судьбы, а Андрей... он зря дал... Тем более что от Миши из Перми пришло письмо, в котором в очередной раз было написано: «Самая большая новость: Андрей бросил пить! Говорит, что получил последнее предупреждение свыше...» И Света опять прокляла йогов, которые только говорят о мистике, а сами ничего не предчувствуют...

— Слушай, давай что-нибудь веселое напишем сейчас! Как Настю с картинами снимали на телевидении или как Света лежала на сохранении с Дашей.

— Что ж тут веселого-то? Подумай! У Светы гемоглобин сорок при норме сто тридцать, за нею заведующая консультацией на машине приехала...

— Ну а Света в это время ушла на «Осеннюю сонату» Бергмана.

— Не ушла, а уползла, висела на локте Миши... А на другой день легла на сохранение, заведующая обращалась с нею, как с умирающей: «Как сегодня спали? Как головка — не кружится?» Так в советских больницах говорят лишь с кандидатами на тот свет.

— Все плохое хочется забыть. Напишем что-нибудь повеселее!

— Кстати, надо написать, почему Ивановы не взяли бурята: в районе отказали, мол, жилплощадь не позволяет, и все...

Вопросы

Папа, а почему у Экзюпери «Маленький принц» грустно кончается, в сказках ведь должен быть счастливый конец? Это в народных сказках, Антон, все хорошо кончается, потому что с точки зрения народа вообще все хорошо кончается: народ-то остается жив! А с точки зрения одного человека, увы, конец может быть всяким... Цвета, а английские кошки

без переводчика поймут русского кота или тоже должны выучить кошачий английский язык? Не должны. А почему не должны?.. Как это дядя Андрей ушел в моих суконках от нас — я ведь ношу маленькие, а у него ноги чуть поменьше папиных? А вот на этот вопрос, Сонечка, никто в мире никогда не сможет ответить, хотя факт остается фактом: в твоих суконках он дошел до дома...

— А где вы бываете, черти, когда у меня нет белой горячки?

— А вот это, Андрей, хороший вопрос, нам еще никто его не задавал. В мире довольно людей, и всегда у кого-нибудь белая горячка!

Когда он сидит у Ивановых и молчит, глаза его бегают — значит, прислушивается к голосам. Ну что с ним делать? И на этот вопрос у Ивановых нет ответа.

— А где мой вельвет — японский, который свекровь подарила? Все перерыла — нет.

— Цвета, это материал весь в морщинках, как лоб у матери Дюрера? А мы сшили из него мишек на ярмарку государственности.

— Настя! — строго поправил Антон. — Не государственности, а солидарности! Ярмарка солидарности, мама, — это в фонд мира, мы поделки продаем для стран Африки, ну... голодающим помощь...

Света поняла, что скоро у нее лоб будет как у матери Дюрера. Пока она с Дашей лежала в больнице, японский корд в виде мишек улетел в Африку! А после родов все юбки Свете тесны.

Давай я так тебя нарисую, говорит Настя, что я — хуже Дюрера, что ли?! И появился очередной портрет, глядя на который писатель К-ов спросил:

— Настя, если б ты могла спасти из пожара свои картины либо... человека, ты бы картины спасла?

— Картин-то я смогу еще написать сколько угодно, — выпалила Настя, и тут вельветовый лоб Светы разгладился, словно только и ждал этого ответа.

— Ну... как хотите, господа! А я заметил, что стал гораздо хуже, а дела мои пошли лучше. Я стал менее любящим, менее благодарным, а денег прибавилось. Я стал скупее, черствее, а дела идут все лучше и лучше. Почему дела мои шли хуже, когда я сам был лучше?

— Потому что ты — атеист. Верующий бы с ужасом говорил об этом...

— А ты, Миша, рассуждаешь прямо как христианин какой-то! — захохотал писатель К-ов. — А как же дарвинизм?

Йог Андрей в это время отдирает от груди невидимых чертей и отшвыривает их в угол. Ивановым было трудно выносить и этих чертей, и дьявольские рассуждения К-ова, но империя зла, в которой они родились, заставляла держаться вместе. Дружба продолжала оставаться горьким, но необходимым лекарством. «Я тебя видеть не могу, но без друзей совсем пропаду», — примерно так думал каждый.

Средства от желтухи

— Мама, почему у тебя под глазами... словно два спущенных шарика? — Сонечка удивленно смотрела на мать.

— Всю ночь не спала, думала, где деньги взять.

— И сколько дают за час бессонницы? — не удержался от ерничества Миша.

Дают. Советы в основном. Вот посоветовали кольцо обручальное сдать. У Насти желтуха, а на дворе апрель. Сорок дней нужны Насте фрукты с рынка... А деньги-то откуда? У Миши был способ самоуспокоения: походка Петра Первого. Когда он шел такой походкой, Света едва за ним успевала. Она все причитала: «У нас и так четверо детей, мы и так забиты жизнью...» Ну и что, отвечал он, мы еще долго будем ею забиты, пока она не забьет нас в могилу. На моей прошу написать: «Он забит сюда жизнью».

За кольцо им дали восемьдесят рублей.

— Настя мне сказала в форточку, что у нее гепатит, вирус А! Высокая температура. И просит принести ей пилочку для ногтей и шипчики, — сказал Антон.

— Да, единственное, что спасет от вируса, — это пилочка и шипчики! Во всем мире никто до этого не додумался, а наша Настя додумалась. — Миша всем своим видом давал понять жене, что еще много раз все безвыходные положения обойдутся как-нибудь, через пилочку и шипчики.

Что бы Миша ни сказал просто так, сразу ни с того ни с сего к его словам начинала подверстываться реальность. Он сказал «во всем мире» — и тут же со всего мира в квартиру Ивановых сошлись югославские туфли, французские колготки, английское пальто, а внутри всего этого — Инна Константиновна. Этот ансамбль стоял на пороге комнаты Ивановых и говорил улыбаясь:

— Вы меня потеряли? В Париже была... В дождь Париж расцветает, как серая роза... Эйфелева башня, как часовой, возвышается над древней Лютецией — это другое название Парижа. Как подумаешь, что эти холмы помнят еще легионы Цезаря... Я уже знаю, что у Насти желтуха!.. Купила там альбом Ингреса.

— Вообще-то у нас укоренилось чтение «Энгр», — скромно сказал Миша, а потом скромно же, с видом трепетного ученика, спросил: — В самом деле воздух Парижа отдает золотой пылью — блещет золотой вечностью? А камни Латинского квартала?

— Да-да! — молитвенно сжала руки на пышной языческой груди Инна Константиновна. — Я вот что зашла. Вам нужно удочерить Настю. Срочно. Это ее поддержит в болезни.

Ивановым даже ничего понимать не нужно было. Все тонкие глубинные расчеты Инны Константиновны лежали на поверхности ее лица, они проступали через холодную красивую кожу: либо в службе опеки шла кампания по усыновлению-удочерению, корни которой, как и корни любой кампании, лежат во тьме, либо она решила уменьшить себе объем работы.

— Настя будет четвертая, а потом пятого родите, и Света в пятьдесят лет — на пенсию!

— Ничего себе! — сказал Миша. — Бурята вы нам не дали — площадь не позволяет, а родить советуете! Это ведь на той же площади... И такое советуете.

— А все по закону, — ответила Инна Константиновна. — Никто вам не может запретить рожать на любой площади. Просим удочерить такую-то. Я все завтра же начну оформлять.

Миша и Света были не против удочерить Настю, но их напугал сверхъестественный напор со стороны инспектора.

— Мы должны подумать, — несколько раз повторили Ивановы. — Мы к вам зайдем в районо... Надо посоветоваться с юристом, ведь у Насти есть родная тетя...

Инна Константиновна отреагировала словами: ах, вам не угодишь, я хотела как лучше, смотрите сами, — и клацнула красивой вставной челюстью. Когда она ушла, Миша сказал: мозги бы себе еще вставила! Что мозги, сердце-то не вставишь, ответила Света...

Вдруг ее осенило: комната для Насти, вот что! Инна Константиновна обязана девочке комнату материну вернуть, а не хочется ведь работать-то! Если Настю удочерят, то все — нечего для нее стараться! Уже по закону она потеряет право на ту комнату... Но Мише Света ничего не сказала, он и так мрачен, наливает слесарю спирт:

— Кесарю — кесарево, а слесарю — слесарево.

— Зато кран не течет, — подбодрила мужа Света. — И знаешь, челюсть-то у Инны Константиновны... ей ведь чья-то пьяная мать кирпичом выбила зубы, кинула в инспекторов, когда целая группа пришла лишать материнства, да попала в челюсть. Работа такая — никому не пожелаешь, правда!

Настя рассказывает

— По телевидению снимают так: приезжает машина, Цвета бодро: «Настя, к тебе», назначают, когда мы должны приехать в студию с картинами, потом снова машина, а съемки переносят, наконец приезжает на трамвае девушка с запиской, чтоб мы были в студии через два часа, а картины без Миши не увезти, надо его с работы отпрашивать... Капельница уже не помогает, а тебе, Лада? Ах, что я делаю, за что я мучаю больной и маленький свой организм!.. Это Рубцов написал, которого баба пьяная топором убила, знаете? А не пей много, сам виноват, правда?

Тобика я нарисовала вместе с бабушкой, он похож на нее, или она — на него. На телевидении спросили, почему у меня так много собак на картинах, скоро ли эта капельница закончится, в школе сейчас третий урок, наверное английский, да? Цвета хотела, чтоб все в семье много говорили по-английски, Мишу звали Майклом, а ее — не Цвета, а Флёр — цветок, давайте звать друг друга «май френд»? А этот желтый цвет мне надоел, бесит уже, на картинах у его любила сочетать с синим, сочетание такое — звенит, наверное, теперь выброшу все тюбики желтого, лимонного и даже охры, после желтухи... Рембрандт, наверное, никогда не болел желтухой, у него на картинах золота!.. Цвета хотела, чтоб я писала так же, в том смысле, чтобы каждый квадратный сантиметр картины был драгоценен сам по себе, как жемчуг или серебро. Миша сказал: не требуй, художник сам решает, у Насти есть преломление, как говорит Инстинктивно (это из районо инспектор, Лада, ты ее знаешь ведь?). Когда я на весь мир прославлюсь, Цвета у меня будет носить лишь французские платья, я так ей и заявила. Нечего было надеть на передачу, тетя Люся дала ей свою вязаную кофту, словно из радуги, режиссерши на студии крутились возле Цветы, пошли провожать, мы им: надо зайти тут кофту вернуть! А разве это не ваша кофта? Мы же хотели зайти к вам и рисунок расспросить... Они не Цветой восхищались, а кофтой, а мы думали... Эта тошнота мне надоела, мутит, как в самолете, болезнь лезет. Скоро Миша-Майкл ко мне придет, а капельница не кончается. Главное, Дашка просила мне передать *подарок слов!* Она такая быстрая: не успеешь оглянуться — уже залезла на шведскую стенку, не успеешь испугаться — уже слезла. «Я без держась могу на стенке!» — говорит. Ничего желтого я больше не хочу, раньше Цвета утром спрашивала: «Яйца вкрутую, яйца всмятку или яичницу?» Я написала натюрморт «Богатый выбор завтраков». В школе мне на выставке грамоту за него дали, а директор сказал: «Почему твои родители пишут заявление на материальную помощь, когда у вас выбор богатый?..»

Я бабушку написала помоложе, она говорит: да, у Насти к искусству что-то есть... Зимой легче рисовать, я тогда все могу найти на замороженном окне, даже попугая могла найти. А теперь на Карла Маркса нужно ехать, там возле двадцать второй школы дерево, как человек, ну, с головой и руками, капельница закончится, я его набросаю. Мне на выставке самодельных художников дали лауреата и приз, дутый из стекла, Миша теперь зовет меня «дутый лауреат».

Сейчас в школе третий урок начался — математика. Мне Цвета все иксы конфетами заменяет: восемь икс равно восьмидесяти, восемь конфет стоят восемьдесят копеек — одна конфета по десятичку, так хорошо решается, даже конфет не хочется, когда желтуха, правда?.. И ничего острого будет нельзя, хотя я люблю капусту по-корейски, Дороти вкусно ее готовит, ее вообще-то зовут тетя Таня, Цвета однажды спросила рецепт, а Дороти как закричит: «У всех есть кулинарные тайны, мне же не приходится в голову спросить у тебя рецепт торта „Птичье молоко“!»! А чего, мы бы ей дали рецепт, нам и не жалко. А пирожное можно после желтухи нам, а? Я в театре, когда на «Войну и мир» два вечера ходили, за два раза съела восемь пирожных. Потом она в дневнике моем об этом прочла, ужасно рассердилась, она, конечно, хотела, чтоб я писала про Наташу или про народную войну.

А вы когда-нибудь видели раздетое пианино? Когда его купили и поднимали, грузчики сняли некоторые доски, чтобы легче было нести, оно голое такое интересное, там пружины, мы сразу мешочек с антимолью внутрь повесили, чтобы моль не съела там что... Я не нарисовала, потому что сразу пианино тут одели. Цвета, чуть что, сразу: поставь стакан с кефиром на пианино — пусть согреется. Я спросила: «У нас что, пианино горячее?» Антон закричал: «Настя, не бери девочку, ты ее заешь!» А я вырасту и собаку возьму, Дороти говорит, что у меня на лице написано: «Вырасту и возьму собаку». У меня на картинах это точно написано, на одной стоит одинокая колли, вывеска там «Вино-водка», хозяин в магазин зашел, а у колли уже сосульки на лице и взгляд такой... человеческий, тоска. Я желтая все еще или уже меньше? Капельница скоро закончится, я бы с вами поиграла в такую игру, называется «жизнь и живопись», мы с Мишей играем, когда идем к зубному, мне тетя Инга безболезненно лечит, конечно, она этот... ас, кажется, называется, но все равно неприятно, и Миша меня дорогой отвлекает. У какого художника могло быть такое небо? И такое дерево? И лицо в морщинах?.. Кстати о морщинах: Миша считает, что морщины — это трещины, когда душа растет, у кого морщин нет, у того, может, и души-то нет. Дашка сейчас, наверное, на дневной сон ложится, Антон переоделся опять в папу, он из шали бороду делает, надевает очки и Мишин плащ, Дашка сразу пугается и засыпает. Один раз я переодевалась в Мишу, а на другой раз Дашка спросила: «Кто сегодня папой будет?» Она такая смешная, говорит вечером: «Настя, луну сделай!» Это настольную лампу прикрыть с одной стороны полотенцем, чтоб осталось полукружие мне почитать.

Василий так много курит, один раз у него кончились сигареты, так он бегом по лестнице вниз побежал, словно задыхается прямо от свежего воздуха, — сигареты, сигареты! Я его напишу в красных тонах, как его румянец, а сигареты дымящиеся будут внутри мозга, Дали заплачет от зависти, его скрюченные усы от слез намокнут и распушатся. А все-таки эта капельница мне немного помогла, легче стало. Сейчас врач придет: Настя, лежи, у тебя кардиограммочка неважная... На телевидении тоже: «Здесь мы прозвучим музычкой, а тут просветим картиночкой!» И главное, оператор все время камеру туда-сюда возит и ворчит: «Я не могу, не могу больше!» С похмелья, наверное. И все: «Как ты, Настя, написала такую прекрасную льдину — смесь плывущей раковины с раненой птицей, которая вот-вот утонет?» А просто там мальчишки увидели, что я рисую, и стали расстреливать снежками эту льдину, она такая сама получилась. Интересно, нам жвачку можно после желтухи, нет? Один боксер, правда, во время соревнований жвачку жевал, ему дали в живот, он подавился и умер. А я медсестру Лилю нарисую, она мне за это одноразовый шприц обещала: в постели буду сквозь одеяло брызгать себе на лицо, Цвета увидит слезы — даст мне жвачку или денег на нее, не узнает, что шприц...

Сколько плохих людей на свете, Даша, ты бы только знала! Но мама говорит, что все равно жизнь идет вперед благодаря хорошим... Ну зачем ты ломаешь прутья в кровати? Антон, сделай этот прут! Давай я математикой с тобой буду заниматься! Чего у нас на теле по два? Уши, глаза, щеки. Так... руки, ноги, молодец, Даша! Еще? Губы, так, все. Не все? А что еще-то? Точки? Какие? В носу дырки? Нет? А что? Какие точки? Из которых груди вырастут, а, это соски называются, Дашенька, ты молодец, внимательно в зеркало смотришься, спи сейчас, завтра гулять пойдешь, на проспекте деревья побелили, ну, как мы гольфы белые надеваем... красиво... Мама с папой скоро придут, а ты не спишь. Даша, нас же и ругать будут, спи, Дашенька! Заснула, что ли? Умница, спи, наша маленькая! Антон, кончай играть, Даша спит уже.

Солнечная Нателла

Когда Настя убежала во двор по своим Настиним делам, а Света ушла в магазины по своим Светиним делам, Миша лег на диван по сво-

им Мишиным делам. По телевизору показывали грузинский танец: хоровод из мужчин, а на плечах у них — еще хоровод из мужчин.

— Папа, папа, смотри: на плечах танцуют!

— Это горы их научили так, — пояснил папа, не поднимаясь с дивана. — Это подтянулось к вашему чтению книги о Пиросмани.

И тут в самом деле действительность подверстала приезд грузинки Нателлы из Тбилиси, из Музея детского творчества. Она вошла, как солнце: в черном плаще, а сверху — желтая шаль с кистями, кисти, как лучи, струились по плечам ее.

— У вас сверчок? — спросила Нателла.

— У нас счетчик так сверчит, — отвечал Миша, помогая гостье раздеться.

— А я думала, у вас сверчок.

— Вам жалко — жалко Пиросмани, что он умер под лестницей? — чуть не в слезах вышла встречать Нателлу Сонечка. — Жалко как...

— А чего его жалеть: дай Бог каждому так умереть, как он, — оставив столько шедевров. — И Нателла подняла глаза кверху, словно прислушиваясь к мнению самого Пиросмани.

— А у нас тут шумно, — крикнул Миша, включая телевизор.

— Почему шумно? — криком спросила Нателла.

— Здание напротив, — крикнул Антон, — разрушается, в окно видно... камни падают.

— Что? — спросила Нателла.

— Билдинг, а еще под подъездом сделали крышу, чтоб не убить, камни долго по крыше скатываются, грохочут.

— А где Настя?

— О, если она выживет, то придет домой с прогулки! — сказал Миша. — Представляете... После желтухи, — криком пояснил Миша, — взяла и съела ящик грецких орехов... мои родные прислали посылку, а она всю съела.

Нателла опять подняла глаза кверху, словно прислушиваясь к мнению Пиросмани насчет непослушания художника...

— Мы увидели по ЦТ ее картины на досках... Как у Леонардо да Винчи: фигуры так влиты, что не сдвинуть ни вправо, ни влево — ни на сантиметр... Чудо!

Нателла достала из сумки бутылку шампанского. Миша поставил бокалы, и тут пришла Света. Пока она раздевалась, а Миша распаковывал сумки с продуктами, оказалось, что Нателла уже поит шампанским... Дашу.

— Что вы делаете? — закричала Света.

— А что? У нас всех детей поят немного...

Так вот они почему такие задумчивые, разом подумали Миша и Света. А с другой стороны, на рынке иные грузины очень уж вертлявые и быстрые...

— Что вы на меня так смотрите? — спросила Нателла у Миши.

Миша удивился: может, его блуждающий взгляд и притормаживал на Нателле, но не более чем на всем остальном в этом мире. А Света сейчас мысленно всю Грузию в развалины превратит. От ревности.

— Мой взгляд! — крикнул Миша. — Это не я! Я в это время нахожусь... был... в другом месте!

Света успокоилась и стала заваривать чай. Она мысленно уже восстановила Грузию из развалин — Миша понял это по тому, как щедро она сыплет заварку. Чай был грузинский.

Выпив шампанского, Нателла рассказала, что она из рода грузинских священников, которые знают дорожки в море, да-да, те самые, по которым можно ходить пешком. Не все, конечно, дорожки, ибо все знает лишь сам Иисус Христос. Когда святая Нина, покровительница Грузии, благословляла священников, она дала каждому по такой дорожке, научила, как ее угадывать. И Нателла, как наследница рода, может ходить по морю! Главное, уметь угадывать, где дорожка проложена.

— И вы можете нам показать, как ходите по морю? — спросил Антон.

— Ну... шампанского пить не надо было! Теперь вот три года не смогу показать. За грехи наказывают нас... если живешь греховною жизнью, то не угадаешь ничего. — И Нателла бросила на Мишу долгий, как действие грузинского вина, взгляд, не относя его в разряд грехов.

— Вы знаете, наша галерея пока на ремонте, но вообще выставки обычно после нас едут в Париж, — говорила Нателла уже настолько громко, что шум камнепада удавалось преодолеть.

«Париж» для Ивановых тогда звучало точно так же, как сейчас «Марс», но Миша на всякий случай важно ответил: мол, уж, во всяком случае, он признает, как велика роль Грузии в культурной жизни страны.

— Давайте мы посмотрим все картины, составим список в двух экземплярах, а когда я дам телеграмму, вы пришлете картины багажом! Но я не вижу того портрета женщины во весь рост, по которой ползут маленькие карлики или гномы... Его по ЦТ первым показали. Где он?

— Дороти? А он у нее... Но мы попросим, конечно, ради выставки...

— Какая фантазия у девочки! — крикнула Нателла, опять подняв глаза к невидимому Пиросмани за подтверждением своих слов.

— Просто Дороти рассказала нам сон, а Настя написала, ну а чтоб «сонность» передать, все в сиреневых тонах. А вот и она сама! Знакомьтесь, Нателла, это Настя — сестра молнии и племянница урагана.

— Лада с... ком... идет! — крикнула Настя.

— Лада в исполком идет? — удивилась Света.

— Дорогая, тебе всюду чудится исполком... говорил я, не надо было ни о какой комнате хлопотать, ты с ума сойти можешь! — Миша сразу понял, что Настя сказала: «Лада с пауком идет».

Для Нателлы хватило одного камнепада бы, столь слышного в квартире Ивановых, но Света, конечно, высыпала еще ряд тяжелых, невыносимых слов: райком, исполком, жалоба в ЦК, жилищная проблема. В какой-то момент рассказа Светы Настя вдруг побледнела и вся вытянулась. Миша и Света переглянулись. Они напряженно ждали, когда же Настю вырвет после жирных грецких орехов.

— А кусты меня узнают и кланяются, — заявила Настя серьезно.

— Надеюсь, ты им кланяешься в ответ? — не менее серьезно спросил Миша.

Нателла завела глаза к потолку, словно сообщая духу Пиросмани, какая вот тонкая эта девочка-художница!

— Эта яичница, похожая на карту двух Америк, когда написана? — Нателла в своем списке ставила даты, чем совершенно поразила Настю, ведь даты ставят у настоящих мастеров.

— Лада, ты иди, я пока не выйду гулять, — крикнула Настя в окно и громко проглотила слюну, чем опять вызвала переглядывание Ивановых: вот-вот, сейчас ее вырвет, и все — можно будет расслабиться.

Но ее так и не вырвало. Сияющее счастье будущей выставки, которая поедет в Париж, переварило все орехи. Когда Нателла надела свой черный плащ, а сверху — шаль-солнце, Света вдруг сникла и простилась с гостьей непринично рассеянно.

— Что случилось? — спросила у нее Настя.

— Видишь, как Нателла одета! Прекрасно выглядит, а ведь она со мной одного возраста, тоже с сорок седьмого года. А я-то...

— Так у нее всего один ребенок! Ты что, с одним Антошечкой хотела бы остаться, да? — Настя выпалила это ни секунды не раздумывая. — Вот Нателла и выглядит островагантно, подумаешь!

— Экстравагантно, — поправила Света, а про себя подумала: Настя-то совсем уже моя, пора удочерять. И она подняла глаза кверху, как недавно это делала гостья, смутно чувствуя, что благодарить за все нужно кого-то, находящегося высоко.

Появление нового человека

«Здравствуйте, дорогие Цвета, Миша и Даша! Как получила ваше письмо, сразу вам отвечаю. Особенно нам понравилось, что Даша спросила в гостях у Дороти: «Почему так мало зубных щеток?» Она привыкла, что у нас их много. Мы живем у бабушки хорошо, только тетя Люся учит жить с мощностью двадцать Инн Константиновн...ов? И Вадик залिमонил Антону в глаз — наглость выше Гималаев, сказал Антон. Но глаз уже заживает. Цвета, ты пишешь, что картины на выставку послала, завернув в пеленки, но во что мы будем заворачивать ребенка? Мы все хотим, чтобы родилась девочка. Бабушка говорит, что девочка у Цветы умнее. Мы бабушку слушаемся со второго раза, иногда даже с первого, а тетя Люся все недовольна, она хочет, чтобы мы слушались с нулевого. Мы играем в определение. Вчера определяли зеркало, пишу ответы: кривое, хрупкое, старинное, волшебное, обличающее (это Антон победил). А Соня сказала: рождающее зайчиков, но из двух слов не считается. На этом кончаю, будем ждать от вас телеграмму о рождении девочки. Хочется, чтоб ее звали Лиза! Цвета, ты пишешь, что комнату дали, но ни слова про шкаф и люстру! Ведь Нина нам обещала, что оставит за то, что поедет в мою комнату? Срочно напиши, я так волнуюсь! Антон ходит на рыбалку, я написала портреты дедушки, в очках отражаются цветы из нашего сада. Он купил мне за это босоножки. На этом кончаю. Ваша мисс жевательная резинка. Настя. К сему Антон Иванов, эсквайр. И мисс тургеневская девушка, Соня. Цвета, а кто такой Кортасар? Кортасар Иванович? Целую всех!»

Света прочла письмо и поглядела в свое зеркало: нестаринное, но хрупкое и обличающее, — живот точно до Ленинграда. Скоро! И дети ждуют девочку. Настю удочерим тогда. А то, что соседка не только не оставила обещанный шкаф, но и люстру вырвала с корнем, сделала замыкание во всей квартире, — это вообще надо забыть. Еще детям о ней писать — пачкать русский язык об эту жадину!..

— Мама, где купили конфеты? В магазине? А окно где купили, а свет? А где купили деньги? — спросила Даша.

— Все, — сказал Миша, — ребенок заинтересовался политэкономией. Пора ей «Капитал» читать.

В форточку залетел шмель, как Карлсон, уменьшенный. Надо окно марлей затянуть, сказала Света. Как, уже снова пора марлей? Как летит время, не успел оглянуться — год прошел, а ведь кажется, только вчера он затягивал окно... И Даша тоже... Совсем недавно она спрашивала: мы — Ивановы, а окно — тоже Иваново? Все — Ивановы? Она была в периоде матриархата и думала, что все вокруг родственники, мама всех родила. Потом, через месяц, спросила: стул кто склеил — папа? А окно кто сделал? Тоже папа? Она перешла в период патриархата: думала, что все папа сделал. А сейчас собирает в свою детскую сумочку пробки, гвоздики, фантики. У нее период первоначального накопления.

— А откуда люди взялись? — не отставала Даша.

— Меня родила мама, твоя бабушка. А я родила тебя. Ты родишь...

— Поняла! Кто рождается, тот и рождает! — Даша запрыгала на месте от радости понимания — еще один холерик растет.

Что ей-то купить в подарок? Света всегда брала в роддом подарки для детей — якобы от новорожденного. Так они скорее его полюбят. Деньги есть, но на люстру.

Схватки начались, четвертые роды такие бурные, Господи, помоги вытерпеть, ой-ой...

— Миша, собирайтесь, проводите меня, началось... ой-ой... подарки сам выберешь, ладно? Ноги вымыть срочно! О! Ой!

— Мама, ты напишешь мне квадратное письмо? Напишешь?

Даша уже знала, что есть квадрат, а есть прямоугольник. Настя с нею занималась с такими фигурами, которые еще назывались окна: окна можно было закрыть то квадратом, то прямоугольником. От дяди из Канады приходят иногда прямоугольные письма, и мама грустит.

— Мама, хочу квадратное письмо!

Но мама словно не слышала ее, она схватила из корзины с бельем свое платье с ирисами и побежала к раковине. Стирать будет? Нет, мама вымыла ноги, с трудом закинув их по очереди на раковину, вытерла платьем и бросила его тут же: «Ой! Ой!»

Папа взял Дашу на руки, хотя она уже большая, и они все побежали бегом по улице. Мама словно не мама была, но папа был по-прежнему папой, и это немного успокаивало Дашу. Папа говорил:

— Доченька, помолчи, сейчас нам не до тебя пока.

Вдруг мама стала мамой и сказала человеческим голосом:

— Даша, тебе ребенок напишет письмо: сестра или брат! Я обещаю! Миша, это и будет ей подарок, ты не хлопочи, а остальные дети пока приедут от бабушки, купим подарки. Ой, ой! Опять схватило! Только и отпускает на минутку! Вот что: пол вымыть не забудь. Боже мой! О!

— А что ты хочешь, дорогая, четвертые роды — это четвертые роды, бурно протекают.

— Сейчас рожу прямо на асфальт! — крикнула мама.

— Ты, мама, родилась, вот и рожаешь! — ответила Даша.

— Потерпи, осталось-то... два дома, и все! — сказал маме папа.

Когда они подошли к родильному дому, мама скрылась там с криками «ой-ой», а папа стал Даше показывать буквы на вывеске «Родильный дом». Даша знала уже буквы «о», «д» и «м». Папа палочкой на земле писал ей слово «Даша», а потом вдруг «Агния». Она в этом слове знала лишь букву «а». Почему Агния? И тут им сообщили, что у мамы родилась девочка. Папа спросил: назовем ее Агния? Даша кивнула.

Старушки на скамейке спросили: кто родился? Даша важно ответила:

— Мама родила девочку...

Когда маму с девочкой выписали из больницы, Даше в руки сразу положили письмо: квадратное! На странице, вырванной из тетрадки. И там внизу было подписано: Агния. Даша уже знала в этом слове почти все буквы. Это было послание новорожденной Агнии к сестре: «Даша, я тебя люблю!»

— Ну что ты делала без меня, Даша? — спросила мама.

— Стеснялась.

Это было что-то новенькое, и мама вопросительно посмотрела на папу. Папа пожал плечами:

— Гости у нас. Приехал друг Василия из Москвы. Мы же всюду знамениты, я не шучу. Василий ездил в столицу и рассказывал о нас.

— Что, например, можно про нас рассказывать? — удивилась Света.

— Про термосы, как мы их покупали... и все такое. Кореец, Пак. Он шьет здорово, обещает мне брюки сшить из того материала, что ты купила.

Брюки — это хорошо, но Свете сейчас совершенно не до гостя! Миша, как водится, не вник в смысл ее слов, он продолжал: Василий говорит, что Пак приговаривал: только б одним глазом взглянуть на этих Ивановых. Кстати, Пак — это среди корейцев тот же Иванов, а когда он приехал, то оказалось, что у него в самом деле один глаз, но это не заметно под темными очками, ты не бойся, Даша вот привыкла, он всю столицу обшивает моднейшей одеждой, а пол я вымыл, как ты видишь, Света!

Света пошла вымыть руки и увидела под раковиной еще мокрую половую тряпку — она показала ей странно знакомой. Ба, да это же ее платье с ирисами, единственное нарядное, а муж им пол вымыл!

— Как ты мог? И оно же шелковое, не впитывает влагу...

— А я откуда знал, что это платье. Лежало под раковиной, вот я и...

— Но я им в безумии схваток вытерла ноги... а ты! Если б у меня пять нарядных платьев было, а то одно, и то не запомнил... эх! Кто там? Уже гости? А мне совершенно сейчас не до этого... Я там уговорила одну женщину... молодую... не оставлять сына в роддоме. Ее жених бросил. Я сказала: «Ночью тебя задушут». Она: «Не задушите!» Я: «Женщины, уходим отсюда! Мы не будем с этой фашисткой лежать. Когда я Настю взя-

ла, то она под кроватью плакала, если кто обидит во дворе. Заберется и скулит. Ей в голову не приходило ко мне под мышку нырнуть... Своего сына оставить без матери!» Стала я подушку и одеяло собирать, другие тоже: мол, уходим. И тогда заплакала эта девчонка, ей семнадцать лет: нет у нее пеленок! Но я пообещала собрать все: коляску, пеленки, одеяло, ползунки! И она согласилась кормить мальчика. Но еще кочевряжилась: а покажите мне его! А разверните! А почему у него такой нос? А нос всегда будет курносый? Да, кричу, потому такой, что ты такой ему родила!..

Как развивались события далее, соавторы рисовали за завтраком: Пак снял размеры с Миши, выжидательно глядя на Свету, он серьезно думал, что она после четвертых родов будет еще блистать для него остроумием. Ивановы отдали ему альбом Энгра (немецкий), Дюрера (немецкий), Мира (итальянский) и несколько болгарских открыток Шагала. Ну и, конечно, отрез для брюк. С тех пор прошло десять лет, но ни брюк, ни Пака они никогда более не видели.

Жизнь продолжается

Прежде чем описывать Великое Безразличие, придется описать, чего не было в новой комнате Ивановых, из которой выехала соседка Нина. Но, впрочем, легче перечислить, что в ней было: этюдник, мольберт, кусок загрунтованного холста, кружка с кистями, бутылка растворителя, пельменные доски, на которых Настя писала сразу три картины: семейный портрет с солнцем, натюрморт с черными гладиолусами и автопортрет в виде дикарки. На юге Настя сделала себе ожерелье для пляжа, дикарское: на шею красиво болтались ракушки, разноцветные тряпочки и косичка из обрезков замши, которая торчала вбок, но к месту.

— Цвета, ты блины решила печь? О'кей! А Нисский — хороший художник? Вот в учебнике... Нет? Я и то смотрю: все слова отскакивают от картины, ушли слова, не идет энергия. Нечего сказать и ничего не чувствую. Вся каменею от этой картины, по-нехорошему.

— Да, от картины должно идти струение... Учи английский-то!

— Я была в магазине, написала пол-автопортрета, прогуляла Агнешку!

— И, таким образом, английский выучился сам собой? А кто обещал, что в этом году будет учить язык до тех пор, пока английский текст не покажется родным?

Взрывная жестикуляция Насти показала Свете, что обещать-то она обещала, но... Думаешь вдоль, а живешь поперек, как говорит бабушка с Тобиком. А Свете еще нужно было составить отчет для Инны Константиновны: какие теплые вещи куплены Насте на зиму, какие оздоровительные мероприятия проведены в текущем году — всего восемь пунктов. Поездку на юг можно считать мероприятием или нет? После желтухи у Насти долго была бледнуха и прозрачнуха, как говорил Антон. Дороти в восторге от Настиной внешности: какая она загорелая, ресницы так (пальцы у глаз веером). Но дорого обошлась поездка к бабушке, опять нужно печь, чтобы экономить, а блины на большую семью — это час-два у плиты. Света так устает, а Лев Израилевич в ответ на ее жалобы пишет: это ваше лучшее время! Пусть трудно, но зато вы ощущаете сильнее жизнь, даже в смысле пищи — всего хочется. Свету возмутило такое мнение. Если так рассуждать, то годы, проведенные Настей у матери, — лучшие ее годы, ведь ей все время остро хотелось всего, правда, слух, зрение и обоняние у нее развиты более, чем у других детей, но...

— Мама, пришел Игорь, я выйду на минутку? — спросил Антон.

— А музыка? Ну, если дело идет о спасении от смерти, то выйди...

— Да, мама, дело идет о жизни и смерти, — сказал сын. Взял две батарейки, моторчик и проволоку — видимо, для спасения жизни именно они понадобились.

Соня счастливо мыла пол, сообщая матери: красоты вокруг столько! Налила в синее пластмассовое ведро воды, а вода колыхнется, такая игра бликов, круги и полукруги, светомузыка.

— Мама, скоро блины? — пришла на кухню Даша. — А почему мы не пользуемся туалетной бумагой, которая в диване лежит? Полный диван там!

— Это обои, доченька, для Настиной комнаты. Сколько всего нужно!

— А я думала... ты опять любишься. Помнишь, папа купил, а ты любовалась, потому что папа впервые сам что-то купил для дома.

— Настя, почитай десять минут Даше, я пеку, пеку, все мешают!

— Мама, я хочу опять «Лев и собачку»!

— Цвета, а почему Лев не полюбил другую собачку-то? Я бы полюбила, и все. — Настя подумала секунду и вкрадчиво сказала: — Даш, я тебе «Алису» почитаю — там часы, такие... которые дни показывают. Уже японцы изобрели такие, да!

Назавтра Света вспомнит про эти часы, но... со слезами. Однако, пока ничего не зная о завтра, она печет, печет. Пришел в гости Василий — сразу на кухню:

— Какой запах от твоих блинов!

— Антон сдал пушнину, — устало перевернула блин Света.

— Посуду?

— Ну да, пушнину... А вот и похороны таксиста. Слышите эти протяжные гудки? Когда-то тетка Насти говорила, что ее муж таксист, а их весь городской таксопарк хоронит, все машины гудят...

— Это не похороны таксиста, это Антон на виолончели играет, — сказал Василий.

— Святая Цецилия, покровительница всех музыкантов, помоги ребенку закончить музыкальную школу! — Света налила очередной блин.

Опять звонок в дверь. Это была тетка Насти.

— Странно... — поникла Света. — А мы вас вспоминали только что.

— Настенька! Родненькая! — запричитала тетя, одновременно зорко оглядывая обстановку Ивановых. — Скучаю я без тебя!.. Тележка на площадке ваша стоит? — спросила она у Насти.

— Какая тележка? — Настя выглянула за дверь. — Коляска? Наша. А что?

— Беспрокие вы! Проку у вас нету. Квартирешечка махонькая, а детей сколько нарожали! Пошли, Настя, в гости к нам, увидишь наши хоромы. У-у! Мы живем хорошо.

Настя решительно сказала: конечно, в гости! Миши не было в этот выходной (он все еще работал на двух работах: в издательстве и в сторожах). Света не могла с ним посоветоваться. Утром у Насти камень вышел из почки, застрял в мочеиспускательном канале, она испугалась и разбудила Свету. Когда его достали, он оказался как большое семечко апельсина — только мягче. Это арбузы бабушкины. Много на юге их ели, вот и камни выходят. Завтра надо к врачу, рано придется отнести анализы, а в гостях Настю накормят чем-нибудь соленым. Но она так рвется, что все равно не удержать. И Света махнула рукой, ладно, иди.

Вечер прошел в напряженном ожидании Насти. Что-то запеклось у Светы на сердце.

— Не идет! Знает, что утром в больницу, рано вставать, но не спешит. Распусть! Бабушка распустила их всех. Распусточка моя...

— А бабушка говорила, что нас мать распустила: распусты все, — вставил словечко правды Антон.

— Да ну ее в печенку, в селезенку и в большой морской загиб! Давайте сыграем во что-нибудь? — Василий был полон энергии после блинов, крепкого чая и нескольких сигарет, выкуренных одна за другой.

— Вчера дети играли в определения. Кофта новая, польская, теплая, красивая, ласковая. Антон сказал наконец: тупая! Так Настя его чуть не съела — для нее вещи всегда... всегда... Где вот она, где? — Света окончательно сникла.

Ночью Настя, конечно, не могла прийти. А утром пришел Миша. Света, словно вся превратившись в одно огромное ухо, прислушиваясь к шагам на лестнице, бормотала как сумасшедшая что-то явно трагическое:

— Под кем лед трещит, а под нами — ломается! Ломается... Правильно говорила моя мама: у Бога выслужишь, у людей — никогда... Никогда...

Миша устал. Он сутки дежурил, а тут вместо того, чтобы поспать часок, надо искать эту дуру Настю! Как ему все уже осточертело! Зачем Света ее отпустила, если знает, что та думает только о себе!

Если б ты рос до семи лет на помойке, как Настя, ты бы, может, был не лучше ее. Она не виновата, что было такое детство...

Весь в семечках, вылез из детской Антон. Зачем только бабушка послала мешок семечек — дети их всюду сыплот! Миша закричал на него, потом на Дашу: почему проигрыватель с вечера не выключен — горит лампочка в нем? Даша с ее врожденными клоунскими способностями поползла к проигрывателю на четвереньках и носом нажала кнопку. В отца вся. Миша уже подошел к Агнешке:

— А ты чего хнычешь? Настя ушла из дома, ты тоже хочешь уползти? Света нервно захохотала. Но вдруг снова вспомнила про Настю:

— Такое отчаяние порою охватывает. Накатывает, и все!

Миша жестко заметил: оно уже натерпелось от тебя, это отчаяние! Впустила отчаяние в душу, оно свило там гнездышко, а ты его гонишь...

— Ты не понимаешь меня! — закричала Света.

— Ну и разведись со мной... От тебя все разбегаются! Все!

— Хорошо, давай разведемся, — сдавленным голосом ответила Света.

— Выпускниками Пермского университета не нужно бросаться, — пошел на попятный Миша и закрылся в туалете. Там он увидел выброшенные ноты. Называются «Выбор жены»: «Не женись на умнице — на лихой беде, не женись на золоте — тестином добре...»

— Что поесть? — неожиданно спросил Миша и заглянул в холодильник.

— У меня пусто в холодильнике, пусто в кармане и пусто в душе, что самое страшное. — Света легла на диван и отвернулась к стене, обратившись все к тем же думам. Мы думали, достаточно быть добрыми, ласковыми, достаточно научить читать, рисовать, мечтать, понимать, осознавать красоту — и будет хороший человек. Сколько вложено сил, сколько бессонных ночей проведено около Насти! И все впустую. А Антон и Соня? Но они с самого рождения с нами. Настю взяли семи лет, ее все время возвращала к себе и звала та старая жизнь, которую она прожила с матерью. Привычки, навыки из той жизни непреодолимо тянули к себе. А мы не одолели, не побороли. Но зато мы не пропустили в Насте ее одаренности, научили рисовать и, самое удивительное, научили видеть красоту окружающего нас мира.

Но все ли это?

Мы не вышли победителями в этой борьбе.

— Поведу Дашу в сад и займу где-нибудь... на работе, что ли! — возвращая к реальности Свету, заговорил Миша; строго поглядел на Антона и Соню: — А вы быстро прогуляйте Агнешку, пусть мать поспит немного.

Засыпая, Света смотрела на красные цветы, что расцвели на подоконнике. В народе их называют: разбитое сердце. В самом деле в форме сердца, а из него капает что-то... кровь... Только заснула: звонки. Настя!

— А где все, Цвета?

— Ушли по моргам. Точнее, Миша — в милицию заявлять, Антон — морги обзванивать, а Соня сидит у бабушки с Тобиком и больницы обзванивает. Тебя ищут.

— А ты что дома?

— Я осуществляю общее руководство. Я — штаб поисков...

Настя прошла в детскую, увидела, что нет Агнии, и спросила:

— А на самом-то деле где все?.. А мне часы подарили — японские! Они дни показывают. И джинсы завтра купят. Тетя берет меня к себе!

— Из-за комнаты, — сказала равнодушно Света. У нее словно все онемело внутри — никаких чувств и эмоций не было. Она еще не знала, что началась эпоха Великого Безразличия, и ждала: вот-вот прорвутся слезы или крик.

— Не из-за комнаты, а они меня полюбили! Скучали-скучали, а увидели — и все: не могут со мною расстаться. Тетя ждет меня внизу, я вот только забежала сказать вам...

Неделю Света не вставала с дивана, не варила обеды, не кормила Агнешку. У нее пропало молоко. Врач выписал Агнешке кефир с молочной кухни. На восьмой день вечером из подъезда донесся душевнораздирающий детский крик: «Ма-ма!» В нем слышалось страдание, но какое-то даже нечеловеческое. И снова: «Ма-ма!» Света и Миша переглянулись. Настя? Вернулась? Довели или сама поняла, что она совершила?.. Они побежали открывать дверь. А там стоял сиамский котенок и кричал: «Ма-ма!» Потерялся. Страдает. Кто-то родной ему нужен... Миша закричал:

— Ага! Тебя возьмешь, вырастишь, а ты потом в богатство захочешь?! Нет уж! Хватит... брали мы...

Света подошла к зеркалу, как к дереву прислоняется пьяный, не в состоянии идти дальше. Миша погладил ее по голове.

— Антон сегодня мусор без напоминания вынес. Жить надо. Я само... Сегодня иду мимо книжного: в витрине выставлена роскошная книга о растениях, цветочки нарисованы в росе... Я подумал: надо купить — Настя будет использовать в своей работе, тренироваться рисовать цветы. А потом сразу вспомнил...

Света подошла к зеркалу: посеревшее лицо, упертый взгляд — я ли?

— Страшная, как моя жизнь, — пробормотала она, но пошла на кухню, захлопала холодильником, хлопотала над тазом с бельем.

В детской девочки читали на два голоса Чуковского:

Мы же тебе не чужие,
Мы твои дети родные!
Даже для глупой овцы
Есть у тебя леденцы...

Вместо эпилога

Когда последняя точка была нами поставлена (и даже за нее выпито с друзьями, как и за первую букву в новом произведении), неожиданно наша Н. вышла замуж за немца и уехала в Германию. Комнату свою она продала. Не будем описывать, что она напоследок сказала нам, чтоб не засорять окончательно русский язык. Впрочем, сама Н. говорила уже на смеси английского и пермского диалекта, что в сумме напоминало почему-то японский. Последняя фраза, которую мы слышали от нее, была именно такова. Приводим ее с ударением на первом слове (для тех, кто не знает пермского говора). Вот эта фраза:

— Мене мани!



ИННА КАБЫШ

*

ДЕТСКИЕ ИГРЫ

Майский снег

Верую... в воскресение тела.

— А я не воскресну, — отрезала я
в ответ на нянино «Христос воскрес»,
и няня Маня коротко охнула в тарелку
с крашеными яйцами,
а я, приподнявшись с подушки, крикнула,
что да, да, да! — и так и передайте там,
когда будете ставить свечку,
что я отказываюсь от воскресения своего тела,
и задрала ночную рубашку до груди,
где теперь были две культы.
И няня Маня, попятившись, выдавила:
«Нехорошо это, дочка...»
А я ответила, что это мое личное тело,
и если его сожрал рак,
то пусть доедят черви — и точка,
и отвернулась к стене.
И няня Маня молча вздохнула,
но хлопнула входная дверь,
и няня Маня поспешно вышла из моей комнаты.

А я слезла с кровати, подползла к двери
и стала смотреть в щелку,
как вошедшая со двора мама,
увидев няню Маню, расплакалась,
что вот славно, что ты нас навестила,
и жаль, что Наташа спит,
и они трижды поцеловались,
и мама бросилась накрывать на стол
и самогон поставила.
И няня Маня ела как положено:
яичко с солью, картошечку с огурчиком, чай с куличом, —

а мама вразброс:
то огурец откусит, то кулич:
больше пила, чем ела.

— Поздняя нынче Пасха, — сказала няня Маня, —
уже черемуха цветет, май...
— Май, — машинально повторила мама. —
А помнишь, как мы первый раз повели нашу Наташу на елку?
Всю в новеньком, беленьком... —

мама выпила, —
Дед Мороз поставил ее на табуретку у елки
и спрашивает в микрофон:
— Знаешь ли ты, внученька, какое-нибудь стихотворение
про Новый год?
— Зна-аю...
— Почитай деду.
— Здравствуй, май веселый,
ждем тебя давно...

Вот и дождались, —
мама опять выпила. —
А приз он ей тогда все-таки дал.
Помнишь?
Маленькую пластмассовую елочку.
Я ее до сих пор храню... —
И мама вскочила из-за стола,
подбежала к серванту
и вынула из-за стекла елочку.
И вдруг стала вытаскивать тарелки,
ложки, вилки,
коробки с сервизами,
потом кинулась к гардеробу
и начала доставать шубы,
пальто, плащи и куртки...
— Ведь всего, всего для нее напаса!.. —
Мама выдвигала ящики и вынимала
отрезы всех цветов,
пачки трусов,
нераспечатанные колготки...
— Одних ночных рубашек семнадцать штук! —
кричала мама. —
А платков!
А постельного белья!.. —
Она, пошатываясь, влезла на стул,
открыла антресоли, и оттуда,
как снег,
посыпались бюстгальтеры:
белые-белые,
они все падали и падали...
А мама кричала:
— А пеленок для ее детей!
А ползунков!.. —
Но этого я уже не видела.
Я отползла от двери, влезла на кровать
и отвернулась к стене
и только слышала, как няня Маня, всхлипывая, говорит:
— Когда сидишь одна, обо всех думаешь.
И так жалко всех:
и Наташу нашу,
и ребят, что полегли под Москвой,
я ж медсестрой была:
бывало, ползешь по полю, а они лежат, без рук, без ног, —
и птиц... Ишь, холод какой!..

И я подумала, что все правильно
и, хотя мне жаль маму,
должен же кто-то один не воскреснуть —
за всех с отрезанными грудями

и оторванными руками-ногами, —
 потому что иначе так будем вечно,
 а это уж слишком,
 и что, если уж так исторически сложилось,
 нужно просто свалить:
 сбежать из вечности.

Но мама сказала:

— Я ее буду сторожить.

Днем и ночью.

— Особенно ночью, — поддакнула няня Маня, —
 потому что эта курносая приходит так тихо,
 что даже собаки не лают.

— И пускай, — сказала мама, —
 что мне собаки?.. —

И она зажгла настольную лампу
 и стала шить мне летнее платье,
 хотя было холодно;
 но мама знала, что, когда цветет черемуха,
 всегда холодно,
 но потом всегда бывает лето,
 и она шила мне летнее платье,
 потому что ей казалось, что, если все будет как всегда,
 ничего не будет
 и всегда буду я, —
 и лампа горела,
 и мама кроила лиф,
 решив сделать вечность своими руками,
 но мне не нужна была вечность,
 потому что зачем вечность, когда нет груди?
 Мне нужно было умереть — и не воскреснуть:
 и от бабушки уйти, и от дедушки уйти, —
 но лампа горела,
 и мама гладила оборки,
 и я ждала, —
 потому что не может же человек вечно не спать,
 даже если он мать?

И дождалась.

Тогда я вылезла из-под одеяла,
 перешагнула через маму, спавшую в обнимку
 с моим платьем у порога,
 и, держась за стенку, пошла к двери.
 И, проходя босыми ногами мимо серванта,
 уколола ногу —
 и подняла с пола пластмассовую елочку.

...В сенях было так холодно,
 что я подумала, что, пожалуй, можно
 простудиться и заболеть,
 и от этой мысли мне,
 решившей умереть и не воскреснуть,
 стало весело,
 и с одной елочкой в руках я вышла на крыльцо.

...Шел снег.

И это было хорошо.

Потому что, если есть елка, должен быть и снег.

Здравствуй, май веселый!

Снег повалил густыми белыми хлопьями,

и я сошла с крыльца:
 я подставилась —
 и ждала, что он завалит меня
 и станет моей могилой,
 но он облепил меня
 и стал моим телом,
 и я — вся белая, новая,
 как невеста, —
 стоя посреди двора,
 где цвела черемуха и все падал и падал снег,
 вдруг увидела, что и над тем полем
 с безрукими и безногими мальчиками
 тоже идет этот снег.
 Этот майский снег.

Добрая мачеха

— Я ее убью, — сказала я.
 — Чем? — улыбнулся отец.
 — Горлышком от бутылки.

Отец не ожидал такой определенности:

— Она же добрая!
 — Да не в этом дело!.. — закричала я.

На их свадьбе я ничего не ела,
 я кормила мачехину кошку уткой с яблоками
 и, если б только могла,
 скормила бы ей и яблочный пирог,
 и яблочное варенье,
 и яблоки из вазы,
 а заодно уж и гладиолусы,
 чтоб она лопнула.
 Я объявила голодовку:
 объявила себе — им сказала, что болит голова
 и пойду-ка я погуляю:
 не смотреть же, как они едят на веранде вареники,
 как из вареников вытекает горячий вишневый сок
 и, смешиваясь с холодной сметаной,
 делается розовым и густым, —
 я пошла другим путем:
 дойдя по песчаной дорожке до крайнего дома,
 я свернула в лесок,
 где был мой шалаш.
 Я как Ленин в Разливе,
 потому что я ненавижу не мачеху,
 а расклад,
 при котором есть живые и мертвые,
 я хочу, раз нет мамы, пусть не будет и меня,
 и мачехи, и ее сына:
 пусть все будут несчастны,
 хочу я,
 как Ленин, который, очевидно, хотел, чтобы все были
 счастливы,

ибо в конечном счете хотим мы одного:
 справедливости.

Мы с Лениным в шалаше строим:
я — ад для всех,
он — рай для всех, —
что одно и то же.

...Сосет под ложечкой,
начинается дождь.
Я пытаюсь развести костер, но мокрые ветки не горят:
дым без огня.
Я вытаскиваю из шалаша кипу газет и поджигаю:
бумажное пламя.
После дождя из-за березы вырастает мачехин сын.

— Ты чего?.. —
Он достает из кармана два холодных вареника.
Я ем. Карман в пятнах. Все испортил!..

Я беру с мокрого лопуха улитку:
— Улитка, улитка, высуну рога,
дам тебе я пирога, —
вру я,
потому что с тех пор, как ушла мачеха,
пирогов в доме нет.
Да и меня почти нет:
я — после вареников — выдержала,
мачеха нет.
«Не хочу, чтобы из-за меня погиб ребенок», —
сказала она отцу и стала собирать вещи.
«Господи, ну куда же она подевалась?» —
мачеха никак не могла найти левую
из пары своих любимых туфель.
Нужно было спешить на автобус.
Мачеха сунула непарную туфлю в сумку —
не выбрасывать же:
кто знает, как оно повернется:
вдруг купишь такие же и потеряешь правую
или потеряешь левую ногу, —
и присела на дорожку.
Потом пристроилась на багажнике велосипеда,
который держал ее сын,
помахала нам рукой,
и они покатали.
А я как стояла у калитки,
так и упала,
и врач сказал: дистрофия.
И меня положили у окна,
под которое приходил отец,
и, когда я увидела его мокрое лицо,
я подумала: осень,
но потом посмотрела вокруг —
на белые стены, потолки, кровати, —
и мне стало ясно, что зима.
А когда мы приехали на дачу,
было лето,
но, когда я пошла кормить Жучку
и нашла в ее будке туфлю,
я поняла, что это *другое* лето:
с туфель в руках я выбежала за калитку.
На песчаной дорожке был хорошо виден след от велосипеда...

След обрывался на автобусной остановке.
 Я села в автобус.
 Людей было много.
 Они входили и выходили
 со своими ведрами, корзинами, бедами.
 Всех вновь входящих женщин я просила примерить туфлю —
 она никому не подходила.
 Не потому, что была слишком маленькой,
 а потому, что была слишком мачехиной,
 то есть успела разноситься так,
 что точно повторяла одну-единственную в мире ногу.
 Я расплакалась.
 Меня никто не пожалел.
 Потому что, когда у тебя нет мачехи,
 а у тех, кто рядом, нет жизни,
 тебя не пожалеют.
 Глядя на меня, расплакался и ребенок,
 сын, с которым мы ехали на дачу.
 Люди входили и выходили,
 ребенок плакал и рос,
 и, когда автобус остановился у калитки,
 он взял наши сумки,
 и мы вошли во двор.
 Навстречу нам с радостным лаем выбежала Жучка.
 Отец окапывал яблоню.
 Мачеха на веранде лепила вареники,
 ей помогала тоненькая девочка,
 как две капли воды похожая на мачехино сына,
 возившегося с велосипедом у крыльца.
 На крыльце умывалась кошка.
 Я подошла к мачехе и протянула ей туфлю.
 Она улыбнулась, вытерла о передник руки:
 — А я-то, глупая, убивалась...
 — На чем ты приехала? — спросил отец.
 — На автобусе... Знаешь, сюда идут все автобусы.
 — И все велосипеды, — добавил мачехин сын.
 А мой сын подошел к девочке и сказал:
 — Хочешь, я покажу тебе шалаш? —
 И она ответила:
 — Хочу. —
 И они ушли. В свой рай.
 А я осталась в своем. А мама — теперь я это знала —
 была в своем.

Нас всех друг у друга не было.
 И это было несправедливо.
 Но рай строится не по справедливости,
 а по душе.

Детское воскресенье

— Не хочу в это пекло идти, — заплакала я,
 а тетенька в белом сказала,
 что это ж надо, не человек, а уже хохол
 и что у этих хохлов никогда ничего не поймешь,
 хотя все слова у них вроде наших,
 и повела меня в большую комнату,
 где стояло много маленьких кроватей
 и был мертвый час.
 Но не такой уж он был и мертвый,

потому что, как только тетенька в белом ушла,
 из соседней кровати шепотом сказали,
 что на полдник здесь всегда бублики,
 а вечером нас не заберут:
 не потому, что это пятнадцатая,
 а потому, что нас убили,
 и чтобы вечером я опять ложилась сюда
 и давай будем дружить,
 надо же как-то жить,
 если тебя убили,
 потому что дворник Федоров говорит,
 что скоро воскресенье.
 А когда после полдника мы пошли гулять,
 то нашли на крыльце бублик,
 надкушенный бублик, —
 и, хотя он был очень твердый,
 мы спрятали его в карман,
 но потом решили спрятать подальше,
 чтобы не нашла заведующая,
 которая высунулась из окна
 и закричала дворнику Федорову,
 чтобы он прибил отлетевшую букву «С»
 в слове «САД» у входной двери,
 а то придут проверяющие,
 а у нас не детское учреждение,
 а черт знает что...
 А дворник Федоров мел у крыльца облетевшие листья
 и ворчал, что чего его прибивать,
 все равно осень,
 и что эта буква как сквозь землю провалилась,
 хотя все время валялась под ногами...
 А мы пошли в дальний угол двора,
 где в трубе жила кошка,
 и миска у кошки была такая пустая,
 что мы дали ей наш бублик,
 но она не стала:
 понюхала и не стала,
 и мы подумали, что нам же лучше,
 и закопали его у забора.
 А когда мы вернулись
 и проходили по коридору мимо кабинета заведующей,
 мы слышали, как она говорит по телефону,
 что этого Федорова надо уволить,
 потому что он совсем обнаглел
 и мало того, что не исполняет своих обязанностей,
 так еще требует воскресенье,
 а ведь ему русским языком было сказано,
 что воскресенье — родительский день,
 а наш контингент — жертвы аборта:
 если здесь и устроить воскресенье,
 за ними все равно никто не придет, —
 что мы работаем без выходных
 и что да, конечно, у меня просто нет другого выхода,
 кроме ворот,
 и я их запру на замок,
 так что никакой Федоров не откроет...
 Задыхаясь от обиды
 и размазывая слезы кулаками,
 мы влетели в дворницкую

и с порога закричали,
что мы-то знаем, почему заведующая отменила выходной:
от нее муж ушел, —
кому ж охота идти в пустую квартиру, —
и что теперь воскресенья не будет,
потому что ключ у заведующей...
А дворник Федоров выслушал нас и спокойно сказал,
что пусть она спит со своим ключом,
если ей больше не с кем,
а чтобы мы приходили после отбоя.
И мы побежали в столовую,
где, как всегда, пахло подгоревшей кашей,
а потом в раздевалку,
над входом в которую, как мы знали, было написано:
оставь одежду всяк, —
и, хотя мы не знали, что такое «всяк»,
мы оставили,
потому что в дверях стояла заведующая с ключом,
и шмыгнули под одеяло.
А когда заведующая с ключом заснула,
вылезли и на цыпочках пошли в дворницкую.
— Ничего, что мы без ничего? — спросили мы,
а дворник Федоров сказал, что нормально,
потому что воскресенье совсем близко
и что не ключом, так копаньем,
и взял большую лопату,
а нам выдал совки, —
и мы вышли во двор.
И тут дворник Федоров заметил,
что хоть оно и близко,
не мешало бы захватить какие-нибудь харчи,
и мы закричали, что у нас есть харчи,
и побежали к забору,
а дворник Федоров пошел за нами,
и когда мы откопали наш бублик,
сказал, что ага, и раз так,
то пусть здесь и будет «старт»,
и стал копать.
А кошка смотрела на нас из трубы,
и ее глаза горели, как два фонарика.
Но скоро стало совсем темно,
видно, кошка ушла спать,
и дворник Федоров сказал,
чтобы мы не боялись,
а повторяли за ним:

Мы длинной вереницей
идем за синей птицей,
пам-пара-пам,
пам-пара-пам, —

и копал дальше.
И мы повторяли:

Пам-пара-пам,
пам-пара-пам, —
и не боялись.

А потом он ударил лопатой во что-то железное,
открыл над головой крышку
и, подтянувшись на руках, вылез —
и вытащил нас.

...Синие птицы,
розовые слоны
и красные кони смотрели на нас, как на родных.
Сияло солнце.
И дворник Федоров сказал, что это Детский Мир
и мы можем взять все, что хотим.
И мы взяли самую красивую куклу
и самую большую машину.
Мы посадили куклу в машину
и дали ей наш бублик.
И кукла сидела в машине,
грызла бублик и улыбалась.
А мы везли машину за веревочку
и никому не мешали,
потому что, как объяснил дворник Федоров,
это было воскресенье
и что воскресенье вовсе не родительский день,
а день, когда дети встречаются со своим детством,
потому что воскресенье —
это не когда каждый встречается с другим,
а когда каждый встречается с собой.



Н О В Ы Е П Е Р Е В О Д Ы

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

*

ОБРАЗЧИК РАЗГОВОРА, 1945

Мне довелось обзавестись компрометирующим тезкой, абсолютным, от имени до фамилии, человеком, ни разу не увиденным мной во плоти, но чью вульгарную личность я сумел обнаружить по случайным вторжениям на территорию моей жизни. Путаница началась в Праге, где я жил в середине двадцатых. Там меня настигло письмо из маленькой библиотеки, очевидно, состоявшей при какой-то белогвардейской организации, которая, подобно мне; перебралась из России. В раздраженных тонах от меня требовали безотлагательно вернуть экземпляр «Протоколов сионских мудрецов». Эта книга, некогда задумчиво одобренная царем, была фальшивкой, состряпанной по поручению тайной полиции полуграмотным мошенником — в целях дальнейшего распространения погромов. Библиотекарь, подписавшийся «Синепузов» (фамилия, действующая на русское воображение так же, как *Winterbottoms* — «Зимнезадов» — на английское), утверждал, что я задерживаю этот, как он выразился, «популярный и ценный труд» больше года. Он ссылаясь на предыдущие требования, посланные мне в Белград, Берлин и Брюссель, столицы, через которые, судя по всему, пролегал маршрут моего двойника.

Я представил себе эдакого молодца белоэмигранта, изначально реакционного типа, чье образование было прервано революцией, успешно восполнявшего потери на традиционных путях. Очевидно, он был большим скитальцем, так же как и я, и это единственное, что нас роднило. Русская дама в Страсбурге интересовалась, не был ли моим братом человек, женившийся на ее племяннице в Льеже. Как-то весенним днем в Ницце девушка с непроницаемым лицом и длинными серьгами в ушах зашла в гостиницу, навела обо мне справку, взглянула на меня, извинилась и вышла. В Париже я получил телеграмму, толчками закливавшую: «*NE VIENS PAS ALPHONSE DE RETOUR SOUPÇONNE SOIS PRUDENT JE T'ADORE ANGOISSEE*»¹, и, признаюсь, испытал некоторое мрачное удовлетворение, представив себе моего легкомысленного двойника, врывающегося с букетом в руках к Альфонсу с его женой. Два года спустя, когда я читал лекции в Цюрихе, меня вдруг арестовали по обвинению в битье *трех* зеркал в ресторане — род триптиха, рисующего моего тезку пьяным (первое зеркало), очень пьяным (второе) и пьяным в стельку (третье). Наконец, в 1938 году французский консул грубо отказал проштамповать мой пожухший, цвета морской зелени нансеновский паспорт по той будто бы причине, что я однажды уже въезжал в страну без визы. В толстом досье, которое пришлось все-таки извлечь, я подсмотрел краешек физиономии моего тезки. Он носил холеные усики и бобрик на голове, ублюдок.

Когда вскоре после этого я переехал в Соединенные Штаты и обосновался в Бостоне, мне казалось, что я стряхнул с себя мою нелепую тень. Но совсем недавно, в прошлом месяце, если быть точным, последовал телефонный звонок.

¹ Не приезжай Альфонс возвращается подозревает будь благоразумен обожаю тревожусь (франц.).

Сверкающим, как валторна, голосом дама представилась миссис Сибиллой Холл, близкой подругой миссис Шарп, посоветовавшей ей в письме *связаться* со мной. Я знал некую миссис Шарп и ни на минуту не усомнился, что как миссис Шарп, так и я можем оказаться не теми. Медноголовая миссис Холл сказала, что в пятницу вечером у нее на квартире состоится небольшой диспут: не приду ли я, поскольку из того, что ей обо мне известно, несомненно следует, что меня очень, очень интересует дискуссия. И хотя меня тошнит от диспутов любого рода, принять приглашение мне подсказала мысль, что, отказавшись от него, я разочарую миссис Шарп, симпатичную старушку с короткой стрижкой, в темно-бордовых брюках, которую я знал на Кейп-Коде, где она делила коттедж с более молодой особой; обе дамы, посредственные левые художницы, имели независимый доход и излучали искреннее дружелюбие.

По досадной случайности, не имеющей ничего общего с предметом настоящего рассказа, я оказался намного позже, чем предполагал, перед многоквартирным домом миссис Холл. Обветшалый лифтер, странно похожий на Рихарда Вагнера, мрачно вознес меня на нужный этаж, и хмурая горничная миссис Холл, с длинными руками, висящими вдоль тела, подождала, пока я сниму пальто и галоши в прихожей. Главным декоративным персонажем была здесь определенного типа ваза с орнаментальным узором, какие изготовлялись в Китае и, возможно, в незапамятные времена, — в данном случае высоченная штуковина нездоровой раскраски — из тех, что неизменно делают меня жутко несчастным.

Миновав кокетливую маленькую комнату, переполненную символами того, что авторы реклам называют изящной жизнью, я был приглашен — теоретически, поскольку горничная отпала, — в большую, самодовольную буржуазную гостиную, и тут мне пришло в голову, что это место такого сорта, где того и гляди тебя представят какому-нибудь старому дураку, отведавшему кремлевской икры, или стоеросовому советскому гражданину, и что милейшая миссис Шарп, по непонятной причине осуждавшая мое презрение к партийным делам, густопсовым большевикам и голосу их хозяина, решила, бедняжка, что такой эксперимент может благотворно повлиять на мой кошунственный ум.

От группы в десять — двенадцать человек отделилась хозяйка — долговязая, плоскогрудая женщина с губной помадой на выпирающих передних зубах. Она быстренько представила меня почетному гостю и всем присутствующим, и дискуссия, прерванная моим появлением, тут же возобновилась. Почетный гость отвечал на вопросы. То был хрупкого вида человек с лоснящимися темными волосами и сверкающим лбом, так ярко освещенный длинным стеблевидным торшером на уровне плеча, что можно было различить блестящие перхоти на воротнике его смокинга и восхититься близкой сложенных замком рук, одну из которых я нашел невероятно безвольной и влажной. Он был из тех мужчин, чей бесхарактерный подбородок, впалые щеки и несчастный кадык обнаруживают в считанные часы после бритья, как только прохудится робкий тальк, сложную систему кровоподтеков под рябью мышины синевы. На пальце у него был перстень, и в какой-то странной связи я вспомнил смуглую русскую девицу в Нью-Йорке, настолько обеспокоенную возможностью существования только в ее воображении, быть принятой за «евреечку», что она имела обыкновение носить крестик на горле, хотя религиозности в ней было не больше, чем мозгов. Его английский был восхитительно гладким, но твердое «*djair*» в слове *Germany*² и упрямо повторяющийся эпитет *wonderful*³, первый слог которого звучал как «wan», выдавал его тевтонское происхождение. Он был, или некогда являлся, или собирался стать профессором немецкого, или музыки, или того и другого где-то на среднем западе, но я не слышал его имени, буду называть его доктор Шуб.

² Германия (англ.).

³ Здесь: великолепный (англ.).

«Разумеется, он сумасшедший! — воскликнул доктор Шуб, отвечая одной из дам. — Согласитесь, только сумасшедший мог проиграть войну, как он. И конечно, я надеюсь, как и вы, что довольно скоро, если только окажется, что он жив, его поместят в безопасный санаторий где-нибудь в нейтральной стране, он заслужил это. Было безумием нападать на Россию вместо того, чтобы завоевать Англию. Было безумием надеяться, что война с Японией помешает Рузвельту энергично участвовать в европейских делах. Худший безумец тот, кто не учитывает возможности чужого безумия».

«Нельзя не думать, — сказала толстушка по имени, кажется, миссис Малбери, — что тысячи наших парней, убитых на Тихом океане, были бы живы, если бы самолеты и танки, отправленные нами в Англию и Россию, использовались, чтобы разгромить Японию».

«Вот именно, — сказал доктор Шуб. — И это тоже ошибки Адольфа Гитлера. Будучи сумасшедшим, он не смог принять в расчет интриги безответственных политиков. Будучи безумцем, он полагал, что другие правительства будут действовать согласно принципам гуманизма и здравомыслия».

«Я всегда думаю о Прометее, — сказала миссис Холл, — похитившем огонь и ослепленном разгневанными богами».

Старая дама в ярко-синем платье, сидевшая в вязаньем в углу, спросила доктора Шуба, почему немцы не восстали против Гитлера.

Доктор Шуб на мгновение опустил веки. «Ответ ужасен, — сказал он с усилием. — Как вы знаете, я немец, чистых баварских кровей, хотя и лояльный гражданин данной страны. И тем не менее собираюсь сказать нечто ужасное о бывших своих соотечественниках. Немцы, — глаза, прикрытые мягкими ресницами, потупились снова, — немцы — мечтатели».

К этому времени до меня уже дошло, что сосватавшая меня миссис Шарп так же, похожа на мою миссис Шарп, как я на своего тезку. Кошмар, в который меня затащили, возможно, умилил бы его, как удавшийся вечер с родственными душами, и доктор Шуб, вероятно, показался бы ему умницей и блестящим говоруном. Робость, а может быть, нездоровое любопытство помешали мне покинуть комнату. Более того, будучи возбужден, я заикаюсь так сильно, что любая попытка с моей стороны сказать доктору Шубу, что я думаю о нем, прозвучала бы как раскаты мотоцикла, отказывающегося завестись промозглой ночью в разбухшем им переулке. Я огляделся, пытаюсь убедить себя, что это настоящие люди, а не кукольное представление.

Среди женщин не было ни одной миловидной; все приближались или перевалили за сорок пять. Все несомненно принадлежали к книжным клубам, бридж-клубам, клубам болтовни — к несметному и холодному братству неминуемой смерти. Все выглядели жизнерадостно-бесплодными. Возможно, у некоторых были дети, но как они произвели их на свет, теперь представлялось забытой тайной; многие нашли замену животворящей энергии в различных эстетических увлечениях, таких, как украшение комитетских помещений. Глядя на одну из них, рядом сидевшую, рельефно выделявшуюся даму с веснушчатой шеей, я знал, что, урывками слушая доктора Шуба, она, по всей вероятности, размышляла о каком-то декоративном фрагменте, имеющем отношение к некоему общественному мероприятию или церемонии военного времени, точную природу которых я не мог определить. Но понимал, как важен для нее этот заключительный штрих. «Что-нибудь посредине стола, — думала она. — Что-нибудь, чтобы люди ахнули, может быть, большую, громадную, колоссальную вазу с искусственными фруктами. Не из воска, разумеется. Что-нибудь грациозное, под мрамор».

Досадно, что я не запомнил имен этих дам, когда меня им представляли. Две по-девически стройные, взаимозаменяемые дамы на твердых стульях носили имена на W, одну из прочих, безусловно, звали мисс Биссинг. Это я слышал отчетливо, но не мог позднее связать с каким-либо лицом или человекоподобным предметом. Кроме меня и доктора Шуба

там был только один мужчина. Он оказался моим соотечественником — полковник Маликов, не то Мельников; в передаче миссис Холл это прозвучало скорее как Милуоки. Пока предлагали какие-то бледные безалкогольные напитки, он наклонился ко мне с кожаным скрипом, как будто носил сбрую под потрепанным синим костюмом, и повелел мне хриплым русским шепотком, что имел честь знать моего почтенного дядюшку, которого я тут же вообразил как краснощекое, но горькое яблоко на генеалогическом древе моего тезки. Доктор Шуб тем временем вновь обратился к своему красноречию, и полковник выпрямился, обнажив сломанный желтый клык в своей отступающей улыбке, посредством тактичных жестов обещая мне, что мы славно потолкуем чуть позднее.

«Трагедия Германии, — говорил доктор Шуб, тщательно складывая бумажную салфетку, которой он вытер тонкие губы, — также и трагедия интеллектуальной Америки. Я выступал в многочисленных женских клубах и других гуманитарных центрах и заметил, как глубоко эта европейская война, теперь благополучно закончившаяся, отвратительна утонченным и чувствительным душам. Я также заметил, как охотно культурные американцы возвращаются к воспоминаниям о счастливых днях путешествий за границей, к какому-нибудь незабываемому месяцу или еще более незабываемому году, проведенному некогда в стране искусства, музыки, философии и здорового юмора. Они вспоминают дорогих друзей, обретенных там, сезон обучения и благоденствия в лоне семьи немецкого аристократа, безукоризненную чистоту во всем, песни на закате великолепного дня, прелестные маленькие города, всю ту ауру благожелательной романтики, найденную ими в Мюнхене или Дрездене».

«Моего Дрездена больше нет, — сказала миссис Малбери, — наши бомбы уничтожили его и все, что с ним связано».

«Британские, в данном конкретном случае, — сказал мягко доктор Шуб. — Конечно, война есть война, хотя, признаюсь, трудновато представить немецкие бомбардировщики, преднамеренно выбирающие какую-либо мемориальную историческую достопримечательность в Пенсильвании или Вирджинии — в качестве мишени. Да, война ужасна. Точнее, становится нестерпимо страшной, когда навязана двум нациям, имеющим так много общего. Вам покажется парадоксальным, но, в самом деле, согласитесь: когда думаешь о солдатах, убитых в Европе, говоришь себе, что по крайней мере они избавлены от разъедающих сомнений, которые мы, гражданские лица, не смеем высказать вслух».

«Я думаю, это очень верно», — подтвердила миссис Холл, медленно кивая головой.

«А как насчет тех публикаций? — спросила старая дама с вязаньем в руках. — Публикаций о немецких зверствах в наших газетах? Полагаю, все это по большей части пропаганда».

Доктор Шуб ответил усталой улыбкой. «Я ждал этого вопроса, — сказал он с ноткой печали в голосе. — К сожалению, пропаганда, преувеличения, фальшивые фотоснимки и тому подобное являются инструментом современной войны. Я не очень бы удивился, если бы узнал, что немцы, например, распространяют слухи о жестокости американских войск по отношению к невинным гражданским лицам. Вспомните все небылицы о так называемых немецких зверствах во время первой мировой войны, эти дикие легенды о соблазнении бельгийских женщин и так далее. Так вот, сразу же после войны, летом, если не ошибаюсь, тысяча девятьсот двадцатого, специальная комиссия немецких демократов тщательно расследовала это дело, а мы знаем, как педантичны и дотошны могут быть немецкие эксперты. Так вот, они не нашли и малой толики доказательств того, что немцы не вели себя как настоящие солдаты и джентльмены».

Одна из двух мисс дабл'ю кротко заметила, что иностранные корреспонденты должны зарабатывать на жизнь. Замечание показалось остроумным. Все оценили его ироническую подоплеку.

«С другой стороны, — продолжил доктор Шуб, когда рябь улеглась, — давайте на минуту забудем пропаганду и вернемся к скучным фактам. Позвольте нарисовать маленькую картину из прошлого, довольно грустную маленькую картину, но, возможно, необходимую. Представьте немецких парней, гордо входящих в какой-нибудь польский или русский город, завоеванный ими. Маршируя, они пели. Они не знали, что их фюрер сумасшедший, они невинно верили, что приносят надежду, счастье и великолепный порядок сдавшемуся городу. Откуда им было знать, что последующие ошибки и фантазии Адольфа Гитлера сведут на нет их завоевания, а противник устроит адское поле битвы из тех самых городов, которым, как думали эти немецкие парни, они подарили вечный мир. Bravo маршируя по улицам во всем своем блеске, с великолепной военной техникой, под знаменами, они улыбались всем и вся, по-детски благодущны и благожелательны. Затем постепенно они осознали, что улицы, по которым они так задорно, так уверенно маршировали, окаймлены безмолвной и неподвижной толпой евреев, взиравших на них с ненавистью и оскорблявших каждого проходящего солдата — не словами: они были слишком умны для этого, но взглядами исподлобья и плохо скрытой насмешкой».

«Знаю я эти взгляды», — сказала миссис Холл мрачно.

«Но они не знали, — печально сказал доктор Шуб. — Вот в чем дело. Они были озадачены. Не понимали и были уязвлены. Какова же была их реакция? Сначала пытались побороть эту ненависть терпеливыми разъяснениями и маленькими знаками доброты. Но стена ненависти, обступившая их, становилась только толще. В конце концов пришлось изолировать главарей злобной и дерзкой коалиции. Что еще им оставалось делать?»

«Я случайно знаю старого русского еврея, — сказала миссис Малбери. — Ну, просто деловой знакомый мистера Малбери. Он признался мне однажды, что с радостью задушил бы своими руками первого встречного немецкого солдата. Я была так поражена, что растерялась и не знала, что ответить».

«Я бы знала, — сказала коренастая дама, сидевшая широко расставив колени. — И вообще, слишком много разговоров о том, чтобы наказать немцев. Они тоже люди. Любой разумный человек согласится с вами, что они неповинны в так называемых зверствах, большая часть которых была, возможно, выдумана евреями. Меня выводит из себя, когда я слышу, что люди все еще толкуют о газовых и пыточных камерах, которые если и существовали, то обслуживались горсткой людей таких же невменяемых, как Гитлер».

«Так вот, следует учесть, — сказал доктор Шуб со своей кошмарной улыбкой, — и принять во внимание работу живого семитского воображения, которое воздействует на американскую прессу. Нельзя также забывать, что существовало множество чисто санитарных мероприятий, к которым вынуждена была прибегнуть дисциплинированная немецкая армия, имея дело с трупами стариков, умерших в полевых лагерях, и жертвами тифозных эпидемий. Я настолько свободен от каких-либо расовых предрассудков, что не понимаю, каким образом эта допотопная расовая проблематика определяет отношение, усвоенное к Германии сейчас, когда она капитулировала. И в особенности вспоминаю, как англичане обращаются с туземным населением в своих колониях».

«Или как евреи-большевики поступили с русским народом — ай-я-яй», — вставил полковник Мельников.

«Неужели это актуально еще и сегодня?» — спросила миссис Холл.

«Нет-нет, — испугался полковник, — великий русский народ проснулся, и моя страна — опять великая держава. У нас было три великих самодержца. У нас был Иван, которого враги прозвали Грозным, у нас был Петр Великий, и теперь у нас Иосиф Сталин. Я белый офицер и служил в царской гвардии, но я также русский патриот и православный христианин. Сегодня в каждом слове, долетающем из России, я чувствую мощь, чувствую величие нашей матушки России. Она опять страна солдат, оплот ре-

лигии и настоящих славян. Также мне известно, что, когда Красная Армия входила в немецкие города, ни один волос не упал с немецких плеч».

«Головы», — сказала миссис Холл.

«Да, — исправился полковник. — Ни одной головы с их плеч».

«Мы все восхищаемся вашими соотечественниками, — сказала миссис Малбери. — Но как быть с коммунистической угрозой для Германии?»

«Позволю себе заметить, — сказал доктор Шуб, — что, если мы не проявим осторожности, не будет и Германии. Главная задача, стоящая перед Соединенными Штатами, — не дать победителям поработить немецкую нацию и отправить молодых и здоровых, а также хромых и старых — интеллектуалов и обывателей — работать, как преступников, на бескрайних восточных территориях. Все это — в нарушение принципов демократии и войны. И если вы мне скажете, что немцы делали то же самое с побежденными народами, я вам напомню о трех обстоятельствах: первое — это то, что немецкое государство не было демократическим и от него не следовало ждать соответствующей практики, во-вторых, большая часть, если не все так называемые «рабы», принимали рабство по доброй воле, и в-третьих — и это самое важное, — их хорошо кормили, одевали и помещали в цивилизованное окружение, которое, несмотря на все наше естественное преклонение перед колоссальными размерами и населением России, немцы вряд ли найдут в Стране Советов.

Точно так же не стоит забывать, — продолжал доктор Шуб с драматическим подъемом, — что нацизм был не германской, а инородной организацией, притесняющей немецкий народ. Адольф Гитлер был австрийцем, Лей — евреем, Розенберг — полуфранцуз-полутатарин. Немецкая нация пострадала под этим негерманским игом не меньше, чем другие европейские народы — от последствий войны, развязанной на их земле. Мирным гражданам, которые бывали не только изувечены и убиты, но и чье дорогостоящее имущество и великолепные дома истреблялись бомбами, едва ли важно, кем сброшены эти бомбы — немецким или союзническим самолетом. Немцы, австрийцы, итальянцы, румыны, греки и все остальные народы Европы теперь члены одного трагического братства, все равны в нищете и надежде, все заслужили одинаковое обращение, и давайте предоставим право найти и осудить виноватых будущим историкам, непредвзятым старым ученым из безмятежных университетов Гейдельберга, Бонна, Йены, Лейпцига, Мюнхена — бессмертных центров европейской культуры. Дайте фениксу Европы расправить свои орлиные крылья, и да благословит Господь Америку».

Воцарилась почтительная пауза, и пока доктор Шуб дрожащими пальцами зажигал сигарету, миссис Холл, молитвенно сложив ладони, кокетливым девичьим жестом попросила его увенчать вечер какой-нибудь подходящей к случаю музыкой. Он вздохнул, поднялся, проходя, наступил мне на ногу, в знак извинения коснулся моего колена кончиками пальцев, сел за рояль, наклонил голову и оставался неподвижным в течение нескольких осязаемо-тихих секунд. Затем медленно и очень осторожно он положил сигарету в пепельницу, перенес пепельницу с рояля в услужливые руки миссис Холл и снова склонил голову. Наконец сказал с прочувствованной заминкой: «Прежде всего я сыграю „Усыпанный звездами флаг“⁴».

Чувствуя, что этого мне не вынести, ощутив физическую дурноту, я поднялся и поспешно покинул комнату. Пока я приближался к стенному шкафу, куда, как я видел, горничная поместила мою верхнюю одежду, миссис Холл настигла меня вместе с порывом отдаленной музыки.

«Вам надо уходить? — говорила она. — Вы действительно так торопитесь?»

Я нашел пальто, уронил деревянные плечики и влез в свои галоши.

⁴ Государственный гимн США. (Примеч. ред.)

«Вы либо убийцы, либо идиоты, — сказал я, — или и то и другое а этот тип — грязный немецкий агент».

Как уже было сказано, в критические моменты я подвержен сильному заиканию, и поэтому фраза не получилась такой гладкой, как на бумаге. Но она сработала. Прежде чем миссис Холл собралась с мыслями, я хлопнул дверью и понес свое пальто вниз по лестнице, как выносят ребенка из горящего дома. Я был уже на улице, когда заметил, что шляпа, которую я собирался надеть, мне не принадлежала.

То была изрядно поношенная серая шляпа, темнее моей и с более узкими полями. Она предназначалась для другой головы, меньшего размера. Внутри нее была этикетка «Werner Bros. Chicago», подкладка пахла чужим лосьоном и щеткой для волос. Шляпа не могла принадлежать полковнику, который был лыс, как бильярдный шар, и я догадывался, что муж миссис Холл либо умер, либо держал свои шляпы в другом месте. Нести в руке этот предмет было отвратительно, но ночь выдалась дождливой и холодной, и я использовал его в качестве рудиментарного зонта. Придя домой, я сел за письмо в ФБР, но слишком далеко не продвинулся. Моя неспособность расслышать и запомнить фамилии обесценивала информацию, которую я пытался сообщить, и, поскольку полагалось объяснить мое присутствие на диспуте, пришлось бы упомянуть множество туманных и подозрительных подробностей, связанных с моим тезкой, и хуже всего то, что дело принимало гротескный вид, похожий на сон, когда зарывалось в детали, в то время как все, что мне было известно, сводилось к некоему господину с неизвестным адресом на среднем западе, без имени, говорившем с симпатией о немцах в компании безмозглых старух в частном доме. Действительно, судя по той же симпатии, непрерывно прорывающейся в статьях некоторых популярных публицистов, все дело, как я понимаю, могло оказаться совершенно законным.

Утром следующего дня я открыл дверь на звонок — там стоял доктор Шуб, в плаще, с непокрытой головой, с осторожной полуулыбкой на сизо-румянном лице, молчаливо предлагая мне шляпу. Я взял ее, бормоча слова благодарности. Он принял их за приглашение войти. Я не мог вспомнить, куда засунул его шляпу, и лихорадочные поиски, предпринятые мной более или менее в его присутствии, вскоре стали смехотворными.

«Послушайте, я вышлю... я пошлю... я перешлю вам шляпу, когда найду ее... или чек».

«Но я уезжаю в полдень, — сказал он мягко, — и кроме того, мне бы хотелось услышать от вас объяснение странной реплики, адресованной вами моему дорожному другу миссис Холл».

Он терпеливо слушал, пока я старался сказать ему так гладко, как только могу, что полиция... что власти... ей это растолкуют.

«Вы ошибаетесь, — сказал он наконец. — Миссис Холл известная светская дама, у нее обширные связи в официальных кругах. Слава богу, мы живем в великой стране, где каждый может высказать свои мысли, не опасаясь быть оскорбленным за выражение частного мнения».

Я попросил его убраться.

Когда моя скороговорка иссякла, он сказал: «Я ухожу, но имейте в виду, что в этой стране...» — и он покачал передо мной указательным пальцем из стороны в сторону, на немецкий манер, с насмешливой укоризной.

Пока я соображал, куда его ударить, он выскользнул наружу. Меня колотила дрожь. Моя нерасторопность, которая временами развлекала меня и даже нравилась своей утонченностью, теперь казалась мне чудовишной и низкой.

И тут мой взгляд уперся в шляпу доктора Шуба на куче старых журналов под телефонным столиком в прихожей. Я бросился к окну, распахнул его и, как только доктор Шуб вышел из парадной на улицу, метнул шляпу в его направлении с четвертого этажа. Она описала параболу и блином приземлилась посередине мостовой. Но тут же сделала сальто, пролетела

над лужей в нескольких дюймах от нее и улеглась, зияя, изнанкой кверху. Доктор Шуб не поднимая головы помахал рукой, словно в знак признательности, подхватил свою шляпу, убедился, что она не слишком пострадала, надел ее и зашагал прочь, бодро виляя бедрами. Меня всегда занимало, каким образом худой немец ухитряется выглядеть таким упитанным сзади, будучи в плаще.

Остается сказать, что неделю спустя я получил письмо, своеобразный русский язык которого едва ли может быть оценен в переводе:

«Милостивый государь, Вы преследовали меня всю жизнь. Добрые мои друзья после прочтения Ваших книг отвернулись от меня, думая, что я автор этих развратных декадентских писаний. В 1941-м и опять в 1943-м я был арестован во Франции немцами за то, чего никогда говорить не говорил и думать не думал. А тут в Америке, мало Вам разного рода неприятностей, причиненных мне в других странах, Вы совсем обнаглели и, притворившись мной, появляетесь нализавшись в доме столь уважаемого человека. Этого я не потерплю. Я мог бы Вас засадить куда следует и заклеить как самозванца, но, думаю, Вам это не придется по вкусу, поэтому предлагаю в порядке возмещения убытков...»

Сумма, которую он запрашивал, ей-богу, была самой скромной.

Перевел с английского Дмитрий Чекалов.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

АРИАДНА ЭФРОН



«НАШ СЕВЕР МАНИТ НАС... — ЗЛА НЕ ПОМНЯЩИХ»

Был июль 1965 года. На десятилетие отстоял он от дня кончины Ариадны Сергеевны Эфрон (26 июня 1975 года), и столько же прошло со дня ее освобождения: летом 1955 года она вернулась наконец в Москву после шестнадцати тюремно-лагерно-ссылных лет. Вернулась из Туруханска, куда в 1949-м была сослана на вечное поселение.

По неисповедимому душевному движению она захотела отметить эту «круглую» дату и еще раз увидеть Туруханск на Енисее, где прожила без малого шесть лет вместе с приятельницей, Адой Александровной Шкодиной. Решила она, что и мне будет нелишне посмотреть сибирские просторы, так ее восхищавшие, невзирая ни на что; в письмах она себя называла «закаленной сибирячкой». И еще ей захотелось таким образом отметить выход в свет первого большого сборника Марины Цветаевой («Избранные произведения». М.—Л. 1965. Большая серия «Библиотеки поэта»), который мы с нею готовили более двух лет.

Итак, были куплены три билета на поезд до Красноярска; оттуда нам предстояло плыть по Енисею на пароходе «Александр Матросов» до Диксона. Ариадна Сергеевна с нетерпением ждала нашего путешествия. «Нынешним летом только и погреться что на Диксоне!» — писала она.

...Наступил день отплытия — 24 июля. С того момента (а точнее — с 23 июля) Ариадна Сергеевна почти ежедневно заносит в тетрадь путевые зарисовки, а также записи, публикуемые ниже. Они словно бы завершают замечательные туруханские письма Ариадны Эфрон Борису Пастернаку 1949 — 1955 годов¹.

Втром 24 июля отправились в путь. Боже, какое было наслаждение, ... когда не остывший и за ночную стоянку теплоход двинулся — и пошел; сразу ветерок и прохлада; долго тянулся Красноярск — если не сам, то бесконечные пригороды, современные, дымящие производственными дымами, сливавшимися с горными туманами; острова, мысы; потом все городское постепенно истаивало, и вот уже — как не бывало дела рук человеческих; река, небо, отражающееся в ней, да берега: высокий правый, низкий левый...

<...> Пассажиры — всякие; много красноярцев и вообще сибиряков, к<отор>ым приелись местные красоты и хотелось бы повеселиться и отдохнуть в иных условиях; для них запускается радио на полную мощность, организуется самодеятельность и праздник Нептуна при переходе Полярного круга; их много, они скучают и вскоре начнут роптать на «первоклассных» престарелых интеллигентов, к<отор>ых и кормят-то в 1-ю очередь, к<отор>ые и держатся-то обособленно и с неким препротивным оттенком высокомерия — в лучшем случае снисходительности —

Публикация и подготовка текста, вступительное слово и заключение АННЫ СААКЯНЦ. Печатается по фотокопии, полученной после смерти А. С. Эфрон от А. А. Шкодиной и Е. Б. Коркиной. Оригинал хранится в РГАЛИ.

¹ См. в кн.: Эфрон Ариадна. О Марине Цветаевой. М. «Советский писатель». 1989.

по отношению к «простым советским человекам». Это, очевидно, невытравимо; многие из пожилых «интеллигентов», несомненно, бывшие «спецпоселенцы», общавшиеся с «простыми» не один год. Впрочем, м<ожет> б<ыть>, насильственность общения и усугубляет утлые наши «антагонизмы».

День был хорош; на носу и по палубам гулял ветер; светило солнце; кабы не радио и не малограмотная «культурница», с запинками и неправильным произношением читавшая (вещавшая) по 30 раз в день одни и те же отрывки из путеводителя, то было бы и вовсе хорошо. Но мы все трое очень устали от интенсивного рассматривания Красноярска, Дивногорска, ГЭС, от жары и от душной ночи и с Енисеем и его берегами осваивались медленно; ахали, ахали, но еще не очень проникались. Это всё так громадно, так широко, так высоко, так ни с чем привычным не схоже, что надо хоть немного сжиться, свыкнуться. Свыклись было — и вдруг Казачинские пороги; теплоход умеряет бег; справа — скалистый берег, слева — станок Казачинский, родина лодманов, когда-то переводивших суда очень узким извилистым фарватером. Вечереет, пасмурновато, свет как бы не с неба, а ниоткуда или отовсюду, рассеянный. Появляются большие и малые темные камни — обточенные водой или острые, вокруг них завивается вода; вьется и плещется она бурно и наперекор быстрому и спокойно-устремленному течению Енисея над скрытыми страшными невидимыми скалами; между ними узкий и извилистый ручеек фарватера — такой узкий, что встречное движение здесь запрещено. Возле домика бакенщика на длинном белом шесте вывешены красные и черные знаки, показывающие, занят или свободен путь. У прохода через пороги — очередь судов, все грузовые, и все ждут встречного. Разворачиваемся, становимся в очередь и мы, и когда прекращается лязганье якорной цепи и ход машины — тишина, неподвижность и сразу легкая духота и сильный запах хвои и воды.

Всё — вне: времени (часа), времени (века), движения; как бы в подвешенном состоянии, только вода несется ниоткуда и в никуда. Ждем, и трудно угадать, долго ли. Странно и страшновато от сознания, что справа и слева — речные рифы и на дне — кладбище вспоротых или старых кораблей. Но вот невидимым коридором, условно ограниченным навигационными знаками, идет неторопливо, как бы ощупывая под собой воду, грузовой катерикшко с баржей; следя за ним, там, у конца порогов, серый катер береговой охраны медленно маневрирует между красным и белым буйками. Знаки на белой мачте у домика бакенщика меняются местами — путь свободен; опять повисают в воздухе кажущиеся очень значительными слова команды — корабельная каббалистика, хриплый и такой *домашний* голос капитана; *когда* это? Сейчас, сегодня, или 300 лет тому назад, или все это уже *завтра*? Удивительное и чисто российское чувство вневременности, и дело тут не в «чертах нового» или — старого. На этом все наши сказки заквашены — ковры-самолеты, скатерти-самобранки, жар-птицы.

Едем все дальше на Север, и все северееет природа, постепенно, как перламутр, переливается из одной краски, из одного оттенка — в другой, все время оставаясь одним и тем же веществом, неуловимо меняющим вид и качество.

Спали уже лучше, в каютах — прохладнее; в 12 ночи встала посмотреть Енисейск, у пристани которого простояли полчаса. Ничего видно не было, кроме редких огоньков на острове, к<отор>ый я, во время стоянки десятилетней давности, пыталась зарисовать. Енисейская пристань спала; спал и наш пароход, и в коридоре, фанерованном дорогами сортами дерева, на серо-розовом гэдээровском ковре спал обязательный пьяный, непринужденно и живописно раскинувшись, потеряв туфлю. Теплоход наш стоял как декорация, ярко-белый, ярко освещенный в глухом мраке влажной теплой ночи.

25 июля очень жаркий, прелестно-солнечный, тихий день; даже на носу чувствовалось, что ветер спал и веял только воздух, потревоженный теплоходом. Не верилось, что идем на Север, такая теплынь. Но небо постепенно становилось выше и прозрачнее, чем привычное нам над средней полосой, а воздух все сильнее и невыразимее насыщался запахом хвои — церковным, торжественным. Самое сильное впечатление дня — остановка в Ворогове, стариннейшем сибирском селе, основанном в начале 17 века; уже почти белая ночь, хоть солнце и закатилось, но светло несравненным северным ночным светом. На очень высоком плоскогорье с песчаным, галечным спуском к Енисею необычайное село, по реке вытянувшееся рядом двухэтажных бревенчатых (бревна — огромные, шоколадного цвета) изб, окна только в верхнем этаже, нижний — глухой; там хозяйственные помещения, хлевушки темные, пространство между избами перекрыто изгрызенными временем плахами — получают громадные сени или крытые двory. Нигде, ни в России, ни в самой Сибири, не видывала такого. Задворки домов — хаос деревянный — клетушки, пристройки, как деревянные опенки. Всё кажется таким *древним*, что теряешься среди минувших столетий, плутаешь меж ними, как меж этими улицами. Собаки еще не лайки, но уже с лаинкой; ласковые, не брешут на прохожих. Люди (о них надо бы прежде собак!) по внешнему виду (и в этом перламутровом освещении) тоже неведомо какого столетия; через разлатую улицу с беспорядочно наставленными коричневыми предковскими домами-домовинами, с мостками и какими-то похожими на днища лодок настилами, со слюдяными лужами, точно ледяными, — наискосок бредет с посошком черная скитская старушечья фигурка...

26 июля дождливый холодный день; ожидание Туруханска; десятиго-дичного напряжения ожидание².

27 июля — Игарка, половину которой пропустила, т<ак> к<ак> в тот самый момент, что она появилась на горизонте, меня опять скрутила таинственная «поджелудочная» боль, вместе с которой спряталась в каюте, наглотавшись всяких болеутоляющих. Потом отпустило немного, и я попыталась из окна каюты коряво, бездарно и неумело вот этой самой ручкой набросать на блокноте кусочек порта: но что и ручка, и рука перед этой картиной!

Путаница — нарядная путаница мачт, труб, подъемных механизмов — гибких и прямых, четких и строгих линий корпусов судов; несказанное сочетание красок и запахов; смятенный плеск волн в узком заливе; волны — не речные, а морские, множество отдельных конических (конусообразных) беспорядочных всплесков; бесшумная музыка движений: лебе-док, подъемных кранов, маневров — и шумы: тархтенье катеров и мото-рок, снующих от одного близкого берега к другому, от одного близкого судна к другому, вскрики гудков. Над всем — незакатное северное небо с его баснословной чистой высотой и многослойностью облаков: верхние — объемные, округлые, белые, медлительные, почти неподвижные, важные; нижние — постоянно меняющиеся, сизые, синие, то ли дождь несущие, то ли просто так мятущиеся по воле ветра.

Суда — великолепные современные лесовозы, наши, экспортлесовские. Иностранных судов больше нет; говорят, что очень уж невыгодны были нам их визиты, необходимость оплачивать валютой неизбежные и неизживаемые простои. — Никогда в жизни не видывала таких нарядных и красивых грузовозов; а повидать их пришлось немало, и морских, и океанских (и речных — хотя бы на том же Енисее в свое время). Суда

² Запись на этом обрывается. В Туруханске теплоход сделал остановку на обратном пути. (Здесь и далее примеч. публикатора.)

носят поэтичнейшие и мелодичнейшие, протяжные названия русских рек; среди них только «Свирь» звучит как мальчишечий свист!

Сама Игарка расположена по левому берегу бухты. Конечно, вид города волнует, как вид любого селения на берегу громадной реки; не то что селения, а просто жилища — палатки, чума, избушки бакенщика. Но от внешнего вида городка, чье имя волновало еще в детстве, мы, праздничношатающиеся, ожидали большего. А увидели — я по крайней мере — обшарпанные «городского типа» дома на двух центральных улицах (буквой «Т») и множество хибар и домишек деревянных; не в том дело, что «городские» или деревянные, а в том общем впечатлении беспорядка, неухоженности, равнодушия обитателей к жилью. Словно живут там сплошь человеческие «перекати-поле». Много пьяных. В магазинах, как водится на Севере, «всё есть». «Всё есть» и у людей, живущих в Игарке, кроме, очевидно, чувства, что это — *их* город. Впрочем, говорю о небольшой его части, той, что успела увидеть вблизи от пристани; есть и продолжение его, т<ак> к<ак> ходят автобусы туда, вглубь. Пристань красива, и трогает заполярный «газон» и клумбы с анютками и астрами; кто-то любит в Игарке цветы и заботится о них, выращивает; это трогает, конечно; но одними пристанскими анютками не перекроешь российского ленивого беспорядка и равнодушия к временному, не своему, «договорному», «на срок», городку. Жаль. А впечатление от самого порта опять-таки фантастическое. Если бы люди умели блюсти свое земное жилище, как моряки — свои корабли! Корабль — чувство долга, и отсюда его красота.

28 июля 1965 очень ранний подъем — 5 ч., но я, конечно, просыпаюсь еще раньше; сухомятный завтрак, к<отор>ый почти весь берем с собой — и правильно делаем! В 6 ч. — Дудинка — призрачный для нас, спящий город на высоком берегу; сходим через здание плавучей пристани, оттуда — по длинным сходим, оттуда — по громадному днищу перевернутой громадной барки; по помостам наискосок через мешанину портовых непонятностей и мерзлотной почвы — к высокому, высоко стоящему капитальному зданию пристани. Оттуда, опять же по высоким мосткам-тротуарам, вдоль хорошо утрамбованного каменноугольными отходами шоссе, мимо очень высоких кирпичных голых или оштукатуренных зданий, непривычно плоских, без выступающих частей, — к железнодорожному вокзалу. Здесь, т<о> е<сть> в Дудинке, впервые вижу каменные дома на каменных сваях, вбитых в вечную мерзлоту; таким образом, первые этажи куда выше над землей, чем у нас; нет фундаментов, пространство между полами первых этажей и землей постоянно вентилируется; для того, чтобы тепло от зданий не размораживало почву, иначе весь город «поплыл» бы. С первого взгляда казалось бы — город как город и дома как дома, но — то, да не то. Как если бы на другой планете вздумали бы подражать земному градостроительству. Под мостками нет-нет да проглянет жуткое болотное «окошечко»... Город — на болоте, болото — на мерзлоте, а впрочем, всё «как у людей» и еще лучше; великолепно организованный пятачок человеческих жилищ — на голом, мертвом месте. Ж<елезно>-д<орожный> вокзал самой северной в стране дороги. Вагоны, составы с грузами; всё, кроме грузов, — старое, попадают вагоны моего детства, как пассажирские («в зеленых плакали и пели»), так и грузовые — «40 человек и 8 лошадей». Нам отведено 3 вагона; перронов нет, из вагонов спускают деревянные лесенки об одно перило; размещаемся свободно, а разместившись — очень долго ждем; норильская ж<елезная> д<орога> не любит гонять старые свои паровозики только праздничношатающихся ради; наши вагончики долго маневрируют, паровичок то толкает их, то везет; наконец нас приспособляют к грузовому составу, и мы трогаемся. Протяженность дороги — что-то около 100 (с лишним) километров, протяженность во времени — около 3 часов (не считая 30-ти лет со дня рождения норильского комбината и самой дороги). Итак, едем в Норильск. За

окнами — пейзаж, с нашей точки зрения, невероятный — тундра! То, что мы видим, не мертвые безжизненные пространства, а как бы первый макет земли: всё есть, и всё в миниатюре, карликовое — карликовые березы, ивы; морошка ростом с березу; моря размером с озеро; озера ростом с лужицу; реки в виде ручьев; макеты гор³.

30 июля 1965. Очень ранним утром — смятенное небо, смятенная вода, порывистый ветер, даже подобие качки; Енисейский залив; гладкие, вылизанные и обкатанные ветрами острова, левый берег давно исчез; правый — призрачен; в девятом часу утра по местному времени появляются очертания острова и полуострова Диксон и туманные силуэты кораблей. Это оказывается легендарный ледокол «Красин», тот самый, что спасал челюскинцев! Потом — современный ледокол «Капитан Воронин» и один из линкоров, охраняющих остров и вообще этот район. Полуостров — порт Диксон — справа; скалистые гранитные берега; аккуратные светлые двухэтажные — продолговатые, как водится на Севере, — здания; причал в форме буквы «Г» — на нем два огромных подъемных крана. Небольшой — километра в 4, пролив, и налево — остров Диксон: метеослужба и аэродром. Очевидно — нечто засекреченное, т<ак> к<ак> под тем или иным предлогом туристов — за исключением особо избранных — туда не пускают: то причал сломан, то вода в проливчике неспокойная, то ожидается туман; впрочем, и это — правда.

Остров Диксон! Одно из тех магических названий, от к<отор>ых в памяти сердца встают образы сверхчеловеков — первооткрывателей северных морей, великих одиночек — трагические обледеневшие призраки. Жалки по сравнению с их суденышками и собачьими упряжками наши «белоснежные комфортабельные теплоходы» и мы сами — обыватели на прогулке, ворчащие на невкусные обеды и неловких официанток. Остров Диксон, край земли, край подвига, край Долга, перед к<отор>ым все мы — в долгу!

Сходим на причал, разбиваемся на группы, у каждой — свой гид. Нам «достается» молодой геолог — или гидролог — уже забыла, Юрий, по случаю прибытия туристов с Большой земли одетый в свой самый городской костюм, с вязаной шапочкой на голове. Холодно, ветер; все мы закутаны во что только можно, — ему ничего, он привык. Тут же на причале он подробно рассказывает нам о том, как у Диксона был потоплен во время войны немецкий линкор «Шеер», какие наши суда где находились тогда — да и не только наши; у Диксона стоял и американский транспорт с продовольствием. Одно из судов сумело устроить дымовую завесу и тем частично обезопасить остров, полуостров и пролив, замаскировать огневые точки. «Шеер» успел произвести некоторые разрушения прежде, чем встретил отпор, к<оторо>го не ожидал. Он был потоплен с двух попаданий. Оборону острова успели организовать благодаря «Сибирякову», атакованному немцами в другом районе; гибнущий корабль предупредил диксонцев об ожидавшей их опасности. Большинство «сибиряковцев» погибли, часть попала в плен, лишь один моряк добрался до Диксона невредимым; впоследствии он плывал на одном из трех «капитанов», вплоть до 1962 г. (Три ледокола, новых, носящих имена трех знаменитых наших северных капитанов.) Занятно, что Юрий, рассказывая о прошлом Диксона, о его первооткрывателях, тотчас помянул «Двух капитанов» Каверина и потом не раз к Каверину возвращался. Вообще же

³ Запись, по-видимому, не завершена. Эта дорога — от Дудинки до Норильска, построенная на костях заключенных, — непреложно вызывала в памяти некрасовские строки:

Прямо дороженька: насыпи узкие,
 Столбики, рельсы, мосты.
 А по бокам-то всё косточки русские...
 Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

Говорили ли мы тогда об этом? Не помню.

экскурсовод нам достался с ярко выраженным историческим уклоном и везде, где бы ни останавливался, долго, со знанием дела, но не очень красноречиво рассказывал нам о давних экспедициях; оно бы хорошо, но время пребывания на Диксоне было ограниченным и так долго беседовать о том, о чем можно прочесть не только у Каверина, не стоило.

Порт Диксон 7 сент<ября> 1965 будет праздновать свое 50-летие. Стоит он на гранитных скалах, почва, их покрывающая, — болотистая, как и вся тундра, оттаивает не больше чем на 40 см. Среднегодовая t° — -11 , максимальная — $+28,5^{\circ}$, минимальная — около -50° (последнее, по-моему, неточно, т<ак> к<ак> в Туруханске бывали морозы посильнее). Но, конечно, в этих широтах (между 73 и 74 параллелью) t° множится на скорость ветра, к<отор>ый слишком часто бывает ураганным. Если какое-нибудь Ворогово — шаг в прошлое, Норильск — скачок в будущее, Воронцово — экскурсия в отсталый и отстающий на<иональный> колхоз, то Диксон — путешествие в Вечность. Это воистину Край Земли: эта гранитная скала, омываемая последними «материковыми» струями Енисея, растворившегося в соленой праматери — воде; тяжелый плеск морского прибоя об утесы; эта необъятность неба, на каждой из 4-х сторон которого — другая погода: сразу и солнце, и грозовые, и снежные, и легкие летние облака; ветер, охватывающий тебя сразу и с севера, и с юга, и с запада, и с востока; вся роза ветров в действии!

Постояли у памятника Тессему, единственному спасшемуся со шхуны «Мод»⁴, умершему за какой-то километр от спасения вот на этом месте, на этой скале; совсем рядом, рукой подать, мерцали огоньки тогдашней зимовки. Теперь тут стоит столб — бывший крест, потерявший перекладину, и воздвигнут памятник — кусок скалы на скале, якорь, якорная цепь.

Так же, как и во всех полярных городах и цивилизованных поселках, — всюду высокие мостки-помостки, замена тротуарам. Под ними — болотная жижица. Такие мостки ведут и к могиле норвежца. К самому морю спускаются камни, чуть прикрытые землей и буквально заросшие зеленью и цветами. Невероятно! 74 параллель! Цветы: на коротких крепких ножках лиловые, пышные, немного напоминают репейный цвет, но не то; на длинных изящных стеблях маленькие, лимонного цвета, маки, размером с тарусскую анемону; *незабудки!* настоящие, как на Большой земле, только на коротком стебельке; вот уж не похожи на северные — цветы! А оказались более выносливыми, чем иван-чай и ромашки, встречавшиеся нам в р<айо>не Дудинки — Норильска. Еще какие-то белянькие простенькие, каких много у нас: длинный жесткий стебелек, продолговатый, разделенный на 6 расширяющихся кверху лепестков цветочек — семена красненькие, размером с маковые, расположены в гнездах вдоль всего стебля; еще желтые, более насыщенного цвета, вроде лютиков, но лепестки более продолговатые, чем у тех, и внутри россыпь мельчайших красных крапинок. Много разновидностей мха — и весь цветет, всяк по-своему. Еще красивые, с сочными стеблями и округлыми листочками растения, плотность и сочность, как у кактусовых или столетника, цветет плотной округлой шапочкой вишнево-кирпичного оттенка. Немного «пушков», похожих на миниатюрные растения хлопка, плотнее наших одуванчиков и цветет широкой кисточкой. Избитое выражение «ковёр цветов» тут вполне уместно, т<ак> к<ак> весь зеленый покров — густ и

⁴ Ариадна Сергеевна допускает здесь неточность. Тессем был одним из десяти участников экспедиции Амундсена на судне «Мод», в 1918 — 1920 годах изучавшей северо-восточный маршрут вдоль берегов Евразии (позднее названный Северным морским путем). В сентябре 1919 года два члена команды отправились с полуострова Таймыр к Диксону, чтобы сообщить о результатах исследований. Один из них погиб в пути, другой, Тессем, почти добрался до цели; он был найден мертвым в километре от поселка и гидрометеостанции на Диксоне. Герою тяжелейшего арктического перехода на месте его гибели поставлен памятник. Остальные восемь членов команды «Мод», продолжавшие продвигаться к востоку, остались живы и выполнили задачу экспедиции.

ворсист, и ворс этот — короткий, редкие отдельные травинки-метелочки да гибкие стебельки желтых маков возвышаются над ним. Да, еще забыла щавель! Цветет; как у нас, но листочки круглые.

Побывали мы у памятника Бегичеву, который, оказывается, умер только в 1927 г. Дочь его, медсестра, работает в Норильске. Да и вообще имена многих полярных следопытов современны нам — моему поколению — а кажется — 100 лет назад... Скульптура мне не понравилась, каменная глыба, воздвигнутая в память норвежца, куда более «впечатляет». Прямолинейному искусственному искусству здесь не место. Такие просторы — моря, неба, такую суровость может покорить только талант, равный мужественному таланту покорителей этих широт. Это, верно, центральное место поселка; против памятника — высоченный помост, к которому ведут две лесенки — подъем и спуск, что-то вроде трибуны для торжественных дат? забыла спросить. Туристы долго снимались вокруг да около. Наш гид оказался слишком молод и длинноног для своей паствы; пожилые, укутанные не поспевали за его аллюром; он бодро скакал с камня на камень, с мостка на мосток, что-то бормоча на ходу ближайшему окружению, остальные рассыпались и растягивались; группа оказалась недружная, одних тянуло к магазинам, других — скорее к морю, исторические реминисценции на остановках были интересны только самым старым и самым запыхавшимся, а они-то как раз и отставали. Побывали мы в парткабинете, таком же, как наш Туруханский, с такими же призывами, монтажами и портретами и с такими же коврами и портьерами. Постояли около больницы — двухэтажной, с пристройкой; нижний этаж — амбулатория, верхний — стационар на 60 кроватей; пристройка — инфекционное отделение. Приветливая женщина-врач, хирург, давала объяснения и отвечала на немудрящие вопросы: болезни — те же, что на «материке»; их, т.е. случаев заболеваний, относительно немного, инфекционные заболевания переносятся гораздо легче, чем на Большой земле. Эпидемий гриппа не бывает — только единичные случаи. Полярные ночь и день вызывают у некоторых, соответственно особенностям их нервной системы, депрессию или возбужденное состояние, но, в общем, специфические условия Крайнего Севера зимовщиками переносятся хорошо и удовлетворительно. В частности, хорошо переносят их дети, рождаемость большая, смертность низкая; летом большинство детей вывозят в поселок Таежный около Красноярска. (Мы его проезжали, дети приветствовали нас криками: «При-вет Но-риль-ску», «И-гар-ке» — и т. д. и: «При-вет ка-пи-та-ну!») Рожденные на Диксоне дети лучше и быстрее приспосабливаются к местным условиям, чем привезенные; с цингой покончено.

Отсевшись от гида, не поспев за очередным его рывком, мы побрели на берег, на ту часть его, которая опускается непосредственно к Карскому морю. Распогодилось изумительно, жарко стало — невероятно! такая теплынь на краю земли, на том самом «повороте Земли», у того самого Пясинского залива, в 20 километрах от кромки льдов! Берега спускаются полого, всё тот же ковер густого кудрявого мха, настоящей зеленой, сочной травы (кстати, совершенно отсутствовавшей в районе Дудинки — Норильска), вовсе не бледных цветов — ковер, по-тундровому пружинящий под ногами и кое-где выжимающий из себя болотную влагу. Тишина, помноженная на пространство, помноженная на даль. Над морем пологость обрывается резкой каменистой отрывистостью; геометрической формы острорезбистые утесы, обтесанные ветром кубы черного и красного гранита; внизу — округлые крупные камни, со скрежетом переваливаемые прибоем. Справа — Пясинский залив Карского моря, слева — Енисейский залив, по берегу ловко курсирует севернейшее стадо коров (кажется, холмогорки? белые с черными пятнами, как у нас в Туруханске) и одна громадная породистая коровища, белая с рыжим, с волнистыми складками под шеей и сверхъестественным выменем. Летом каждый из обитателей порта может купить до 3-х литров молока еже-

дневно; зимой получают дети и больные по спискам. — Все экскурсанты бегут смотреть пойманную накануне рыбаками живую белуху, промысел белух — на корм собакам и песцам со звероферм — здесь, говорят, развита. Мы с Аней, отягощенной двумя аппаратами и снимающей то то, то это, опаздываем к демонстрации белухи, и не жалеем: жалко белухи, хоть она и для собак. Время пролетает нестерпимо быстро — и десяти часов пребывания на острове, обещанных путевкой, было бы недостаточно, а их, часов, оказывается всего около 3 — 4; еле успеваем в какой-то минутной передышке спокойно оглядеться и почти не успеваем душой осознать, где мы; присев на плоском камне, обнаруживаем на нем... коробку с зефиром, кем-то забытую; принимаем ее за сувенир, дарованный богами Карского моря, и уносим с собой; последняя часть экскурсии для нас — сплошной галоп по острым камням — задворками острова; очень жарко, еще более — досада этот бег. Первый гудок теплохода, а мы — бог знает где и дороги не знаем, по камням и болоту попадаем на заброшенное кладбище — покосившиеся остатки пресловутых деревянных «обелисков»; на одном успеваю прочесть что-то вроде: «Ты боролся за освобождение страны от фашистов, клянусь тебе довершить твоё дело», очевидно, кладбище военного времени, неогороженное, абсолютно заброшенное, рядом со свалкой... Население острова, как говорили нам, — в основном москвичи и ленинградцы. Стыдно им должно быть; но, увы, не только мертвые, но и живые русские люди «сраму не имут». Защитники острова в Великую Отечественную войну! те самые, о к<отор>ых так патетически рассказывал нам ленинградец Юрий, комсомолец, наш добровольный гид, едва только ступили мы на диксоновский дебаркадер.

Наконец попадаем на какие-то мостки, зигзагообразной линией ведущие в направлении пристани; на задах острова — немислимые, постыдные в этих климатических условиях жилища — полутемные конуры, слепленные из чего попало, обшитые толем; не только о мертвецах, но и обо многих живых плохо заботятся на острове. Куда ни сунься в Заполярье — один разговор: о больших ставках, надбавках, льготах и т. д.; неужели в краю великих трудов, не меньших морозов и двойных-тройных заработков нельзя в первую очередь упорядочить человеческое жильё?

Проходили мы мимо строительства арбалитовых домов: арбалитовые плиты из смеси стружки, цемента и извести; говорят — прочно, хорошая теплоизоляция и сравнительно экономично; на вопрос об обеспеченности населения жильём отвечали уклончиво: строители жильём обеспечены, а, мол, кабы все жители были обеспечены им, то строителям нечего делать было бы.

Арбалитовый дом, к<отор>ый мы видели, возведен до 3-го эт<ажа> (нижний, как всюду в Заполярье, на цементных сваях). Строительство — «образцово-показательное», экспериментальное; квартиры в нем будут двухэтажные — внизу кухня и комната, наверху еще 2 комнаты и душ. Начали постройку 3 мес<яца> назад. При нас работали — у цементного корыта — три пожилые женщины. На вопрос о зарплате одна сказала, что получает как разнорабочая 50 р. (или 55) основной ставки и по коэф<фициенту> 1 к 6 — надбавку. Другая, помоложе, в прошлом мес<яце> заработала около 200 р. По стройучастку бродил ленивый толстый кот, все бросились смотреть «заполярного» кота...

До теплохода добрались взмыленные — с цветами, камнями, ф<ото>аппаратами, в кофтах, пальто, плащах; на дебаркадере собрались все наши гиды — много женщин; над ними возвышался на две головы наш долговязый Юрий. Очень грустно было смотреть, как отдаляется дебаркадер с машущими нам фигурами; туристы оделили своих гидов букетами норильских ромашек и иван-чая; до сих пор стоит перед глазами маленькая группа людей с цветами, так сердечно прощающаяся с гостями с Большой земли... С теплохода летят норильские значки, слова приветов и благодарности; фигурки машут платками, цветами, кричат: «Не забывайте нас!» Под хриплые звуки марша отбываем, и вот уже перед глазами

невнятица подъемных кранов, антенн, домиков, кораблей, скал; идем вдоль острова, но не огибаем его; говорят, с Карского моря надвигается туман; что до нас, то мы видели лишь ясную погоду, но — начальство виднее, что погода, а что — непогода. Проходим совсем вблизи «Красина», и я просто вцепляюсь в него глазами: это — один из героев нашего детства, нашей юности, это — спаситель челюскинцев, это просто — часть души, причем — лучшая! та, где доблесть, долг, мужество; пусть только «отраженные»... Пожалуй, встреча с «Красиным» была главной для меня *человеческой* встречей за все путешествие!

Коренастый, угрюмый, ненарядный, черный с песочным; приземистый, как утюг, не «военный», не «штатский» — рабочий. На рыжей трубе — красная полоса. Бугорчатая броня. Мы ему махали, но редкие фигуры на его борту и не обернулись в нашу сторону. Мы ведь не терпели бедствия, не были затерты льдами, не нуждались в помощи. Нет дела леодоколу до едущих с юга на юг.

31 июля — Усть-Порт; самая неприветливая из стоянок; грязное, во все стороны разбросанное беспорядочно, как после землетрясения, сельцо. Тоже на высоком бугре, но высоты — никакой. Рыбзавод, говорят, единственный в стране, сохраняющий рыбу в вечной мерзлоте. Ни рыбы, ни мерзлоты мы не увидели; директор, маленький дерганый человек, встретил нас довольно-таки грубо; грубость его вызвала резкие реплики и даже, Бог мой, угрозы со стороны некоторых туристов; обещали куда-то жаловаться; в Норильске, мол, сам секретарь райкома перед нами шапку ломал, мы, мол, «на вас напишем»... А директор: «Там, в Норильске, аж три секретаря» — вроде того, что делать им не черта. Кончилось всё довольно мирно: цеха разделки и засолки рыбы нам показали, всё там было пусто и чисто — и чаны, и бочки, и цементный пол; разобъяснили немудрящий «процесс» и выпроводили, так и не показав мерзлотной камеры, где действительно сохраняется предварительно замороженная рыба. Ну и Бог с ней, и с камерой, и с рыбой. У входа в цех стояла испитая, измученная пожилая женщина и смотрела на нас, праздных, темно, исподлобья. Она, верно, была бы рада, если бы директор, вместо того чтобы давать нам пояснения, до к<отор>ых никому из нас, по существу, не было ни малейшего дела, отmaterил бы нас как следует да еще и палкой отлупил. Мы покружились по поселку, к<отор>ый, казалось, торопился нас вытолкать вон всеми локтями и коленями своих косых домов и изпод низу пинал корявыми мостками. Люди попадались навстречу всё какие-то свирепые; пьяные глыбы — мужики в резиновых сапогах по самую задницу; шаги твердокаменные и неверные; женщины — заезженные клячи или дородные хамки в обтягивающих телеса ярких, но задрипаных платьях; что ни шаг, то помойка, свалка; черная жидкая земля буквально усеяна битыми «поллитрами» и гробами бывших закусок — консервными банками; на пороге перекошенной, как рожа, избенки, в темном зеве двери — три детских фигурки: девочка в платке, кофте, изпод кофты — юбочка, из-под нее — рубашонка, из-под рубашонки — шароварцы, из них тоненькие ножки-пестики в ступах-сапогах; двое мальчишек в доисторических картузах, оттягивающих уши; бледные немые личики, разинутые рты. За избенкой — овраг, в овраге — снег, по ту сторону оврага — тундра; на соседнем бугре — выветренное, истаявшее кладбище. «Памятники» клонятся все в одну сторону, сопротивляясь ветру, одолеваемые им.

Страшно, должно быть, жить в Усть-Порту: самодур «хозяин», выколачивающий план, — царек, божок, тиран; холод, темень, ветер; бабы работают изо дня в день, мужики пьют, одна рыба тихо живет себе в таинственной «вечной мерзлоте»; рыба плохонькая — сарожка да сельдюшка в основном; осетры да стерлядка испаряются, не доходя до «потребителя»...

Бродили по захламленному берегу, по черной гальке, под сивыми тучами, похожими на грызущихся собак; из этих собак вскоре грянул стра-

шенный косой дождь, избивший и промочивший нас, несмотря на плащи; в обувь нам налилось, как в плоски; потом на пароходе долго отмывались, оттирались, переодевались, сохли.

31 июля 1965 «зеленая остановка» на песчаном, еще заполярном берегу. Спускают шлюпки; сперва садятся в них «индивидуальные рыбаки», за ними — все желающие, наш Саакянц тоже, — мы с Адой остаемся на борту не столько по трусости перед шлюпками, сколько из-за плохого настроения по поводу смерти нашего «сторожа» Мих<аила> Сем<еновича> и беспризорности домика и Шушки; полученная от Гаррика лаконичная телеграмма не успокаивает⁵. Стоим на палубе, смотрим на далекую, еле различимую группу настоящих местных рыбаков на песчаной косе, на наших «индивидуальных», пристроившихся на другой косе и тоже еле различимых, на отдыхающих, разбредшихся кто куда; играют в волейбол, пытаются загорать и даже купаются; одна пассажирка, с грубым лицом и телом, отлично плавает... Стоянка — 3 часа; к обеду все собираются «дома»; Аня, конечно, приплетается последняя, уже к 3 гудку; кто-то возвращается с рыбой, кто-то — с цветами. Один старый и весьма интеллигентный еврей поймал порядочного осетра на спиннинг и чуть не помер от радости и удивления; потом выкрикали по радио фотографа, чтобы запечатлеть эту удивительную картину: тихий еврей добыл осетра «на гвоздь и вьюнка». Антисемиты и завистники твердили исподтишка, что осетр куплен у рыбаков; неправда: такое удивление, такое нервное потрясение и предынфарктное состояние были начертаны на горбоносом лице с выпуклыми глазами и очками...

2 августа. С 1-го на 2-е августа почти совсем не спали — просто не могли уснуть, — утром должен был показаться Туруханск, а до него, ночью, в 1 ч. 30 м. по местному времени, — Курейка. Последний, наверное, в жизни шанс увидеть пятачок, откуда «вождь и отец» отправился в поход против «ведомых» и «детей». В том числе и против нас, оставивших в этих и прочих местах столь и не столь отдаленные годы и годы жизни; другие же — и самую жизнь. Пытались уснуть и не могли; умылись, разделались, легли и опять встали и отдернули занавески; за окнами — ни день, ни ночь, всё видно и всё неясно. То же и в сердце, и в голове. В 1 ч. 20 на низком берегу, среди смутных очертаний деревьев появились сперва почти от них неотличимые очертания вытянутой в струнку деревушки; правый крайний дом — непривычной для этих краев кубической формы и гораздо выше остальных. Крыша кажется плоской; при таком освещении и на таком расстоянии не видно, конечно, ни окон, ни дверей; в середине строения мерцает как бы голубоватый туманный отсвет. Что это? Тот ли самый стеклянный павильон, во времена «культы» воздвигнутый над сталинской избушкой, или какая-то новая постройка, не возведенная еще под крышу? И существует ли еще этот павильон? Никто ничего не смог нам сказать. Вполне естественно, если уж и самого Сталина как не бывало... Ада смотрит во все глаза, я — во все очки; медленно-медленно проплывает в сизом море этого часа сизый призрачный легендарного станка, откуда почти полвека тому назад уезжал в армию невысокий рябой человек, опрокинувший судьбы страны и мира. И наши. «Видишь? видишь?» — спрашиваем мы друг друга и — видим и не видим.

Потом опять маята и бессонница и разговор об одном из сталинских посмертных подарков — чувстве человеческой отчужденности, чувстве

⁵ Уезжая из Тарусы, Ариадна Сергеевна поручила сторожить домик некоему Михаилу Семеновичу. Тот (кажется, прямо в доме) скоропостижно скончался. Гаррик (сын скульптора П. И. Бондаренко и художницы Т. Л. Бондаренко, живших на даче неподалеку) в тот несчастный день услышал настойчивое мяуканье и увидел прибежавшую кошку Ариадны Сергеевны — Шушку. Не переставая мяукать, она всем видом показывала, что он должен следовать за ней, — и привела его в дом...

почти незнакомом (или знакомом лишь избранным) в досталинские времена. Сталин, среди прочего, научил людей не доверять и не доверяться и отучил их от искусства общения. Вот и на теплоходе образовались небольшие группки и кланы — не общающиеся взаимно сосуды. О недавних бдительности и недоверчивости уж и думать забыли, тем не менее инерция — осталась. Так во многом; потом задремали всё же, но я в 6 утра уже была на ногах, принимала пираменн и переодевалась в кобеднишнее платье, когда-то подаренное Адой, — синее с белыми горохами (писала, писала и заснула как убитая). И Ада проснулась очень рано. Перед свиданием с Туруханском мы обе ни места себе не находили, ни покоя. Просили (накануне) удлинить стоянку (вообще надоел вечный галоп на стоянках и начальник маршрута, знавший только один маршрут — к магазинам или в какие-то укромные места, где торгуют тайно рыбой). На еще спящем теплоходе мы метались от борта к борту, боясь пропустить, хотя знали время прибытия. Когда показалась Селиваниха, разбудили Аню. После Селиванихи бесконечно долго (*comme un jour sans pain*⁶) тянулся, жилы нам вытягивая, длинный мыс; наконец за ним блеснули бензобаки, прочертились мачты антенн, в дымке очень ясного, на наше счастье, утра — ряд еще, в отдалении, карликовых построек, растянувшихся по хребту берега. Наши ели (высокие ели у больницы, под которой когда-то стоял, притулившись к склону, наш домик) издалека видны. Различаем спуск, аэропорт (он в глубине, но виден поселок и антенны), рыбзаводские домики, потом пробел и дальше, продолжая прямую линию, домá самого Туруханска с когда-то замыкавшими его ориентирами наших слей слева (глядя с реки) и справа — зданием монастыря, превращенного в склад. Теперь видно, как влево и вправо от «ориентиров» растянулся и распространился наш городок — много новых домов, к<отор>ых при нас не было.

Появляется громадная наша отмель из серой гальки, расстилавшаяся столько лет перед глазами, отмель, по которой столько было хожено зимой и летом за водой и с водой; ведра быстро обледеневали; бывало, сходишь два-три раза подряд — и живой воды в ведрах чуть-чуть плещется в ледяных лунках. По побережью много леса — в штабелях и так; видна большая плавучая пристань. Теплоход тихо-тихо пересекает линию водораздела, из Енисея входит в Тунгуску, остров Монастырский остается по правому борту... Сходим вниз, и нет терпения дожидаться, когда спустят трап; кажется, никогда так долго не прилаживался теплоход тютелька в тютельку к пристани, и кажется, всё это назло нашему нетерпению. Мы с Аней первыми прорываемся на берег, и Аня успевает снять Аду, ступающую на туруханскую землю. Забыла сказать: на пристани стояла маленькая бледная женщина с помятым личиком — мне показалось, что это — Юлия Касьяновна Пьяных, дочь нашего бывшего зав. отд<елом> культуры, с честью носившего свою фамилию. Пройдя сколько-то по скрежещущей гальке и мокрому плотному песку (в наше время песка на берегу вовсе не было — одни камни), поднимаемся по лесенке; раньше возле нее был шит с призывом посещать дома-музеи Свердлова и Спандаряна, верных соратников Ленина и Сталина. Теперь его нет. Нет и хаоса нависших над побережьем темных жалких лачуг на курьих ножках; то была целая полоса хаоса, полоса отчуждения, немецкое гетто своего рода; всё жили там немцы-ссылные, пока не собрались с силами и не продвинулись внутрь городка, построив новые жилища покрепче. Теперь стоят аккуратные построечки, и не очень тесно. Выходим на знакомую пристанскую улицу; тут ничего не изменилось — стоит почерневшее здание банка, а налево — всё тот же угловой магазин; он еще на замке, но собаки, как и 10 — 15 лет тому назад, уже дежурят возле: м<ожет> б<ыть>, кто из будущих покупателей бросит довесочек хлеба. Милые громадные

⁶ как голодный день (франц.).

широкогрудые ездовые псы, лайки и метисы, добрые, трудовые, не кусачие, всегда голодные, точь-в-точь такие, как при нас, — такие, но не те... На углу — новое для меня, но уже далеко не молодое на вид здание клуба; когда-то мы работали на его строительстве, окончания к<оторо>го я не дождалась. Туристы сворачивают к музею, а мы — налево, мимо бывшего моего клуба, на месте которого большая, приветливая, я бы сказала даже — красивая и совсем не казенного вида школа-одиннадцатилетка, мимо такого знакомого нам приземистого и почерневшего здания бывшего отделения МГБ; теперь на нем мирная синяя милицейская вывеска и вид самый захолустный; дальше по мостику — и вот она, больница и подростый ряд молодых елей и наши старые, еще при нас достигшие предела своей высоты и поэтому такие же, как тогда. Вот крылечко амбулатории, куда наша Пальма всех женихов приводила, когда Ада работала в больнице. Сломанная ветром еловая <ветвь> лежит, вся усеянная молодыми смолистыми шишками; беру несколько на память; да, на мостике Ада вдруг встречает своего бывшего начальника Костылева, здоровается, и он столбенеет и несколько секунд не может вспомнить имя, потом бормочет: «Ада Александровна, Ада Александровна! Вот встреча... вот встреча...» Мы с Аней оставляем их, и уж потом — больница, еловая ветвь. Подходим к краю, с которого — спуск к нашему бывшему жилищу. Такой знакомый, такой свой уголок, свой островок, и тут всё изменилось. Кормановский дом, тогда совсем новенький, покосился и вплотную приник к обрыву, «угору»; но вот знакомая физиономия: рыжий Джек, кормановский пес, постаревший на 10 лет, — но насколько же собачья старость пригляднее человеческой и менее заметна, чем у тех же зданий... На месте нашего домика — новый, побольше, посолидней, но так же приткнулся к «угору» и так же, как наш, крыт толем. Огород, землю для которого мы когда-то наносили ведрами на песок и гальку, цветет картофельными бледными цветами; вместо нашей одной любимой Пальмочки — два довольно безличных пса-метиса; на месте нашего сарая — новый; живет на нашем месте, видно, не прежний наш сосед Федя, а кто-то куда более хозяйственный и прочно пустивший корни; свидетельствуют о том и хорошо сложенная, ладно побеленная кирпичная летняя печь-плита во дворике, и состояние самого дворика, ровного, утрамбованного, подметенного с утра, и весь огородный и дворовый инвентарь, и дрова, напыленные, наколотые, сложенные в штабеля. Так же всегда аккуратно и прибрано было и у нас, только хозяйство наше было куда маломощнее и все же какое-то «транзитное». И тем не менее цвели у нас ноготки и выюнки, и всё было милее и наряднее, чем у нынешних хозяев, — счастливой и безмятежной им жизни на этом берегу!

Когда я по деревянному подобию трапа, положенному по прямой вертикали на угор (при нас шла тропка, пологая, наискосок), поднимаюсь наверх и гляжу на навечно впечатавшийся в сердце вид — серая, далеко-далеко вдающаяся в реку отмель, синяя вода Тунгуски, остров, бурая полоска водораздела, за ней серебристая, отличающаяся от тунгусской, резко блестящая на солнце вода Ёнисея, — у меня становится легко на душе; я физически ощущаю эту легкость, это громадное *облегчение* оттого, что вот я стою, десять лет спустя, на этой высоте и вижу Туруханск; так, оказывается, мне это *нужно* было. Почему? сама не знаю и никогда не узнаю. И опять же, непонятно почему было и откуда взялось ощущение ясности и покоя, хотя на остановку в Туруханске отпущено было всего два жалких часа, и мы так же там бегали высуня язык, как и по Диксону, как везде и всюду. День был ясный и легкий, погода, как российской весной. Накануне, по-видимому, прошел сильный дождь, м<ожет> б<ыть>, даже ураган — валялись сломанные ветки, даже целые молодые деревца и еще не просохла земля. Это были единственные следы мимолетного беспорядка, всё прочее поразило — особенно после Усть-Порта — устойчивостью и чистотой. Уехали ссыльные, улетучилась атмосфера «транзитки», перевалочной базы, хуже — полустанка между

жизнью и смертью. Тот Туруханск висел на волоске; этот — врос в землю всеми своими фундаментами и корнями деревьев. Городок озеленен; во всех палисадниках и вдоль центральных улиц — березы, лиственницы, ели; некоторые из них, жалкие хлыстики, сажали мы лет 12 тому назад...

Прошли мы по дороге на аэропорт до поворота, вернулись теми же мостками мимо окончательно покосившегося домика, где жила Елиз<авета> Васильевна, ее жуткий муж и парализованная мать; ни одной кошки в окрестностях — значит, нет и Ел<изаветы> Вас<ильевны>. Опять мимо новой школы и нового клуба, мимо черного полицейского здания; жилой дом, где обитали эмгебешники, снесен; из-за образовавшегося простора милиция кажется еще меньше и незначительнее; символично.

У большого углового магазина с дежурящими собаками сворачиваем к домику-музею Свердлова; я... забыла дорогу, спрашиваем, как пройти. Потом, конечно, узнаю, но многие ориентиры изменились. Домик такой же; привезенная при мне статуя Свердлова, к<отор>ую я когда-то покрывала алюминиевым порошком на ацетоне, блестит наглым блеском, но все же он несколько приглушается молодой листвой молодых разросшихся деревьев; сама изба разве чуть постарела, и это ей идет: в наше время ее чуть ли не каждый год красили и подновляли и она казалась не доверенной. Хранитель музея, женщина с, как мне показалось, неприятным лицом, рассказывает что-то вытверженное наизусть группе туристов, а мы проскальзываем внутрь домика, где тихо и прохладно и по-домашнему чисто. Все экспонаты давно знакомы и лежат на тех же местах: и книги Свердлова (сразу видишь, что когда-то революционеры читали и стихи — на столе старенький томик Гейне), и керосиновая лампа-семи-линейка, и медный чайник без крышки; в углу — деревянная кровать, у стола — деревянное креслице. Во второй комнате — Спандарян; много фотографий, бюст — на этот раз покрытый не алюминием, а бронзой; и тут из угла выплывает женская фигурка в желтом платье и незаметно жмет мне руку и потом тихо следует за мной, тихо меня касаясь, — это Эмма, немка Эмма, когда-то служившая уборщицей в клубе; муж у нее был русский, какой-то прораб, пьяница; ездила она с ним в Ермаково на строительство «мертвой дороги»; вернулась оттуда еще при нас, когда дорогу «законсервировали».

Было у них двое детей, тогда совсем маленьких. Теперь узнаём, что муж бросил ее, уехал, вслед его отъезду и ему самому она устало махнула рукой: «Ну его... без него спокойней; живу хорошо»... Про сестру ее Тамару не успела спросить; хотела вернуться, когда уйдут экскурсанты, и поговорить наедине, но не удалось, не хватило времени.

От Свердлова пошли к Спандаряну, совсем одни; тоже пришлось спросить дорогу, хотя направление помнила, но и тут изменились ориентиры; снесли угловой домик, вернее — избу, а освободившееся пространство засадили березами; они хорошо разрослись, а под ними — высокая свежая трава. Очень удивилась, убедившись, что музей ликвидировали; на старой избушке — только памятная доска, и перед ней — все тот же бюст на том же постаменте, а в помещении — детская библиотека; как она там угнездилась — непонятно; внутрь не заходим; а когда вошли в ограду, увидели очень древнюю старушку, верно, сверстницу и избы, и самого Спандаряна, тихо сидевшую на скамеечке у входа; она разрешила нам войти в ограду, а сама вползла в маленькую дверь домика, как ящерица.

Из спандаряновской ограды отправились мы налево, к «Беседе», к монастырю, в сторону «Нового поселка», первого места, где жили по приезду. По дороге всё узнаем — мало что изменилось. Забегаю в прод<овольственный> магазин — чисто, просторно; много продуктов, лучше, чем в таких же магазинах центральной полосы; «универмаг», где когда-то работала Моника Беранд, закрыт (понедельник!), так же как и созданный при мне магазин культтоваров. А дальше сами ноги несут — быстро-быстро — к «Новому поселку»; там та же мешанина домиков, но

домики не те, не так выглядят; уже не времянки, а прочные жилища на прочную жизнь. Резкий спуск вниз — и так же копаются рабочие над и под неподдающимся «земляным мостом», только тогда рабочими были мы сами; Ада вспоминает, как Роза Фишер не выходила на воскресники и все на нее злились. По деревянному мостику перемахиваем через овраг — каньон и — резко вверх; еще поворот — и удар в сердце: избушка бабки Зубарихи, наша первая «квартира»; от нее осталась лишь половина, кухню поглотил новый оштукатуренный дом. Боже мой, как можно было жить, зимовать в этой крохотной лачуге? Бабка строила ее собственными руками; окошки — в ладошку; наличники когда-то делал Сашка-столяр по моей просьбе. Сашка, здоровый молодой парень, шофер, попавший по пьянке в беду; лагерь, ссылка, потом умер от инфаркта на лесозаготовках. Наличники и сейчас целы. Решаем и перерешаем — заходить ли к Наташе Силкиной, бабкиной дочери, но решать нечего, ноги сами несут и ведут в Наташин дом, большой, солидный, разлзтый, Гриша всё пристраивал его на большую семью — четыре сына, две дочери. Кружим, никак не найдем вход в ограду: где жерди, где колья; соседка указывает калитку, и вот мы уже на крыльце: «Можно?» — «Заходите, заходите!» — «Почему никто не встречает?» — спрашиваю я, и выбегает Наташа, худенькая, как и тогда, постаревшая... «Боже ты мой, Галина Сергеевна, Ада Александровна...» Узнаем, что Борька женат, двое детей; Витька работает механиком; Наташка учится в Красноярске; Генка, наш Геночка, бабушкин внучок, в армии; Юлька пошла в магазин за хлебом. Никого из ребят не застали мы дома, а как хотелось взглянуть на Генку! Ну, м<ожет> б<ыть>, и к лучшему, так прочнее останется он в памяти тем волшебным ласковым мальчиком, нашим праздником и утешением... А Гриша? Гриша Силкин — беспутный ленинградец, «вольный», когда-то по пьянке застрявший в Туруханске, женившийся на дочке ссыльной, раскулаченной бабки, каждый год порывавшийся съездить в Ленинград и пропивавший «отпускные»? «Гриша бросил семью и уехал тому пять лет — женился на молоденькой и уехал — Бог с ним, без него лучше, легче», — и Наташа, так же как только что Эмма, машет рукой; дети помогают ей; дом выглядит чудесно; порядок образцовый, видно — живут хорошо, прочно, спокойно. Пора уходить — прощаемся, целуемся, Наташа всплакивает, порывается чайком угостить, но некогда, некогда, уже бежим в обратный путь; еще сворачиваем к монастырю, чтобы взглянуть с «Беседы» на Тунгуску и Енисей и «монастырский» остров; когда-то мы, только что приехавшие и еще не устроенные, сидели на этой вершинке, над холодной необъятностью двух рек и наших двух ссыльных жизней; мне было всё равно, Аде — нет...

Костылев вышел к пароходу проводить Аду; стоит на берегу и поглядывает, — сколько народу провожало нас тогда! никого не осталось, и слава Богу! И Костылев, теперь пенсионер, на днях уезжает — почему-то в Камышин, хотя сам он совсем из других краев. Отчаливаем; теперь уж, наверное, навсегда. Я везу с собой камень, камень с туруханского берега, камень в виде сердца, сердце-камень, — пусть его положат мне в гроб, когда я умру, пусть похоронят вместе со мной сердце-камень с туруханского берега.

Потом ждем Мироедиху⁷. Скалы, скалы, отвесы, вдоль которых ехала я на лодочке; они были так близко, что можно было коснуться рукой, а

⁷ В Мироедиху Ариадна Сергеевна ездила в 1951 году на уборку овощей. Она пробыла там месяц и вывезла оттуда еще большее восхищение красотой Сибири. Деревня стояла на скалистом берегу, окруженная тайгой, каждое дерево которой, по словам А. С., — «совершенство». Жила в большой бывшей купеческой избе (она была видна, когда мы проезжали мимо); вечерами слушала диковинные рассказы старух — одной из них, бывшей купчихе, раньше и принадлежала часть дома. А позже написала очерк «Мироедиха».

под лодкой — такая ужасающая глубина! Осенью все лиственные деревья по верху берега пламенели невероятными закатными красками, а узкие высокие ели казались совсем черными, и это было как свадьба деревьев, громадный молчаливый праздник. Мироедиха. Большая заезжая изба пуста, зияют выбитые окна, проемы дверей; ближайших, примыкавших к ней избушек нет — нет и огромного сарая-амбара, стоявшего еще с царских времен. Нет и белой церковки, в которой лежали рыбацьи снасти, а на плащанице сушились сети; не видно кладбища со староверским крестом, где под белым голубком спал основатель Мироедихи, сосланный «за религию» больше ста лет назад купец Гавриленко; оно захвачено <тайгой?>, вновь наступившей на этот, раскорчеванный человеческими руками кусочек земли. Кудрявые кусты — авангард тайги — захватили наши поля, с <отор>ых убирали мы уже под мороз картошку и турнепс. Справа торчат две-три почерневшие маленькие избушки без окон, без дверей; за ними лиловеет иван-чай. Пусто; мертво; обе бабки — Гавриленчиха и та, другая, из «веселого дома», — наверное, давно умерли; верно, умер и «комшомолец». А где Шура рыжая, полька, две девочки, Шурины «кустарщина-самодельщина», где все «гречки», где все дети, коровы, собаки, лодки, весь скарб, где Гавриленчихины иконы в человеческий рост, бездарного енисейского письма? Где венские стулья, лампы-десятилинейки с бронзовыми резервуарами, порыжевшие фотографии купцов в сборчатых сапогах и туземных сакуях, жестянки — рекламы жуковского табака и кузнецовского чая? И кто помнит теперь, что в этой «засезжей» останавливался призванный в армию Сталин, которому сердобольная купецкая сноха напекла пирогов в дорогу — бедненькому, несчастненькому, как Бог велел? Ничего, никого. Всё — кончено.

На этом путевой дневник Ариадны Сергеевны кончается. «Собственно, это была не поездка, а своего рода паломничество», — писала она своей знакомой по Бутыркам Е. Н. Москаленко. И ей же, незадолго до кончины, 9 марта 1975 года: «Конечно, наш Север манит нас и манить будет — нас, зла не помнящих, а только добро, великое добро и великую красоту природы — да и некоторых людей, встреченных нами в ту пору. Теперь, по прошествии времени, видишь, какой элитой человеческой мы были окружены в нашей эвакуации. Не говоря уж о том, что в лихую годину людям (не всем, конечно!) свойственно становиться элитой; сами обстоятельства требуют от человека выбора между высотой и низостью, а третьего не дано. «Третье» наступает потом!»



ПУБЛИЦИСТИКА

А. ПАНАРИН

*

ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ...*

Отшумели торжества по случаю пятидесятилетия Победы.

Как характерно для нынешнего состояния нашего общества, что происходили они в столице в двух местах: традиционном — на Красной площади, и новом — на Поклонной горе. Две Москвы, две России отметили свой праздник. Одна — «со слезами на глазах», ибо никогда, пожалуй, за всю историю государства Российского не ощущался столь резкий контраст между возвышенной торжественностью юбилея и национальной униженностью, связанной с настоящим положением страны. Другая — официальная — использовала праздник как повод для самооправдания и самовозвышения. Проблема в том, продолжим ли мы образовавшийся раскол, объединит ли нас память о Победе как нетленной общенациональной ценности — залогом сохранившегося самоуважения страны, ее достоинства, ее веры в будущее, в свое историческое призвание?

Не случайно атака некоторых обличителей отечественной истории ведется и в этом направлении. Даже Великую Отечественную войну хотят представить очередным историческим недоразумением: незадачливый народ защищал тоталитарное государство себе же во вред.

Приводятся и другие аргументы: мол, не Гитлер, а Сталин спровоцировал войну, он готовил нападение на Германию, и Гитлеру ничего иного не оставалось, как нанести мощный опережающий удар. Словом, речь идет о развенчании патриотического чувства как такового: не только сегодня, но и тогда, в 1941-м, оно якобы являлось всего лишь свидетельством дремучей невежественности народа, не ведающего собственных интересов, отлученного от ценностей современной цивилизации.

Я не думаю, что в подобной «парадигме» мышления проявляется осознанная компрадорская позиция. Здесь сказывается определенная традиция радикального прогрессизма.

Известная часть российской интеллигенции издавна связывала себя не столько с Россией, сколько с идеологией прогресса (в очередной его исторической версии). И если Россия в своем большинстве почему-то не отвечала этим ожиданиям, то общественный темперамент прогрессиста неизменно направлялся против нее. Предельным выражением такой позиции стал ленинский вывод во время первой мировой войны: «Главный враг — в своей собственной стране». Так проявился своего рода «внутренний расизм» российских сторонников прогресса: те, кто идентифицирует себя с этой идеологией, третируют «презренную» национальную почвенность и готовы к ее безжалостной расчистке. «Новые русские» в значительной мере унаследовали это прогрессистское высокомерие в отношении «туземного населения». Но различие с левым радикализмом, с большевизмом в частности, все же су-

* В № 1 «Нового мира» за 1993 год были напечатаны материалы «круглого стола» «Россия, которую мы обретаем...». За последующие годы в журнале появлялись многочисленные публикации, по-разному развивавшие ту же тему: русская идея и новая российская государственность, ее истоки, направления, перспективы. В настоящем номере обсуждение проблемы продолжают А. Панарин и М. Громов. Стоит ли напоминать, что ни та, ни другая статья не выражает собственно редакционную точку зрения. Обсуждение будет продолжено. — *Ред.*

щественно. Большевики чувствовали себя миссионерами, прививающими новую веру отсталому, но не безнадежному народу. Они готовы были идентифицировать себя с этим народом по мере того, как будет происходить его преобразование в «передовой класс». «Новые русские» меньше верят в подобную алхимию прогресса. Поэтому их презрение к «почве» выражается не столько в революционном насилии, сколько в комплексе внутренних эмигрантов, свободных от давления «туземных» норм, ценностей и традиций. К этому добавляется воздействие потребительско-гедонистической психологии, чуждой не только аскезе индивидуального накопления, но и традиционной служилой аскезе российских подданных, привыкших держать на своих плечах тяжкий груз российской государственности.

Эмансипаторский дух в его поздней декадентской стадии опасается сильной государственности, связывая с ней жертвенность, к которой чувствует себя не способным. Таковы идейно-психологические основания развернувшейся у нас войны с историческим наследием, ценнейшим компонентом которого является память об Отечественной войне и законная гордость народа-победителя.

Российская история циклична по своей сути. В начальной фазе цикла мы имеем синкретичную слитность — то, что известный немецкий социолог Ф. Теннис называл не обществом, а общностью. Общность живет в сравнительной изоляции от соседей и не знает соблазнов «большой цивилизации». Но постепенно в ней обнаруживаются внутренние трещины, а затем и раскол.

Выделяется интеллигенция — особого рода «вольноотпущенники», уполномоченные разведать, чем живет внешний мир, и заимствовать его «передовые достижения». На первых порах они исправно выполняют свое предназначение: информацию, заимствованную вовне, они привносят в «туземный мир» с целью его просвещения. Однако на каком-то этапе возникают сбои в процессе социализации образованной элиты: она больше идентифицирует себя не с национальным обществом, а с анонимной «вселенной прогресса», иногда олицетворяемой Западом, иногда — светлым будущим всего человечества. Нация живет в этой раздвоенности, пока ее не настигает настоящая опасность (чаще всего в форме иноземного нашествия). Тогда народный дух мобилизуется для одновременного выполнения двух задач: преодоления национального раскола путем интеграции наиболее мобильных (и вместе с тем наиболее подверженных внешним соблазнам) групп социума и вслед за этим — эффективного отпора внешнему вызову. В каком-то смысле 1941 год стал альтернативой 1917-го: предельно мобилизовавшаяся для отпора врагу нация одновременно интегрировала своих левых прогрессистов — вольноотпущенников «светлого будущего» — в национальную традицию, вернув их с небес заемной утопии на грешную землю, которую теперь предстояло спасти от поругания. Правителям пришлось оставить революционную лексику и обратиться к несленным ценностям («Пусть вдохновит вас подвиг ваших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова...»). Открылась одна важная истина: патриотизм нельзя превращать в сугубо идеологическую категорию, в служение определенному режиму. Такой «патриотизм» неизбежно обретает узкопартийный характер, он подвержен давлению политической конъюнктуры. Защита Отечества получает надежную общенациональную основу, когда само это Отечество не сводится к господствующему режиму, а выступает как категория национального бытия. Это хорошо показали наши историкки, в частности В. О. Ключевский, при анализе смуты начала XVII века.

Основной слабостью, породившей смуту, был взгляд на государство как на вотчину княжеской династии, из владений которой оно выросло. Московским людям того времени «представлялось, что Московское государство, в котором они живут, есть государство московского государя, а не московского или русского народа»¹.

Смута была преодолена, а государство возродилось, когда восторжествовал новый взгляд на государство как на форму национального бытия.

¹ Ключевский В. О. Соч. в 9-ти томах, т. III. М. 1988, стр. 48.

В нашем веке в результате гражданской войны и стараний пропаганды вновь возродился взгляд на государство как на вотчину коммунистической партии. Потому-то оно и превратилось в ставку большой игры между демократами и коммунистами: их идеологической прощательности хватает только на то, чтобы распознавать в государственности политическое своекорыстие тех или иных властных группировок. В 1941 году народу удалось урезонить свою властную элиту, привив ей «не вотчинный», а национальный взгляд на российскую государственность. Удастся ли такое нашему народу на сей раз?

Для этого ему необходимо самому избавиться от одного инфантильного комплекса, привитого за семьдесят лет тоталитарного режима, когда страна стала безраздельной вотчиной партии.

Вспомним опять В. О. Ключевского: «Московский народ выработал особую форму политического протеста: люди, которые не могли ужиться с существующим порядком, не восставали против него, а выходили из него, «брели розно», бежали из государства. Московские люди как будто чувствовали себя пришельцами в своем государстве, случайными, временными обывателями в чужом доме; когда им становилось тяжело, они считали возможным бежать от неудобного домовладельца, но не могли освоиться с мыслью о возможности восстать против него или заводить другие порядки в его доме»².

Большевизм породил неслыханную инволюцию: возвращение к, казалось бы, давно преодоленным взглядам на государство. Полная монополия на власть правящей партийной касты, неслыханная свирепость режима тотального сыска, создающая впечатление обреченности любых выступлений против него, возродили инфантильный миф о победе — потаенную мечту об эмиграции из дома, где царит непрерывный кошмар.

Убив демократическую волю к сопротивлению, этот режим вызвал тайную мечту о массовой эмиграции в ту или иную «обетованную землю». Так в недрах нашего массового сознания созрела «американская мечта» — об Америке (о Западе) как земле обетованной. Как всякий запретный комплекс, он сопровождался процедурами «рационализации» — самооправдания и обоснования. Наиболее радикальным способом самооправдания стал миф о «безнадежной стране», «безнадежном народе», «проклятом месте планеты».

Тоталитарный режим убивал патриотизм в той мере, в какой ему удавалось создавать у своих подданных чувство безальтернативности, безнадежности — полной нереальности исторического творчества в своей стране и создания новых общественных порядков, более устраивающих современную личность. Соответственно и возрождение патриотизма возможно на путях демократизации не столько в узкополитическом смысле (в соотносительности с тем или иным готовым западным эталоном), сколько в историческом: в смысле права на самобытное социальное творчество у себя дома, на участие в созидании альтернативного общественного устройства.

При этом и ориентация сознания становится противоположной: не на поиск свидетельств исторической обреченности страны, что требуется для самооправдания актуальных и потенциальных эмигрантов, а на обнаружение других, обнадеживающих фактов в ее истории и характере ее народа.

Чем больше правящая сегодня верхушка демонстрирует черты очередного «гегемона», монополизировавшего любую социально-политическую активность и нетерпимого к любой оппозиции, тем меньше шансов на своевременное преодоление «эмигрантского комплекса» и формирование здорового гражданско-патриотического чувства. Патриотизм стал бранным словом. Как тут не вспомнить суждение Платона о корыстолюбивых правителях, которые, «ненавидя сами и вызывая к себе ненависть, питают злые умыслы и их опасаясь, будут... все время жить в большем страхе перед внутренними врагами, чем перед внешними, а в таком случае и сами они, и все государство устремятся к своей скорейшей гибели»³.

А была ли третья мировая война? Прежде чем отвечать на этот вопрос, задумаемся о том, существует ли смысловое (категориальное) единство то-

² Ключевский В. О. Соч. в 9-ти томах, т. III, стр. 49.

³ Платон. Соч. в 3-х томах, т. 3, ч. 1. М. 1971, стр. 205.

тальных мировых противоборств XX века: первой и второй мировых войн и последовавшей затем «холодной» войны? С этим связан и другой вопрос: существует ли некий особый стиль, особый образ XX века, выделяющегося в длинной веренице веков?

Многие историки, наблюдавшие первую мировую войну с позиций довоенного опыта, а точнее, с позиций более благополучного XIX века, выступили как свидетели небывалой катастрофы, случившейся с человечеством.

Не случайно А. Тойнби сравнивал первую мировую с Пелопоннесской войной, ставшей причиной заката античной цивилизации. Правда, Р. Арон, в целом соглашаясь с этой аналогией, отмечал, что мотивы участников катастрофических войн XX века были прежними, «банальными» (соперничество, борьба самолюбий, передел сфер влияния и т. п.), беспрецедентными оказались употребляемые средства, которые дало индустриальное общество. «Все страны обнаружили с ужасом невиданную мощь средств, которыми снабдило сражающихся современное массовое индустриальное общество»⁴.

Думается, здесь Р. Арон не совсем прав. Войны XX века затеял в значительной мере новый человек, восставший против институтов и традиций, неожиданно выпавший из процесса социализации. Войны, в свою очередь, ускорили высвобождение опасных социальных стихий из-под контроля прежних институтов и породили огромное внутреннее варварство.

Мыслим ли был в прежнее время человек, способный перед лицом иноземного нашествия заявить, что главный враг — в своей собственной стране, при этом не только не смутив совести современников, а, напротив, как бы подтвердив их ожидания. Но ведь именно такой человек появился в России — стране, имеющей репутацию традиционалистской и почвеннической. Мыслим ли был человек, способный заявить, что его народ представляет высшую расу человечества и потому имеет право на превращение остальных в рабов? Но ведь именно такой человек появился и завоевал популярность в Германии — стране, подарившей миру непревзойденные образцы гуманистического творчества.

Катаклизмы XX века исподволь подготовила ползучая духовная катастрофа — закат традиционных ценностей заодно с классическими гуманистическими идеалами.

Войны и перевороты XX века — это акции разбуженного авантюризма, не ведающего резонов и границ и готового экспериментировать с любыми возможностями. Урезонить такого авантюристического «нового человека», используя язык морали и традиции, немислимо. Этот «материалист» признает только один язык — силу. Вот почему оборотной стороной культа такого нового человека стал культ силы, культ тоталитарного государства.

Тоталитарные же государства, в свою очередь, не признают иных резонов, кроме голыи силы. Отсюда — превращение мира в арену противоборства сверхмощных коалиций или сверхдержав.

Каковы место и роль России в этом процессе? Мне представляется вовсе не случайным, что бездна разверзлась вначале именно в России. По-видимому, именно она создала соблазн для непомерных амбиций «нового человека», готового к безудержному применению силы. Этим соблазном оказалась действительная или кажущаяся слабость и незащищенность России. Сам захват власти большевиками вопреки недвусмысленно выраженной воле большинства (результаты выборов в Учредительное собрание) был неслыханной дерзостью, объясняемой только уверенностью авантюристов в том, что в «этой стране» все сойдет с рук и все возможно. Вся ленинская стратегия завоевания власти — это откровенная, выпадающая из традиции и демократических ожиданий прошлого века социальная механика — технология «архимедовых рычагов», с помощью которых задумали опрокинуть незащищенный социум. И после завоевания власти большевики непрерывно экспериментировали с границами дозволенного. Первоначально они даже свое правительство называли временным — частично для оправдания чрезвычайных мер, а частично в силу неуверенности в прочности собственного положения...

Но эксперименты удавались: страна демонстрировала свою беспомощность перед безудержной похотью власти, которой оказались одержимы но-

⁴ Aron R. Dimensions de la conscience historique. P. 1965, p. 218.

сители нового, революционного порядка. Эти эксперименты продолжались до начала Отечественной войны, когда «бесстрашным революционерам» пришлось спрятаться за спину разоряемого и истребляемого ими народа. Он и в самом деле защитил и спас их — именно потому, что не внял большевистской выучке: искать главного врага в собственной стране.

Аналогичный соблазн представила Россия и для носителей нового порядка в Европе — я имею в виду «нового человека» национал-социализма. Я думаю, что зарубежный русский публицист Иван Солоневич не во всем погрешил против истины, заявив: «Наша великая русская литература — за немногими исключениями — спровоцировала нас на революцию. Она же спровоцировала немцев на завоевание. В самом деле: почему же нет? «Тараканьи странствования», «бродячая монгольская кровь» (тоже горьковская формулировка), любовь к страданию, отсутствие государственной идеи, Обломовы и Каратаевы — пустое место... и вот попер бедный наш Фриц завоевывать зощенковских наследников, чеховских лиших людей. И напоролся на русских, никакой литературой в мире не предусмотренных вовсе»⁵.

Как видим, соблазном для агрессии, изнутри или извне, служит даже не русская слабость как таковая — ее-то как раз не было, — а христианско-православная парадоксальность проявления воли к сопротивлению. Она проявляется не непосредственно в ответ на вызов, не сразу, а лишь в некой предельной точке — «на дне отчаяния». Вот и получается, что агрессоры гуляют долго — до того, как окончательно иссякнет терпение наших соотечественников.

Здесь кстати упомянуть о «чеченском соблазне». Русская армия воюет в Чечне плохо — как только и может воевать армия, не чувствующая внутренней правоты, да к тому же и бездарно управляемая. Так же бездарно воевала Красная Армия с Финляндией в 1939 — 1940 годах. Наблюдателя в Берлине тогда спровоцировала столь очевидная слабость армии, не способной быстро справиться с маленькой страной. Лишь последующие события показали, что этот наблюдатель в конечном счете ошибся. Но за его прозрение пришлось дорого уплатить. Боюсь, что и сегодня есть наблюдатели, которых может спровоцировать слабость, продемонстрированная в Чечне...

Так существует ли все же некая логическая цепь, связывающая воедино три мировые войны и судьбу России в XX веке?

Формулировать свой ответ я начал бы с субъективной стороны — со стороны мироощущения российских участников этой драмы. Уже в 1916 году, когда наша армия несла тяжелейшие потери, несравнимые с уроном союзников, последние никак не реагировали на просьбы русского командования активизировать военные операции, чтобы отвлечь часть германских сил с восточного фронта. И на фоне этого у воюющей России — верного союзника Антанты — усиливается чувство цивилизационного одиночества. Вступив в войну как член семьи европейских народов, Россия постепенно ощущает зыбкость своего присутствия в этой «семье»... Положение многократно усугубляется после большевистского переворота. Для большевиков «буржуазная цивилизация» со всеми ее нормами, конвенциями и соглашениями — мертвый звук. Они поставили себя вне цивилизации, заодно поставив вне ее и Россию. Но парадокс состоит в том, что все это было сделано не без содействия самой западной цивилизации.

Есть вечные законы противоборства крупных держав, объясняющие их взаимную заинтересованность в ослаблении соперника. Но все же и здесь Россия — особый случай. По сути, она была единственной европейской державой, с гибелью которой Европа готова была «примириться». Отсюда — амбивалентность поведения союзников после большевистского переворота.

По критериям, которые Европа применяет к себе, большевики оценивались как варвары — представители темного гетто, стоящего вне цивилизации. Но применительно к России как искаженному альтер-эго Запада эти же большевики оцениваются как носители европейского по происхождению «передового учения», как прогрессисты, развязавшие внутренний фронт против варварской страны. Здесь Запад, в особенности в лице своих интеллекту-

⁵ Солоневич И. Народная монархия. М. 1991, стр. 157, 159, 160.

алов — законодателей мнения, не раз выдавал алиби большевизму. Даже геноцид коллективизации прошел почти не замеченным — ведь он касался темного российского большинства, не умеющего выражать свои позиции на языке прогресса.

И конечно, за этим попустительством стоял державный эгоизм традиционных соперников России, радующихся ее ослаблению. С позиций западной геополитики, большевики были уже тем хороши, что разваливали «слишком крупное», по европейским стандартам, государство. Здесь несомненно оказывали свое воздействие воспоминания о том времени, когда после разгрома Наполеона Россия почти полвека грозной тенью нависала над Европой. На фоне этих воспоминаний большевистский революционаризм рассматривался, с одной стороны, как Немезида прогресса, настигшая «восточного колосса», а с другой — как фактор внутреннего разложения, на много лет вперед гарантирующий выбытие России из «большой политики» раздела мира.

Что самое поразительное, союзники, как и внутренняя «диаспора прогресса», жесточайшим образом просчитались. Сработали какие-то таинственные законы российского геополитического пространства, в котором действует жесткая дилемма: либо большая авторитарная власть, либо никакой власти, анархия и тотальный развал. Большевики, чтобы удержаться в седле, вынуждены были спешно создавать инфраструктуру Большой власти. Но здесь, опять-таки, обнаружилось, что для Большой власти в России требуется и большая государственная идея.

Любая партия в России рано или поздно обнаруживает: для того чтобы сохранить власть, ей необходима государственная и даже мессианская идея, связанная с провозглашением мирового величия и призвания России. Эта метаморфоза случилась и с большевиками. Космополиты, глашатаи пролетарского интернационализма, готовые перемигиваться с зарубежными братьями по классу за спиной «классово чуждых» им соотечественников, они становятся столь неистовыми державниками и патриотами, что это не идет ни в какое сравнение с несколько анемичным патриотизмом дореволюционной политической элиты.

Так, законы производства власти в России неминуемо ведут к воссозданию России как сверхдержавы.

Таким образом, имеет место определенный политико-исторический цикл. Процессы секуляризации, вестернизации и модернизации постепенно приводят к денационализации правящего слоя, начинающего идентифицировать себя уже не столько с Россией, сколько с манящими абстракциями прогресса. Лик прогресса может при этом неузнаваемо меняться, но само противостояние России и прогресса сохраняется.

Прогресс может олицетворяться социализмом. И тогда вся мировая социалистическая диаспора видит в России главную антисоциалистическую силу, оплот мировой реакции, который необходимо сокрушить любой ценой, даже ценой ее уничтожения и расчленения (такова, как известно, была позиция Маркса и Энгельса во времена «Новой Рейнской газеты»).

Но как мы убедились сегодня, прогресс может олицетворяться и капитализмом. И тогда вся мировая либеральная диаспора видит в России главный и последний оплот ненавистного социализма — этой смеси европейского утопизма и деспотической азиатчины — и готова, соответственно, способствовать сокрушению этого оплота любой ценой.

Сегодня мы имеем примерно ту же фазу политико-исторического цикла, что и переживаемая нашей страной после Брестского мира: тяжелое государственное унижение России, внутренний развал и полную неясность ее геополитических перспектив. Теперь эта ситуация подготовлена нынешними радикал-либералами, которые, подобно своим предшественникам — большевикам, снова решили, что главный враг — в собственной стране и поэтому ее поражение в «холодной» войне — основное условие и мирового прогресса, и торжества демократии в самой России. (Вспомним, что большевики также считали, что поражение России в «мировой империалистической войне» — главное условие пролетарской революции в нашей стране и поражения реакции во всем мире).

Дело в том, что условия игры остаются примерно теми же. Подобно своим большевистским предшественникам, совершившим неслыханные пре-

ступления против собственного народа, против России и потому готовым цепляться за власть любой ценой (в противном случае их ожидал бы не статус уважаемой оппозиции, а эшафот), нынешний номенклатурно-мафиозный симбиоз не может просто так уйти с политической арены. Его тайны никак не менее «деликатны», чем тайны «великой подпольной партии», а разглашение их смерти подобно.

Следовательно, необходимо сохранить власть. Но сохранить власть на фоне сокрушительных поражений собственного политического курса — это значит небывало взвинтить ее, вывести из-под всякого контроля.

Таким образом, главный парадокс нашей новейшей политической истории в том, что основателям нынешнего режима для сохранения власти предстоит уже завтра занять позиции, прямо противоположные тем, с которыми они начинали свою реформаторскую деятельность. Либералы, адепты теории «государство — минимум», они превратятся в законченных этактистов. Критики империи, сторонники «неограниченных местных суверенитетов», они станут центриалистами-державниками, наследующими традиции Калиты и Ивана IV.

Поистине чудные дела творятся у нас. П. А. Столыпин в свое время четко определил суть политического противостояния в России, ставки которого намного превышают обычные «классовые» и касаются судеб государственности и цивилизационного статуса нашей страны. «Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия»⁶.

И что же на деле происходит?

Сторонники «великих потрясений», готовые «во имя прогресса» идти до конца, до разрушения политического строя и самой российской государственности, по законам производства власти вынуждены осваивать роль создателей Великой России, причем в наиболее грозной, имперско-авторитарной ее ипостаси.

«Великое злорадство» мировой прогрессистской реакции, наблюдающей посрамление и разрушение ненавистного ей «монстра», снова сменится, я уверен, великим изумлением и великим унынием. Я не причисляю себя к этой диаспоре «мирового прогресса» и не собираюсь унывать заодно с нею. Однако означает ли это, что у нас, граждан России, есть основания быть целиком довольными вышеописанной хитростью мирового разума, восстанавливающего Россию как сверхдержаву руками ее вчерашних хулителей и разрушителей?

Равный ли по качеству результат обретаем мы в двух разных случаях: получив могучую Россию из рук ответственных государственных реформаторов или же от вчерашних революционеров (радикал-социалистического или радикал-либерального толка)?

Если стоять на позициях целиком прагматического, позитивистского разума, то, думается, субъективность намерений и мотивов не заслуживает особого внимания — важен конечный результат. Если же следовать иной, христианской по своим «архетипическим» основаниям традиции, то намерения и мотивы сохраняют свое значение, и каким-то загадочным образом они вплетены в «материальность» результата, влияя на его прочность.

Выдающийся реформатор Столыпин созидал Великую Россию, сохраняя величайшее уважение к ее истории и традиции, и потому намеревался избежать крутых ломок и метаморфоз вроде «нового человека». Он любил «старых русских» и верил в их творческий потенциал. Если бы убийство Столыпина, а главное, мировая война не прервали эволюционный путь России, мы через два-три десятка лет получили бы могучую страну, и при этом — европейскую, хотя и стоящую несколько особняком в силу особенностей своей византийской традиции, а также в силу своих масштабов.

Выдающийся революционер Ленин хотел в первую очередь «великих потрясений» и не останавливался перед тем, чтобы превратить собственную страну в хворост для разжигания пожара мировой революции. Но неожидан-

⁶ Столыпин П. А. Нам нужна Великая Россия. М. 1991, стр. 96.

но для всех Великая Россия восстала из пепла, из потрясений, из хаоса и разгрома. Вместо линейного времени реформ она погрузилась в поток катастрофически прерывного, циклического времени, где последующие этапы — это не продолжение предыдущих, а неожиданная качественная метаморфоза.

Строители большевистской сверхдержавы питались не плавно нарастаемой энергией созидания, а взрывной энергетикой отчаяния, мести, реванша. Великое государство получилось, но его экспансия генерировалась демоническими энергиями, предопределившими конфликт с целым миром, что в конечном счете и привело к сегодняшнему поражению.

Парадоксальность реформационного пути состоит в том, что, сохраняя верность собственной цивилизационной традиции, этот путь тем не менее ведет к сближению России с Западом.

Парадоксальность же революционаристского пути в том, что, разрушая традицию «до основания» во имя следования последнему слову теории прогресса, он приводит к отрыву от Запада, к мировой изоляции и одиночеству России в мире.

Если проследить цивилизационную логику трех мировых войн для России (приплюсовав сюда и «холодную» войну), то придется признать, что каждая последующая война усугубляла цивилизационное одиночество России.

На первый взгляд, этому как будто не соответствуют итоги второй мировой войны. Наша страна вошла в число держав-победительниц, состроителей послевоенного мирового порядка, создала свой глобальный «социалистический лагерь» и тяготеющую к нему зону «некапиталистического развития» в третьем мире.

Однако и здесь чувствовалась энергетика не столько созидания, сколько революционаристского катастрофизма, противостояния, «непримиримой классовой борьбы» на мировой арене. По мере расширения советской зоны влияния росли не умиротворение и стабильность, а напряженность и манихейская непримиримость. Советскому Союзу в его мировой экспансии помогали не боги согласия и милосердия, а демоны зависти, вражды и крови.

Советская политика и дипломатия всюду выискивала трещины в порядке бытия, неизменно используя дестабилизирующие факторы, силы раздора, специфическую энергетiku «подпольного человека». Не удивительно поэтому, что мир, жаждущий спокойствия и благополучия, становился все более антисоветским. Чем шире оказывался завоеванный СССР «формальный» плацдарм, организованный военно-бюрократическим образом, тем уже делалось неформальное пространство подлинных, нелюбимых тяготений к «стране-первопроходцу». Оппозиция зрела в душах подданных многомиллионной мировой империи, в самой системе ценностей.

Лидер социалистического лагеря все более явно превращался из авангарда, за которым следуют, в тирана, падения которого страстно и нетерпеливо ждут. Нет сомнений, когда соответствующее пространство нетерпеливых ожиданий сформировалось, история рано или поздно предоставит соответствующий шанс: ее пульсирующий, многовариантный характер всегда содержит ловушки для самонадеянной силы. Важно, чтобы нашлись субъекты, готовые этим воспользоваться. В социалистическом лагере их было достаточно. Это и предопределило союз внешних и внутренних противников тоталитарной сверхдержавы, в конечном счете пробивший ее казавшиеся незыблемыми твердыни.

Чем же была, по большому историческому счету, перестройка Горбачева?

В одной системе оценок столкновение мнений идет в рамках оппозиции «эндогенные — экзогенные факторы»: одни говорят о внутренне заданной реформе, другие — о капитуляции перед Западом. Во второй — в рамках оппозиции «реформа — революция» постепенные преобразования с сохранением преемственности или катастрофический перерыв).

Начнем с первой оппозиции. Какие мотивы воодушевляли — на массовом уровне — антикоммунистическую оппозицию в России: протест против забвения традиций, поругания святынь, морального разложения, коррупции? Или в первую очередь сказалось недовольство потребительского сознания, сравнивающего советский режим с западным по критериям материального преуспеяния?

Думается, на массовом уровне второй момент явно превалировал. Коммунистический строй критиковался не по традиционным критериям российской цивилизации, а по критериям западного «потребительского общества». Здесь коммунизм проиграл главное соревнование — за души своих подданных.

Если взять уровень политической элиты, то и здесь несомненно присутствие «экзогенного фактора» в формировании перестроечных установок. В качестве Генерального секретаря ЦК КПСС инициатор перестройки несомненно принадлежал к той изначально склонной к утопизму леворадикальной традиции, которая настойчиво противопоставляет существующий порядок идеальному, образцы которого ищет на Западе. Леворадикальная революционаристская эсхатология ориентирует на чудодейственный скачок в обетованное будущее, где снимутся все ограничения, тяготеющие над человеком с тех пор, как он живет на Земле.

Когда большевиков обвиняли в развале фронта, армии и государственности, в особенности в период Брестского мира, они высмеивали эти заботы «буржуазного» сознания, уверяя, что ожидаемая ими мировая пролетарская революция автоматически снимет проблемы государств, границ и армий — соединит все человечество в интернациональную социалистическую семью. Я не могу отделаться от впечатления, что наши недавние провозвестники «нового мышления» испытывали, сами того не сознавая, мощное давление этой утопической традиции. Они верили в очередной «новый мировой порядок», который снимет проблемы обороны, границ, геополитического соперничества государств и т. п.

Уникальность судьбы М. С. Горбачева в том, что он в какой-то момент своей политической биографии соединил функции Генерального секретаря с функциями Президента. Но Президент, в отличие от Генерального секретаря, по своему объективному назначению принадлежит другой традиции. Он не ставит отношения к собственной стране в зависимость от того, олицетворяет ли она «авангард всего человечества» или принадлежит к числу «неуспешающих». Иными словами, он служит не абстракциям прогресса, а своему государству, защищая где только может его «эгоистические» интересы.

Словом, президент, по определению, фигура консервативно-государственная, имеющая мужество гнуть свою, национально ориентированную линию, невзирая на все сарказмы и противодействия прогрессистской диаспоры. Думаю, не очень ошибусь, если скажу, что в личности инициатора перестройки было все же больше черт Генерального секретаря, чем Президента в указанном национально-государственном качестве.

По-видимому, в его мышлении парадигма прогресса доминировала над национально-государственной: вот почему он не заметил, что наряду с вызовом «проклятого прошлого» существует еще и вызов со стороны Запада, готового воспользоваться временными затруднениями и слабостями своего давнего соперника. Поэтому перестройка как внутривнутриполитический процесс начала все более явно переплетаться с внешнеполитическим отступлением нашего государства, сдающего одну позицию за другой.

Перейдем теперь ко второй оппозиции — «реформа — революция». Так уж складываются судьбы России в XX веке, что благонамеренные начинатели нововведений вскоре сталкиваются с такими продолжателями своего дела, от которых им сразу же или позднее с ужасом приходится отрешиваться. Готовы ли были кадетские лидеры называть себя революционерами? Я сомневаюсь. Наверняка они числили себя в ряду разумных и ответственных реформаторов. Однако наряду с субъективными критериями политического самосознания существует и объективный критерий.

Если реформатор мыслит в парадигме прогресса, как фаталистический оптимист, верящий в то, что история знает одну только закономерно-возвышающую логику, он не останавливается перед употреблением самых крайних средств для расшатывания ненавистного ему порядка. Прошлое ему, как прогрессисту, всегда кажется хуже любого будущего, качество которого как никак гарантируется поступью мировой истории. И если реформатор в своем тираноборческом усердии доводит государство и общество до той точки, в которой соскальзывание в революционную катастрофу становится неизбежным, то можно ли его, независимо от самооценок, признать подлинным ре-

форматором, а не революционером? С этой точки зрения Столыпин — реформатор, а Милуков — все же революционер.

Столыпин как консерватор не верил в гарантии прогресса. Предвосхищая теорию Н. Винера, консерваторы всегда знали, что хаос и развал — наиболее вероятные состояния и, чтобы сделать их все же менее вероятными, требуются государственная мудрость, воля и ответственность.

История повторилась к концу XX века. Перед нами важная проблема, имеющая значение не только для исторических оценок, но и для выработки надежного методологического обеспечения реформационной практики. Кто такой М. С. Горбачев: реформатор или революционер? Нет сомнений в том, что он не хотел ни развала Союза, ни разрушительных крайностей экономической «шокотерапии», ни перехода России в разряд держав «второго сорта». Но действовал ли он при этом как ответственный государственный реформатор, сознающий, что демона истории нельзя беззаботно дразнить, или как прогрессист, верящий в гарантированный конечный итог? Довел ли он государство и общество до той точки, когда обвальный срыв уже неизбежен и неостановим, или между перестройкой и августовской революцией лежит грань, не переходя которую можно было ввести державный корабль в благополучное русло?

Удивительная закономерность здесь, с моей точки зрения, просматривается. Почему Дэн Сяопину уготован удел реформатора, ведущего государственный корабль, а Горбачеву — революционера, столкнувшего лавину, не оценив ее массы и скорости? На мой взгляд, потому, что у Дэна, несмотря на его революционную биографию, преобладала все же цивилизационная идентичность представителя великой китайской цивилизации, а у Горбачева — прогрессистская идентичность, ориентация на светлое будущее, не знающее пространственных привязок и границ.

Западная цивилизация, законодатель прогрессистской моды, живет в нормальном континууме пространства — времени: чувствует не только зов будущего, но и твердь собственной почвы. Но другим цивилизациям она навязывает временную доминанту — ориентацию на будущее, не считаясь с особенностями местного пространства. Она породила мировую диаспору вестернизаторов, свято верящих в возможность беспрепятственной пересадки «образцовых» западных учреждений на любую национальную почву. Этой диаспорой нещадно высмеиваются и осуждаются всякие оглядки на почву: пространство они не считают такой категорией, которую модернизаторам стоит принимать во внимание.

Поэтому социокультурная реабилитация пространства, разработка социально-исторической теории пространства в различных его измерениях представляется мне насущной потребностью нашей реформационной эпохи. Нам предстоит сформировать элиту, откликающуюся не только на зов времени (будущего), но и на зов пространства. Революционеры мыслят категориями времени, патриоты, защищающие свою землю, — категориями пространства. Для них пространство Отчизны — это абсолютная ценность безотносительно к его кодификаторам на шкале исторического времени. Они любят Родину не за то, что она самая передовая.

...Представьте, что было бы, если бы осенью 1941-го наши отцы начали с сопоставления своей страны с Германией по критериям «развитости» и определяли бы собственную позицию в зависимости от итогов такого сопоставления. (А ведь именно в этом и состоит логика последовательного прогрессизма.) К счастью для нас, они повели себя иначе.

В чем-то нам сегодня труднее, чем им. Реформационный процесс и процессы насильственной, насаждаемой сверху вестернизации России так переплелись, что стало сложно определить, где кончается линия необходимой обороны Отечества и начинается ретроградный изоляционизм, как и наоборот — где диалог реформаторов с Западом угрожает перерастанием в саморазрушительное эпигонство. Подспорьем тут может служить цивилизационная идентичность — сопричастность глубинным традициям, основаниям и принципам нашей истории и географии, нашим базовым ценностям.

Актуализация их в массовом сознании, спасительный анамнезис — процедура припоминания самих себя — это процесс, который может успешно

направляться только национальной элитой. Не беспочвенной «диаспорой прогресса», а теми, кто и прогресс, в любой его форме, рассматривает в специфическом пространственном измерении, сообщающем ему национальный облик.

На мой взгляд, такая ротация элит вписывается в постиндустриальную перспективу: судя по многим признакам, постиндустриальное общество будет не техноцентричным, уподобляющим человека машине, а культуроцентричным, ориентированным на духовные факторы.

Растерявший свою духовную сосредоточенность в массовом конвейерном производстве, человек индустриального общества обнаруживает многие типологические признаки эпохи декаданса. Но новое информационное общество уже не может довольствоваться этим пассивным конвейерным сознанием — оно требует новой мобилизации духа. Национальная и цивилизационная идентичность — незаменимое средство такой мобилизации. Отстаивая цивилизационную самобытность России, защищая ее пространство, мы тем самым отстаиваем и перспективу ее вхождения в постиндустриальное общество.

М. ГРОМОВ



АРХИТЕКТУРНЫЕ СИМВОЛЫ РОССИИ

Архитектура дает безошибочное представление о том, что действительно происходило в определенный период.

З. Гудион.

Кто хотя бы раз проплывал на теплоходе мимо древнего города Калязина в верхнем течении Волги, тот не мог не запомнить выразительный силуэт колокольни, стоящей посередине водной глади. Раньше ее изображение часто украшало рекламные плакаты и проспекты, призывающие совершить увлекательное путешествие по великой русской реке. Многим казался занятным, оригинальным, эффектным вид стройной звонницы, вздымающейся из вод. Возникали ассоциации с градом Китежем, Венецией, старинными преданиями об ушедших в глубины и чудесно вновь возникающих храмах. Доминировало поверхностно-романтическое восприятие уникального свидетельства былого, характерное для воспитанного в вопиющем незнании России массового сознания не только народа, но верхов общества, даже наиболее просвещенной его части. Мало кто доподлинно знал о великом культурном достоянии своей Отчизны, мало кто скорбел о невиданных, колоссальных его утратах.

Ныне сей символ поруганной родной истории, символ ушедшей в пучину старой России, символ безжалостной сути современной бездуховной технократической цивилизации, расплывающейся по всему земному шару и одинаково беспощадно уничтожающей творения природы и творения культуры, вызывает самые скорбные чувства — ностальгию по прошлому и тревогу за будущее. Медленно разрушающаяся, с затопленным фундаментом и подтопленным первым ярусом, эта колокольня, некогда стоявшая на центральной площади Калязина, продолжает гибнуть на наших глазах, как гибнут многие десятки тысяч памятников отечественной истории и культуры, пока еще сохранившихся на обширных и изрядно опустошенных просторах великой страны...

Калязинскую колокольню сохранили в качестве естественного навигационного сооружения, обозначающего опасное для судоходства место затопленной центральной части города. Подобный утилитарный подход, при всех исходных варварских соображениях, объективно помог сберечь многие тысячи памятников культуры, но чаще всего в изуродованном, иногда до неузнаваемости, виде. Существовала особая программа по десакрализации архитектурного наследия не только путем массового сноса храмов, часовен, монастырей, но и приведения оставленных в «гражданский» или «светский» вид. Сносились колокольни, купола и главы, растесывались окна, прорубались двери, устраивались межэтажные перекрытия. Уцелевший обрубок здания покрывался примитивной крышей, красился самой дешевой краской и начинал влачить жалкое существование в грубых руках новых вандалов.

Кто, кроме специалиста по истории архитектуры или знатока старой Москвы, может найти храм пророка Ильи, давший название одной из самых старинных улиц в Китай-городе? Он дошел до нас в виде варварски обрубленной и выкрашенной в одинаковый с примыкающими к нему зданиями желтый цвет невыразительной полухозяйственной постройки. Многие ли, посещая Музей искусств народов Востока на Воронцовом поле (улица Обу-ха), узнавали в необычном по внешнему декору и сохранившимся элементам

интерьера здания красивый Ильинский храм, стоявший над Яузой на одном из живописных холмов? Подобная участь постигла не только православные храмы, но культовые сооружения всех конфессий, равно ненавистные беспощадным богборцам.

Множество мыслей, ассоциаций, раздумий может вызвать любой из давних архитектурных символов России. Такова природа каждого символа, выраженного вербальными или невербальными средствами, ибо он концентрирует в себе как все богатство содержания породившей его культуры, так и особую знаковую семантику, сохраняющую неповторимую историю его возникновения. Умение увидеть сквозь внешне очевидную эмпирическую данность внутренний сокровенный смысл реальности отличает все развитые цивилизации. Особенно утонченного состояния в рамках европейской традиции оно достигает в средние века, а у нас — в эпоху Древней Руси.

Насаждавшийся же в годы господства примитивного материалистического мировоззрения поверхностный эмпиризм и плоский рационализм вытравили и умерщвляли некогда развитое символизирующее самосознание, столь характерное для национального менталитета и ныне возрождающееся не без содействия реабилитирующих его новейших течений семиотики и герменевтики.

Следует сказать о многозначности символа и многоуровневом его характере. Символ представляет обозначаемый им объект в неисчерпаемом разнообразии связей, потому любой символ полисемантивен, имеет не один жестко заданный смысл, но бесконечное их множество, определяемое позицией наблюдателя или используемой им системой отсчета. Та же самая калязинская колокольня посреди вод может быть проинтерпретирована не только историком, но философом, искусствоведам, экологом, политиком, священнослужителем, моряком, крестьянином, людьми разных вер, языков, традиций.

Многоуровневый характер символа, иерархичность и вертикальная структура позволяют воспринимать его на самых разных стадиях мироощущения и мировосприятия. В этом плане он доступен всем — от ребенка до старца, от человека с самым приземленным сознанием до живущего в мире грез поэта. Первоначальный зрительный образ, его связь с ландшафтом, переключки с соседними объектами, просматриваемая архитектоника и композиция, угадывание в нем почерка, стиля, влияния определенной школы, разнообразие визуальных отражений в меняющейся природной и урбанизированной среде, следы времени, запечатленные в камне, все большее всматривание и проникновение в него, поиск все новых нюансов — таков бесконечный процесс постижения символа от первого восприятия до глубокого осмысления сути.

Процесс приобщения к символу не проходит бесследно. Обогащаясь его воздействием, мы основательнее постигаем культуру, историю, социум, бытие в целом. Он играет роль ориентира, аргумента, свидетельства, конкретного носителя неуловимых идей, которые в нем локализируются, закрепляются и через него транслируются. Спустя некоторое время можно вновь к нему обратиться. Осознаем мы это или нет, символ уже вошел в наш интеллект, включился в тайную работу сознания и подсознания.

Отвлечемся, однако, от утомляющих читателя теоретических рассуждений и продолжим мысленно плавание по Волге.

Из Тверской области (так и хочется сказать — губернии) спускаемся ниже, в пределы Ярославской. И здесь нас встречает Углич, сказочно красивый древнерусский град, часть которого также затоплена хлябями водохранилища. Известный с X века, стоящий на пути из Варяг в Хозары, из моря Балтийского в море Каспийское, он многим славен в отечественной истории. Но главное событие, свершившееся здесь, — трагическая смерть малолетнего царевича Димитрия, ставшая не только конкретным эмпирическим фактом, но и глубоко врезавшимся в национальное самосознание событием историко-софского, метафизического, символического характера. В память о причисленном к лику святых, невинно убиенном отроке поставлена в 1692 году церковь царевича Димитрия «на крови». Позднее он был изображен на гербе города.

Перед нами еще один архитектурный символ России. Не затопленный, не разрушенный, не изуродованный, сохранивший, к счастью, внутреннее убранство и внешнее благолепие. Багряной своей расцветкой в стиле москов-

ского барокко конца XVII века церковь пламенеет на мысу, образовавшемся при впадении речки Каменки в Волгу. Небольшая по размерам, яркая по колориту, с блистающими позолоченными крестами над синими куполами, гораздо меньше величественного собора, монументальной колокольни и других построек кремля и нескольких близлежащих монастырей, она сразу притягивает внимание угадываемой знаковой доминантой обширной живописной панорамы града. Строители храма, несмотря на скромные его размеры, сумели придать этой постройке центральное значение, расположив ее на выигрышном месте — стрелке, которая в градостроительстве носит не только ландшафтный характер. Ведь это место соединения вод и тверди над потоком — особая точка пространства, которая играет доминирующую роль в визуальном и композиционном отношении.

Окраска храма напоминает запекшуюся густую кровь. Особенно впечатляюще она смотрится на фоне красок осени, над синью остывающих вод, под голубыми бездонными небесами. Все это придает храму значение не только русского исторического, но и вселенского, космического, общечеловеческого символа, в котором сошлось, сконцентрировалось, пластически выразилось много пересекающихся смыслов.

Власть и кровь, убийство и жертва, преступление и наказание, рок и судьба, смерть и жизнь, земная суета и горняя высь, временное и вечное, забвение одних и бессмертие других, свет гармонии и тьма хаоса, величие красоты и мерзость ее поругания, антитезы добра и зла, светлого и темного, божественного и дьявольского.

Невольно вспоминается другой храм «на крови»: церковь Спаса на Екатерининском канале в Санкт-Петербурге, поставленная на месте убийства императора Александра II в 1881 году. Это убийство означало наступление периода революционного террора, который, то угасая, то вновь разгораясь, продолжает полыхать в России до сего дня.

Правда, прежние мечты о социалистическом рае уступили место новым грезам об изобильном царстве растущего потребления в условиях развитого рынка и всеобщей демократии. Но эйфория ожидания очередного чуда быстро прошла. Неизбежное отрезвление заставляет нас вместо увлечения новыми мифами объективно разобраться в ситуации нынешнего «смутного времени», через опыт тысячелетнего развития постигнуть глубинные основания бытия нашего народа, вписать его интересы и чаяния в систему современных отношений как внутри страны, так и вне ее.

В несравненно более жестокое и трагичное время борьбы за независимость и самое бытие Руси наш народ осознал идею своего спасения, выживания и процветания через образ Святой Троицы, противостоящий «ненавистной розни мира сего». Преподобный Сергей Радонежский потому и стал духовным наставником Руси, что через свое подвижническое служение глубже других осознал особую роль этого спасительного образа и символа для раздираемой междоусобицей страны, воздвигнув своими руками деревянный храм на Маковце, от которого и пошла Троице-Сергиева лавра, сакральный центр России.

Идея Троицы была известна издавна, древнейший собор в Пскове посвящен Живоначальной Троице со времен крещения Руси, но только со времени преподобного Сергия, причисленных ныне к лику святых Андрея Рублева и Дмитрия Донского началось становление России и единение ее земель под знаком Троицы.

Пришло время вспомнить и еще об одном архитектурном символе России — Ипатьевском, во имя Живоначальной Троицы воздвигнутом монастыре, который подобно многим важнейшим памятникам отечественной истории и культуры расположен на стрелке двух рек, при впадении Костромы в Волгу, на живописной окраине одного из древнейших русских городов. Правда, наши безумные преобразователи природы и здесь потрудились над тем, чтобы испортить удивительный ландшафт, уникальное средоточие исторической памяти России. Река Кострома, перегороженная плотиной, вг адает теперь в обширное водохранилище севернее города, гордо называемое Костромским морем. Ипатьевский монастырь подтоплен подступившими к нему водами, он стоит на самой их кромке и обрамлен с одной стороны гигант-

скими мачтами линии электропередач, именно здесь перешагивающей через Волгу, да грубыми очертаниями фабрик и заводов промышленной части города — с другой.

Поразительно, но приходится невольно отметить, что, при гигантских просторах России, при нескученности ее городов, щедрой возможности сохранения неповторимых природных и исторических заповедных зон, у нас еще с дореволюционной, а особенно с послереволюционной поры вплоть до нашего времени проступает какое-то зловерное, прямо-таки садистское стремление испортить божественную красоту, сотворенную природой или людьми. Если строят автомагистраль, так по уникальной исторической застройке; если возводят целлюлозно-бумажный комбинат, так на берегу Байкала; если добывают строительный материал, то непременно из Жигулевских гор; если нужно поставить телевышку, то иного места, чем на Ярославовом дворище древнего Новгорода, ей найти нельзя; если нужно построить одну из самых больших в Европе гостиницу «Россия», то надо снести заповедную часть Зарядья. Эти примеры можно бесконечно множить. И при внешней экономической, урбанистической, социальной и иной якобы оптимальной целесообразности чувствуется некий подтекст, злорадное ехидство врага рода человеческого, который через людей несет во вред людям же поругание прекрасного, светлого, радостного.

Помню, как меня некогда поразили слова архитектора Петра Дмитриевича Барановского (1892 — 1984). В ответ на недоуменный вопрос, почему в Москве и по всей России сносили такие прекрасные храмы, дворцы, палаты, усадьбы, он ответил, что они были слишком хороши и слепили негодяям очи. Так зло, в его космическом виде, стремится поругать, осквернить, изуродовать красоту природы, творения человеческих рук. Так садист жаждет не только насильно взять красоту женского тела, но искромсать ее кровавым ножом. Любая ненависть безобразного, низменного к прекрасному, высокому носит поистине вселенский характер. Но лишь изредка она становится частью государственной политики, когда нужно любыми средствами сломить непримиримого врага, когда дикость и хамство используются как сокрушительные тараны.

Красота была одним из столпов бытия Древней Руси еще с языческих времен. Христианство утвердилось в ней через красоту культа. В старой России, благодаря многовековым традициям, расцвету искусств и ремесел, поощрению художеств как государством, так и меценатами, сложились великолепные, уникальные, не повторяющие никакие иные ансамбли городов, монастырей, крепостей, усадеб, старинных сел, погостов. Их облик частично доносят старые картины, фотографии, словесные описания. Остается лишь позавидовать тем, кто мог видеть красоту старой России перед опустошительными ураганами нашего столетия...

Но вернемся к Ипатьевскому монастырю. Подобно белоснежному граду Китежу стоит он у края вод. Крепкие стены и башни укрывают его главную святыню — храм во имя Живоначальной Троицы. Стройно и величественно сияет он золотым пятиглавием, виден за многие версты, хотя и стоит невысоко, на низком пойменном берегу. Он воздвигнут в 1652 году на месте старого, разрушившегося от взрыва хранившегося в подклете пороха, и зримо запечатлел расцвет России середины XVII века, который она переживала после трагического периода Смутного времени начала того же столетия (гораздо более тяжелого в сравнении с нынешним состоянием посттоталитарного общества, которое иным наблюдателям, не знающим глубоко отечественной истории, кажется катастрофическим).

Древняя обитель, основанная, как полагают некоторые исследователи, еще в XIII веке, прославилась во времена Романовых и Годуновых. Именно отсюда в марте 1613 года уходил на царство юный Михаил, утвердивший новую правящую династию. Молившийся у образа Пресвятой Троицы, благословленный иконой Феодоровской Божией Матери, главной святыней града, сохранившейся доньше, он ушел в Москву на служение Отечеству. Ипатьевская обитель с Троицким собором и Феодоровская икона стали сакральными символами трехсотлетнего правления дома Романовых.

Кострома как колыбель дома Романовых пользовалась неизменным их благоволением. И до революции она представляла собой один из самых кра-

сивых и самобытных российских городов. Драматург Островский в словах, а художник Кустодиев в красках живописали этот город с большой любовью и пониманием его неповторимого облика. Видами старой Костромы можно любоваться по сохранившимся фотографиям, рисункам, полотнам художников. В читальном зале местного педагогического института, расположенного на набережной Волги, где раньше помещалась семинария, сохранилось живописное панно с изображением панорамы города, какой она некогда представляла с заволжской стороны. Чарующий вид процветающего града с выразительными силуэтами храмов и стройных колоколен, поставленных на высоком берегу, невольно вызывает восхищение и желание подольше побыть, полюбоваться, запомнить ту Россию, «которую мы потеряли» и которую в основных, неотменяемых ценностях необходимо возрождать, как бы сильно ни были они разрушены, повреждены, искажены.

Есть и другая панорама города, в ином его месте — в здании железнодорожного вокзала, построенного вместе с мостом через Волгу в довоенные годы. Храмы на ней исчезли из вида новой Костромы, дымят трубы, громоздятся здания, индустриальный пафос 30-х годов доминирует в образе кипучего социалистического, кажущегося совсем не древним города. А в центре вместо кремля со старинным Успенским, грандиозным Богоявленским соборами и объединяющей все постройки удивительно красивой барочной колокольни конца XVIII века, воздвигнутой местным каменных дел мастером Степаном Воротиловым, над городом высится статуя Ленина на причудливом, странном постаменте. Как идол новой веры доминирует она над всеми живущими и работающими жителями. Необычна история этого постаamenta, удивляет он своим видом, несмотря на все усилия сгладить диссонанс между величественным, в древнерусском стиле воздвигнутым постаментом и кургузой, плотной, пролетарски примитивной фигурой, с характерным жестом непропорционально большой вытянутой руки, обращенной лицом к подразумеваемой внизу толпе народа и спиной к красавице Волге, что по неписаным канонам градостроительной эстетики волжских городов является пренебрежительным вызовом многовековой традиции.

Все эти контрасты, скрытая семантика памятника, его поистине символизующее содержание и активное воздействие на окружающее пространство становятся ясными при изучении подлинной истории создания монумента. Здесь, рядом с величественным соборным ансамблем древнего кремля, над речным простором, было задумано возвести часовню-памятник в честь 300-летия дома Романовых. В результате проведенного конкурса лучшим был признан проект талантливого скульптора, академика А. Адамсона, которому принадлежит ряд известных творений, в том числе памятник-колонна погибшим кораблям, установленный в Севастополе.

То, что не удалось сделать в Москве, почти полностью уничтожив сакральные места старого российского града, — вознести над столицей колоссальное капище Дворца Советов со стометровой статуей вождя, было реализовано на областном уровне, в Костроме, в более скромном масштабе, с меньшей затратой казенных средств, с малым разрушением исторической застройки (гражданская архитектура в центре сохранилась довольно неплохо).

Памятник Ленину в Костроме, который раньше назойливо выпячивался во всех видах образительной продукции, теперь стыдливо прячется в современных рекламных изданиях, но это тоже архитектурно-скульптурный символ России. Это один из первых монументов вождю мирового пролетариата, воздвигнутый еще при его жизни, 1 мая 1923 года.

Сейчас одна из плодотворных, конструктивных, консолидирующих идей, хотя и не всеми признаваемая, — это идея постреволюционной, посттоталитарной, постперестроечной реставрации того ценного, нужного, основополагающего, что имела старая Россия.

Обратимся снова к многострадальной Костроме, почти ровеснице Москвы, насчитывающей около восьми веков своего существования. Из процветавшего некогда губернского города, пользовавшегося покровительством правящей династии (за что и была ненавидима антицарскими силами), она сначала была превращена в рядовой город, подчиненный соседнему Ярославлю. Но когда после неоднократных и оказавшихся бесплодными попыток пе-

рекроить карту России вернулись все-таки к выдержавшему испытание временем губернскому делению времен Екатерины II, Кострома стала областным городом советского типа с центральной Советской улицей и всеми добавляющими атрибутами.

Однако тоска костромичей по утраченной красоте родного града стала постепенно изменять облик соцгорода, идеал которого — панно в здании железнодорожного вокзала. Когда над Красными торговыми рядами вновь возвели некогда разрушенную колокольню церкви Спаса, стоящую на оси центральной симметрии, то не только сами ряды, составляющие интересный ансамбль нескольких торговых сооружений, построенных в классическом стиле, не только центр Костромы, но и весь город обрел доминантную вертикаль. Памятник же Ленину не подходил для этой роли, ибо был слишком груб, приземист, антиэстетичен. Поднявшаяся колокольня напоминает обликом, градоформирующим воздействием, стилем широко известный вертикальный центральный объем Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, столь важный в силуэте северной столицы.

Оказалось, что в Костроме, при всех утратах, сохранилось немало храмов, которые сейчас начинают возрождаться и вновь проступать в панораме застройки своим праздничным, возвышенным, необыденным обликом. Встает вопрос о реставрации снесенных при храмах колоколен, столь не соответствующих образу рядового социалистического города. Более того, начинают всерьез обсуждать идею восстановления полностью разрушенных храмовых комплексов, прежде всего соборного кремлевского ансамбля.

Концепция частичной и полной регенерации памятников архитектуры — одна из наиболее спорных. Допустимо ли по существу заново возводить некогда утраченное сооружение или основные его части? Здесь не может быть однозначного ответа на сложные вопросы, которые ставит жизнь. Нельзя, например, восстановить Парфенон. И не только потому, что он сделан из мрамора, а не из кирпича или дерева, которые быстро стареют и требуют в любом случае ремонта и замены, но главным образом потому, что он не может быть использован по своему назначению, как языческий храм, для музея же уместно использовать иные, хорошо сохранившиеся памятники архитектуры.

Но что, скажите, делать с зияющими пустотами в российских городах на месте некогда снесенных храмов? Оставлять подлинные пустоши как символы нашего варварства? Или строить нечто иное? Храм, даже снесенный, незримо витает на своем исконном месте, сакральная святыня не может быть пустой. Города задыхаются от бездуховности, от агрессивного натиска дисгармонизирующих сил, потому им и людям, жаждущим спасения, храмы нужны. Нужны не вообще и в любых местах, а на своих, от века данных. Традиция возобновления разрушенных храмов издавна существует на Руси и в других странах. На месте первого, как правило деревянного, утраченного после пожаров, войн, набегов, естественного старения, ставили второй, третий, четвертый, и до нас дошли последние из них.

Если бы россияне фетишизировали принцип сбережения подлинности памятников, то вся Москва, включая Кремль, как и другие города, состояла бы из руин. Город, как живой организм, требует регенерации недостающих ему частей, тем более самых значимых, самых ценных, самых благотворно воздействующих на его жителей.

Недавно на Красной площади вновь воскрес из мертвых Казанский собор. Можно называть его новоделом, макетом в натуральную величину, реализацией амбициозных планов неких расчетливых лиц. Он выдержит любую критику, все проявления недовольства и постепенно войдет в жизнь города, как и стоявший до него прототип.

Разумеется, старую Москву невозможно восстановить в ее подлинном виде, но максимально возродить наиболее значимые в историческом, культурном, эстетическом, сакральном отношении памятники необходимо. Это прежде всего относится к архитектурным творениям, ставшим символами российской столицы: храму Христа Спасителя и Сухаревой башне.

Первый, слава Богу, невзирая на все препятствия, начинает возрождаться, очередь второй рано или поздно придет. Против восстановления главного храма России ведется ожесточенная полемика, выдвигается масса внешне разумных доводов: не вовремя, дорого, отвлекаются средства, нет мастеров,

расписывать некому, не такой уж это шедевр и т. д. Но пришло время собирания камней. Если Москва даст пример, то по всей России, где были разрушены главные соборные храмы, пойдет волна их восстановления. И чем дольше ждать, тем дороже будет восстанавливать. И средства при этом не распыляются, а концентрируются. Мастера же не рождаются сами по себе, а растут в процессе восстановления памятника, в практической реставрационной работе. И распишут его не хуже, чем после войны расписали полуразрушенные царские дворцы под Петербургом. Что же касается споров о чисто архитектурных и эстетических достоинствах храма Христа Спасителя, то мнений на этот счет может быть сколько угодно.

Некоторым россиянам не нравится мрачноватая готика, иным чужеземцам странен необычно многоцветный собор Василия Блаженного, многим слишком причудливым кажется стиль рококо, других же раздражают выкрутасы модерна или конструктивизма. Стилей может быть множество, они отражают полноту и разнообразие жизни. Пусть же они сосуществуют, дополняя, не подавляя, не перечеркивая друг друга.

Что же касается восстановления исторической среды и отдельных памятников, то это не российская доморощенная причуда. После второй мировой войны столица Польши лежала в руинах. И в голодное, трудное время поляки нашли волю, желание, время, средства для того, чтобы полностью восстановить исторический центр Варшавы — Старе место, с готическими костелами, ренессансными и барочными зданиями, с резиденцией правителей — Королевским замком. Были восстановлены не только каменные оболочки зданий, но и витражи, росписи, паркет, гобелены — все, что требуется для воссоздания подлинного облика. И вот спросите поляков, что бы они хотели иметь: подлинные руины, безликий социалистический город или пусть и заново отстроенный, но в максимально приближенном виде к тому, что веками существовал на этом месте? Ответ будет ясен, хотя и у них было немало скептиков, прагматиков, наконец, просто равнодушных к своей истории людей.

Сейчас польская школа реставрации считается одной из лучших в мире, ее представители работают во многих странах, в том числе и у нас. Такие мастера могли вырасти только на живом деле, которого не нужно бояться и избегать, но нужно находить решения для его реализации. У нашей отечественной школы реставрации трудами ее подвижников есть немалые заслуги, но сейчас вместе со всем обществом она переживает трудные времена. И моральное оправдание труда реставраторов не менее важно, чем финансирование и обеспечение их материалами.

Обращаясь же к Казанскому собору, мы видим еще один символ России — символ новой посттоталитарной страны, возрождающей свое историческое наследие, перебрасывающей мост между современной эпохой и миром Древней Руси, когда закладывались основы нашей государственности, культуры, народного самосознания. Чем прочнее окажется эта связь, тем крепче будет держава. Сбережение святынь и традиций вовсе не лишает общество социального динамизма и обращенности в будущее. Пример процветающих стран Европы и Азии служит тому подтверждением...



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

МИХАИЛ ПЕСКОВ

*

НА УГОРЕ

Записки крестьянского сына

Глава 1. 1925 — 1931

18 февраля 1925 года родила меня моя мама. Было это в зимнюю стужу. Повез отец на санях в город Шёнкурск мою маму с начавшимися схватками, и, кажется, родился я чуть ли не в санях, на улице. Уточнить не у кого теперь.

Помню я себя лет с четырех-пяти. Мы жили в деревне Запольки километрах в семи-восьми от Шенкурска — районного центра Архангельской области. Шенкурск, небольшой деревянный и тогда почти сплошь одноэтажный городок, стоит на реке Ваге, притоке Северной Двины, к югу от Архангельска на триста километров по прямой, а по дорогам — более четырехсот. До другого крупного города — Вологды — тоже порядка четырехсот километров. Но Вологда — это уже другая область, и туда не ездили. Связь была с Архангельском и в основном летом — речным путем. Ходил колесный пароход «Ударник» — тягач, тянувший за собой баржу; на барже — на палубе и в трюме — пассажиры со своим багажом (удобств никаких — сидели и лежали на полу). До Архангельска плыть по течению двое суток — сначала по Ваге, затем по Северной Двине; обратно, против течения, — дольше. Плавал «Ударник» только летом, когда реки свободны от льда. Если Вага в жару пересыхала, пароход не ходил.

Словом, край глухой. Деревни, небольшие города и проселочные дороги тянутся по берегам рек, а вокруг на сотни километров еловые и сосновые леса. Чем дальше от реки и деревни — тем непроходимее чаша. Много болот; в лесу — полчища комаров; водились и крупные звери — медведи и волки.

Летом бывали жаркие дни и даже недели. С конца мая и до середины июля — белые ночи: солнце за горизонт уходит, но поздно, чуть не в полночь, ненадолго и неглубоко, и — светло как днем. Но лето короткое. Снег сходит только в апреле, а снова выпадает в октябре — ноябре.

Наши Запольки были одной из десятка деревень, протянувшихся цепочкой вдоль угора — высокого берега реки Игошки, притока Ваги. Весь этот берег назывался Федоровой горой. Запольки были застроены перпендикулярно к реке, а наш дом был крайним и стоял на краю угора, в одном из самых красивых на всю округу мест: внизу, под угором, неширокая (метров десять) Игошка, за ней — заливной луг, разостлавшийся километров на пять до самой Ваги; на лугу — белые полосы двух проселочных дорог и два небольших озера; на горизонте блестит полоса воды — это Вага; за Вагой темнеет лес.

В Запольках было девять—двенадцать дворов, то есть деревня маленькая; несколько дворов принадлежали двоюродным и троюродным родственникам отца; два дома стояли заколоченными — в них когда-то жили старшие отцовы братья (но один уехал, другой умер), кроме того, было еще два-три дома Кузнецовых и дом или два — Коноваловых (тоже родственники между собой). Впрочем, по фамилиям называть было не принято. У каждого семейного рода были свои прозвища. Нас, например, называли *Кукушками*; у других имелись иные прозвания: *Карасы*, *Липки*, *Лопаты*, *Лапотные* и проч.

Кто первый из наших предков обосновался в Запольках, — мне неизвестно, и свою родословную могу вести только начиная с деда — Ивана Гавриловича. Сам я его уже не застал — он умер в 1918 году; слышал о нем от старших. Он родился чуть не в 40-е годы XIX века. Начало его семейной жизни было несчастливым: жена сделалась пьяницей и однажды зимой в пьяном виде замерзла в снегу. Детей у него от нее не было, и он женился вторично. Его новая жена Анна Федоровна родила ему в 1870 — 1880-е годы пять сыновей и двух дочерей.

Иван Гаврилович был очень набожным. На одном из лугов по берегу Ваги был родник с ключевой водой. Дед обложил этот родник срубом, сделанным из толстого бревна с выдолбленной сердцевинной в виде цилиндра, на сруб повесил берестяное ведро, а рядом с родником поставил маленькую часовню — по всем правилам: с иконами, лампадками, с крестом на крыше. Другая часовня, побольше, стояла в другую сторону от Заполек, ближе к лесу, при повороте на дорогу в Шенкурск. Она была всегда открыта, и в ней всегда, во всяком случае, когда мы, ребятишки, туда забегали, горела перед образами лампада. Кто зажигал лампаду, кто ухаживал за часовней, не знаю. Дед, как и все в нашей округе, исповедовал общепринятую православную веру — старообрядцем не был.

Еще знаю про деда, что хозяйство свое он вел справно, был крепкий во всех отношениях крестьянин; умел прокормить семью не только постоянным сельским трудом, но и другими способами. Где-то на том берегу Ваги, на большом тракте, он держал трактор, а еще устраивал по праздничным дням в Шенкурске платную карусель, собственноручно им смастеренную. Саму карусель в работе я, конечно, не видел, но сиденья от нее помню: они были заброшены на нашем чердаке.

Мой отец, Илья Иванович (1885 — 1941), был младшим, пятым сыном Ивана Гавриловича. Почему-то именно ему достался родительский дом в Запольках — может быть, потому, что старших, после того как они женились, дед отделил и они построили себе свои дома, а мой отец, как последний сын, женился позже других и, соответственно, дольше оставался при родителях, а когда женился, старшие уже жили в своих домах?

Совершенно не могу припомнить отца отдыхающим дома: он все время без устали работал от зари до зари в поле или по хозяйству. Все сам. Вставал ранним утром, еще затемно, и отправлялся пахать, боронить, сеять, косить, что-то пристраивать к дому, что-то чинить, колоть дрова и т. д. и т. п.

О его молодости знаю немного. Около 1905 года он был призван в армию, после нескольких лет солдатской службы вернулся в Запольки. В первой мировой войне не участвовал. Около 1910 года женился. В 1923 году его жена умерла, и он остался вдовцом с тремя сыновьями — Александром (родился около 1910/12), Иваном (1914) и Николаем (1922). В следующем, 1924 году он женился вторично — на Ефросинии Афанасьевне Чудиновой (1895 — 1988). Она и стала моей мамой.

Отец и мать были между собой родственниками — отец приходился маме двоюродным дядей (мой дед Иван Гаврилович был родным братом маминой бабушки Анны Гавриловны). Но ничего — кажется, ни у кого из потомства, насколько мне известно, никаких отклонений не случилось — хвостики не росли.

Мама родилась 8 октября (26 сентября по старому стилю) 1895 года в деревне Сметанино (двенадцать километров от Заполек); там и прожила большую часть жизни до соединения с отцом. В ее семье, как и в семье отца, было семь детей: она, три брата и три сестры. В Сметанино она окончила начальную школу и впоследствии писала всегда достаточно грамотно (все мои старшие родственники были грамотными, то есть читать и писать умели). Году в 1911 — 1912 родители отправили маму в Архангельск — свет посмотреть. Она устроилась прислугой в семье обрусевших немцев. Глава семейства — инженер Штольц — служил на архангельском лесопильном заводе, его жена не работала, их дочери — Марта и Клара, барышни маминого возраста, — учились. Хотя они и были обрусевшими, но дома говорили между собой по-немецки. В мамины обязанности входила уборка дома, стирка и еще что-то по мелочи. Готовили хозяйка и ее дочки. Все воспитанные, уважительные друг к другу и к моей матери. Мама получала за работу деньги, на

которые покупала даже подарки родителям, братьям и сестрам в деревню. К праздникам Штольцы ей самой обязательно что-нибудь дарили (одна шкапулка с палехской росписью всегда была с ней до самой смерти, в этой шкапулке она хранила документы, справки, деньги и т. п.). Мама очень старалась вести в доме чистоту и порядок, и ею были довольны. Работала она у Штольцев два сезона с осени до весны. Летом обязательно уезжала домой, так как там был разгар сельскохозяйственных работ и нужна была ее помощь родителям. Потом, в конце 30-х годов, когда мы уже жили в Архангельске, она несколько раз навещала своих немцев. Старшие Штольцы к тому времени умерли, а Клара и Марта имели свои семьи и жили, как все советские. Принимали они маму в гостях очень задушевно. Что с ними стало потом, после начала войны с Германией, когда немцев стали репрессировать, — не знаю.

Революции 1917 года застали маму дома, в Сметанино. Началась гражданская война, эхо которой отозвалось и в наших краях. Появились свои белые и красные. Мама рассказывала, что ее брат Федор был за красных и как-то взял ее с обозом, на котором везли что-то для красных в Шеговары (это городишко недалеко от Шенкурска). Она кормила лошадей и сторожила на стоянках. На этом ее революционная деятельность закончилась. Около 1919 — 1920 года она вышла замуж и переехала в дом мужа — в Едиму (село километрах в десяти от Сметанино, на другом берегу Ваги). Ее муж Николай вскоре после свадьбы был призван в Красную Армию солдатом, воевал в Сибири и погиб под Канском (это где-то за Красноярском). Она осталась вдовой и возвратилась домой в Сметанино (детей завести не успели). А вскоре ее сосватали в Запольки за моего отца — на трех чужих сыновей.

Нелегкое дело — быть мачехой да еще вести большое хозяйство. Но она решилась и везла этот воз исправно. Ее пасынки, мои сводные братья, полюбили ее и всегда уважали. Сразу скажу и о них.

Двое старших, Александр и Иван, прожили с отцом и моей мамой четыре-пять лет и в конце 20-х годов начали самостоятельную жизнь. Александр (помню его смутно) уехал на Север, в Нарьян-Мар, — на заработки. В Запольки приезжал изредка. Когда приезжал — его встречали как дорогого гостя. Отец запрягал тарантас и ездил к пристани в Шенкурск. Александр так и остался в Нарьян-Маре; оттуда его призвали в армию при начале войны, и в 1943 году он погиб.

Следующий брат по отцу, Иван, недавно отметил свое восьмидесятилетие — сейчас живет с детьми и внуками в Запорожье, на Украине. В 1929 — 1930 годах Ваня кончил училище и уехал в соседний Устьянский район работать школьным учителем. Ему тогда исполнилось пятнадцать—шестнадцать, и иные его ученики были старше и выше его. Работая учителем, он закончил заочно Архангельский пединститут, получил высшее образование и, переехав в Архангельск, преподавал математику в старших классах. В 1939 году его призвали в армию, в 1941-м он закончил военное училище и уже лейтенантом ушел на войну. Свои офицерские деньги (аттестат с окладом) он перевел моей матери (он всегда ее любил и почитал как родную). Из его жизни в Запольках помню один эпизод: как он вместе с кем-то из своих ровесников устраивал в нашем доме радио. Залезли на крышу, там поставили длинные шести, протянули провод, подключили к нему какую-то коробочку (теперь-то я думаю, что это был детекторный приемник), и в покупные наушники можно было слышать речь и музыку. Чудеса в то время не только для нас, малышни, но и для взрослых!

Третий мой сводный брат, Николай, жил с нами до тех пор, пока мы сами оставались в Запольках, а потом его взял к себе на Устье Ваня. После он уехал в Архангельск и работал там на центральном телеграфе. В июле 1941 года был призван на фронт и в первых же боях погиб. Такова короткая его жизнь. Царство ему небесное. Жизни не успел увидеть.

Некоторое время — года до 1928 — 1929 — одну комнату у нас занимал старший брат отца — Василий. Судьба его сложилась несчастливо: детей не было, жена попала под поезд, сам заболел туберкулезом. Его дом в Запольках стоял заколоченным, а он доживал жизнь у нас. Помню его очень смутно, зато врзался в память эпизод после его смерти: отец стесывает топором запачканную мокротами стену возле кровати, на которой лежал Василий (дезинфекция).

Вернемся к моим родителям. Итак, в 1924 году они поженились. Маме было двадцать восемь лет, отцу — тридцать девять. Скоро пошли общие дети — опять одни мальчишки: я — в 1925 году, Витя — в 1926-м, Леня — в 1927-м, Толя — в 1931-м. С ними я рос, с ними прошло мое детство.

Отца мы называли *тятя*, *тятка*; слово *papa* было неизвестно. Мама — только *мама*. Не помню, чтобы родители ругались на нас или били. Ругани и рукоприкладства не было не потому, что мы были очень послушные дети, а просто потому, что не было принято. Самым страшным бранным словом у отца было слово *стату́й* (наверное, производное от *ста́туи*). Когда кто-нибудь из детей разобьет что-нибудь, сломает и т. п., помню, он говорил: «У, стату́й какой!» Мата от родителей я не слышал, хотя в деревне были мужики, матерщинничавшие при каждом слове.

Все мои братья и я — крещеные, у всех были свои крестные отцы и матери (они называются в наших краях *божа́тками*). Но крещение тогда официально преследовалось, нательных крестов мы, кажется, не носили в детстве, креститься и молиться родители нас не приучали. Не знаю, насколько верующим был отец, но мама верила в Бога очень — в церкви бывала, конечно, редко, а может быть, и вовсе не бывала (все церкви в округе советская власть закрыла), но помню, как она часто останавливалась перед образами, висевшими у нас в красном углу, и крестилась. Ну а потом, когда мы жили в Архангельске, она уже ходила в церковь часто.

* * *

У нас был большой бревенчатый дом (площадь около 200 — 220 кв. м) и обширный двор (около гектара). Дом состоял из трех помещений: 1) летняя изба (две комнаты и кухня — общей площадью 50 — 60 кв. м) — здесь жили летом; 2) зимняя изба (примерно такая же, как летняя) — сюда переходили на зиму; 3) двухэтажное хозяйственное помещение между летней и зимней избами (около 100 кв. м): на первом этаже — конюшня и хлев, на втором — *поветь* (сеновал). У каждой избы были свои сени и отдельное крыльцо; на поветь вел пологий бревенчатый съезд (настил), по которому лошадь могла взвозить на телеге сено. К дому был пристроен длинный навес — крыша на столбах, без стен. Здесь хранились дрова, хомуты, дуги, запасные колеса, плуг, борона, здесь стояли телеги, сани, тарантас (наша праздничная карета).

Мебель и утварь в летней и зимней избах были не только обычными, деревенскими, сделанными собственными руками отца или еще деда, но и покупными. На кухне — кухонный стол, подстольник (тоже стол, но с двумя выдвижными ящиками для ложек, вилок, ножей), полки для посуды, горшков, крынок и т. п.; в углу — деревянный ушат с водой, рукомойник и таз (оба — медные и всегда начищены до блеска). Справа от рукомойника на полочке — мыло, обычное хозяйственное мыло, — никакого другого не помню. Зубных щеток тоже не помню. А чистили ли мы зубы?

В летней и в зимней избах было по две комнаты: одна называлась *горница*, вторая — *изба*. В горнице всегда принимали гостей. В красном углу — иконы; на праздники перед ними зажигали лампадку. Столы в избе и в горнице массивные, никак не крашенные, лавки — тоже. Кроме лавок были табуретки, а в горнице — венские стулья. Стены бревенчатые, между бревнами мох (виден). Полы из широких-широких досок: в избе — некрашенные (перед праздниками их отскребали до белизны), в горнице — крашенные, светло-коричневые. От порога до стола разостлана домотканая полотняная дорожка.

В горнице — деревянная кровать. На кровати — перина, стеганое ватное одеяло, покрывало, подушки. Подушки в белых наволочках сложены друг на друга, на них кружевная накидка. На кровати спали отец и мать, а мы, ребятишки, или на полатах (летом), или на печке (зимой). Не помню, были ли у нас простыни, но матрацы были, одеяла были, подушки перьевые были. Спали мы все рядом, вповалку, я, как старший, с краю.

Еще был буфет со стеклянными дверцами; большое зеркало с тумбочкой — нечто вроде трюмо; деревянный сундук, в котором хранилась выходная одежда; комод, где лежали рубашки, кофты и т. п. Платяных шкафов не имелось. Был столик, полированный, фабричного производства, на нем сто-

яла мамина ручная швейная машинка с золотистой надписью: «Singer». Все, что мы носили, мама шила сама.

Помню моменты, когда она сидела за машинкой и шила что-то, потихонечку, почти про себя, напевая какую-нибудь протяжную песню:

По диким степям Забайкалья,
Где золото руют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах...

Или:

Чудный месяц плывет над рекою...

Помню, как-то раз она сняла с машинки рубашку, надела на меня и протяжно-певуче сказала: «Как люблю я Мишу-то за рубашку вышиту!»

Главный предмет и в летней и в зимней избе — это русская печь. Она стоит прямо на земле (полы настилаются уже вокруг нее) и доходит до потолка, труба проходит через чердак и через крышу — на улицу. Топится печь один раз в день, утром, но хранит тепло целые сутки, даже в сильные морозы. Конечно, для печи нужно много дров, но с дровами проблем не было — лес же кругом! После того, как печь протопят, из нее выгребают все угли и золу (то есть горячую печь делают внутри совершенно чистой), и только после этого мама ставит в нее чугуны и чугунки, в которых варится еда. Мама безошибочно знала, что, когда и на сколько ставить в печь, чтобы хлеб не был сырым или пережаренным, чтобы суп не выбежал при кипении, чтобы каша не подгорела и молоко топилося с вкусной пенкой. К нужному времени все было готово. А потом сваренная и изжаренная пища сохранялась в печи горячей, так что когда садились обедать, то ничего не разогревали, а доставали из печи горячие щи, горячую картошку и т. д.

Над домом был чердак, там лежала в основном ненужная старая утварь, туда же складывались на лето некоторые зимние вещи — лыжи, наши детские санки и т. п. В центре чердака была маленькая (3 × 3 м) светелка с окном и балкончиком с резными перилами. В светелке лежали, помимо прочего, кипы старых журналов (в основном дореволюционная «Нива», которую, наверное, покупал или выписывал дед Иван Гаврилович, родители не выписывали советских журналов и газет). Я любил забираться в светелку: и журналы можно полистать, и сверху далеко видно!

Электричества в деревне не было. Освещались помещения керосиновыми лампами. Были лампы всякие десятилинейные — очень светлые, настоящие люстры. Их зажигали при больших застольях. Для повседневного обихода — настольные семилинейные лампы, менее яркие. Были еще пятилинейные со слабым светом, но возле такой лампы вполне можно было читать, иногда нам ставили ее на печку, и мы, ребята, лежа смотрели книжки.

Весь дом был бревенчатый, но снаружи обшит тесом (вагонкой — сказали бы сейчас) и покрашен темно-зеленой краской. На коньке крыши установлен флюгер — по нему определяли направление ветра. Термометров и барометров не было. Температуру определяли по ощущениям: тепло, прохладно, холодно.

Самым большим помещением в доме была поветь: метров десять — двенадцать в ширину и столько же в длину. Поветь — это сеновал, расположенный над конюшней и хлевом. На повети вдоль всех стен до самой крыши — сено. Когда нужно кормить лошадь, корову или овец, сено сбрасывают в люки, сделанные в полу повети и расположенные прямо над яслями скотины. Потолок на повети не стелили, над головой были видны стропила и крыша — очень высокая. За верхние стропила привязаны толстые веревки, и к ним внизу прикреплена доска — это наши качели (отец сделал). Можно качаться одному, можно вдвоем; если стать на край доски, можно раскачаться так, что головой стукнешься о крышу. А потом с качелей на лету прыгать в сено. Можно кувыряться в сене и прыгать на нем вдоволь. А дух-то какой, когда пахнет сеном!

Под повстью — хлев и конюшня. Пола как такового там не было, а на земле лежала толстая подстилка из соломы, ходить по ней было пружинистомыякко. Через какое-то время эта солома превращалась в навоз, и его выгребали периодически на тыльную сторону двора — к угору. Там, недалеко от съезда на поветь, копилась куча навоза, которую по весне развозили на свои поля.

Кроме повети сеном загружали еще и небольшой сарай (4 × 4 м) во дворе. Там же, во дворе, вдоль угора были другие хозяйственные постройки.

Погреб — это небольшой сруб, накрытый крышей, с маленькой дверью; внутри — лок, под ним — яма (2 × 2 м); пол земляной, стены кирпичные; вдоль стен — полки, на полках — крынки с молоком, сметаной, творогом, домашним сыром; на полу — четыре-пять бочек: с солониной (баранина и говядина — свои овцы и телята), с соленой рыбой (ловили сетями в Игошке и Ваге), с ягодами, с солеными грибами (запасались в лесу — по осени отец и мать обязательно ходили в лес несколько раз за грибами, а летом за ягодами). Весной подвал набивается снегом и льдом до половины — для холода.

Яма для хранения картошки (по архитектуре похожа на погреб: внутри тоже полки, на которых картошка рассыпана, на полу — картошка в мешках; лед сюда, конечно, не клали).

Овин — это маленький домик (2 × 2 м) для сушки снопов. Внутри овина — решетчатые полки, на них рядами укладываются снопы. Овин стоит на самом краю угора. В угоре же, ниже овинного сруба, выкопана небольшая пещера — это печь, труба которой зигзагом выходит посередине овина, под полками-решетками. Когда эту пещеру-печь топят, теплый дым по трубе падает в овин и сушит зерно в снопах.

Гумно — это место для молотыбы: хорошо утрамбованная круглая площадка диаметром около трех метров. Она чисто-чисто подметена. Сюда приносят из овина два-три высушенных снопа, и три-четыре человека становятся вокруг и по очереди молотят по снопам цепями (цеп — это две скрепленные веревкой деревянные палки: за одну, длиной метра полтора, берутся руками, а другая, вдвое короче, болтается на веревке). Молотильщики (в том числе и я, но у меня цеп укороченный — детский) поочередно поднимают свои цепи над головой и изо всей силы ударяют короткой палкой плашмя по снопам. Снопы принимают эти хлесткие удары, и зерно из колосьев осыпается на площадку. Так минут десять, пока все зерна из колосьев не вывалятся. Тогда на гумно кладут очередные два-три снопа, молотят и т. д. Зерна накопилось уже много. Его подметают березовым веником без листьев и складывают рядом в кучу. Скоро куча становится целым курганом. На сегодня молотить хватит — дело к вечеру, а зерно надо еще обработать — не оставлять же его под открытым небом (а вдруг дождь!). Начинают веять, то есть отделять зерно от мякины. Отец становится возле кучи-кургана и деревянной лопатой зачерпывает порцию зерна, поворачивает эту порцию на лопате (и сам поворачивается) по дуге вполборота, подбрасывает зерно с лопаты вверх, и ветром легкую мякину относит в сторону, а тяжелое зерно падает на землю. Так, лопата за лопатой, на новом месте образуется новая куча, но уже чистого зерна, без мякины. Провеяв все обмолоченное сегодня зерно, засыпают его в мешки и везут на телеге в амбар.

Амбар — здесь хранится зерно. Амбар стоит на четырех сваях-столбиках (похож на сказочную избушку на курьих ножках), эти сваи специально обточены «елочкой», и пол амбара приподнят над землей на полметра (защита от грызунов). В амбаре — лари, деревянные ящики с двумя-тремя перегородками (сусеками); по сусекам насыпается зерно (обязательно сухое; Боже упаси насыпать влажное зерно — сгниет и прорастет). Здесь же хранилась мука — ее мололи за плату на мельнице. Мельница была одна на всю Федорову гору.

Возле дома был огород — там на грядках росли лук, морковь, репа, редька, свекла. Капусты не было — видимо, не приживалась. Никаких фруктовых деревьев (они в наших краях не плодоносят — из-за поздней весны и ранней осени). Ягодных кустарников тоже не было — ягоды заготавливали на зиму в лесу (клюкву, бруснику, чернику, морошку, малину, черную и красную смородину).

Двор был обнесен изгородью: длинные жерди крепились к столбам параллельно к земле; расстояние между жердями такое, чтобы не пролезла ско-

тина. Изгородь и нужна была для того, чтобы коровы и овцы не испортили огород, а не от чужих людей и тем более не от воров. Воровства у нас в помине не было: ни дом, ни хозяйственные постройки никогда не запирались — когда уходили из дому, к двери прислоняли веник — знак отсутствия хозяев.

За изгородью стояли наша баня и наш колодец. Баня небольшая (3 × 4 м): предбанничек, где оставляли одежду, и сама баня. Здесь в углу печь с вделанным в нее котлом; когда печь топится, вода в котле кипит и в бане жара. Под потолком над печью — чугунная дверца, за которой раскаленная чугунная ниша, — это парилка; если туда плеснуть воды, она на глазах превращается в пар. Напротив печурки вдоль стены — *полок*: как бы лесенка с широкими (около полуметра) ступенями. На верхних ступенях особенно жарко — там парятся взрослые: плеснут ковш воды в парилку — и бегом на полки; хлещут себя мокрым березовым веником, разгорячая тело. Когда напарятся как следует (отец любил!), слезают с полка и моются. В баню ходили обязательно раз в неделю, мы обычно с отцом; малышей мыла мама. Помню, терли друг другу спины намыленными мочалками, и отец всегда приговаривал: «Прибавь силы!» Зато когда он тер мою спину, то я просил его силу убавить: «Три короче!» Может быть, потому, что мылись каждую неделю и в доме соблюдали чистоту, у нас никогда не бывало ни вшей, ни блох, ни клопов (кстати, тараканов тоже не помню).

В хозяйстве была лошадь, корова и около десятка овец (кур не держали — больно огороды портят). Лошадь — главная работяга на всех полевых работах. Благодаря корове у нас всегда было молоко, сметана, творог, масло, сыр. Овец стригли, из шерсти катали валенки, мать на прялке выдělывала шерстяные нитки, из которых потом вязала носки. На прялке же мать делала нитки из конопли и льна, а из ниток уже ткала полотно (отец работал в поле в штанах из такого домотканого полотна; из этого же полотна были сделаны дорожки, лежавшие на полу в доме).

У нас было несколько делянок пахотной и луговой земли (они назывались «делянки» потому, что земля у крестьян считалась общей собственностью и ее делили на крестьянском сходе пропорционально числу едоков в каждой семье). Две делянки были рядом с домом — на них сеяли картофель и какие-либо злаки (чередую: в один год картофель сажают на этой делянке, а рожь, например, на той; в следующем году наоборот). Были и дальние пашни, и сенокосные делянки — на залильном лугу возле Ваги и на лесных полянах. Сеяли рожь, ячмень (жито), овес, лен, коноплю. Пшеница не росла (холодно). Траву на сенокосных делянках косил всегда отец — косой, а злаки серпами жала мать. Пахал, естественно, отец — плугом. Плугом же выкапывали картошку. Убирали с полей вместе, обычно с помощью старших детей.

Я помогал родителям лет с пяти. Помню, как помогал скирдовать сено на залильном лугу между Игошкой и Вагой. Трава уже скошена и высушена на солнце. День погожий. Отец запрягает лошадь в телегу, на телегу грузит сани (специально сделаны для того, чтобы возить сено по жнивью), и мы едем на свою делянку. Делянка не у самой дороги, а за две-три сотни метров от нее (весь залильный луг поделен между крестьянами). Распрягаем лошадь, снимаем сани с телеги, запрягаем лошадь в сани (я помогаю — что-то держу), и она везет сани на нашу делянку. Сначала граблями сгребаем сено в *валки*, затем отец делает из валков большие охапки и несет их поочередно на сани. Постепенно набирается целый воз сена, его перевязывают веревкой крест-накрест, чтобы не рассыпался, меня сажают на лошадь верхом, и мы с отцом отправляемся по скошенному лугу к дороге, где осталась телега. Сани хорошо скользят по жнивью — как по снегу. Недалеко от дороги отец начинает строить *зарод* (стог). Надо уложить сено так, чтобы зарод не рассыпался, не растрепался ветром, чтобы вода стекала с него, не проникая внутрь (иначе сено заплесневеет и сгниет). Разгрузив сено, отец остается у начатого зарода, а меня сажают на лошадку, и я еду к маме один. Лошадка меня слушается. Пока мы с отцом отсутствовали, мама сделала новые валки сена. Я соскакиваю с лошади, и мы с мамой накладываем сено на сани. Наложили. Я опять верхом на лошади, еду к отцу с новым возом. Разгружаем. Отец укладывает зарод, а я после каждой его охапки утапываю сено. Сначала за-

род низкий и забираться легко; потом уже отец помогает вскарабкаться наверх. Отец остается подправлять зарод, а я еду к маме снова. И так мы работаем целый день. Обязательно бывает перерыв на обед. Усаживаемся возле зарода, мама разворачивает чистую белую тряпицу и расстилает ее тут же на сене. Это наша скатерть, на которую кладется взятая из дому еда.

Пообедали. Отец достал кисет, извлек оттуда газету, свернутую гармошкой, оторвал листок, насыпал на него махорку, свернул сигарку, спрятал кисет в карман, закурил (курил только отдыхая, никогда во время работы или ходьбы). Отдохнули — снова за работу. Снова запрягается лошадь в сани, и каждый выполняет свое дело.

Когда зарод становился высоким, отец втыкал в него вилы и держал их на вытянутой руке. Я карабкался ему на спину, затем на плечи, затем становился ногами на рукоятку вил, залезал наверх и там принимал от отца очередную порцию сена, опять утапывал, бегая и подпрыгивая по зароду.

Каждая крестьянская семья убирала свое сено в разное время (как-то договаривались, чтобы те, чьи делянки ближе к дороге, управлялись раньше, иначе при уборке с дальних делянок их траву могли попортить). Но к середине июля весь луг между Вагой и Игошкой был скошен и вдоль дороги стояло много зародов, обнесенных изгородями (чтобы скот не попортил). Тогда сюда, на луг, выгоняли стада коров и овец. Именно стада — наверное, в каждой деревне с Федоровой горы свое стадо, у каждой свои пастухи. У нас от Заполек и смежной с Запольками Бабьей горки было одно стадо и один пастух, он был не наш, не деревенский, а нанимался на сезон-другой и в течение лета жил по очереди в каждой семье. Пастух шел рано утром с одного края деревни и наигрывал рожком нехитрую мелодию, а хозяйки по мере его приближения выпускали своих коров и овец в постепенно увеличивающееся стадо. Чтобы вовремя выгнать скот, мама по утрам всегда сначала обряжала корову (кормила, доила) и лишь затем приступала к приготовлению завтрака и обеда.

Пока мама хлопотала со скотом и печью, отец успевал наработаться на ближних делянках или во дворе и возвращался к завтраку. К этому времени и мы, малышня, проснемся, так что завтракаем все вместе.

Что мы ели? Супы мясные и рыбные (уха), с картошкой, с горохом, с грибами, со щавелем. На второе — картошка вареная с мясом, грибы соленые, каши самые разные, пареная репа, редька со сметаной, рыба. На третье — молоко просто, молоко с творогом, молоко с ягодами, домашние житные лепешки — *шаньги*, пироги с творогом или с ягодами, калачи житные, крендели, по праздникам — колобки (всё пекла мама в печи). Ели из глиняных мисок — каждый из своей; ложки деревянные, вилки покупные — металлические с костяными ручками. Чашки фарфоровые или фаянсовые, с блюдцами. Чай пили обычно вечером, из самовара, с сахаром вприкуску.

Что носили? Работали родители, конечно, не в выходной одежде. В прохладную погоду — в телогрейках, для дождя у отца был плащ с капюшоном (почему-то он назывался *армяк*). Вечером, после работ, переодевались в чистое. Рубахи у отца и у нас и кофточки и юбки у мамы были маминой работы, но из покупного материала (помню, что в сундуках и в комодах лежали отрезы сатина, ситца и сукна, купленные впрок). Вообще в городе покупали, за исключением гостинцев для детей, только самое необходимое: чай, сахар, соль, спички, иногда пшеничную муку (тогда мама пекла белый хлеб). Никаких безделушек, украшений и прочего не было. Родители носили не снимая обручальные кольца и золотые, кажется, крестики на шее; у отца были еще карманные часы на блестящей цепочке (вероятно, серебряной). И все. Деньги на городские покупки, видимо, выручались от продажи на шенкурском базаре продуктов. Но денег было немного. Кубышками, точно, не хранили.

Понятый «рабочая неделя» и «выходные дни» не было, официальные даты — 7 Ноября и 1 Мая — не отмечались. Все дни, кроме престольных праздников, были рабочими — работали-то на свою семью! Отдыхали в праздники (Пасха, Рождество, Троица, Николин день, Ильин день и т. д.) — ездили в гости к родным в другие деревни или принимали родственников у себя.

У нас гости бывали всегда на отцовы именины — 2 августа, в Ильин день, обычно человек пятнадцать—двадцать ближайшей родни. Праздничная тра-

пеза собиралась в горнице летней избы. Накануне и с утра мать готовила все к столу, отец хлопотал с пивом. Мы, дети, никогда со взрослыми не сидели. Нам был накрыт отдельный стол с вкусными яствами. Детей набиралось человек до десяти (наши двоюродные братья и сестры). До нас из горницы доносились разговоры с поздравлениями, шутками да прибаутками. Разговоры со временем становились громче — чувствовалось, что праздничное веселье берет свое. Начинались хоровые песни, частушки, пляски и т. п. Застолье продолжалось долго. Расходились и разъезжались (в другие деревни) уже затемно, благо лошадки знали дорогу домой и управлять ими было допустимо в нетрезвом состоянии.

Интересовался я у мамы уже в зрелом возрасте, сколько же водки выпивали. Оказывается, покупали в Шенкурске к празднику одну-две поллитровки. Для разгона застолья пили по рюмочке-другой, а далее уже шло свое пиво. Пиво пили по очереди — из *братыни* (братынь — это большая посудина, литра на три-четыре, внутри луженая, снаружи чеканкой выгравированы рисунки то ли цветов, то ли веток; с одной стороны — расширенный носик размером с человеческие губы, чтобы удобнее было пить пиво).

Песни, которые пели взрослые за столом (что запомнилось): «Когда б имел золотые горы и реки, полные вина...», «Хас-Булат удалой...», «Из-за острова на стрежень...», «Во саду ли, в огороде...». Никогда не слышал «Шумел камыш...». Запомнилась частушка:

— Милка, што, да милка, што?
Милка, штокаешь пошто?
— Я не штокаю ништо,
А тебе-то, милый, што?

Не помню, чтоб была гармошка, балалайка, гитара или другие музыкальные инструменты. Пели, кажется, без музыкального сопровождения.

Престольные праздники были распределены по деревням: в одной — Иколин день, в нашей — Ильин день, в третьей — Михайлов день и т. д. и т. п. На какие-то из праздников отец и мать ездили в Сметанино — к маминим родителям. Иногда брали с собой и нас, малышей. Сметанино было расположено совсем иначе, чем Запольки, — не на высоком угоре, а на отлогом песчаном берегу Ваги, метрах в двухстах от реки.

Мы ехали в тарантасе; под дугой вешали колокольчик, и он мелодично звенел. Впереди, на облучке, отец — в руках вожжи, он управляет лошадкой; на сиденье — мы с мамой. Ехать недалеко — двенадцать километров. Дорога идет большей частью лесом, но в некоторых местах выходит на крутой откос (настоящий обрыв) над Вагой. Красотища здесь неопишуемая: внизу Вага — широкая-широкая (по моим меркам), иногда видишь на реке пароход или баржу, а за рекой — дали необозримые. На этих откосах обязательно оставались и любовались простором.

Поездки в Сметанино становились для меня большим событием — это были самые первые мои выезды в свет из Заполек (в Шенкурск я попаду впервые, когда мне исполнится семь лет). Смутно помню ласковые образы моих бабушки и дедушки (маминых родителей), их лакомые угощения. Очень нравилось мне бегать по прибрежному песчаному берегу Ваги и играть в песочек, которого на нашей Игошке совсем не было. Еще запомнился *лужок* в Сметанино — это небольшая полянка на краю деревни, вокруг которой вкопано несколько скамеек. На этом лужке праздничными вечерами собирались молодые девушки и парни. Танцевали, плясали и пели песни под гармошку, а мы, малышня, сидели на скамейках и смотрели, пока нас не прогонят спать. (У нас в Запольках неженатой молодежи не было и, соответственно, не было таких гуляний.)

Мать рассказывала, что ее отец тоже был работающий и свое хозяйство содержал в справности; тоже было несколько делянок, на которых работали от зари до зари, тоже держали корову, иногда две, с десятком овец, лошадь. Вообще, видимо, все наши деды и прадеды были работающими. Вставали с зарей и дотемна работали. И детей приучали с малолетства трудиться. Так шло из поколения в поколение. И в наших Запольках, и в Сметанино было много таких крестьян-трудяг. Ухаживали за землей, не ленились вовремя сеять, во-

время жать — у них и урожаи были хорошие, и дома прочные, и сытость, и чистота. Но, как всегда и везде, были еще ленивые да пьяницы — те и скот голодом морили, и сами жили под дырявой крышей. Напротив нас в Запольках жила тоже семья, вроде во всем как мы: отец, мать и дети мал мала меньше. Но у них и изба была покосившаяся, и крыша протекала, и дети вечно ходили неумытые и грязные. Помню мимоходом услышанные слова из разговора отца с матерью: ленивые они, лучше выпьют да полежат, чем поработают. И с детства я запомнил твердо: хуже лени порока нет.

* * *

Настоящее детство было у меня до 1933 года, то есть до завершения коллективизации в наших Запольках. Помню себя почти все время вместе со своими младшими братьями — погодками: Витей и Леней. Витя на год меньше меня, Леня — на год меньше Вити. Толя родился в 1931 году, и в Запольках я его только нянчил, но в наших совместных играх он, понятно, не участвовал.

Я, как старший, был всегда ответственным за младших. Если родителей дома нет (а их почти всегда нет), то мы оставались одни, и я — главный нянь. Чем же я их занимал? Были тряпичные мячики, которые катали и старались закатить в лунку, сделанную в земле около дома. Откуда-то бралась глина, и мы бегали к колодцу за водой, размачивали ее в каких-то разбитых черепках, делали глиняное тесто и из него лепили какие-то фигурки, укладывали на доски сушить, а потом хвастались маме. Она оценивала наше искусство и всех хвалила. Все наши глиняные зверюшки, домики, столики и скамеечки некоторое время хранились тут же у крыльца.

Я сказал, что бегали к колодцу за водой. Но в колодец даже заглядывать было строго запрещено под каким-то очень страшным предлогом. У колодца стояла колода (выдолбленное бревно), в которой всегда была вода. Из этой колоды поили скот. Когда отец возвращался с поля домой, то, как только распряжет лошадь, сразу ведет ее к этой колоде, и лошадь долго и жадно пьет. Из этой же колоды пили наши коровы и овцы после возвращения с пастбища.

Когда надоедало скульптурничать, бежали на поветь — там кувыркались в сене или качались на качелях. Как-то раз нянь (то есть я) недосмотрел за своими детишками, и один из них порезал другому ухо (то ли Леня Вите, то ли Витя Лене). Плач. Посовещались мы все демократично, под плач и испуг, и решили ехать к маме. Помню хорошо, что именно ехать, то есть самого маленького надо было везти в коляске. Как сейчас вижу эту коляску: деревянный кузовок, укрепленный на основании, как у настоящей телеги с осями, на которых крутились деревянные колеса; передние колеса поворачивались на своей оси, что позволяло легко разворачиваться при движении. Так вот, мы двое везем малыша в коляске — пожаловаться матери. Ехать недалеко — в лес, на Доркину поляну, там наша делянка. Пока ехали, про рану на ухе забыли, по дороге останавливались и играли, зашли по пути в часовенку — там тихо, уютно, лампадка, как всегда, горит. Наконец приехали. Видим маму далеко на поляне. Вспомнили про ранение. Нам ехать и идти по полю нелзя — и коляску не провезешь, и ноги поколешь (ведь мы босиком, как обычно летом) — после жатвы на земле остаются острые остатки стеблей. Кричим матери, она не сразу услышала. Подошла к нам, и мы стали поперебой жаловаться. Она смотрела-смотрела на ухо — и на одно, и на другое. Никакой царапины не нашла. Да и мы уже забыли, какое ухо было порезано (но у кого, кажется, не забыли). Мать повела нас по опушке поляны, и мы увидели много-много малины. Сказала, чтобы, пока она закончит с работой, мы поклевали ягод. Малины тогда мы наелись досыта, правда, и крапивой ожглись.

Но мы, конечно, играли не только втроем. В Запольках и в соседней Бабьей горке было много наших ровесников, также остававшихся дома, пока родители в поле. Поэтому иногда собирались большие компании детей — от двух до шести-семи лет. Играли в обычные детские игры: в прятки, в пятнашки (салочки), в лапту, лазили по деревьям, купались в Игошке; зимой катались на санках и на лыжах.

Весной, во время половодий, была в нашей ребяческой республике отдельная забава. Когда Вага разливалась, то затопляла весь заливной луг и поглощала Игошку, — образовывалось целое море, подходившее под самый угор. До горизонта сплошь вода, другого берега не видно. Тогда мы устраивали на угоре соревнования: делали себе из ивовых ветвей длинные прутья (по-нашему *вицы*), разминали глину, скатывали из нее овальные небольшие шарики и, надев один такой шарик на конец вицы, бросали его с размаха в воду. Надо было забросить кусочек глины как можно дальше. Играли, разбившись на группы по четыре-пять человек, и всегда выбирали двух независимых судей — из той группы, которая сейчас не бросает. Но дальность, конечно, определялась на глазок. Очень азартная была игра.

Когда вода спадала, Вага возвращалась в свои берега и наша Игошка тоже снова текла по своему обычному руслу. Летом мы часто бегали к ней купаться, спускаясь с угора по извилистой тропинке и придерживаясь за деревья, растущие на склоне. Игошка — неширокая и неглубокая, но в одном месте был омут. Раз я туда заплыл поинтересоваться, почему вода вращается на одном месте, — меня тут же потянуло ко дну. Больше не пробовал. Зимой катались с угора на санках: скорость страшная — как будто летишь в пропасть.

Наш угор я очень любил. Видно далеко. Простор, ширь неоглядная, душа радуется. Потом, уже в старшие школьные годы, когда я читал в литературных произведениях описания русских барских усадеб и их окрестностей, то всегда вспоминал наш дом, наш угор, заливной луг, блестящую полосу Ваги и дальний лес за ней.

Глава 2. 1931 — 1935

В 1931 году в наших краях стали организовываться колхозы. Хорошо помню, как ждали, что придет какой-то начальник, соберет всех крестьян и на общем сходе объявит о колхозе. Но еще раньше много было разговоров о коммуне, где будет все-все общее. Все, конечно, волновались: ведь надо свое кровное — и поля, и скот, и даже жен — отдать в коммуну. (Потом, правда, выяснилось, что жен отдавать не требовали.)

И вот состоялось собрание крестьян из трех смежных деревень — наших Заполек и двух соседних. На этом собрании председателем нашего колхоза избрали моего отца. Врагов у него, кажется, не было, со всеми уживался, ни в какие деревенские дразги не вязывался. Мать не одобряла его согласия, говорила, что взялся не за свое дело — наживет врагов и отдаст последнюю рубаху. Мама потом рассказывала, что можно было отказаться и жить по пословице «моя хата с краю». Но взялся за гуж — не говори, что не дюж.

Уже на следующий день первому председателю пришлось собственным примером завлекать своих колхозников — выходить на общую работу в общее теперь поле и вести в общее стойло своих коров и лошадей. (Общее стойло устроили в пустовавшем хлеву одного из братьев отца — не помню, какого именно: то ли Григория, давно уехавшего из Заполек на заработки, то ли Василия, умершего несколько лет назад.) А отдавать скот всем жалко. Ведь — свое. И наш председатель первым повел свою лошадь с телегой и всей сбруей в чужой двор. Повел и корову. Овец пока ставить некуда — оставили их у хозяев, но считались овцы уже колхозными.

Надо назначать конюха, коровниц, доярок. У отца появилась тетрадь, поздно ночью стал писать в этой тетради что-то председателское. Грамота у него была небольшая, но считать и писать умел (были в деревне совсем неграмотные). Появилось понятие *трудодень*: теперь по числу отработанных на общих полях трудодней будут делить общее зерно, общую картошку и т. д.

Утром рано с зарей председатель встает и идет по деревне — гонит всех на работу, как пастух. Желających работать оказалось, однако, немного, хотя в колхоз вступили многие: то ли не понимали, что теперь надо трудиться сообща, то ли считали, что достаточно было записаться в колхоз, а дальше все останется по-прежнему, то ли просто сознательно ленились и отлынивали.

Маму отец определил в коровницы. На общем скотном дворе надо обихаживать уже не одну корову, как раньше, а десяток. Мама в плач — тяжело.

Тогда отец переместил ее на работу в поле, а для работы на скотном дворе пришлось других уговаривать, и уже не одну, а троих.

Чтобы работать в общих полях — на косьбе, на уборке хлебов и т. п., — были организованы бригады; у каждой свой бригадир. Но бригадиры не справляются. И наш председатель носится везде сам: колхозники не слушаются, надо упрашивать то об одном, то о другом; стал нервный, но бегает всюду — уговаривает. А командовать не умел или не смел. Дома почти не бывает. Одним словом — собачья должность.

Зимой 1932 года мне исполнилось семь лет — пора готовиться к школе. Помню, пошли с мамой пешком в Шенкурск (я впервые иду в город). Дело было уже летом. Тихий, теплый день. Идем по своему угору, спускаемся вниз к мосту; мама показывает дорогу налево — на Афёрово: там, километрах в трех, на горке, церковь (заколоченная), а рядом школа. Идем дальше, по лугу, до Ваги, там поворачиваем влево и идем вдоль реки. Скоро дорога входит в сосновый бор. Сосны высокие. Дорога песчаная-песчаная — ноги тонут в песке. Как только лошадь тащит по такой дороге телегу? Скоро доходим до домов — таких же, как у нас в Запольках, только на них номера и таблички с названиями улиц. Это Шенкурск. Доходим до базара на улице Ленина. Напротив базара за забором церковь без купола, с выбитыми стеклами и несколько двухэтажных домов. Мама говорит, что здесь раньше был монастырь (и заодно объясняет, что это такое), теперь закрыт. Идем в магазин, тут же рядом, чуть дальше по улице Ленина. Здесь мама покупает мне портфель — черный, пахнущий чем-то не очень приятным. Покупаем мне полуботинки. Я их меряю; подошли, не трут, нога вместились свободно (раньше я носил только сандалии — летом, а зимой — валенки).

К сентябрю мама сшила мне новую рубашку и штаны. Букварь, тетрадь, карандаши и пенал купили еще весной. За лето я прочитал весь букварь и был готов к школе как одеждой, так и умом. (Мама рассказывала, что я научился читать и считать лет с четырех и еще до поступления в школу читал младшим братьям книжки, которые привозил отец из Шенкурска.)

Наступило долгожданное 1 сентября, и я побежал в Афёрово — в школу. Школу нашел сразу: большой бревенчатый дом; широкое крыльцо; с крыльца попадаешь в широкий коридор; в коридоре две двери, ведущие в две большие комнаты; в них по четыре ряда парт. В одной комнате занимаются одновременно первый и третий классы, в другой, тоже одновременно — второй и четвертый; каждый класс занимает по два ряда. Я сел в своем ряду первоклассников на последнюю парту. Учительница поочередно переходит от одного класса к другому; пока она объясняет что-то нам, первоклашкам, третий класс выполняет какое-то письменное задание; потом — наоборот: учительница объясняет что-то третьему классу, мы пишем. И так далее.

Учительница у нас строга — худощавая, старенькая, седая. Зовут Ольгой Ивановной. Буквари лежат у нас на партах. Учительница спрашивает: «Кто умеет читать? Поднимите руку!» Я тут же поднял. Мне с последней парты всех видно, смотрю — больше никто руку не поднимает. Стало очень стыдно, потому что я оказался выскочкой. Ольга Ивановна подошла ко мне, открыла мой букварь, попросила прочитать. Мне это ничего не стоило — бегло прочитал. Она похвалила, я еще больше покраснел. Снова спрашивает: «Кто умеет считать? Поднимите руку!» Я уже постеснялся выпячиваться; посмотрел — никто руку не поднимает, и тоже не стал поднимать. Учительница подходит ко мне и говорит: «Миша, а считать ты не научился?» Я ответил честно, что считать умею, но ждал — может, кто-нибудь еще подымет руку. Она спросила, какие цифры я знаю. Я ответил, что до миллиона.

Так я стал учиться. В школу бегал с удовольствием, оценки получал только отличные. Помню, даже выступал на школьном вечере с чтением стихов. Незадолго до 8 Марта учительница дала нам всем задание выучить стихи в честь Женского дня. Мне досталось четверостишие:

На листке, где кренделек,
Загнула мама уголок:
— Вот, дочка, праздник твой и мой,
И месяц март, и день восьмой!

(Крендель в первой строчке — это число 8 на календарном листке.) Очень короткое стихотвореньице, и я его выучил очень быстро, а учительница Ольга Ивановна объяснила мне, с какими интонациями произносить.

Настало 8 Марта. Все школьники собрались вместе со своими мамами в Афёрово — не в школе, а в какой-то другой большой избе, где было сооружено нечто вроде сцены и зрительного зала. Народу много. Я очень волновался и все думал, как же это я решусь выйти на сцену и выступить перед таким большим скоплением народа. Забыть текст я не боялся — смущало само действие.

Начались выступления. Я сидел рядом со своей мамой. Наконец меня объявили, и я пошел, даже побежал — прыгнул на сцену и одним духом выпалил свое стихотворение про кренделек и уголок. Аплодисменты. Я осмелел и не ухожу со сцены. Стало тихо. Громко (с детства громогласный) говорю, что я знаю более длинное стихотворение и могу прочитать. Ольга Ивановна молчит. Кто-то сказал: «Прочитай». И я с радостью и уже совсем без робости начал: «Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз...» Читал с выражением, старался и без запинки закончил: «„Ну, мертвая!“ — крикнул малюточка басом, рванул под уздцы и быстрее зашагал». Аплодисменты. Я — к маме на скамейку. Она похвалила, а потом и учительница похвалила. Стихотворение это было одно из маминых, ею с детства заученное и рассказанное нам, малышам, и я его выучил еще задолго до школы. Много позже я узнал, что это Некрасов так хорошо писал, а тогда просто думал, что это *мамино стихотворение*.

Учеба моя, однако, продолжалась недолго. Весной 1933 года, вскоре после моего выступления, как-то поздним вечером, слышу, отец с матерью полусшепотом ведут тревожные речи. Оказывается, было собрание колхозников, которое проводили районные и сельсоветовские представители из ОГПУ (мы, ребята, уже знали это слово и знали, как его надо расшифровывать: «О, Господи, помоги убежать»; в обратную сторону тоже расшифровывали: «Убежишь — поймают, голову оторвут»). На этом собрании определяли кулаков. Фамилии кулаков называли районные представители, а колхозники только голосовали. И моего отца вместе с несколькими другими крестьянами определили быть кулаком. Главной его виной было то, что его отец, мой дед Иван Гаврилович, еще в начале века держал где-то за Вагой, на перекрестке дорог, трактор, а весной и осенью устраивал в Шенкурске платную карусель. Сам отец мой вместе с братьями крутил эту карусель, когда был еще мальчишкой, а про трактор знал только понаслышке и сам там никогда не бывал (значит, трактор прекратил свое существование или был кому-то продан еще в 1890-е годы, за сорок лет до колхозов). Но нашлись памятливые люди, которые донесли в ОГПУ, а там уже, наверное, решили, что раз трактор и карусель — значит, использовалась наемная рабочая сила, а раз использовал наемную силу — значит, кулак. Правда, все это не имело отношения к моему отцу — у нас-то в хозяйстве никаких батраков не бывало. Донесли же на нас и обвинили, думаю, из зависти: все-таки, благодаря усилиям отца и матери, хозяйство наше было справным. Еще, конечно, повлияло отцовское председательство. Как бы он ни старался ладить с людьми, но на всех не угодишь. Видно, за два года командования колхозом он нажил себе кое-каких врагов. Ну и, конечно, у многих был страх перед начальством из ОГПУ — боялись люди, что если сейчас, на этом собрании, не выберут достаточное число кулаков, то потом их самих распределят в кулаки. Поэтому, наверное, за раскулачивание голосовали даже те, кому отец помогал в сельскохозяйственных делах.

Итак, прошло собрание, родителей исключили из колхоза, объявили кулаками, и на следующий уже день отца увезли на лесозаготовку, километров за пятьдесят от Шенкурска — это не лагерь, но нечто вроде лагеря: принудительные работы для исправления кулаков от частнособственнических пережитков. Работа не за колочей проволокой, но под конвоем. Живут все в шалашах, своими же руками сделанных. Всей работой заправляет ОГПУ. Срок ссылки не определен. Денег, разумеется, не платят. Кормят так, чтобы не умереть быстро.

Словом, мы остались впятером: мама, я, Витя, Леня и годовалый Толя.

Едва отца увезли, пришли незнакомые люди в штатском и стали описывать имущество. В опись вносили не все, а только хорошие и новые вещи.

Кажется, для описания имущества хватило одного дня. Вещи отнесли в горницу зимней избы и заперли на висячей замок.

Ушли. Вечер. На дворе темно. Мать собирает какие-то вещи (не запертые в горнице и не попавшие в опись), укладывает их в узел и уходит куда-то к знакомым надежным людям — надо успеть спрятать то, что уцелело, а то разорят дочиста. Младших братьев укладываю я, сам жду, когда вернется мама (в школу ни в этот день, ни потом несколько дней не ходил — не до школы).

Следующим вечером мама берет с собой меня, дает мне посильную ношу — небольшой узел, сама нагружается узлом побольше, и мы спускаемся с нашего угора к Игошке и дальше по насту, напрямую в сторону Шенкурска. Иногда наст не выдерживает, и нога проваливается в снег выше колена — еле вытаскиваешь валенок.

Идем. Пришли в Шенкурск. Темно. Все кругом спят. Только собаки лают. Подходим к какому-то дому. Мама объясняет мне, что здесь живет ее брат Федор (тот самый, который когда-то брал ее с собой воевать с белыми). Дом двухэтажный, у Федора комната на втором этаже. Огни в доме погашены. Кричать или стучать нельзя, а то кто-нибудь нас заметит. Мама бросает в окно свою рукавицу — не попадает; бросает второй раз — удачно. В окне зажегся свет (я впервые тогда увидел электрическую лампочку), спустился дядя Федя, открыл. Мы поднялись по ступенькам на второй этаж, зашли в маленькую комнату. Мама шепотом рассказала о нашем несчастье. Мы вытряхнули из валенок снег, у печки посушили портянки и отправились в обратный путь. Шли той же дорогой, по своим же следам, след в след. Очень волновались за ребят. Витя оставался за старшего (ему шесть лет) и не спал, ждал нас. Слава Богу! Удачно сходили.

Следующую ночь мама опять грузится и берет с собой Витю. Теперь я старший по дому. Уложил спать Леню и годовалого Толю и дежурю, переживаю еще больше, чем вчера, — уже за маму и Витю. Они идут в Сметанино, на родину матери. Это еще дальше, чем до Шенкурска, — около двенадцати километров. Но мама сказала, что путь будет легче и безопасней: они пойдут по наезженной дороге лесом, и там встречных не должно быть. Только бы не нарваться на какого-нибудь зверя (волк, россомаха, рысь; хорошо, что медведь спит).

Мама потом всю жизнь казнила себя за то, что тогда взяла с собой Витю. Вскоре он заболел какой-то непроходящей желудочно-брюшной болезнью — все время жаловался на живот, и мама думала, что это произошло от перенапряжения во время того ночного похода в Сметанино.

Через несколько дней после этих происшествий она отправила меня в школу. Я все время чувствовал себя чуть ли не преступником и очень боялся, что меня станут дразнить кулаком. Но никто ничего не сказал, как будто ничего не случилось. Учительница Ольга Ивановна обращалась ко мне как ни в чем не бывало, и постепенно я опять вошел в русло учебы и снова стал поднимать руку.

Однажды, правда, на уроке произошел казус. Учительница что-то рассказывала про революцию семнадцатого года. И спрашивает класс: «Как раньше, до революции, жили рабочие и крестьяне?» Я, не поднимая руки, тут же крикнул: «Хорошо!» Как это у меня вырвалось? Ведь знал, что надо отвечать: «Плохо», а тут язык сам без участия головы выкрикнул не то. Я сразу все понял и заплакал, уткнувшись в стол. Учительница подошла ко мне и переспросила: «Как ты сказал?» А я уже не могу ничего сказать, только плачу. Она спросила кого-то еще, тот ответил правильно. А дальше вроде речь пошла уже о чем-то о другом. Я еще тихо про себя плачу, ругаю себя. И страшно мне, что я кулак, да еще над революцией кощунствую. Страшно за родителей — припомнят где-нибудь, что и сына научили кулаки ненавидеть советскую власть и революцию. Но обошлось: ни на другой день и никогда после об этом никто не вспоминал.

Был еще один неприятный случай. Однажды возвращаюсь из школы на лыжах (портфель, как обычно, на веревке через плечо). Примерно на середине лыжни от школы до Заполек вижу — идет навстречу тоже на лыжах Федька Еленкин, озорной парень лет на пять—семь меня старше. Поравнялись мы

с ним, я уступил лыжню и встал, дожидаясь, когда он проедет. Что-то он спросил меня. Я ответил. И вдруг ни с того ни с сего он своей лыжной палкой со всего размаху как ударит меня по голове! Искры из глаз! Хорошо, шапка была толстая, а мог бы и убить. Я еле на ногах устоял. А он как ни в чем не бывало покатил дальше. Я тоже скорее побежал в свою сторону и все оглядывался, не бежит ли он за мной. Доехал до дому и рассказал матери. Синяк на голове был огромнейший и долго болел. За что он меня ударил? Дурак, да еще подлец: знал, что отец выслан, ни заступиться некому, ни пожаловаться нельзя. Потом мать рассказывала, что он из тюрем не выходил.

Между тем события шли своим чередом. Через несколько дней нас выселили из своего дома, и пришлось перейти в маленькую (3 × 3 м) избушку, стоявшую рядом с хозяйственными постройками недалеко от дома. Там была небольшая голландская печка и полати. Назначение этой избушки в былое мирное время я не помню. Ее никогда не топили, и валялся там обычно всякий хлам. Сюда мы и перебрались, а дом наш стали ломать — разбирать на бревна и перевозить куда-то в другое место, далеко от нашей деревни. Сначала вывезли описанные вещи и мебель (венские стулья, сундуки, комод), а потом принялись и за само строение. Начали с зимней избы.

Все происходит на наших глазах. Мы впятером — мама, Витя, Леня, Толя и я — в избушке. Печка дымит (то ли дымоход не чищен, то ли щели между кирпичами разошлись). Мама встает раньше всех, топит печку, чтобы было тепло (еще снег на улице, но дело к весне, тает), и что-то варит на плите, а дым стелется внутри, ползет на полати, где мы спим, и будит нас. Мы просыпаемся, кашляем, чихаем, глаза щиплет. Мама время от времени открывает дверь на улицу, чтобы дым вышел. На минуту становится легче дышать, затем все повторяется сначала — тепло эта печка держала тоже плохо, и в избушке нашей быстро становилось холодно.

Что-то мы едим еще, но уже не так, как прежде. Хорошо, не догадались отобрать картошку из ямы, поэтому ели свою картошку. А муку, зерно и прочие запасы реквизировали полностью. Мама уже не колхозница, а никто. Где брать продукты, неизвестно. А тут еще требуют, чтобы она, как жена кулака, отправлялась на принудительные работы — куда-то далеко от дома, за Шенкурск. Мама отказалась, сказала, что у нее четверо детей, мал мала меньше.

Я еще хожу в школу. Но вот однажды во время урока учительница Ольга Ивановна наклоняется ко мне и говорит, чтобы я шел прямо сейчас в отделение милиции, куда привезли мою маму. Я бегом. Нашел милицию — это здесь же, в Афёрово, недалеко от школы. Там несколько женщин, которых привезли сюда под конвоем, и среди них мама. Все арестованы как злостные элементы, уклоняющиеся от работы. Мама велела мне бежать домой и успокоить малышей, а то они уже полдня дома одни. Я домой — слава Богу, братья целы и невредимы, хотя перепуганы, потому что маму увели прямо на их глазах. Поздно вечером мама вернулась — нашелся какой-то начальник, который внял ее слезам и отпустил домой. В школу после того дня я уже не ходил.

Настал апрель. Снег сошел к концу месяца. Дом наш уже почти разобран, бревна размечены, и большая их часть увезена. Мы продолжаем свою тесную жизнь в избушке. И вот однажды вдруг появляется отец. Он на лесозаготовках попал топором себе по ноге, и ему разрешили побыть дома до заживания раны, с условием, чтобы он, как только нога сможет влезать в сапог, вернулся обратно.

Дня через два за ним уже пришел какой-то человек в штатской одежде проверять, не излечена ли рана. Но видит: на тряпке, которой перевязано большое место, — кровь, а нога в сапог не входит — распухла. Человек этот ушел и пообещал зайти еще через два-три дня.

В тот же вечер отец сказал мне, что ночью мы с ним поедem по делам. Он ушел куда-то (смотрю, уже не хромает, да и нога в сапог вошла — обманул, значит, проверяльщика). Скоро вернулся на телеге с лошастью (у кого-то попросил на колхозной конюшне). Что-то погрузил на телегу (какие-то наши уцелевшие вещи), и мы в темноте отправились в путь. Спускаемся вниз с утора. Дорога грязная, размытая, скользкая — распутица. Идем рядом с теле-

гой, увязая сапогами в грязь. И вот вдруг в середине угора лошадь не удержалась и рысью побежала вниз. Вожжи выскользнули у отца из рук, и через мгновение лошадь уже исчезла из виду. Бросились бегом за ней, слышим — внизу что-то грохнуло. Подбегаем — телега на боку, но зато, слава Богу, лошадь цела — стоит на ногах (лошадь-то не просто чужая, а колхозная: если с ней что случится — тюрьмы не миновать).

С трудом поставили телегу на колеса, вытащили из грязи свой груз. Поехали дальше — через мост и по лугу. Дорога зыбкая, лошадь вязнет, мы идем рядом и на телегу не садимся, чтобы лошади было легче. Добрались до Афёрова. Надо теперь подниматься вверх, на угор. Отец все боялся, что лошадь не вывезет. Я тянул ее впереди за уздечку, а он сзади толкал плечом телегу. Грязь под ногами, темень, лошадь скользит, мы спотыкаемся. Но ничего — въехали на угор одним духом. Отец перекрестился и похвалил меня. В Афёрово подъехали к одному дому, отец разбудил хозяина (видимо, верного приятеля), и они вдвоем разгрузили телегу. Не мешкая поехали обратно той же дорогой. Вернулись благополучно. Еще не светало. Как приехали, я пошел спать, а отец отправился ставить лошадь на место.

Утром, когда я проснулся, мама мне потихоньку сказала, при условии, что я ни гугу даже своим братишкам: отец ушел пешком в Архангельск и на лесозаготовки больше не вернется. То есть бежал.

Через два дня, как и обещано, за отцом пришел человек с лесозаготовок. Мама сказала, что отец ушел еще вчера и должен быть на месте. Через несколько дней ее вызывают в Афёрово на допрос: где муж? Должна знать, иначе будем судить и — в тюрьму. Мама ничего знать не знает: сами забрали, сами и ищите. Потом ее еще несколько раз вызывали на допросы, а однажды забрали совсем — не вернулась вечером, и все. Я остался с тремя малышами. Топлю нашу дымящую печку, кормлю малышей картошкой, играю с ними, укладываю спать, а что с мамой — не знаю.

Проходит день, другой. Наконец кто-то мне сказал, что она в деревне такой-то (название забыл) на том берегу Ваги и ее оттуда не отпускают. Что делать? Она ведь тоже о нас ничего не знает. Тогда я оставляю малышей одних, назначаю Витю старшим и отправляюсь на поиски. Пешком в Шенкурск, спрашиваю, где пристань, на пристани ищу паром, на пароме переправляюсь на левый берег Ваги, а там, разузнав, где нужная мне деревня, иду в указанном направлении. По дороге догоняет мужик на телеге. Спрашивает, куда путь держу и почему гуляю один, такой маленький. Вижу — мужик вроде не злой, и рассказал ему, что мать сослала на принудительные работы, а я ее ищу. Он мне кивнул понимающе. «Садись, — говорит, — доведу». Привез в ту деревню и помог разыскать дом, где живут принудилловцы. В доме никого нет — все на работе. Скоро придут на обед (кормили даже?). Дождался. Мама своим глазам не поверила. Радости было! Рассказал о нашем житье. Она плачет. Но сбежать нельзя, поймают — будет хуже. Терпите, ребята. Буду вырываться отсюда.

Сбегала куда-то, принесла свой обед, покормила меня своей похлебкой. Другие женщины, такие же, как мама, сосланные на принудилловку и жившие в этом доме, ругали ее и говорили, чтобы она сейчас же шла домой к детям. Плевать на все! Но мама все-таки не пошла — сказала, что какой-то начальник обещал ее скоро отпустить. Откуда-то принесла немного морошки, насыпала ее в какой-то туюсок (гостинец малышам) и отправила меня, чтобы я засветло вернулся домой.

Еще несколько дней я хозяйствовал в нашей избушке, и наконец вернулась мама — отпустили-таки.

Но жить становилось все хуже и хуже. Запасы картошки иссякли. Есть уже почти нечего. И вот однажды мама говорит, что один знакомый мужик отправляется сейчас на другой берег Ваги и хорошо бы мне поехать с ним и там, в незнакомой деревне, походить и попрошайничать хлебушка. Мне было очень стыдно, но я послушался. Дошли мы с этим мужиком до Ваги, сели в его лодку, переплыли через реку и отправились каждый по своим делам, условившись встретиться у лодки часа через три. Недалеко от берега — деревня. Пошел я по улице с мешочком, перекинутым на веревке через плечо. Иду, а в дома заходить стесняюсь. Смотрю — стоят две женщины около дома

в середине деревни. Подошел и попросил дать кусочек хлеба. Одна из них спросила: «Откуда ты?» Я сказал: «Ильи». Она: «С Леди?» (Ледь — это деревня где-то на том берегу Ваги.) Я: «Нет, из Заполек, а сын Ильи». Тут вторая догадалась: «А! Это кукушки». (Я уже говорил, что у нас было принято называть семейные роды не по фамилиям, а по прозвищам, и нас звали кукушками.) Одна из женщин вынесла ломтик черного хлеба — очень маленький, но отрезанный, не огрызок. Пошел дальше. Снова на улице не вижу никого, а в дома идти стесняюсь. Прошел по всей деревне, кто-то еще вынес кусочек хлеба. И все. Вернулся к лодке. В мешочке моем — два или три ломтика. Мама очень огорчилась, увидев, что я ничего не насобирал. Но потом сказала, что сама тоже постеснялась бы заходить в чужие дома.

Летом она решила написать прошение в Москву, в Кремль. Не знала, правда, кому надо адресовать письмо — Сталину или Калинину. Пошла в Аферово — там был один грамотный мужик, знавший, как такие письма составлять и кому посылать. (Видимо, многие такие прошения посылали.) В прошении были слова о том, что она к кулачеству не имеет никакого отношения и теперь осталась одна с четырьмя малыми ребятами без средств к существованию, да еще заставляют выполнять трудовую повинность далеко от дома, а она не может оставлять детей одних.

Вряд ли мамино прошение ушло куда-нибудь дальше шенкурского ОГПУ, потому что еще не кончилось лето, а нас перевезли в Шенкурск — чтобы мама могла ходить на работу без отговорок. Нас поселили в двухэтажном доме на Первомайской улице — здесь было нечто вроде общежития для жен и детей кулаков. В доме на каждом этаже по большой комнате; в комнатах вдоль стен нары. Нам тоже выделили место на нарах. Мама должна теперь работать на Пригородном хозяйстве — это в другом конце Шенкурска (идти минут сорок—пятьдесят). Работа на скотном дворе — с коровами.

За работу ей выдали карточки — по ним можно было покупать в магазине хлеб: сколько-то хлеба на взрослого (мало) и сколько-то на детей (меньше).

Еще были отдельные карточки на то, чтобы получать в столовой обед. Помню, как я с судками ходил в столовую: наливали какую-то похлебку, кашу и чай. Но есть хотелось все время. Соседние по нарам девчонки каждый день ходили по окрестным деревням просить милостыню. Приносили целые сумки хлеба (помню и отрезанные ломти от каравая, и почти огрызки, явно ломанные от целых ломтей). Мама робко предлагала мне сходить хоть раз с ними. Не мог. Стеснялся. Мама не настаивала. А Витя уже болел; и так-то от природы он был тихий, а тут совсем его не видно, не слышно. Да и задиристый обычно Ленька теперь тоже присмирел. А Толе еще нет двух лет, только что стал ходить и говорить.

На Первомайской мы прожили недолго: удалось перебраться ближе к маминой работе — на Пригородное хозяйство. Поселили нас тоже в двухэтажном доме, но здесь была отдельная комната — очень маленькая, с одним окном, но зато отдельная. После нар это было уже хорошо. Здесь, на Пригородном, стало полегче: мама приносила со скотного двора молоко, иногда зерно (варила кашу), а в лесу, совсем рядом, росли грибы — собирали их мы с Витей и Леней.

Дом, в котором мы жили, был уже старый, покосившийся — с улицы его кособокость была видна хорошо. На каждом этаже около десятка комнат, где обитали разные люди: и вольные, и раскулаченные, и по-иному репрессированные. Запомнился один дядя с красивой, всегда ухоженной и аккуратно подстриженной бородкой: ходил всегда в шляпе, хорошо в костюме-тройке (жилетка под пиджаком); работал в конторе; интеллигентный вид; явно не крестьянского происхождения. При встрече всем говорил: «Мое почтение!» В столовую ходил, как все, с судками.

Конец лета прошел спокойно. Ребят на Пригородном хозяйстве было много — играть есть с кем. Недалеко было поле гороха. Часто туда ходили. К полю добирались ползком, чтоб не увидел сторож. На поле, лежа, набирали стручки гороха, сколько вмещалось, в рубашку, заправленную в штаны, вокруг тела и ввысь до самого ворота. Если нет ремня, то веревкой по-

туже перевязывали рубашку вокруг живота. Выходили с поля тоже ползком или на четвереньках.

Подождал сентябрь 1933 года. Пошли с мамой в город, в ближайшую школу. Мама уже договорилась с учительницей. Стал учиться во втором классе, и с учебой опять не было проблем. Рано утром я вставал сам. Мама уже была на работе. Что-то ел (или ничего не ел — смотря по количеству еды). Братишки спали. Старшим оставался Витя. После школы я ходил с судками в столовую, получал хлеб по карточкам, делил его на части, чтобы осталось на вечер, и кормил ребят и себя. Но голод все время давал знать. Летом было легче: то горох в стручках, то зерна из колосков на поле, то грибы да ягоды выручали. А с осени все время хотелось есть.

Мама все же как-то изворачивалась и иногда очень вкусно и досыта кормила. О! Это были праздничные дни. Несколько раз мы получали посылки (с попутчиками какими-то или по почте — в фанерных ящичках) от отца из Архангельска. О том, что посылки от отца, знали только мама да я. Мне она доверительно все рассказывала, а я держал язык за зубами. В этих посылках бывали даже кирпичики белого хлеба (!) и какие-то сладости. Мама говорила, что отец живет в Архангельске без паспорта, ночует где попало и в разных местах выполняет разовую работу — где удастся. Даже присылал деньги. Я все боялся: вдруг найдут его и схватят!

А маму иногда по-прежнему вызывали на допросы — допытывались: где муж? Она в ответ: «Знать не знаю, вы же упекли его на лесозаготовки, сами и погубили». Ничего добиться не могут. Настала зима. И тогда, наверное, для острастки нас перевезли с Пригородного хозяйства в Усть-Почу — деревню недалеко от Заполюк — и поселили в нежиллом, полуразвалившемся доме.

Зима. Печь топить надо. Детей кормить надо. А ни дров, ни еды. Почти каждый день мы с мамой ходили по колено в снегу в лес с санками — выискивали сухостой и, нарубив и наломав, везли к дому. Печку топили, но дом прогреть не могли, все равно было холодно. Есть хочется все время. Мама ходит иногда в другие деревни — к тем, у кого припрятаны наши вещи, и потом меняет вещи на еду. Помню, достала она как-то раз немного зерен и мы с ней пошли к какому-то Якову — здесь же, в Усть-Поче. У Якова были жернова: это два больших (больше метра в диаметре) камня. Чтобы вращать жернов, нужно много усилий — мне одному было не под силу. Мама тоже вращала не очень быстро. Еле-еле намолотили — муки получилось немного, но несколько дней после этого все-таки жили на ржаных лепешках.

На Усть-Почу нас переселили, чтобы мама ходила на новые принудительные работы — теперь в лес. Но она категорически отказалась: хоть расстреляйте, а детей оставлять одних, в незнакомом доме, зимой, без присмотра — не буду. Грозили. Куда-то увозили. Но все же отпускали ночевать домой. Тут уж никаких хлебных карточек не давали. Раз перечишь и не выходишь на работу — пропадай со своим кулацким отродьем. В Усть-Поче посылки от отца мы уже не получали, и в школу я уже не ходил.

Кое-как перемоглись. Зима на исходе — март 1934-го. Уже год, как маемся, а конца не видно. И вот однажды маму арестовали за уклонение от работ и сокрытие мужа-кулака и увезли в Шенкурск — в тюрьму. На другой день Яков (тот, у которого мы мололи зерна жерновами) повел нас с Витей в Шенкурск. Пришли на улицу Ленина, дошли до базара, напротив базара — монастырь (полтора года назад мы были здесь с мамой, когда покупали мне портфель и полуботинки для школы). Идем прямо к монастырю — теперь здесь детский дом. Вошли в одно из помещений. Яков усадил нас на стулья и куда-то ушел. Сидим, ждем, откуда-то из-за стены доносятся какие-то приятные звуки (потом оказалось, что это играли на пианино, — я впервые слышал). Вернулся Яков с какой-то тетей, которая повела нас по длинному коридору и разместила по разным комнатам: меня в одну из комнат по левую сторону коридора, Витю — в одну из комнат справа. Все комнаты (бывшие кельи?) примерно одинаковые, в каждой по десять—двенадцать коек, и в мосей, и в Витиной комнатах — наши ровесники и мальчишки чуть постарше или помладше нас; все друг друга знают давно; мы с Витей — новенькие. Никто нас, однако, не обидел, наоборот, приняли в свою компанию как равных. Не могу понять только до сих пор, поче-

му нас с Витей развели по разным комнатам. И в той, куда определили меня, и в той, где оказался Витя, были еще по две-три пустых койки. Искореняли родственные чувства?

Братишка Леня остался у Якова на Усть-Поче. Почему у Якова? Может, он был какой начальник в деревне и ему приказали заняться нами после маминого ареста? Одно знаю: что родственником нашим он не был. А Толю, которому было чуть больше двух лет, передали родной тетке Александре (сестре отца, вышедшей замуж в деревню Кундараша и жившей там своей семьей).

Итак, мы с Витей в детдоме. Нас накормили. Ели все детдомовцы в своей столовой — здесь много столов, за каждым столом человек десять—двенадцать. Ели из алюминиевых мисок. На каждый стол ставили кастрюлю с супом, и один из нас, дежурный, разливал по мискам, которые мы передавали друг другу из рук в руки вдоль стола. Так же раскладывалась каша. На третье чай — разливали из кастрюли в граненые стаканы. Ежедневно был завтрак, обед и ужин. На завтрак и ужин каша, иногда молоко, и всегда по ломтю белого хлеба; в обед — два ломтя. После нашей голодовки казалось очень сытно.

Витю посадили за другой стол. Он болел и никогда не съедал свою порцию полностью. Иногда несъеденный хлеб отдавал мне (из кармана вне столовой), иногда — ребятам в своей комнате.

Детдом в бывшем монастыре только что начал организовываться в 1934 году, и незадолго до нашего с Витей появления сюда привезли большую группу детей из другого детдома. Многие из ребят не знали ни отца, ни матери, кто-то, наверное, был из раскулаченных. Но о прошлом мы никогда друг другу не рассказывали, да и чужим прошлым не интересовались. Не было принято. То была другая жизнь.

Напротив детдома — базар: несколько длинных столов-прилавков. Торгуют окрестные крестьяне — картошкой, луком, морковью, зерном, молоком, творогом. Днем народу всегда много. Мы, детдомовские, часто шныряли по базару. Нас легко отличить: все одеты в униформу — оранжевые рубахи и штаны-шаровары. На базаре нас остерегались (вдруг что стащим?) и смотрели в оба. Я-то не воровал сам, но при кражах иногда присутствовал — стоял на шухере. А были ребята моего возраста уже бывалые — опытные беспризорники. Витя тем более не участвовал в воровстве. Он и вообще никуда по городу не бегал, а больше оставался в своей комнате — болел живот. Но однажды был случай: кого-то из наших где-то застучали, и за ними случилась погоня. Они заскочили в детдом, пробежали по коридору, нырнули в Витину комнату, выпрыгнули в окно и скрылись. А погоня (была с ними и воспитательница) видела, куда они побежали. Открыли дверь в комнату, а там на своей койке лежит мой Витя. Ребят уже след простыл. Окна открыты, под окнами никого. Воспитательница пристала к Вите: кто был, кто прыгал в окно? Витя говорит: никого не видал — спал. А спал потому, что живот болит. Виновников так и не нашли, а Витю наказали — лишили обеда. Тогда ребята из его комнаты выделили ему полный обед и тайком в мисках принесли в комнату. Ему-то обед, может, и не нужен был, но все поняли этот жест товарищества, взаимовыручки и круговой поруки.

На второй или на третий день после нашего определения в детдом я пошел разыскивать тюрьму. Тюрьма оказалась недалеко от детдома и была немного на него похожа: длинное белое кирпичное здание за забором, только окна с решетками. Подхожу к тюремным воротам, сказал охраннику при входе, что мне надо увидеть маму. Назвал фамилию, имя, отчество. Второй охранник пошел внутрь, через некоторое время вернулся, позвал меня за собой, и внутри ограждения я увидел уже все здание тюрьмы и еще несколько одноэтажных домиков, которые снаружи через забор видны не были. Привел меня охранник в один из домиков, и там я увидел маму. Небольшая комната, в комнате стол и скамейки возле стола. Мама меня усадила рядом с собой на скамейку, охранник ушел, и мы остались одни. На маме была та же одежда, что и дома (почему-то я ожидал, что в тюрьме должна быть полосатая одежда, хотя вроде на тюремную тему никогда ни с кем разговоров не припомню, — может, на картинках где видел?).

Я рассказал, как мы устроились в детдоме, что с Витей мы в разных комнатах, но рядом, видимся каждый день, что кормят хорошо, что ребята детдомовские большинство беспризорники и хулиганы. Она дала какие-то наставления. Просила приглядывать за Витей. Оказалось, она знала, что мы в детдоме, что Леня на Усть-Поче у Якова и что Толлю взяла тетка Александра на Кундарашу. Но все это было сделано без ее участия, ей ведь даже не дали попрощаться с нами.

Свидание было не очень долгим. Она мне тайно, из рук в руки, дала отцовский перстень, который был у нее спрятан где-то в одежде и который могли при обыске отобрать. Сказала, что хорошо бы его сохранить на черный день. А она скоро выйдет из тюрьмы — только вот разберутся, что она никакой не кулак и что никакой вины перед властями у нее нет. Она уже написала куда-то жалобы-письма-заявления о своей невинности. Слез, кажется, у нее не было, я тоже вроде не плакал. Она успокаивала меня — я успокаивал ее. Пообещал выполнить все ее просьбы. Она мне напомнила, чтобы я не проговорился кому-нибудь про отца: «Отец ушел в лес на работу и пропал, ничего о нем не знаем». Свидание закончилось без плача.

Я догадался спрятать перстень в надежное место: вшил в свои штаны-шаровары под резинку маленький кармашек и приторочил его наглухо. И потом всегда время от времени проверял рукой — на месте ли мой кармашек? Шаровары на ночь клал под подушку. О том, что они будут мятыми, не задумывался. Они и так всегда были мятыми.

Шаровары нам не меняли подолгу, но белье было всегда чистое. За этим следили. В баню водили часто. Трусы и майки менялись после каждой бани, постельное белье тоже. Матрацы были набиты сеном, подушки — перьевые, наволочки — белые. Вечерами, перед сном, мы затевали бой подушками: с размаху ударяли ими друг друга, стараясь попасть по голове. Подушка тяжелая, и если ударить ей по голове, то, хотя удар мягкий, с ног упадешь и голова закружится. Был уговор: чур, сзади не бить, а бить только спереди, чтобы видеть друг друга. Тут кто ловчей и у кого реакция лучше, тот побеждает.

Постельным, да и всяким другим бельем заведовала кастелянша (не знаю, правильно ли написал это слово). Белье хранилось в кладовке, закрывавшейся на всячий замок. Однажды кто-то из наших детдомовцев взломал дверь и стащил какое-то белье, а через несколько дней поймали двоих на базаре с поличным — они это белье хотели продать. Воспитатели их как-то наказали. Но вечером ребята из той комнаты, где жили эти двое, устроили им темную: накрыли одеялами и как следует отхлестали — не воруй у своих!

Надо сказать, что мы, детдомовцы (а всего нас было человек сто пятьдесят — двести), между собой жили дружно. Были, конечно, свои уродышки, слабоумные, недоразвитые, которые могли совершить обидный поступок по отношению к другому. Но на них и смотрели как на дурачков — что с них взять-то?

Как-то стихийно образовывались компании по пять-шесть человек: вместе играли, ходили по городу, по базару, на пристань, в лес. Вместе не скучно и безопаснее — ведь в Шенкурске были местные мальчишки: мы с ними не водили дружбу, и иногда между нами случались стычки (больших драк, однако, не помню). Между собой же мы были один за всех, все за одного.

Недели через две после нашего зачисления в детдом мы с Витей вместе пошли в тюрьму. Вдвоем посидели у мамы. Мы рассказали о себе — живем лучше, чем на Пригородном, и уж конечно, лучше, чем на Усть-Поче. Она беспокоилась теперь о Лене и Толе. Как-то они? За нас уже стала спокойнее. Говорила, что ее должны скоро выпустить.

Еще раза два я у нее бывал. А через некоторое время мама вдруг сама пришла в детдом — ее полностью освободили на все четыре стороны. Повезло. В тюремной справке, которую она хранила всю оставшуюся жизнь в своей палехской шкатулке (подарок архангельских немцев, у которых она девушкой служила горничной), было сказано, что она освобождена из тюрьмы как не имеющая отношения к использованию наемной рабочей силы и не жившая на нетрудовые доходы. Я тут же отдал ей отцовский перстень.

Мама сказала, что она прямо сейчас идет на Усть-Почу за Леной, потом на Кундарашу за Толей и как можно быстрее уедет в Архангельск — там ее брат Федор и отец. Правда, отец без жилья и без паспорта. Но здесь оставаться больше невозможно. Мы же с Витей, пока мама не устроится в Архангельске, останемся в детдоме.

Из детдома мама тотчас отправилась в Усть-Почу — к Якову, у которого жил Леня. Пришла — увидела: весь исхудал, на рубашке, под рубашкой, в волосах — сплошь вши. Леня кинулся к ней: «Мама! Возьми меня отсюда!» Хорошо, мама догадалась зайти до этого к кому-то и взять (из припрятанного в прошлом году) чистую рубашку и чистые штаны. Отскребла с Лени вшей, мыть было негде, передела в свежее белье, накормила чем-то принесенным с собой и не задерживаясь отправилась в тот же день с Леной вместе на Кундарашу — за Толей.

Пришли туда еще засветло. Подходят к дому и видят в окне Толю. Он их не узнал — забыл за несколько месяцев. Мама ему говорит: «Я твоя мама, а это Леня — твой братишка». Толя не верит. Тут Леня тоже стал уговаривать. Наконец убедили, что они — это они. Поверил. Бросился на шею.

А скоро пришла с поля и тетка Александра. Обрадовалась. Мама с Леной и Толей прожила у нее с неделю. Бегала перед отъездом: надо получить паспорт¹, достать денег на путешествие до Архангельска; заранее купить билеты; собрать из числа спрятанного у разных людей хоть какие-то вещи, необходимые по приезде в Архангельск; запастись сухарями и еще какой-то едой на двухсуточную дорогу. И прочее, и прочее. Так или иначе, что-то мама наскребла за эту неделю и двинулась вместе с Леной и Толей в Шенкурск на пристань. Весь багаж тащила на себе. Зашли втроем в детдом — попрощаться; мы их проводили до пристани. Они погрузились на баржу, а мы вернулись в детдом. Через месяц мы получили от мамы письмо: она благополучно добралась до Архангельска и уже устроилась на работу в Соломбале (это одна из архангельских окраин). Про отца, понятно, ни слова.

Лето продолжалось. Режим в детдоме не был казарменным. Конечно, подъем, физзарядка, завтрак, обед и ужин происходили в определенные часы. Иногда нас организовано, под командой воспитателей, выводили на работу в поле — что-то полоть (морковь, кажется). Но большую часть времени мы были предоставлены самим себе и либо разбредались небольшими компаниями по городу, либо играли на территории детдома: в пряталки, в салочки, в казаки-разбойники, лазили по деревьям, даже залезали на крышу. Никаких настольных детских игр мы не знали. В библиотеке имелись книжки, но летом их никто не читал. В жаркие дни уходили к пристани — там было удобное место для купанья. Несколько раз ходили за грибами в ближний лес. Вот, собственно, и все развлечения.

Однажды в детдоме появился велосипед — двухколесный, большой, не у всех доставали ноги до педалей. Я к велосипеду не подходил, потому что учил кататься на нем парень лет четырнадцати—пятнадцати, в котором я узнал Петьку Коновалова из соседней с Запольками деревни. Оказалось, он прибыл в детдом воспитателем. Я его боялся: вдруг он меня узнает, если не в лицо, так по фамилии, а от него и все узнают, что я кулак.

Осенью стали ребят собирать для учебы. Я посчитал, что во втором классе я уже учился, и определился в третий класс (хотя, строго говоря, во втором классе я учился только осенью прошлого года, пока нас не угнали с Пригородного на Усть-Почу). Школа была тут же в детдоме, и третий класс, как нарочно, вел Петя Коновалов. Очень долго я его опасался. Но он меня не узнавал ни по фамилии, ни в лицо и ни разу не заговаривал со мной о прошлом. Так что постепенно страх мой поутих, а его авторитет в моих глазах, напротив, все время возрастал. Обращался он с нами как старший товарищ, никогда не кричал, не наказывал, а очень интересно рассказывал. В

¹ С паспортом маме повезло. Тогда паспорта не выдавали ни колхозникам, ни тем более кулакам. А мама еще год назад была исключена из колхоза, а теперь, по справке, выданной в тюрьме, не принадлежала и к кулакам.

перемены играл вместе с нами. Оценок, кажется, вообще не было. Не учеба, а просто приятное общение всех со всеми.

Я не помню в детдоме радио. Газет точно не читали. Но жизнь советскую ощущали достаточно. Знали, что главный у нас Сталин, — это он сменил Ленина. Знали, что Сталин громит врагов народа и что ему помогают Киров, Молотов, Орджоникидзе. Кто об этом нам говорил, совершенно не помню. Тогда же я слышал, что Сталин назвал колхозы и раскулачивание «головокружением от успехов». И я соображал, что нас раскулачили неправильно наши начальники. А Сталин за нас. Нас скоро восстановят, и мы опять будем хорошо жить в Заполях. Зря мама поторопилась уехать в Архангельск. Но ничего! Вот возвратится отец из бегов, соберет нас всех домой, и мы заживем лучше прежнего. Зимой мы услышали, что враги народа убили Кирова — лучшего товарища товарища Сталина. Всем было его жалко. А вскоре нам показали кино, так и называлось «Киров». Не помню никаких других кинофильмов в детдоме, а этот запомнился. Запомнилось, что Киров был очень хороший и смелый дядька. А конец был печальным — похоронили его.

В течение зимы мы с Витей получили от мамы несколько писем. Видимо, она писала что-то и воспитателям, потому что весной 1935 года нам сказали, что, лишь только по Ваге начнут ходить пароходы, мы отправимся в Архангельск — к маме. Тут нам с Витей стало веселей. Хорошо, конечно, в детдоме, но с мамой лучше. И мы ждали теперь дня открытия навигации.

И вот этот день наступил. Нас везет молоденькая воспитательница, которой тоже надо ехать в Архангельск. Пришли на пристань, погрузились на баржу. Баржу тянет колесный пароход-тягач «Ударник». Наш путь — по Ваге, а дальше — по Северной Двине.

Это была первая моя такая долгая и длинная дорога и очень мне запомнилась. На барже народу битком, и на палубе, и в трюме. Присесть негде. Кругом мешки, корзины, чемоданы. У нас особой поклажи нет. Устроились на палубе. От Шенкурска отчалили еще засветло — проплыли вдоль нашего луга, вдали виднелся наш угор; затем миновали устье Игошки, через некоторое время пологий берег возле Сметанино — маминой родины, а дальше пошли уже незнакомые места.

Мы сидели на палубе и смотрели на проплывающие берега Ваги. Стемнело. Стал накрапывать дождик. Все, кто на палубе, накрываются кто чем. У нас же ничего от дождя нет. Соседи по палубе уже знают, кто мы и куда едем. Начинают нас как-то жалеть, прикрывать от дождя. Наша воспитательница пошла к пароходному начальнику, и он нам разрешил провести ночь в служебной каюте. Спустились в трюм: огромное помещение, душно, вонь, храп. Полно мешков, корзин, чемоданов, все спят вповалку — ступить негде. Кое-как пробрались до двери каюты. Там узкое небольшое помещение, по стенам справа и слева двухэтажные нары. На трех нарах спят, одни свободные — туда мы с Витей и легли. Только стали засыпать — у Вити заболел живот: повел его в туалет на палубу. Опять пробираемся между тел, тюков и корзин. Возле туалета очередь. Я все боялся, что Витя не удержится, но он мужественно терпел. Наконец дождался своей очереди и вернулся в каюту.

Утром нас разбудила воспитательница и сказала, что мы уже плывем по Северной Двине. Вышли на палубу: река широкая, куда шире Ваги. Много пароходов встречается, многие перегоняют наш «Ударник». Гудят.

Наконец прибыли в Архангельск. Вместе с воспитательницей сели в трамвай. Мы с Витей впервые оказались в трамвае, да и слово это тоже слышали впервые. Долго ехали. Добрались до архангельской окраины — Солломбалы. Пошли по набережной Северной Двины. Воспитательница быстро нашла нужный дом. Мама, увидев нас, несколько даже растерялась — ее не предупредили о нашем приезде, но обрадовалась очень. Тут же накормила нас на скорую руку, и воспитательница отправилась по своим делам, а мы остались.

Так кончился детдом. Мы в Архангельске, возле мамы.

Глава 3. 1935 — 1941

Одноэтажный барак, в котором жила мама с Леней и Толей, стоял на набережной Северной Двины, недалеко от пристани. Река в этом месте широкая — около километра, другой берег виднеется далеко-далеко — не сравнить с Вагой. По реке постоянно снуют большие и малые пароходы, лесовозы, катера, лодки. Беспреданно слышны их гудки.

В мамином бараке — один этаж; коридор, вправо и влево двери, ведущие в небольшие комнаты, и в конце — общая кухня. Наша комната очень маленькая, продолговатая, с одним окном. В комнате слева — койка, столик, две табуретки, справа — умывальник и таз. Другой мебели нет. Мама рассказывала, как они жили здесь без нас. Сначала, после приезда, остановились у ее брата Федора (два года назад он жил в Шенкурске, и к нему мы с мамой носили какие-то вещи в первую ночь после раскулачивания); Федор с женой и двумя дочерьми моего возраста жил на Новгородском проспекте в маленькой комнатенке. Мама очень тяготилась тем, что стесняет людей (хоть и свои, родственники, но все равно неудобно). Федор стал узнавать, куда бы маму пристроить на работу; разыскал одного нашего земляка, работавшего каким-то начальником в Соломбальском райкомхозе (районное коммунальное хозяйство), тот устроил маму конюхом, даже помог с жильем, и мама перебралась в этот барак на набережной.

Работа тяжелая, далеко от дома, и ранним утром мама шла на другой конец Соломбалы кормить лошадей, затем приходили возчики и уезжали на выполнение работ, а мама убиралась на конюшню и возвращалась домой, кормила Леню (ему семь лет) и Толю (три года) и опять шла на конюшню, потом опять возвращалась; вечером, к концу рабочего дня, — снова на конюшню. Платили маме тридцать рублей в месяц — мизерная зарплата (в сравнении с хлебом: кирпичик черного стоил около сорока копеек). На троих им денег хватало; теперь прибавились мы — радостно, конечно, и спокойнее, когда все вместе, но жить будет труднее.

Отец разыскал маму вскоре после ее приезда — узнал в подробностях про все наши злоключения. Стал помогать, как мог: давал какие-то деньги и продукты. Но много не мог помочь — живет без прописки, ночует где когда, на постоянную работу устроиться не может (нет паспорта) и поэтому хлебных и прочих карточек не имеет, берется за случайные и разовые работы, и платят ему обычно кормежкой, а не деньгами. К нам он заходил изредка, украдкой, вечером и ненадолго; ночевать не оставался — опасался, что кто-нибудь донесет. Никому из окружающих мы, разумеется, не говорили, что это наш отец. Для посторонних у нас отца не было.

В бараке на набережной мы все вместе прожили недолго. Через месяц-два после нашего с Витей приезда маме дали комнату на улице Пионерской, в небольшом деревянном одноэтажном доме рядом с конюшней. Это было прекрасно во всех отношениях. Теперь маме идти на работу и обратно — минуточку (вместо прежнего получаса в один конец). Наша комната в этом доме была хотя и самая маленькая, но зато значительно больше, чем в бараке на набережной: там, в бараке, мы с Витей спали на полу на матрасе, а мама с Леней и Толей на койке (ума не приложу, как они там помещались втроем); здесь же была кровать, отдельный лежак из досок да еще полатки над этим лежаком. Здесь было два окна. И, что очень важно, в нашу комнату выходила тыльной своей стороной голландская печь, топившаяся со стороны коридора.

Соседей у нас было немного. За перегородкой — комната (чуть побольше нашей) одноногого возчика Поповского. Он работал на той же конюшне, что и мама, — возил по Соломбале бочку с водой (водопровод в Соломбале вообще-то был, но лишь в немногих больших домах, а в основном воду брали либо на водокачке (за небольшую плату — сколько-то копеек), либо из бочек, которые возили на лошадях (тоже за плату). С Поповским мы жили мирно и тихо, но почти никак не общались. Вторую половину дома занимала семья тоже возчика с маминой конюшни — Аксеновского, тот жил с женой и двумя дочками чуть младше меня. Невдалеке от нашего дома стоял дощатый сарай, где жила Домна Осиповна Рудик с пятью детьми разного возраста. Рудики были из раскулаченных — они это не афишировали, но и не

скрывали; отец их находился в лагере. С Рудиками и девчонками Аксеновскими мы с Леней часто играли вместе.

Дом наш был бревенчатый, пятистенок, крыт железом; разделен на две половины: одну половину занимали мы и Поповский, на другой половине — Аксеновские. Недалеко от дома, метрах в ста — ста двадцати, речка Соломбалка, где мы купались летом. Берега Соломбалки мокрые и заболоченные, но были участки, где можно раздеться и даже полежать на травке на берегу. В Соломбалке ловили удочками рыбу, сидя на перилах моста. Попадались маленькие окуньки да корюшка. Серьезных рыбаков тут не было — одни ребятишки. Зимой, как только установится лед, катались на коньках (коньки деревянные, самодельные), но недолго, потому что лед быстро заносило снегом.

Между нашим домом и Соломбалкой шли огороды — здесь жители близлежащих домов сажали картошку, капусту, турнепс; мы тоже раскопали полосу земли и собирали по пять-шесть мешков картошки. Правда, скоро на месте этих огородов устроили какое-то райкомхозское поле, тогда мы раскопали грядки в другом месте, ближе к дому; они были у нас даже во время войны. Конечно, в любой момент и эти грядки могли уничтожить — например, начать там что-нибудь строить, ведь на устройство огородов никаких разрешений ни у кого не получали: просто копали на свой страх и риск, благо земля ничейная.

Недалеко от нашего дома шла дорога, соединявшая биржу и сульфато-целлюлозный завод, — это была деревянная мостовая: на земле лежали бревна, на которые сверху были набиты толстые доски (асфальта тогда не знали). Мостовые дороги часто ремонтировали: выбрасывали изгнившие и износившиеся доски (а иногда и целые бревна) рядом с дорогой. Для нас это были хорошие дрова. Вечерком пойдешь потихоньку (благо недалеко) и натаскаешь к дому, а потом напилим и сложим в поленицу.

Биржей, или лесобиржей, назывался склад лесоматериалов и поселок рабочих этого склада. Вообще Архангельск — это, как говорили в те годы, «всесоюзная лесопилка», здесь тогда было около двадцати лесопильных заводов и лесобирж; здесь загружались морские лесовозы (как наши, так и иностранные). А лес для лесопилок сплавлялся из тайги — по притокам Северной Двины и затем по самой Двине (там, на таежных лесозаготовках, работали в основном заключенные).

Возле лесобиржи я бывал неоднократно — видел штабеля досок, видел, как идет погрузка леса, а вот о сульфато-целлюлозном заводе знаю главным образом по запаху сульфата. Когда ветер дул со стороны завода, дышать было не очень приятно (кстати, неподалеку от завода была соломбальская свалка нечистот — ее запахи в сочетании с сульфатным непривычного человека могут сильно впечатлить).

Но человек ко всему привыкает, и со временем мы перестали чувствовать эти запахи так остро, как в первые недели переезда. Труднее было привыкнуть к мухам, летевшим с конюшни. Их — тысячи, миллионы. Пробовали бороться против них с помощью липучек (клеякие ленты, подвешивавшиеся к потолку) — бесполезно: через пять минут все липучки в комнате покрыты черным полуживым копошащимся слоем прилипших мух. Окна за неделю засижены так, словно их закоптили. Одно хорошо: на зиму мухи засыпали.

1 сентября 1935 года я пошел в школу — в четвертый класс. Мама сказала, чтобы я был осторожен: директором школы был некто Шишигин (может быть, ошибаюсь в его фамилии), раньше, в период раскулачивания, он служил у нас в Афёрово *бригадильцем* (почему-то мама называла этим словом всех оцепеушников; может быть, ОГПУ называлось тогда бригадами милиции?), и именно он допрашивал маму несколько раз после бегства отца. Это было малоприятное известие, и я решил, что постараюсь не попадаться директору на глаза. Вроде бы получалось: учился я хорошо, на переменках не очень баловался, в азартные игры не играл и тогда еще не курил (у нас курили уже очень многие). Только один раз попался: как-то зимой, на перемене, мы прыгали из окна второго этажа школы в большой сугроб: прыгаешь — лежишь, как во сне, и — бух в снег чуть не по пояс. Тут-то и застучал нас ди-

ректор. Привел в свой кабинет, отругал очень сильно, записал фамилии. Я очень боялся, что он вызовет маму в школу, узнает ее, и тогда мы пропали. Но не вызвал. Пронесло.

Жили мы, прямо скажу, бедновато. В школу ходили кто в чем (тогда никакой единой формы для школьников не было). Мама что-то перешивала из старых вещей, которые ей удалось спасти и привезти с собой в Архангельск; самое же главное, ей удалось спасти главный свой рабочий инструмент — швейную машинку «Singer», на ней она шила и перешивала нам одежду. А купить новую денег не было. И вот, помню, сшила она мне пиджак для школы. Все хорошо. Ношу. Но вдруг я заметил, что у других ребят на пиджачном лацкане есть петелька. А на моем нет — мама не сделала. И тогда я решил такую петельку сделать сам: согнул лацкан пополам и ножницами выстриг кусочек, по размеру петельки. Развернул — вижу (о, ужас!) неровную дырку, из которой торчит подкладка. Пришла с конюшни мама. Боюсь сказать. Но делать нечего — надо признаваться, самому свое варварство не исправить. Сказал. Мама очень расстроилась, спрашивает, зачем я это сделал. А я не знаю, как объяснить, — стыдно сознаваться в своем модничестве. «Так вот получилось», — говорю. «Ну и ходи с таким», — бросила пиджак в угол, ушла готовить ужин. Я сел делать уроки, мама еще накормила такого оболтуса, лег спать на полати. Утром собираюсь в школу (а мама к этому часу давно уже ушла на конюшню) и вижу исправный пиджак. Мама ночью нашла на мою дырку аккуратную заплатку, да так, что почти не видно. Немного позже я поведал маме о том, что хотел сделать петельку — такой пустяк, как казалось. Она только головой покачала.

В том же сентябре 1935-го пошел в школу и Витя — ему было уже восемь с лишним лет, но отправился он только в первый класс. Почему-то в детстве он не учился — может быть, из-за болезни? Он и после приезда в Архангельск чувствовал себя все время плохо — жаловался на живот. И в школу проходил недолго: месяца через два после начала учебы заболел совсем, уже не вставал с постели и еще до снега умер. Хоронить пришел весь его первый класс вместе с учительницей. На могилке я воткнул ветку тополя. Часто мы потом бегали туда и видели, что ветка тополя растет.

Мы остались вчетвером: мама, Леня, Толя, я. Отец по-прежнему с нами не жил — приходил лишь иногда по вечерам, приносил немного еды, какие-то гостинцы нам, ребятишкам, но ночевать не оставался. Работал он в разных местах. Как-то однажды, будучи у нас, позвал меня назавтра, в воскресенье, приехать к нему — сказал, куда и как добираться. Я отправился наутро. Ехал на трех трамваях в сторону лесопильных заводов — на другой конец Архангельска. Нашел отца — он работал на птичнике. Он меня накормил и дал ящичек, в котором было десятка два-три куриных яиц. Завязал ящик веревкой, сделал из той же веревки удобную ручку и отправил меня домой. Такой длинный путь я проделал впервые и из окна трамвая с любопытством разглядывал дома в Архангельске и улицы, по которым ехал.

К отцу я ездил еще несколько раз по воскресеньям в том же направлении, но уже в другие места; всегда привозил от него домой что-нибудь съестное. Однажды он нечаянно чуть меня не убил. Работал он по плотницкому делу в каком-то домике. Приехал я утром и стал ему помогать: он стоит на табуретке, что-то прибывает, а я ему подаю то доску, то гвоздь, то еще что-нибудь. Поработали, передохнули, пообедали даже чем-то горячим тут же в помещении, среди щепок и стружек. Стали продолжать. Отец прибывает топором к потолку, я ему помогаю. Вдруг мне по голове что-то стукнуло. Оказывается, он опустил топор вниз не глядя и острием угодил в меня. Отец как оголтелый прыгнул на пол, схватил меня в охапку и видит: сквозь волосы течет кровь. А я даже не очень испугался. По счастью, рана оказалась не великой, и отец потихоньку успокоился. Говорит, что когда он опустил топор, то топор отскочил вверх, и ему показалось, что он расколот мне череп. Но череп выдержал. Больше в тот день отец не работал. Наполнил меня чаем с белым хлебом, дал с собой что-то съестное и отправил домой.

Вспоминается еще один случай, связанный с отцом. Было это летом следующего, 1936 года. Отец работал где-то в районе улицы Урицкого, тоже по

плотничьему делу. Я ему помогал, как часто бывало по воскресеньям. В середине дня он мне говорит: «Сходи в морской порт. Туда должен прийти пароход из Нарьян-Мара, и на нем приедет Санька» (Александр — мой старший брат, его первый сын). Мне надо его узнать и позвать сюда, на встречу с отцом. Я отправился в порт. Встал недалеко от причала. Жду. Народу полно, все ждут парохода из Нарьян-Мара. Наконец пароход показался и стал пришвартовываться. На палубе очень много пассажиров. Я ищу Саньку глазами — как бы его узнать? Я ведь видел его последний раз лет пять назад, когда он приезжал к нам в Заполюки. Увидел белобрысого парня на борту. Ну, думаю, это он, и уже не спускаю с него глаз. Установили трап. Стали выходить пассажиры с парохода. Мне надо не потерять из виду белобрысого. На палубе его уже нет. Смотрю на трап — а трап широкий, по нему пассажиры идут по два, по три в ряд. Наконец вижу своего белобрысого. Он уже сошел с трапа и идет один. Никто его не встречает. Подбираюсь к нему и говорю: «Санька, это я, Миша. С тобой хочет встретиться отец. Я тебя провожу к нему». Он отвечает, что меня не знает и что его отца в Архангельске не может быть. И зашагал дальше. Я остолбенел. Сразу догадываюсь: не хочет встречаться с отцом, боится, не признался. Переживаю за отца — ведь ему будет обидно. А может, я действительно ошибся и перепутал? Делать нечего. Теперь уже толпа разошлась, и я все равно Саньку не найду. Постоял еще немного. Вернулся к отцу, рассказал, как было. Он молча выслушал. Сказал: «Обознался», — и ничего больше не уточнял, не спрашивал и об этом больше никогда не вспоминал.

Итак, идет 1936 год. Мама работает по-прежнему на конюшне. Встает рано утром. Мы еще спим. Следующим поднимаюсь я — пора в школу. Печь уже истоплена, на плите — кипяток, на столе — картошка и хлеб (карточки уже отменили, и, кажется, живем не впроголодь). Леня и Толя остаются одни — Леня за старшего, я иду в школу.

Возвращаясь из школы, я бежал на конюшню, докладывал маме о своем прибытии и получал от нее указания по дому. Ходить в магазин за повседневными продуктами — это моя обязанность. Где лежат деньги, я знал: в коробочке с надписью «Монпансье». В мамины доходы и расходы я был посвящен полностью; денег всегда было в обрез, но и в долги никогда не залезали. Ели обычно вареную треску с картошкой. Сыр и колбасу покупали редко — только по праздникам. Раз в месяц я вставал в четыре-пять утра, шел к рынку и занимал очередь за головизной (головы говьяжьки или трески) — она дешевле, и из нее варили супы. Головизну продавали в рыночной палатке и привозили к девяти часам утра. Если заранее не занять очередь — не достанется.

Приходилось мне занимать очередь и за полотном (для простыней). Полотно было дефицитом и продавалось лишь иногда в промтоварном магазине на втором этаже. Надо было прийти к магазину пораньше и стоять у двери до девяти часов. В девять, как только двери магазина откроют, все, кто ждет у двери, устремляются внутрь и, толкая друг друга локтями, бросаются по узкой лестнице с одним поворотом на второй этаж. Первым я никогда не оказывался, но полотно доставалось — его выбирала уже мама, подходившая ко мне чуть попозже.

Как-то летом 1936 года мама поехала в Шенкурск — взять там у знакомых и родственников некоторые припрятанные вещи. Мы оставались несколько дней одни. Мама вернулась с хорошим багажом. Помню, она привезла перину, ватное стеганое одеяло, какие-то отрезки сукна, сатина, полотно и еще каких-то гостинцев нам. Мы, ребята, играли в момент ее приезда со сверстниками из своей компании. Увидели маму, прибежали домой. Мы с Толей остались, а Леня после маминого угощения убежал к ребятам доигрывать — радостный. Вдруг прибегают ребята и кричат, что Леня попал под машину. Я бегу бегом и вижу: на развилке двух мостовых дорог за конюшней стоит в кювете возле дороги грузовая машина на боку, добегаю и вижу разбитого Леню у машины. Мама бежит за мной, я назад к ней навстречу и говорю, что да, Леня. Она так и села на мостовую возле средних ворот конюшни, дальше идти не может. И не плачет даже, а что-то произносит непонятное. Я подсел рядом, стал что-то говорить — она

меня как будто не замечает. А я слышал когда-то, что, если человек испугался сильно, надо брызнуть ему в лицо или на голову холодной водой. Рядом у входа в конюшню стояла бочка с водой — зачерпнул ковш воды и вылил его на голову маме. Она действительно очнулась, встала и с мокрыми волосами пошла к машине. Тут она увидела мертвого Леню и, прижав его к себе, заплакала навзрыд.

Через некоторое время появился милиционер и «скорая помощь». «Скорая помощь» уехала, сказав, что мертвых не берут. Уже накопилось много народу (любопытные). Милиционер расспрашивал ребятешек, как было дело. В этом месте возле дороги небольшая сухая лужайка (в других местах вдоль мостовой земля сырая, иногда даже болотистая). И вот ребята придумали новое развлечение: разбегались поперек дороги и прыгали на эту лужайку — кто дальше. Дошла очередь до Лени. Он разбежался, а тут на большой скорости грузовик; шофер заметил Леню поздно, и хоть повернул руль налево и съехал в кювет, но успел зацепить Леню. Такая трагедия.

Этот грузовик с помощью другой грузовой машины вытащили на мостовую, положили на него Леню, в кабину с шофером сел милиционер, а в кузов я рядом с Леной. Привезли в больницу и оставили его там. Я возвратился домой пешком. На следующий или на второй день мы Леню похоронили. Был и отец. Могилу вырыли рядом с Витиной. На Ленин холмик я тоже воткнул ветку тополя, и она тоже, как Витина, дала побеги. И потом, когда в 50 — 80-е годы при моих приездах в Архангельск мы с мамой бывали на кладбище, ориентиром могилок наших ребят служили два могучих, в несколько обхватов, тополя.

Так мы остались втроем: мама, я, Толя. Отец около нас, но по-прежнему не с нами.

* * *

Летом к маминим обязанностям на конюшне прибавлялась еще необходимость отводить лошадей на пастбище. После работы возчиков, часов в шесть-семь вечера, когда все подводы придут на конюшню и лошади будут распряжены, лошадей надо гнать в ночное, а утром доставить всех назад на конюшню. Пастбище было за сульфатным заводом. Я не раз бывал там вместе с мамой, помогая, и можно сказать, что мое солombsальское отрочество прошло при лошадях и на лошадях, несколько позднее, когда я учился в шестом — восьмом классах, вместе со мной лошадей стали перегонять мои друзья-приятели — окрестные мальчишки. Мы разбирали лошадей, садились на них верхом и галопом гнали друг за другом. Мама сначала боялась отпускать нас одних, но, съездив несколько раз во главе каравана, убедилась, что мы ведем себя достойно, лошадей не попортим, и разрешила действовать самостоятельно. А нам одно удовольствие.

Лошади паслись на пастбище всю ночь сами по себе. Но после того, как несколько лошадей потерялось, конюшенное начальство ввело должность пастуха, а в помощь пастуху стали давать еще и подпаса, а то и двух, то есть ту работу, которую раньше выполняла одна мама — в дополнение к своим дневным обязанностям, но без дополнительной зарплаты, — теперь делали несколько человек, да еще, что замечательно, им платили больше, чем маме. В то первое лето, когда лошадей в ночное стал гонять пастух, я определился подпаском — лишние деньги в семью (это было уже в 1937 или 1938 году). Пастух, которому я помогал, оказался очень интересным человеком. Он был не здешний, не солombsальский, и даже вообще не из архангельских краев, а из какой-то южнорусской области (Воронежской? Курской? — не помню). Наверное, он был старообрядцем, потому что был категорическим врагом табака и спиртного. Но самое главное, он оказался очень образованным человеком (тоже, видимо, репрессированный или в бегах) и рассказывал мне ночью эпизоды из древней истории: тут были и подробности о жизни фараонов, и сведения из истории Греции и Рима, и повествования о войнах старинных времен. Я, конечно, не запомнил и тысячной доли того, что он рассказывал, но тогда слушал с открытым ртом. Этот пастух в наших краях был только одно лето, а после исчез, и больше я его не видал.

В сентябре 1936 года я перешел в пятый класс — здесь уже был не один учитель по всем предметам, как раньше, а по каждому предмету свой. Ничего особенного из школьной учебы не запомнилось; учился я хорошо, учеба давалась, как и раньше, легко. Меня приняли в пионеры (никто же не знал, что я сын кулака), и я стал носить красный галстук.

Общая обстановка в стране вполне отражалась в наших пионерских головах. Разгром троцкистско-бухаринских врагов народа; процессы, которые вел Вышинский; сталинские пятилетки в четыре года; стахановское движение (в Архангельске был свой сподвижник Стаханова — Бусыгин, то ли в леспромхозе, то ли на лесопильном заводе) — все это мы, пионеры, воспринимали восторженно и радовались вместе со всеми. Радио у нас в доме не было. Газету выписывали только одну по моему настоянию — «Пионерскую правду». Я ее очень любил, читал все — от первой до последней строчки.

Бывали у нас с мамой политические полемики. Она считала Сталина главным виновником всех бед. Вон, говорила она, сколько врагов народа нашел; убирает всех, кто ему мешает; страху нагоняет на всех; скольких обездолил; а жить-то становится хуже и хуже; деревни все разорили, наделали колхозов, а в колхозе одна принудилка; люди бегут из деревни; лесные делянки зарастают травой и кустарником, пашни гибнут. Я ей на такие святотатственные речи горячо возражал и доказывал что-то о пользе коллективизации, социализма и конституции, но убедить не мог и очень иногда обижался, а она говорила: «Ничего-то ты, Мишенька, не знаешь. Подрастешь — сам все увидишь».

Впрочем, пионером я был не деятельным, следуя своему главному принципу: не высовываться. Делал всё как все, а против течения не шел.

В 1936 году была принята новая Конституция СССР, на которую мы возлагали большие надежды в связи с неустойчивым положением отца. Мать-то уже была реабилитирована — у нее справка о том, что она не кулак, а значит, и мы, дети, тоже. Остался отец. И наши надежды оправдались. Не помню точную дату, но в 1937 году отцу удалось получить настоящий советский паспорт, и он из бродяги превратился в человека. Он сам себя реабилитировал. В его паспорте, в графе *социальное происхождение*, было записано: *из крестьян*. И наконец он стал жить открыто: пришел к нам в нашу маленькую комнату и устроился на мамину конюшню возчиком. Получил лошадку по кличке Воронок и работал по нарядам в пределах Соломбалы и окрестностей Архангельска: развозил по магазинам товары со складов, дрова в школы, в магазины, в учреждения. А вскоре ему предложили работать на ассенизаторской фуре — вывозить нечистоты из соломбальских нужников (канализации тогда еще не было). Отец согласился — эта работа была хоть грязная, но в денежном отношении более выгодная: и зарплата чуть больше, чем у других возчиков, и к тому же отец успевал, кроме работы по нарядам, подрабатывать частным образом — тут уж расплачивались на месте прямо с ним, и эти денюжки были значительно большими, чем его зарплата. Теперь жить стало веселей. Стали позволять себе покупать сыр и колбасу не только по праздникам, картошку стали есть со сливочным маслом, в доме стали водиться карамельные конфеты — подушечки да леденцы, даже мороженое стали покупать.

Летом 1937 года по Соломбале стали прокладывать новую трамвайную линию, и наш дом мешал: его стали передвигать. Под дом подвели балки на сваях, сделали эстакаду из бревен метров в сто пятьдесят и по этой эстакаде передвигали наше жилище специальными лебедками в течение десяти—пятнадцати дней. Передвигали днем, а по ночам мы и наши соседи жили в своих комнатах, забираясь туда по стремянкам. Совсем не помню, что было с печами, — видимо, их ломали, а потом на новом месте строили заново, на новом уже фундаменте. После передвижения жить в доме стало холодно, что ощутилось в первую же зиму. Вероятно, дом сильно растрясли, появились щели в стенах, в полу, на потолке; как только мы их ни конопатили — помогало мало.

На новом месте матери пришла в голову гениальная мысль: а не купить ли козу? Коза, конечно, недешево стоит, но ведь и отец теперь зарабатывает неплохо. На семейном совете решили: быть посему! Купили, назвали Тань-

кой. Мы с отцом (вернее, отец со мной) на ничейной земле возле нашего дома поставили для Таньки небольшой хлев, к нему пристроили сначала один сарай — для сена, потом еще сарай, побольше, — для дров, и у нас получилось довольно приличное дополнительное помещение. Скоро у Таньки появилось молоко. Сначала оно казалось нам солоноватым, а потом привыкли и лучше козьего молока не признавали другого. Паслась Танька где-нибудь недалеко от дома — на ничейных клочках земли (возле кладбища, внутри кладбища, там была полянка еще до могил, и т. п.), привязанная на длинной веревке. В течение дня я или мама несколько раз ходили и посматривали, не запуталась ли в веревке. На зиму мы заготовливали для Таньки сено (тоже на всяких ничейных клочках: по берегу речки, на насыпи, возле насыпи и т. д.) и веники (березовые, ольховые и т. д.). Все это в сушеном виде складывалось на зиму в сарае, и летом мы на этом своем сеновале с удовольствием спали: отец, Толя и я. Отец даже сделал специальный топчан. Очень уютное место получилось.

На следующий год, опять же по маминой идее, у нас появилось несколько курочек и петушок. Пристроили еще и курятник. Совсем стало хорошо!

Рудики, наши соседи, тоже постепенно расстраивались, прибавляя к своей сараюшке новые строения, и завели, как заправские хохлы, поросят и свиней. Моя мать категорически была против свиней: считала их лишней обузой в хозяйстве. Да и свинины она почему-то не признавала и, конечно, никогда бы не пошла торговать, как Рудики. Даже при большой нужде торговать (то есть продавать или менять вещи на жратву) было для нее хуже острого ножа: очень стеснялась такого занятия.

Весной 1938 года Аксеновские уехали из нашего дома, и мама сумела выпросить для нас их комнату в другой половине — мы перебрались туда. Комната Аксеновских была значительно больше, чем та, в которой мы ютились до сих пор, и теперь нам стало совсем хорошо. Вскоре купили подержанный комод, мамин брат отдал нам обеденный стол, и уроки стало делать совсем удобно — за столом (а не на коленках). Зимой, в лютые холода, брали к себе в комнату Таньку → как-то она нам не досаждала: спокойной была. Мы ей тоже не мешали.

Словом, жить стали лучше, веселее. Стали сами ходить в гости к родственникам, и к нам тоже стали приходиться кое-кто из родни, перебравшейся из деревни в Архангельск. Часто у нас бывали Ваня и Коля — мои старшие братья, отцовы дети, — оба тоже теперь жили в Архангельске.

Купили мне коньки и лыжи, костюм выходной купили. Этот новый костюм я надевал сначала только в торжественные дни: на праздничные школьные вечера и на выходы в театры с классом. Были несколько раз в архангельском ТЮЗе и в Большом драматическом.

Первый в моей жизни выход в театр был на «Ревизора». Я еще не знал (и сам не читал, и в школе не проходили), о чем будет спектакль. Но в любимой «Пионерской правде» недавно прочитал статью «Настя-ревизор» — про какую-то пионерку, вмешавшуюся в жизнь хозяйственников. Говорю матери: идем на спектакль об этой девочке, прочитал даже вслух заметку из газеты. Мама ответила: «Лезет тоже не в свое дело!» А оказалось, пьеса совсем не про то. Вернулся из театра, рассказал маме, как умел, сюжет — она удовлетворилась: правильно написал Гоголь! И как только разрешают такое показывать?

Как-то летом я выпросился у родителей в пионерский лагерь. Лагерь находился в обычной деревне на берегу Северной Двины — в Холмогорском районе. Жили в деревенских избах. В центре деревни была площадка с флажштоком, на который каждое утро поднимали флаг, а вечером перед отбоем опускали. Все делалось по сигналу горна. Были: футбол, волейбол, городки, купание в Северной Двине, пионерские костры с собственной самодеятельностью. Словом, за детство спасибо наше спасибо, родная страна. Жизнь очень похожа на детдомовскую. Больше я в лагерь не ездил, а проводил лето с маминими лошадаками.

Семь классов окончил с похвальной грамотой. Теперь был выбор — можно начинать работать или пойти в техникум либо в какое-нибудь училище, что сделали многие мои одноклассники. Но мне хотелось получить

полное среднее образование. Мама благословила на продолжение учебы — сказала, что прокормят меня до конца школы. И я перешел в восьмой класс.

Очень я воспылал к физике и напросился у нашего учителя физики Владимира Федотовича помогать ему готовить опыты, а он помог мне и еще одному мальчишке из нашего класса — Ване Богданову — устроить в школе отдельный уголок-мастерскую, где мы изготавливали некоторые приборы для физического кабинета. Во время своего последнего приезда в Архангельск, лет семь назад, я побывал и в моей бывшей школе, и там на стене нашего физического кабинета до сих пор висит ртутный барометр, на котором приклеена надпись о том, что он сделан в 1938 году мной и Ваней Богдановым.

Один только неприятный случай связан у меня со школой. В конце декабря 1939 года, перед новогодним школьным вечером, несколько ребят из нашего класса, и я в том числе, решили приободриться: купили четвертинку водки (очень хорошо запомнил: стоила 3 р. 15 коп.) и в скверике на скамейке распили ее из горла по очереди. Не закусывали ничем, морщились. И пошли в школу на вечер. Наверное, все пробовали водку впервые (я точно первый раз), и то, что мы ее пробовали, оказалось заметно. Наутро нас всех вызывает пионервожатая и объявляет, что вечером — экстренный сбор пионерской дружины, на который вызываются наши родители: нас будут исключать из пионеров за пьянство. Пришел домой, долго мялся, наконец сообщил матери. А она прежде ни разу в школе не бывала — на родительские собрания никогда не ходила: некогда, да и незачем — претензий ко мне со стороны учителей до сих пор не случалось. А тут я ее огорошил.

Собрался весь наш класс и еще много родителей. Все парты заняты. Нас, подсудимых, посадили лицом перед всеми у доски. Присутствует классный руководитель и, самое страшное, директор школы. Ведет собрание пионервожатая. Требуют рассказать, что, как, почему. По очереди невнятно лепечем почти правду (крамольная мысль пришла всем сразу): все равны, все виноваты, идейного вдохновителя нет. Больше не будем. Тут вдруг моя мама спрашивает: «А бутылку-то пустую куда дели?» — «Бросили!» — «Как же так! Надо было сдать и за нее деньги получить». Я еще больше сконфузился. Дальше нас стыдили и говорили о высокой морали и о дурном примере, который мы подаем младшим. Но почему-то из пионеров не исключили.

Домой мы с мамой шли молча. Дома тоже молча. Ни слова о случившемся. В школе тоже и на следующий день и после никто не вспоминал. Сговорились, что ли? Мы между собой тоже об этом не вспоминали. Кажется, до сей минуты я тоже никому не рассказывал.

Восьмой класс, несмотря на случившуюся историю, я закончил с похвальной грамотой (так же, как раньше шестой и седьмой и как потом девятый и десятый). Эти грамоты хранятся у меня по сей день — они однотипные: в левом углу портрет Ленина, в правом — Сталина, в центре запись: «Выдана ученику (соответствующего) класса «А» 52-й средней школы Соломбальского района г. Архангельска за отличные успехи и примерное поведение». Мы, однако, догадались дома повесить эти грамоты на стену комнаты, и их тотчас засидели мухи.

Весной 1940 года меня приняли в комсомол. Помню, я все еще немного побаивался, что докопаются до моего кулацкого прошлого. Но ничего, никому в голову не пришло наводить справки. А одного мальчишку в нашем классе исключили из комсомола после того, как его отца арестовали. Потом и он сам пропал — видимо, всю семью репрессировали.

В конце 1939 — начале 1940 года прошла советско-финская война. Хуже стало с продуктами. Появились песни типа «Если завтра война, если завтра в поход...», лозунги вроде «Чужой земли нам не надо, но и своей не отдадим!». Присоединили к СССР Бессарабию, Литву, Эстонию, Латвию, присоединили Западную Украину и Западную Белоруссию. Пахло войной.

А нас подстерегала новая беда. Однажды отец ехал на своей фуре неподалеку от дома и вдруг свалился прямо на дорогу в беспамьятстве. Кто-то узнал его — привезли к нам домой, внесли в комнату, уложили на кровать. Не работает правая рука, не слушается нога, и пропала речь. Паралич. Единственное слово, которое он может произнести, — *кутос*, а что это слово

означает, мы не поймем. Что-то просит, что-то хочет сказать, а произносит только одно слово. Беда, да и только. Начинаешь называть вещи, предполагаешь вслух — что надо, и только на десятый — двадцатый раз угадаешь, что он хочет, что просит. Домашние дела наши резко ухудшились. Отцу дали инвалидность и пенсию в двадцать рублей. Врачи ничего сделать не могут. Только покой на койке. Так он лежал без движения месяца три-четыре. Потом постепенно стал подниматься с кровати и с нашей помощью доходил до туалета. Правая рука не действовала, висела, левая крепко держала. Речь не восстанавливается. Кормим его по-прежнему из своих рук. Моем с мамой в корыте дома около печки. Примерно через полгода стал сам передвигаться по комнате (падал иногда), потом стал выходить на улицу. Вроде все понимает, а говорить не может — одно слово *кутос*. За столом уже сидит и ест сам левой рукой. Мы с Толей днем в школе (Толя уже во втором классе), и мама одна за ним урывками наблюдает. Не натворил бы чего. Все порывается то дрова пилить и колотить, то на огород выйдет. Не работа, конечно, а так — одно желание. Ничего не получается.

Однажды, уже осенью 1940 года, мы с Толей приходим из школы, и мама нам сообщает, что отца отправили чуть ли не в тюрьму. Оказывается, он среди бела дня пошел на конюшню, взял охапку сена и потащил ее к дому. Мама его не видела. А кто-то увидел, и его забрали в милицию. Мама туда ходила, упрасивала — но без толку. Говорят, что будут судить за воровство социалистической собственности — тогда это было страшным преступлением. Продержали отца в кутузке неделю, там ему сделалось еще хуже, совсем перестал сам передвигаться, и в конце концов на милицейской машине привезли его домой уже неходячего. Так он пролежал еще год и умер в конце 1941 года в возрасте пятидесяти шести лет. Это было уже во время войны.

А я к началу войны как раз закончил девятый класс. На воскресенье, 22 июня 1941 года, был назначен наш школьный вечер. Но вместо праздника мы в тот день переустроивали нашу школу под военный госпиталь.

Мне было тогда шестнадцать лет, и поэтому еще два года я провел в Архангельске: закончил десятый класс, затем работал в топографических экспедициях на Северной Двине и на Белом море и наконец в марте 1943 года, как только мне исполнилось восемнадцать лет, был призван в армию.

Но это уже другая эпоха моей жизни, а в этой повести я ставлю точку.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ЕКАТЕРИНА ЭЙГЕС



ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

«Самое лучшее время в моей жизни считаю 1919 год. Тогда мы зиму прожили в 5 градусах комнатного холода. Дров у нас не было ни полена», — писал Есенин в автобиографии.

Об этом времени и о Есенине, поднимающемся по ступеням известности и славы, еще не надломленном, бодром и деятельном, с «не промокшими» в кабаках синими глазами, авторе «Инонии», «Сорокоуста», «Пугачова», — воспоминания Екатерины Романовны Эйгес (1890 — ?), написанные почти сорок лет спустя после ее знакомства с поэтом.

Е. Р. Эйгес родилась в большой семье, все члены которой были разносторонне одаренными людьми. Отец, Роман Михайлович Эйгес, — переводчик с немецкого (в частности, в 1892 году он перевел «Страдания молодого Вертера» Гёте). Старший брат, Константин Романович, — композитор, пианист, педагог, музыкальный критик, оставивший воспоминания о С. В. Рахманинове и С. И. Танееве. Иосиф Романович — музыкальный писатель, пианист, литературовед. Он был автором работ о роли музыки в жизни и творчестве русских писателей (Пушкина, Чехова). Еще один брат, Александр Романович, составил аннотированное описание писем к А. П. Чехову (1939). Вениамин Романович — живописец, ученик К. Ф. Юона. Сестра Надежда Романовна — педагог, автор многочисленных книг о воспитании детей, издававшихся до середины 60-х годов.

Екатерина Эйгес, окончив до революции математический факультет Московского университета, совмещала работу в библиотеках Наркомвнудела, затем — Наркомпроса с учебной на Высших литературно-художественных курсах (впоследствии — Литературно-художественный институт им. В. Я. Брюсова), писанием стихов, посещением многочисленных поэтических вечеров и выступлений — в Политехническом музее, Доме Печати, литературных кафе. В Москве тех лет такой образ жизни был типичен для развитой, близкой к литературным кругам девушки. По-видимому, стихи Е. Р. Эйгес чего-то стоили и ее не только за привлекательную внешность приняли во Всероссийский Союз поэтов. К сожалению, нам неизвестно, сохранились ли ее произведения. По отдельным стихотворным наброскам 1918 года, конечно, очень трудно судить о даровании Эйгес.

Уже отравленная ядом
Зеленых трав и тополей,
Я не могу укрыться взглядом
От убегающих полей.

Вернуться вновь к толпе, столице,
Кафе позгов на Гверской,
В ту жизнь страдающей блудницы,
Забывшей счастье и покой.

Нет, о другом душа томится.
Здесь, в зеленеющем саду,
Москва пускай мне только снится
В своем пленительном чаду.

1918.

(РГАЛИ, ф. 2218, оп. 1, ед. хр. 142.)

Стихотворение слабое, в «страдающую блудницу» верится с трудом. Среди начинающих поэтов и поэтесс, которые окружали Есенина, многие писали стихи гораздо искуснее — например, Надежда Вольпин, мать сына Есенина, впоследствии известная переводчица и автор воспоминаний о поэте. Конечно, наивные и целомудренные воспоминания Екатерины Эйгес не могут сравниться с предельно искренними записками Галины Бениславской, полный текст которых стал известен сравнительно недавно (в сб.: «С. А. Есенин. Материалы к биографии». М. 1993), или с обладающими высокими литературными достоинствами воспоминаниями Н. Д. Вольпин (в сб.: «Как жил Есенин». Челябинск. 1992). Но даже самые непритязательные свидетельства о поэте приобретают для нас все большую ценность по мере удаления от его времени.

Машинописная копия воспоминаний Е. Р. Эйгес поступила в «Новый мир» от А. М. Абрамова, разбиравшего весной 1983 года, по просьбе академика А. Н. Колмогорова, архив математика Павла Сергеевича Александрова и обнаружившего в нем эти воспоминания. «Неожиданно встретила машинописная копия (25 пронумерованных страниц и четыре отдельных листика) с упоминанием Есенина, — пишет А. М. Абрамов. — Когда я с удивлением спросил Андрея Николаевича, как она могла попасть сюда, он ответил в первый момент, что тоже удивлен, но затем спросил: „А нет ли там упоминаний каких-то фамилий?“ Когда я нашел запись „Ек. Ром. Эйгес“, Андрей Николаевич сказал: „Тогда все понятно“. На мой естественный следующий вопрос ответ был примерно таков: „Это Екатерина Романовна Эйгес. Она была женой Павла Сергеевича“».

В архиве Института мировой литературы им. А. М. Горького в Москве хранится еще одна машинописная копия записок Е. Р. Эйгес. Записки эти довольно давно знакомы есениноведам (впервые один отрывок из них был приведен составителем двухтомной биографической хроники Сергея Есенина В. Г. Белоусовым еще в 1970 году), но никогда полностью не публиковались. Машинописная копия из архива ИМЛИ (ф. 32, оп. 3, № 50 А), в целом идентичная машинописи из архива П. С. Александрова, выполнена на другой машинке и авторизована. Пользуемся случаем поблагодарить С. И. Субботина, взявшего на себя труд сверить текст из архива П. С. Александрова с текстом, хранящимся в ИМЛИ. Обе машинописные копии, очевидно, восходят к одному, возможно уже утраченному, рукописному протографу, поскольку для не разобранных машинисткой мест в обоих оставлены идентичные пропуски, так и оставшиеся незаполненными.

При публикации текст воспоминаний Е. Р. Эйгес подвергся минимально необходимой редакции: названия переименованных московских улиц, упоминаемые вразнобой (ул. Герцена и Б. Никитская, Тверская и ул. Горького), приведены в соответствие с описываемым временем — 1919 — 1921 годы; исправлены явные грамматические и стилистические ошибки. Воспоминания в полученной машинописи никак не озаглавлены; заголовок дан публикатором.

III ознакомилась я с Есениным весной 1919 года, вот при каких обстоятельствах. Тогда литературную жизнь в Москве возглавлял Союз поэтов, обосновавшийся в так называемом «Кафе поэтов» на Тверской, д. 18. Небольшая, часто переполненная зала, эстрада, на которой выступали имажинисты, пролетарские поэты, футуристы и просто поэты и поэтессы. Среди публики изредка бывал Валерий Брюсов. Вторая комната — собственное кафе; там можно было поужинать и выпить кофе с пирожным эклер; отсюда вели две двери, одна — в кухню, на другой была надпись: «Правление Союза поэтов, председатель Шершеневич¹». За столиками в кафе сидели поэты, артисты после спектакля. Вот в углу за столиком сидит Есенин с каким-то издателем. Они горячо разговаривают о чем-то, что-то пишут. Про Есенина говорят, что он умеет «пристраивать» свои стихи: они то выходят отдельными книжечками, то в каких-нибудь поэтических сборниках.

На эстраду то и дело выбегает молодой человек с вьющимися волосами и светлыми глазами. Это конферансье, он весело объявляет каждый новый номер выступления. Это поэт Ш. Много лет спустя я встретила этого человека: бледное лицо, ходит на больших костылях. Обе ноги у него были отрезаны при какой-то уличной катастрофе. Теперь он пишет на машинке.

Зимой 1918 года я в первый раз была в этом кафе с моим братом на выступлении Есенина, стихи которого мне очень понравились. Само собой разумеется, мне очень хотелось попасть в этот поэтический мир. Ведь у меня самой уже была написана целая книга стихов, напечатанная на пишущей машинке и переплетенная, она имела вид книжки. Это стихи 1910 — 1913 годов. Тогда, до революции, я попробовала показать их Валерию Яковлевичу Брюсову. Это было на Арбате, в редакции «Русской мысли». «Мне хочется знать ваше мнение», — тихо сказала я. Но Валерий Яковлевич очень строго ответил мне, что он может только сказать, годятся или не годятся стихи для напечатания в данном журнале. Я так опешила от этого ответа, что не нашла ничего другого, как взять свою тетрадь обратно и уйти. С тех пор я не писала стихов. Так было до революции 1917 года. За это время я окончила математический факультет 2-го МГУ.

После революции повсюду в Москве, точно грибы, стали появляться различные поэтические кружки, общества, литературные курсы, а также начались выступления поэтов в клубах различных районов Москвы. С радостью бросилась я в эти открытые двери поэтических единений. Так, помню, был небольшой поэтический кружок где-то в районе Остоженки, в квартире Классон, под председательством Н. Павлович, было общество «Литературный особняк»² и др. Посещала я также литературные курсы, где слушала В. Брюсова — «Ритмика стиха». Обыкновенно на выступления ходили мы вместе с братом, литературоведом И. Эйгесом. Иногда я читала свои стихи, брат выступал в качестве критика прочитанных произведений. Помню, в каком-то клубе мы впервые слушали выступление В. В. Казина. Он читал свой «Рабочий май» и сразу обратил на себя наше внимание. Он был еще совсем юным, выступал в ученической куртке. Позднее мы встречались с ним, так же как и с его другом Санниковым, очень часто в том же «Кафе поэтов».

На литературных курсах я познакомилась с поэтом Вас. Федоровым³, переводчиком, а также встретилась с писателем Ив. Новиковым, с которым мы оказались земляками по Орловской области и даже квартировали вместе с моими родителями в г. Мценске, в доме Орембовских, описанном И. Новиковым в его одноименном романе⁴. Не раз бывали мы также в старинном обществе «Среда», организованном [пропуск в машинописи], где председательствовал Львов-Рогачевский⁵. Я и брат жили тогда на Б. Якиманке, ходить приходилось пешком, трамвай ходили плохо.

В начале 1919 года я переехала на Тверскую улицу, в гостиницу «Люкс», которая была общежитием того учреждения, где я работала в библиотеке⁶. Комната — большая, светлая, с письменным столом и телефоном на столе. Однажды, по дороге со службы, я увидела в окне книжного магазина книжечку стихов Есенина «Голубень». Я купила ее и сразу почувствовала весь аромат есенинских стихов.

В начале весны я как-то отнесла свою тетрадь со стихами в Президиум Союза. Там за столом сидел Шершеневич, а на диване в свободных позах расположились Есенин, Кусиков, Грузинов. Все они подошли ко мне, познакомились, спросили адрес. Через несколько дней мне возвратили тетрадь, и я была принята в члены Союза поэтов. А еще через несколько дней в двери моей комнаты постучались. Это был Есенин. Говорят, Есенин перед выступлением часто выпивал, чтобы быть храбрее. На этот раз он был трезв и скромен, держался даже застенчиво. Сидя сбоку на ручке кресла, он рассказывал о своем приезде в Петербург, о своей бытности там, о своем знакомстве с Блоком, Ахматовой, Клюевым, который оказал на него большое влияние. Позднее, в разговоре о Блоке, он высказался о нем несколько иронически, называя его современным Надсоном, а его поэзию «надсоновщиной».

И вот, после блоковских таинственных Незнакомок, туманов, снежных метелей, я привыкла к другим образам, которые мне становились все ближе и дороже и которым мне хотелось теперь подражать.

Гуляя в одиночестве и глядя на окрестные места, я так писала потом одному знакомому поэту в Москве:

Другой здесь мост высокий,
Под ним железный путь,
И все брожу я около,
А вниз боюсь взглянуть.

А если спуститься ниже —
 Сколько коров на лугу, —
 И думаю: скоро ль слижет
 Здешний месяц мою тоску?
 И месяц рукою сильной
 Поднимает в свой желтый свет,
 Чтобы не думать мне больше о «милом»,
 Опоздавшем на десять лет.

Слово «милый» попадалось у меня не в одном стихотворении, поэтому поэты, в том числе и Есенин, завидя меня, дразнили: «Вот «милый» идет». Потом, после того как Казин посвятил мне стихотворение, меня прозвали одно время «Музой». Кроме Казина и другие писали мне стихотворения, причем моя фамилия Эйгес многим нравилась, казалась многозвучной. Один поэт рифмовал «Эйгес» и «песни лейтесь». Они были написаны в моем специальном поэтическом альбоме, который так же трагически погиб, как и все остальное.

Очень любил писать эпиграммы В. Федоров. У меня на столе большая промокательная бумага вся была испещрена небольшими эпиграммами, главным образом на Есенина, которые, конечно, тоже исчезли.

У меня имеется рукопись стихотворения Сергея Есенина «Хулиган». Написано чернилами на бланках «Коммуны Пролетарских писателей»⁷. Всего три листа. Первоначально стихотворение, очевидно, предполагалось состоящим из четырех строф, так как за ними следует подпись «С. Есенин». Потом подпись, а также четвертая строфа зачеркнуты. Зачеркнута также строфа, следующая за подписью.

Первые три строфы стихотворения написаны почти без помарок. Остальные шесть строф, начиная со строчки «Русь моя, деревянная Русь», написаны с большими помарками, зачеркнутыми строками и написанными сверху заново.

На обратной стороне одного из листов имеется еще автограф Есенина, представляющий перечень названий стихотворений, предназначавшихся, очевидно, для какого-нибудь стихотворного сборника.

Есть у меня еще небольшое письмо-записка, обращенная ко мне, за подписью С. Есенина.

Получила я рукопись Есенина при следующих обстоятельствах. Весною 1920 года я зашла как-то днем к Есенину, который жил тогда в Гранатном переулке у одного из своих сопайщиков по книжному магазину на Б. Никитской. Помню большую светлую, похожую на класс комнату⁸. В одном из углов стоят столы, скамейки. Есенин в хорошем расположении духа. Недавно было его выступление в Подлитоchnическом музее. Он достал много свернутых в трубочки записок и сказал, что он, «как старая дева свои любовные послания», любит перечитывать эти записки. Потом он дал мне какую-то длинную записку с объяснением в любви. «Это я получил после того, как прочел свою «Песнь о собаке», — и, улыбаясь, прибавил: — Да любить мои стихи — это еще не значит любить меня».

Затем Есенин достал большую кипу с рукописями и сказал, что эти рукописи он разделит между мной, мамой и сестрой Катей. С этими словами он отделил третью часть рукописей и дал ее мне.

Здесь я должна сейчас же оговориться. Эти рукописи, к несчастью, постигла печальная участь. Они пропали, за исключением этих трех листов, о которых я писала.

«Вот, — сказал Есенин, — даю тебе третью часть своих рукописей; остальные две — маме и сестре Кате». С этими словами Есенин достал целую кипу рукописных листов и, отделив третью часть, дал ее мне. Я спрятала листки, их было штук пятьдесят. К сожалению, сохранилось только три листка, заполненных с обеих сторон, на листках бланков «Коммуны Пролетарских писателей».

Как-то, придя ко мне, Есенин застал у меня мою невестку, жену моего брата-художника. Мы сидели на диване, перед которым на полу лежал небольшой коврик. Есенин стал на одно колено на этот коврик и прочел свое стихотворение «Закружилась листва золотая в розовой воде на пруду...». Он

читал, вскидывая голову при каждой новой строчке, точно встряхивая волосами. В строчке «Я сегодня влюблен в этот вечер...» делал ударение на слове «сегодня», растягивая букву «о», так что получалось «сеоодня». Так как это было одно из первых стихотворений, слышанных мною от него, то образ Есенина поневоле ассоциировался с этим стихотворением. Вспоминая его, я и теперь слышу хриловатый, точно заглушенный голос, присущий только ему, Есенину.

Помню, я прочитала Есенину свое стихотворение, которое оканчивалось словами: «И счастье, что было возможно три года тому назад». Он взял со стола книжку «Голубень» и написал на ней, сбоку наверху, так:

«Ек. Ром. Эйгес. Здесь тоже три года тому назад, а потому мне прибавить в этой надписи больше нечего».

Жил тогда Есенин в переулке у Тверской, который подходил к углу моего дома. Иногда, возвращаясь домой со службы по этому переулку, я встречала его. Есенин шел обычно с Мариенгофом, с которым он жил в одной комнате. Как-то, встретившись и провожая меня домой, он сказал, что моя фамилия известна ему по книжке моего старшего брата Константина Эйгеса «Эстетика музыки»⁹.

Часто Есенин звонил мне по телефону. Стояли весенние дни, но топить уже перестали. Кутаясь от холода и стараясь уснуть, я вдруг вздрагивала от резкого звонка по телефону. Очевидно, Есенин звонил, вернувшись поздно откуда-нибудь домой. Называя меня по фамилии и на «ты» (так было принято и заведено поэтами между собой), он говорил отрывисто, нечленораздельно, может быть, находясь в не совсем трезвом виде, вроде того: «Эйгес, понимаешь, дуб, понимаешь», что-то в этом роде, часто упоминая слово «дуб». Я, конечно, ничего не понимала, однако образ «дуба» как-то ясно запомнился. Когда в скором времени я уехала в дом отдыха, вышла в парк и увидела по обеим сторонам аллеи громадные дубы, я вспомнила слова Есенина. Мне захотелось послать ему «дубовый привет». Как раз один из отдыхающих, молодой человек, по имени тоже Сергей, уезжал в Москву на несколько дней. Я сорвала несколько дубовых веток и, перевязав их, вместе с белым билетиком, на котором было написано: «Сергею Есенину», попросила его зайти на Тверскую в «Кафе поэтов». Поручение было исполнено.

Уезжая в дом отдыха, я взяла с собой книжечку Есенина «Голубень». Гуляя по аллеям парка и сидя где-нибудь на скамеечке, я читала стихи, заучивала наизусть, впрочем, они сами запоминались, так они были теперь мне близки и понятны. Конечно, мне надо было пройти большой путь, чтобы от моего страстного увлечения стихами Ахматовой и Блока перейти к этим новым, еще небывалым образам и рифмам. Мне очень нравились его звуковые рифмы, а не писательские [так в тексте. — С. III.], к которым я привыкла.

По возвращении из дома отдыха мы продолжали встречаться с Есениным довольно часто. Скажу даже больше. Нельзя было выйти из дома, чтобы не встретиться с парой: один, более высокий, — Мариенгоф, другой, пониже, — Есенин. Увидев меня, Есенин часто подходил ко мне.

Иногда он шел, окруженный целой группой поэтов. Есенин любил общество, редко можно было увидеть его одного. Разговаривая с шедшими с ним поэтами, Есенин что-то горячо доказывал, размахивал руками. Он говорил об образе в поэзии — это была его излюбленная тема.

Когда же он пишет стихи? Вероятно, ночами, думала я. Домашней жизни у него не было: где-то он и Мариенгоф пьют чай, где-то завтракают, где-то обедают. Днем в кафе неуютно, полутемно, пустые столы. Из «Кафе поэтов» поэты переходят в другое кафе — «Стоило Пегаса»¹⁰. Там тоже поэты, артисты, чтение стихов, споры.

Иногда, возвращаясь домой с работы, я видела Есенина, стоящего перед подъездом гостиницы «Люкс». Он в сером костюме, без головного убора. Мы вместе поднимаемся по лестнице, и в большом зеркале на площадке лестницы видны наши отражения. Как-то, будучи у меня, он вытащил из кармана пиджака портрет девочки с большим бантом на голове. Это портрет его дочери, и он рассказал историю своей женитьбы. «Мы ехали в поезде в Петербург, по дороге где-то вышли и повенчались на каком-то полустанке»¹¹. «Мне было все равно, — добавляет Есенин. — Потом в Петербурге жизнь сделалась невозможной. Зинаида, — так называл он свою жену, в будущем артистку

Райх, — очень ревновала меня. К каждому звонку телефона подбегала, хватала трубку, не давая мне говорить. Теперь все кончено. Так лучше жить, без привязанностей».

Я подумала, что сближаются люди не потому, что они часто встречаются, а напротив. Когда люди интересуются друг другом, то они начинают часто встречаться, сталкиваться друг с другом. Проходит интерес или симпатии друг к другу, и люди само собой перестают встречаться. Так было у меня и с Есениным. Я уже писала о частых встречах, но кроме встреч еще были какие-то постоянные напоминания о нем. То я увижу на улице афишу о выступлении с его фамилией, то, работая в библиотеке, я постоянно наталкиваюсь на его фамилию, разбирая какие-нибудь журналы или газеты. Это были или его стихи, или критика о его стихах. Много писали о нем в провинциальных газетах и журналах, которые мы получали в библиотеке. Раскрывая газету, я машинально искала букву «Е» и действительно наталкивалась на его имя. Вот что-то написано о нем, я с жадностью прочитываю. Ведь это было время подъема его славы. О нем говорили, писали, ходили на его выступления. Если не все проникались чувством его стихов, то многие шли ради любопытства послушать, повидать то, о чем так много говорят. Он и сам чувствовал и любовь, и поклонение, и влияние, которое он производил на молодых поэтов. Иногда он говорил про молодежь: «Меня перепевают!» Но был этим доволен. Однажды он принес мне только что вышедшую маленькую книжечку своих стихов и одновременно вышедшую такую же маленькую другого поэта, М<ариенгофа>. «Толькина ни одна книжка не продана! Его все книжки на полках лежат, а мои уже все проданы», — сказал он. Книжки продавались в магазине на Б. Никитской, в котором он был пайщиком.

Как-то поэт Казин написал стихи, посвященные мне, и прочел их Есенину. Есенин потом с иронией сказал: «А плохие стихи тебе Казин посвятил». Пожалуй, в ту пору он считал себя выше всех поэтов, и поэтому настроение у него было почти всегда веселое. Он еще не был тем пессимистом, каким стал всего через какие-нибудь два-три года.

Летом 1919 [в тексте ошибочно 1920. — С. III.] я уезжала на родину в Орловскую губернию к своему отцу. Есенин тоже поехал домой к себе в деревню. Перед отъездом много покупал подарков: материи, обуви, продовольствия, сахару, как-то доставая все это. Оттуда привез белой муки.

Началась осень 1919 года. Это было время тяжелое. Холодно, голодно. Маленький хлебный паек, за которым надо было идти далеко в подвал и смотреть, как его взвешивают, потом делить так, чтобы хватило на целый день. Ведь к обеду хлеба не дают. Обедала я на службе. Говорили, что на первое — вода с капустой, на второе — капуста с водой. Иногда доставала кусочек сахара. А ведь энергии надо было много. Кроме работы в библиотеке ездили на грузовиках на станцию железной дороги разгружать дрова, убирать. Дни стояли хорошие. Осень светлая. Мы были молоды, и всё было ни-почем. Хотя и уставала, но дома не сиделось. Вечером — «Кафе поэтов». Есенин провожает домой. Он тоже молод и весел, у него много озорства, мальчишеского, ребячливого.

Кто-то мне подарил небольшие цветные лоскутки, я наделала из них носовые платочки. Есенин каждый раз таскал у меня из кармана по платочку и клал в свой карман, потом, конечно, терял. Так все и перетаскал. Потом, помню, мы шли целой компанией к какому-то приятелю, живущему в переулке Арбата. Дни еще были теплые, окна открыты. В одном доме окна были так низки, что подходили к самому тротуару. На подоконнике стояли горшки с цветами. Есенин схватил один горшок и долго нес его под смех с остальной компанией. Потом бегом вернулся и поставил его на место. Придя к писателю, мы все уселись на диван, очень большой и вместительный. А Есенин стал посреди комнаты и читал свою поэму. Небо и земля слились воедино, а Есенин стоял и метал громы и молнии. Было даже страшно. Мы все поздно вернулись домой.

Иногда Есенин приносил мне из кафе пирожок, котлету или яблоко. Однажды, когда Есенин был у меня, послышался в коридоре шум, а в дверь нашу постучали — привезли картофель. За картофелем надо было идти далеко во двор, в подвал. Я дала Есенину большой мешок, и он на спине прита-

шил картофель. Картофель был мороженный. Его клали в холодную воду, варили в шкурке и потом ели с солью. Так как хлеба было мало, то счастливицы, у которых была мука, делали из нее лепешки. И я научилась этой премудрости. Муку мне прислал тот паренек, который носил Есенину записку от меня. И сам Есенин принес мне муку, привезенную им из деревни. Кроме Есенина, часто бывал у меня один человек, с которым я случайно познакомилась. Какая у него была специальность, я до сих пор не знаю. Знаю только, что он встречался с Луначарским где-то за границей. Некоторое время жил у него в Кремле. Он был одинок, имел где-то сына и, кажется, работал в Гослитиздате. Ему понравился тот уют, который был у меня, но, главное, наверное, понравились мои лепешки. Есенин очень невзлюбил его и называл просто «борода» за то, что у того действительно была большая борода с седьмой. Как-то они вдвоем сидели у меня, я ушла в кухню жарить знаменитые лепешки, вернулась раскрасневшаяся, с целым блюдом румяных лепешек. Есенин, улыбаясь, сказал: «Она стряпуха». В общей кухне, в дыму и трескотне, точно в адовой кухне, лепешки жарили не только женщины, но и мужчины, начиная от худенького научного работника в очках до маститого, наверное, одинокого зава отделом.

Муку мне принес Есенин одновременно вместе с грязным бельем, которое я должна была отдать прачке, живущей в нашем общежитии. Вероятно, не застав меня дома, он оставил чемодан с поклажей в пропуске [то есть у вахтера. — С. Ш.], с запиской, которая у меня сохранилась до сих пор¹².

Есенин часто помогал мне в небольших хозяйственных делах. То принесет самовар из кухни, то помогает в распорке платья. По ордеру я достала красивое бархатное зеленое платье, но такого размера, что его надо было распарывать и заново шить. Он, сидя на диване, занимался этим делом. Это платье долго у меня существовало и напоминало мне Есенина. Я тоже старалась помочь ему в бытовых неурядках: то, как я уже писала, отдавала белье в стирку, то отдавала шить ему белье. Как-то он притащил целый кусок кремового сатина. Я ходила на Кузнецкий мост в мастерскую, а из остатков с прибавкой кружев у меня вышло чудесное платье, которое так и называлось «есенинским». Отдавала чинить его знаменитую меховую шапку¹³.

Наступала зима... В комнате делалось все холодней. До металлических предметов нельзя было дотронуться, они жгли пальцы. Есенин преобразился. Теперь на нем была светло-желтая меховая куртка, переделанная им из подаренной кем-то дохи. Ходить в дохе было бы слишком шикарно для того времени.

В круглой меховой шапке, в чем-то светлом на ногах, Есенин походил теперь на какого-то пушистого зверька. И ходил он точно зверек, мягкими вкрадчивыми шажками, всматриваясь в окружающую его жизнь пристальным, точно удивленным взглядом.

По вечерам я иногда уходила на курсы художественного чтения на Моховую улицу, там читала Озаровская. Перед уходом как-то я оставила в пропуске записку на имя Есенина: «Буду к 9-ти, будет самовар». Когда пришла, на обратной стороне записки я увидела ответ Есенина: «Очень рад, буду к 10-ти». В десять он действительно пришел, и был самовар. Мы пили чай, когда послышался звонок по телефону. Это звонили из пропуска, в 11 часов посетителям обычно напоминали об уходе. Есенин сам подошел к телефону. «Товарищ», — начал он и стал спорить и что-то доказывать. Но товарищи сами пришли и стали выпроваживать Есенина, несмотря на его сопротивление.

Есенин знал, что несколько лет тому назад я окончила Высшие курсы и готовилась быть преподавательницей. Не раз у него являлась мечта вызвать своих сестер из деревни и дать их мне на воспитание, «на учебу», как говорили. «Пусть поживут в Москве, поучатся, а потом опять в деревню уедут. Там замуж выйдут. В Москве им оставаться незачем», — говорил он. С этой целью решили снять две комнаты. Кто-то дал адрес на Спиридоновку. Ходили туда вместе с Есениным. Вышла дама из бывших. Комнаты были мрачные, с тяжелыми портьерами. По дороге Есенин сказал: «И Тольку с собой возьмем». Но комнаты почему-то оказались неподходящими, и плану этому не суждено было осуществиться.

Есенин всегда очень нежно отзывался о сестрах, говорил о своем дедушке, но как-то странно избегал говорить о своих родителях, точно их не было. Однажды он принес мне свою фотокарточку, где он еще в поддевке. Эту карточку, несколькими годами позднее, у меня брал поэт Евгений Сокол¹⁴, вероятно, для переснятия, потом вернул ее мне, так что оригинал у меня имеется. А вот другие две карточки у меня пропали. Одна карточка, снятая у Паоло, в коричневых тонах, — большая голова.

Поэт Евгений Сокол изредка бывал у меня, с ним одно время дружил и Есенин. Е. Сокол приехал в Москву из Орла, так что мы были с ним земляками, хотя лично и не были знакомы. Одно время он работал в орловской газете «Голос народа». На его имя я посылала в эту газету свои стихотворения, которые были напечатаны в 1917 году, в разное время, всего пять стихотворений.

Был еще у Есенина друг, поэт Ганин¹⁵. Он жил не в Москве, а в провинции. Они были внешне даже похожи: среднего роста, оба блондины. Когда тот приезжал в Москву, Есенин бывал с ним у меня.

Что касается дружбы Есенина с Мариенгофом, то она всегда казалась мне странной. Слишком неподходящи они были. Вероятно, для слабохарактерной и женской натуры Есенина требовалась какая-то опора извне. Такой опорой на первых порах и был для него Мариенгоф, который кроме того, что поучал Есенина, как завязывать галстух, носить цилиндры и перчатки и «кланяться непринужденно», научил его такой житейской философии, которая была несвойственна натуре Есенина. Именно он, как мне казалось тогда, помог Есенину расстаться с женой. «Я б никогда не ушел», — сказал мне как-то Есенин. Он и его друзья учили Есенина той легкости отношений с женщинами, которая считалась тогда каким-то ухарством, почти подвигом. Самому Есенину не нравились те артисточки и певички, которые вертелись около Мариенгофа и льнули к нему. Они были ему не по вкусу. Он любил более скромных и серьезных.

Помню, ко мне как-то зашла сослуживица по библиотеке, которая жила в том же общежитии, где и я. Есенину она страшно не понравилась, и он сразу определил ее положение, назвав двумя буквами.

Как-то, провожая меня из «Кафе поэтов», Есенин говорил, что разделяет всех людей на «зрячих» и «незрячих». Зрячие — это те, которые всё понимают. К таким людям он причислял и меня.

Был легкий морозец, снежинки крутились около нас, а мы стояли на углу Тверской, откуда каждый уходил по своим домам: я — в подъезд «Люкса», он — в переулочек, в котором жил.

«Любовь бывает трех видов, — сказал он, — кровью, сердцем и умом». Когда заговорили о холодности некоторых женщин, он сказал: «Любить можно и статую».

Как относился Есенин к другим видам искусства? Он никогда не высказывался ни о живописи, ни о картинах вообще. Помню только, как одна моя приятельница, художница Ч., по моей просьбе нарисовала иллюстрацию к его стихотворению [пропуск в машинописи], представив зверька с есенинской физиономией. Я показала рисунок Есенину, и он от души смеялся, потом взял его показывать своим друзьям.

К серьезной музыке Есенин тоже относился равнодушно, не любя и не понимая ее, скучал, когда слушал Моцарта. Он любил простые народные напевы. «Вот это музыка», — говорил он, подпевая, если слышал такую. Но как самозабвенно любил он стихи, выделяя поэзию из всех видов литературы. «Люблю стихи», — часто говорил он, вкладывая в эту фразу особый, полный большого значения смысл. Стихи действительно были его стихией, без которой он не мог жить. Он писал их кровью, сердцем и умом. Недаром даже в последнюю минуту своей жизни он написал стихи, чего, кажется, не было ни с кем из поэтов¹⁶, и они были написаны действительно настоящей его кровью.

Кроме книжечки «Голубень», которую я сама купила, у меня была тогда еще маленькая книжечка Есенина «Ключи Марии», подаренная мне им и не совсем мне понятная. Затем он принес мне как-то книжечку «Преображение» в белой обертке-папке, с надписью по обложке: «Тебе единой согрешу»¹⁷. Эта книжка была у меня все время с собой. Через несколько лет, приблизительно

но в 1923 году, когда я со своим мужем, проф. П. Александровым жила в маленькой комнате на Волхонке, ко мне, по поручению Есенина, явился поэт Казин и попросил эту книгу, будто бы для переиздания. Так мне ее больше и не вернули.

Трогательно было отношение Есенина к мальчикам-беспризорникам, торгующим папиросами. Помню, как-то в морозный день я шла с Есениным по Большой Никитской, направляясь к книжному магазину, что около консерватории. Недалеко от магазина нас догнала откуда-то вынырнувшая ватага ребятишек. Они обступили Есенина и, очевидно узнав его, дергали за рукава, за полы, нагребой предлагая из развернутых пачек папиросы. Есенин остановился, обернулся к ним, добродушно улыбаясь, о чем-то с ними поговорил, кого-то похлопал по плечу... В эту минуту он, вероятно, вспомнил свое детство, деревенских мальчишек, себя героем среди них...

Когда Есенин улыбался, около рта и глаз у него появлялись мелкие морщинки, придававшие ему особенно симпатичный вид. Его улыбающееся лицо, а также полученные от него и зажатые в красных замерзших руках беспризорников кредитки делали свое дело. Лед точно таял... Становилось теплее и радостнее... Мальчики с громким гиком бросились от нас прочь, вероятно желая догнать какого-нибудь другого прохожего, который, может быть, будет с ними не так ласков, как только что был Есенин.

Другой раз, зайдя как-то в книжный магазин, я застала Есенина сидящего на корточках где-то внизу. Он копался в книгах, стоящих на нижней полке, держа в руках то один, то другой фолиант. «Ищу материалов по Пугачевскому бунту. Хочу написать поэму о Пугачеве», — сказал Есенин.

К концу зимы 1919 года холод в моей комнате стал такой, что жить в ней сделалось невозможно. При дыхании виден был пар, а ложиться на холодные простыни было жутко, точно в прорубь... Кем-то подаренные мне крупные зерна пшеницы я слегка разваривала на плите, заворачивала в бумагу и клала под подушку. Каша доваривалась и от этого слегка согревала постель. Наконец начальство сжалилось надо мной, меня перевели в другую комнату, на пятый этаж. Она была не так комфортабельна, как первая. Узкая, длинная, с одним окном на двор, соответственно и вещи в ней были проще. Между кроватью и шкафом — узкий проход, у окна — маленький письменный стол с неизменным телефоном на столе. Маленький обеденный стол и около него двухместный твердый диванчик. Вот и все. Но зато в этой комнате было тепло, как в бане. Ко мне приходили греться. Из своей никогда не топленной комнаты приходил Есенин; приходил человек с бородой, любящий лепешки из белой муки. Приходя, он спрашивал: «Ну что, стишки пишете?» Его приходы кое в ком даже вызвали подозрение, а несправедливые сплетни и вызванные ими недоразумения отчасти послужили к охлаждению ко мне Есенина, а затем и полному разрыву.

Приходил иногда поэт Санников, в военной форме, всегда с улыбкой на устах. Как-то, сидя у меня на маленьком диванчике, он читал много своих стихов, а когда пришел Есенин, он уступил место старшему товарищу и ушел.

Есенин любил пить чай и пил много, сидя за самоваром, а он был большой, никелевый. Я взяла его временно у подруги, зная любовь Есенина к чаепитию. Выйдя в коридор, он спросил у кого-то: «А куда тут после чаю ходят?»

Один раз, когда Есенин сидел у меня, я зачем-то ушла на кухню. Вернувшись, я застала Есенина за письменным столом. Он сидел и писал стихи в моем знаменитом альбоме. Я стала позади стула, на котором он сидел, и увидела вот что: «Теперь любовь моя не та, ах, знаю я, ты тужишь, тужишь...» — он всё писал. Когда он написал до конца, сверху я увидела посвящение А. Мариенгофу¹⁸. У меня отлегло от сердца. Альбом этот погиб, как я уже писала. Там же писал и Мариенгоф, только я не помню, какое стихотворение, ну да разве его стихи можно запомнить? Была и книжечка от него с автографом: «Катеньке от Толи».

Еще в этой комнате помню такой случай. Тогда по какому-то талону продкарточки давали материю. По подаренным мне талонам я получила много яркого сатина, который лежал на столе, за столом сидели я и Есенин. В это время вошел мой брат-художник. Увидев лежащую на столе материю,

он собирался поздравить нас, что я поняла по выражению его лица и успела предупредить недоразумение. Тогда всем расписавшимся в загсе давали талоны на получение материи. Но у Есенина не было ни продкарточка, ни паспорта, что-то было не в порядке с военным билетом.

Между тем приближалась весна, а с нею и день 12 марта, день моего рождения. Теперь, когда я пишу эти строки, прошло сорок лет с того памятного дня, 12 марта 1917 года. Тогда я праздновала день рождения у сестры, у которой я жила. Было много молодежи, приятельниц, подруг. Вдруг в 12 часов ночи послышался резкий звонок. Пришел поэт П. Антокольский, давний друг нашей семьи и в прошлом ученик моей сестры Надежды Романовны. Он принес долгожданную весть — самодержавие свергнуто! Конец вечера прошел неожиданно, долго не расходились, обсуждая события.

Три года спустя после того памятного дня я сидела одна в грустном настроении, родные были далеко, в разных концах Москвы. Вдруг я услышала стук в дверь... За дверью стоял Есенин, держа в руках что-то, свернутое в большую трубку. Войдя в комнату, он развернул сверток: это был прекрасный ковер, расшитый яркими шелками, в русском стиле. На нем изображался Георгий Победоносец на белом коне, кругом зеленые травы-муравы. «Это тебе, ты ведь любишь», — сказал Есенин. Он знал, что я люблю кустарные вещи, коврики, которыми была украшена моя комната, но такого чудесного ковра у меня, конечно, не было. Есенин объяснил, что ковер ему подарили и что куплен он был на выставке кустарных изделий на Петровке. Зимой он укрывался им, а теперь тепло, и ковер ему больше не понадобится.

Этот ковер цел у меня до сих пор. Правда, за это время он порядочно истрепался. Несколько раз я отдавала его в чистку, отчего краски на нем потускнели. Крылышки у святого Георгия совершенно истлели. Со светлой копной волос на голове, он похож теперь на обыкновенного деревенского парня со светлыми глазами. Часто, глядя на этот ковер, я вспоминаю строчку из стихотворения Есенина: «Были синие глаза, да теперь поблекли».

Как-то Есенин зашел за мной, чтобы идти на литературный вечер, который должен был быть в каком-то большом помещении, кажется, в театре Корша. Мы немного опоздали, и, так как зал был уже полон, нам пришлось подняться на самый верх, на галерку. Здесь, в узеньком проходе, мы стояли за деревянным барьером. Кто-то скучно читал вступительное слово, потом вышел мой брат-литературовед. Он тоже читал по запискам, мы видели, как он перекладывал листы, но ничего не было слышно. Есенин смотрел на меня насмешливо, с укоризной, а снизу кричали: «Громче, громче!» Мне было очень неловко. После брата выходили поэты, которые громко выкрикивали стихи, но слов нельзя было разобрать. Несмотря на неловкость, в глубине души я верила в способности брата и думала: «Вот от этих поэтов не останется и следа, а труды брата, напечатанные в разных советских журналах, сохранятся и будут жить».

Стояли теплые весенние дни, но вечера и ночи еще были прохладны. Есенин и еще кто-то из поэтов провожали меня домой. Мы некоторое время стояли у подъезда дома, где я жила, и о чем-то разговаривали, Есенин ежил-ся от холода и переминался с ноги на ногу. Войти ко мне было уже поздно, поэтому я сбегала домой и принесла оттуда красную бархатную накидку. Это была старинная накидка на белом шелку, с высоким воротником. Я надела ее на Есенина, и мы еще долго болтали, пока еще не разошлись по домам. Есенину накидка очень шла, и все решили, что он в ней похож на принца из повести Марка Твена «Принц и нищий». Тонкий, худой, с золотистыми вьющимися волосами и в этой короткой бархатной накидке, он действительно был похож на того принца, изображение которого я видела в нашей детской книжке.

Как-то Есенин ушел из Союза поэтов раньше обыкновенного, он собирался куда-то в гости, где будет много народу. Когда я изъявила желание с ним пойти, он сказал мне: «Не ходи туда, там по матушке ругаются». Надо сказать, что Есенин относился ко мне несколько снисходительно, как старший в некоторых отношениях, несмотря на то что был моложе меня на пять лет. Но он в свои 24 года гораздо более изведal и узнал жизнь, чем я в свои 29 лет. Ведь я до самой революции только и делала, что училась, сидела в лабораториях и только в воскресные дни ходила на симфонические концерты вместе с братьями. Часто, уходя от меня, на прощанье Есенин говорил мне:

«Расти большая». Этими двумя словами и кончается та небольшая записка от него, сохранившаяся у меня.

Этой весной в Москву на несколько дней, для сдачи магистерских экзаменов, приезжал мой будущий муж, с которым я не виделась три года. Мы много гуляли по улицам Москвы вместе с нашим общим другом С. Я рассказала об этом Есенину, который знал его по моим рассказам и стихам. «Ты его одного любишь!» — сказал мне Есенин.

Летом Есенин уехал на юг, и я о нем долго ничего не знала. Во время его отсутствия наше общежитие переехало в другое помещение, из гостиницы «Люк» в номера бывшей гостиницы Фальцфейна, на той же Тверской улице. Здесь все было попроще, у меня была маленькая, с одним окном комната на третьем этаже.

После приезда Есенин как-то сразу перестал у меня бывать. Мы встречались теперь очень редко, и наши встречи носили чисто случайный характер. Так, помню, нам на службе выдали какую-то птицу, не то утку, не то гуся, что было, конечно, тогда большой редкостью. Как раз, выйдя погулять, я встретила Есенина с М<ариенгофом>. Я пригласила их на вкусный ужин, и они долго сидели у меня в тот вечер.

Осенью 1920 года я по совместительству стала работать в библиотеке Литературного отдела Наркомпроса. Едва успевая по дороге пообедать в столовой, я шла в Гнездииковский переулок, где тогда помещалось ЛИТО. Несколько раз в неделю я по вечерам ходила еще в Дом Печати, где я секретарствовалась в обществе «Литературный фронт». Иногда после занятия я спускалась вниз, если было какое-нибудь интересное выступление. Помню, выступал Маяковский. Все места были заняты, я стала позади стульев в проходе. Из другой комнаты вышел Есенин, подошел ко мне, и мы некоторое время стояли вместе. Незадолго до этого я сфотографировалась в хорошей фотографии б. Сахарова. Я только что получила карточки, и они были у меня с собой. Я показала их Есенину. Держа их в вытянутой руке, он долго смотрел то на меня, то на них. Потом как-то медленно произнес: «Да это...» — и назвал мою фамилию.

Есть такая примета: когда снимешься, то это предвещает перемену жизни. Мне в шутку многие об этом говорили.

Перемены действительно в скором времени произошли. Так, с 1 января 1921 года я окончательно оставила работу в библиотеке НКВД и по распоряжению А. В. Луначарского, которому я подала письменное заявление, перешла в качестве заведующей в библиотеку ЛИТО. Во главе ЛИТО стоял А. В. Луначарский, но фактически отдел возглавлял сначала В. Я. Брюсов, потом А. Серафимович.

Брюсов, принимая меня на работу, спросил, какие я знаю языки. Узнав, что я немного знаю французский и немецкий, спросил: «А что же английский? Надо и английский знать».

Серафимович относился ко мне очень хорошо, просто, приглашал к себе в гости. Он жил тогда в гостинице «Националь». Секретарем у Серафимовича была писательница Санжарь¹⁹.

Как заведующей и хранительнице библиотеки мне дали небольшую комнату при библиотеке. В ЛИТО постоянно приходило много писателей и поэтов. Была секция «пролетарских поэтов» во главе с М. Герасимовым²⁰. Затем при ЛИТО существовала студия, в будущем преобразованная в Брюсовский институт, в которой принимали участие как лекторы кроме Брюсова еще А. Бельй, П. Сакулин, М. Гершензон. Бывали публичные выступления. Читала свои стихи Адалис²¹.

Библиотека стояла в неразобранном виде, груды откуда-то привезенных книг, в большинстве иностранных, лежали на полу. Так как студийцы пользовались библиотекой, я решила просить их помощи. Несколько человек поднялись и пошли за мной в библиотеку. Один из них, Н. И. П., впоследствии видный библиограф, оказался знатоком иностранной, главным образом французской, литературы.

Когда спустя некоторое время я зашла в узкую комнату библиотеки, предназначенную для иностранных книг, то была поражена следующим зрелищем: где-то наверху, на лестнице, заканчивая работу, стоял студиец, а кни-

ги, маленькие книжки с золочеными корешками, стройными рядами стояли на полках. Книги были разбросаны по векам, по языкам. На полках библиотеки красовались указатели: XVII, XVIII, XIX век.

К сожалению, библиотека просуществовала недолго: примерно через год она снова лежала в свернутом виде на Волхонке, куда, в помещение бывшего «Княжьего двора»²², переехал и ЛИТО.

Вторая перемена произошла в моей жизни. В начале апреля 1921 года я вышла замуж за П. С. А<лександрова>. Мы расписались в загсе, но так как мой муж по-прежнему приезжал только на несколько дней ежемесячно в Москву для сдачи экзаменов, то мой отец в шутку называл этот брак «мифическим».

Только с осени того же года мы с мужем стали жить вместе в комнате, которую мне дали в помещении ЛИТО на Волхонке. Так как комната была очень невелика, то некоторые вещи, в том числе корзиночку с книгами, автографами, письмами, я оставила у своих родственников на Остоженке. Там же были и рукописи Есенина. Когда через некоторое время я зашла за этой корзинкой, то оказалось, там был ремонт и моя корзинка была вынесена на чердак. Я бросилась на чердак и там, среди мусора, пыли и разных грязных бумаг, отыскала только три листка рукописей Есенина. Все остальное пропало, а может быть, кто-нибудь и польстился на книги и рукописи, отыскав их случайно на чердаке.

Так как библиотека ЛИТО все еще не функционировала, я поступила на работу в библиотеку университета на Моховой, где мой муж был профессором математики. Как-то, возвращаясь со службы домой, проходя по тротуару около Музея изобразительных искусств, я услышала стук проезжающей мимо пролетки. В ней сидел Есенин с какой-то дамой. Это была А. Дункан. Поравнявшись со мной, Есенин привстал и, улыбаясь, приветствовал меня поднятой рукой. Пока пролетка удалялась, опережая меня, я все еще видела, как Есенин стоял, обернувшись ко мне, потом нагнулся и что-то шепнул своей спутнице.

Больше Есенина я не видела, если не считать его публичных выступлений, например в ЦЕКУБУ, в последующие годы, но мы уже не говорили друг с другом. На каждого из нас время наложило свою печать.

В 1922 году Литературный отдел Наркомпроса, ЛИТО, окончил свое существование. Частично, как литературная секция, он вошел в только что организованную Академию художественных наук. Библиотека ЛИТО вошла в библиотеку Академии, сначала как ядро ее, потом разросшееся до большой библиотеки Академии. Мы, сотрудники библиотеки, механически перешли в Академию: я в качестве заведующей читальным залом, мой помощник Н. К. П. — как заведующий библиотекой.

Шли годы... 1922-й, 1923-й, 1924-й. В 1924 году мой муж уехал за границу, во Францию. Вернувшись осенью в Москву, он стал жить отдельно. Таким образом, мы разошлись, вернее, разъехались надолго, навсегда... Настали тоскливые дни... Одиночество!

Снова, как прежде, один,
Снова обьят я тоской...

Да к тому же снова холодная комната. Чтобы не возвращаться в холодную комнату, я целые дни и вечера провожу в Академии. После занятий сижу или на заседании какой-нибудь секции, или в большом зале на каком-нибудь выступлении. Выступали Качалов, Тарасова, Мейерхольд. Жена Есенина, артистка Райх, сидела среди публики и очень волновалась, когда с Мейерхольдом кто-то был не согласен.

В эти дни от А. В. Луначарского, который жил недалеко от Академии, пришла просьба командировать какого-нибудь сотрудника библиотеки для разборки его личной библиотеки²³. Я вызвалась это сделать. В течение нескольких месяцев, уходя из Академии, я шла к Луначарскому, где безвозмездно у него работала. Иногда меня оставляли обедать. За столом говорил один Анатолий Васильевич, больше о театре. По окончании работы Анатолий Васильевич подарил мне свою книжку с благодарственной надписью. Затем я стала работать, уже за небольшую плату, в личной библиотеке Петра

Семеновича Когана, который был тогда президентом Академии и жил во дворе Академии, в небольшом флигеле...

И вот декабрь 1925 года. Я сижу в маленьком кабинете Петра Семеновича, разбираю книги, пишу карточки и ставлю их на полки. В соседней комнате, столовой, раздаётся звонок телефона. Подходит Петр Семенович. Звонят из Ленинграда. По репликам Петра Семеновича я догадываюсь о случившемся. Петр Семенович сам приходит ко мне в кабинет. «Есенин покончил с собой». Волнение охватывает меня. Мне хочется рассказать Петру Семеновичу о моем знакомстве с Есениным, о встречах, но я ничего не говорю. Возвращаемо. Глубокая широкая складка лежала поперек всего лба. Выражение было такое, будто он силился что-то понять и не мог...

Уже темнело, когда я, после занятий в библиотеке, направилась в Дом Печати, куда был перевезен труп Есенина. Со всех сторон туда уже шел народ. С трудом протискиваясь сквозь толпу, я прошла в зал, подошла к эстраде, около которой внизу лежал труп Есенина. Около него молча стояли близкие, родные. Я подошла совсем близко и взглянула в его лицо. Оно было неузнаваемо. Глубокая широкая складка лежала поперек всего лба. Выражение было такое, будто он силился что-то понять и не мог...

Народ все прибывал. Становилось душно. Я вышла. Когда я спускалась по лестнице, навстречу мне, высокий, большой, шел Маяковский. Было уже совсем темно, когда я затворила за собой дверь Дома Печати. Свет от фонарей едва пробивался сквозь деревья сада. Шел снег мокрыми хлопьями и легко падал на землю.

На похоронах Есенина я не была.

[1957.]

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Вадим Габриэлевич Шершеневич (1893 — 1942) был вторым после В. В. Каменского председателем Всероссийского Союза поэтов. В своих воспоминаниях «Великолепный очевидец» он писал, что президиум Союза поэтов и состав правления его штаб-квартиры «Кафе поэтов» (бывшего кафе «Домино», владелец которого эмигрировал) были практически один и тот же (см. в кн.: «Мой век, мои друзья и подруги. Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова». М. 1990).

Прозаик А. Неверов, автор повести «Ташкент — город хлебный», приехал в Москву из Самары в мае 1921 года и оставил в дневниковых записях такую картинку московского «Кафе поэтов»:

«Заходим. Узенький проход с улицы. В первой комнате накурено. Полутемно. Крошечная эстрада, стоят два-три стула. Потухшие фонари в китайских высоких абажурах. Смешение вкусов: азиатского с древнерусским. На противоположной эстраде стене какой-то тип верхом на курящемся жертвеннике. Очень похож на Герасимова. Рядом с ним фигура какого-то Ваньки в рубашке, протянувшего длинные ноги. Глуповатая самодовольная физиономия с папиросой во рту. Надписи: «Всероссийский Союз поэтов», «В. С. П.». Рядом в комнате публика жрет, пьет, шумит. Девочки в шляпках, молодежь в шляпах. Дым, звон. Эстрада пуста. В дверях юноша с длинными черными волосами. Держит в руках лист с написанным на нем стихотворением. Впечатление грязного кабака, неудобного. Один из провинциальных поэтов назвал его «бардаком». <...>

Впечатление общее: люди живут на какой-то планете и совершенно не интересуются тем, что не от них «исходит». Жизнь провинции для них далека, чужда и непонятна. Все они вертятся в кругу, начерченном своими руками» (РГАЛИ, ф. 337, оп. 1, ед. хр. 176).

² «Литературный особняк» — общество поэтов-неоклассиков, «академическое объединение поэтов и критиков для постоянного литературного между собой общения и для литературного просвещения масс», как было записано в его уставе. Вначале помещалось на Арбате, д. 7, а после того, как туда въехала театральная мастерская Н. М. Форегера «Мастфор», переехало, как и большинство литературных организаций тогдашней Москвы, в Дом Герцена (он же — Дом Печати, Тверской бульвар, д. 25).

³ Федоров Василий Павлович — поэт-«парнасец», участник первого коллективного сборника Союза поэтов (М. 1921), в 1921 году — товарищ председателя, позднее — председатель общества «Литературный особняк».

⁴ Новиков Иван Алексеевич (1877 — 1959) — писатель. Автор романа «Дом Орембовских» (другое название — «Между двух зорь», 1915).

⁵ Здесь, возможно, мемуаристка имеет в виду не созданное Н. Телешовым в 1898 году общество «Московская литературная среда», а литературный кружок «Звено»,

руководителем которого был В. Л. Львов-Рогачевский и который посещал в 1919 году Есенин.

⁶ Имеется в виду библиотека Народного комиссариата внутренних дел. Гостиница «Люкс» была также общежитием Наркомпроса. В начале 1919 года (до переезда в образованную им «коммуну») в «Люксе», в номере у журналиста и издательского деятеля Г. Ф. Устинова, жил Есенин. Об этом писали в своих воспоминаниях о Есенине Устинов и его жена Е. А. Устинова (см. в сб.: «Сергей Александрович Есенин. М. 1926).

⁷ О недолговечной «Коммуне пролетарских писателей», на чьих бланках написал в 1919 году Есенин своего «Хулигана», вспоминал Рюрик Ивнев: «В январе 1919 г. Есенину пришла в голову мысль образовать «писательскую коммуну», т. е. выхлопотать у Моссовета ордер на отдельную квартиру в Козицком переулке, почти на углу Тверской <...>. Туда вошли, кроме Есенина и меня, писатель Гусев-Оренбургский, журналист Борис Тимофеев и еще кто-то...» («С. А. Есенин в воспоминаниях современников», т. 1. М. 1986, стр. 331 — 333).

⁸ Имеется в виду букинист Семен Федорович Быстров, который работал в книжной лавке на Б. Никитской, в одном из флигелей консерватории (владельцем лавки по патенту, выданному Моссоветом, числился Есенин). Но в подробностях мемуаристке изменила память: квартира находилась в Георгиевском (не Гранатном) переулке, д. 7, и никаких больших, похожих на класс, комнат там не было. «Низенькая комнатка с маленькими окошками», — писал в своих воспоминаниях И. В. Грузинов; «Крохотные комнатки с низкими потолками, крохотные окна, крохотная кухонька с огромной русской печью...» — вторил ему Мариенгоф («Мой век...», стр. 347).

⁹ Имеется в виду книга К. Р. Эйгеса «Основные вопросы музыкальной эстетики» (М. 1905). В 20-е годы К. Р. Эйгес заведовал отделом специального музыкального образования Музыкального отдела Наркомпроса.

¹⁰ Это кафе имажинистов, расписанное Г. Б. Якуловым, хозяином которого была «Ассоциация вольнодумцев» во главе с Есениным, открылось в ноябре 1919 года на Тверской, в помещении известного до революции ботемно-артистического кафе «Бом» (приблизительно на месте современного дома № 17). Как и владелец «Домино», хозяин «Бома» оказался в эмиграции.

¹¹ Речь идет о браке Есенина и Зинаиды Райх, которые обвенчались в Кирико-Уулитовской церкви Вологодского уезда 4 августа 1917 года, во время предпринятого ими вместе с Алексеем Ганиным (о нем см. примеч. 15) путешествия на Север.

¹² Эти строки воспоминаний Е. Р. Эйгес процитированы в 6-м томе Собрания сочинений С. А. Есенина, в комментариях к опубликованной там записке Есенина, датированной осенью 1919 года:

«Как нужно было ждать, вчера я муку тебе не принес.

Сегодня утром тащили чемодан к тебе с Мариенгофом и ругались на чем свет стоит. Мука в белье, завернута в какую-то салфетку, которая чище белья и служит муке предохранением и т. д. т. п. прочее.

Расти большая.

Твой С. Есенин».

(Есенин С. А. Собр. соч., т. 6. М. 1980, стр. 91. Здесь текст записки публикуется с исправлениями по автографу.)

¹³ Об этой бобровой шапке, приобретенной по случаю у зашедшего в книжную лавку продавца и доставшейся тогда по жребию Мариенгофу (вероятно, позже он подарил ее Есенину), см. в «Романе без вранья» Мариенгофа («Мой век...», стр. 370 — 371).

¹⁴ Сокол (наст. фам. Соколов) Евгений Григорьевич (1893 — 1939, расстрелян) — поэт. Переехал на постоянное жительство в Москву в 1923 году (то есть после того, как Есенин расстался с Екатериной Эйгес), с Есениным познакомился и подружился после возвращения того из-за границы и разрыва с Дункан. Автор воспоминаний «Одна ночь» в сб. «Памяти Есенина» (М. 1926).

¹⁵ Ганин Алексей Алексеевич (1893 — 1925, расстрелян) — поэт, друг Есенина. Был свидетелем со стороны невесты З. Н. Райх, при ее обручении с Есениным. Ганина арестовали как организатора так называемого «Ордена русских фашистов». Его программа («тезисы» «Мир и свободный труд народам») и показания на следствии опубликованы: «Наш современник», 1992, № 1, 4.

¹⁶ Е. Р. Эйгес ошибается: предсмертное стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья...» было написано Есениным не за минуту до самоубийства, а накануне, 27 декабря 1925 года, и тогда же передано поэту Вольфу Эрлиху.

¹⁷ Е. Р. Эйгес, вероятно, пишет о первом издании есенинского сборника «Преображение» (М. Московская трудовая артель художников слова. 1918). Экземпляр в упомянутой мемуаристкой обертке-папке в описаниях прижизненных изданий Есенина не зафиксирован (см.: Юсов Н. Прижизненные издания С. А. Есенина. М. 1994, стр. 14, 25). Второе издание «Преображения» вышло в издательстве «Имажинисты» в 1921 году, так что, очевидно, Е. Р. Эйгес ошибается в дате, когда ниже пишет о визите В. Казина к ней за книгой в 1923 году.

¹⁸ Ошибка памяти Е. Р. Эйгес: стихотворение «Теперь любовь моя не та...», впервые опубликованное во втором сборнике «Конница бурь» (1920), посвящено не Мариенгофу, а Н. А. Клюеву.

¹⁹ Санжарь Надежда Дмитриевна (1875 — 1933) — писательница. Приведем хронологически почти совпадающую со временем, описываемым Эйгес, запись из дневника А. Неверова (май 1921 года) о его визите к А. С. Серафимовичу:

«Высокий, крепкий старик, сутуловатый. Голова голая. Черты лица грубоватые. Голос хрипловатый. Смотрит исподлобья, внимательно. Познакомился с ним в Доме Печати. Был очень рад, пригласил на квартиру.

Пили чай. Беседовали. Угощал селедкой. На прощанье подарил свои книги с надписью. Спросил: «У вас есть ребятишки? Грамотные? Большие?»

Ушел от него с хорошим чувством. На прощанье, уже в прихожей, пристально посмотрел на меня своим характерным взглядом снизу вверх и сказал: «С удовольствием помогу вам, чем можно...» (речь шла об издании сборника рассказов). Живет один. Жена померла. Старший сын убит на войне, младший — в больнице. Квартирка чистенькая (две комнаты), на столе книжки, среди которых много со своими рассказами» (РГАЛИ, ф. 337, оп. 1, ед. хр. 176).

²⁰ Герасимов Михаил Прокофьевич (1889 — 1937, расстрелян) — пролетарский поэт.

²¹ Адалис (Ефрон) Аделина Ефимовна (1900 — 1969) — поэтесса.

²² Имеется в виду дом № 14/1 на углу Волхонки и Гоголевского бульвара, где провел последние годы драматург А. Н. Островский, а позже помещалась гостиница «Княжий двор».

²³ Огромная библиотека А. В. Луначарского сейчас хранится в РГАЛИ.

ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНА ЕСЕНИНА

*Письма С. А. Толстой-Есениной к М. М. Шкапской,
Б. М. Эйхенбауму и Е. К. Николаевой. 1925 — 1944*

Женщины и любовь занимали в жизни Есенина сравнительно небольшое место. У него было множество любовных связей, три «законных» жены — Зинаида Райх, Айседора Дункан и Софья Толстая, но в глазах близко знавших его Есенин оставался «безлюбным Нарциссом». Да он и не особенно стремился скрывать это. «Я с холодком», — любил он повторять Надежде Вольгин, матери его сына, которого Есенину так и не пришлось увидеть.

Писателю А. И. Тарасову-Родионову Есенин говорил накануне своего отъезда в Ленинград 25 декабря 1925 года, за пять дней до смерти: «Только двух женщин любил я в жизни. Это Зинаида Райх и Дункан. А остальные... Ну, что ж, нужно было удовлетворить потребность, и удовлетворял <...> Как бы ни клялся я кому-либо в безумной любви, как бы ни уверял в том же сам себя, — все это, по существу, крупнейшая и роковая ошибка. Есть нечто, что я люблю выше всех женщин, выше любой женщины, и что я ни за какие ласки и ни за какую любовь не променяю. Это искусство» («Минувшее». Исторический альманах, т. 11. М. — СПб. 1992, стр. 367 — 368).

Последней женой Есенина стала внучка Л. Н. Толстого Софья Андреевна. Они познакомились, по всей видимости, в марте 1925 года на дне рождения Толстой, которой исполнилось двадцать пять лет.

Софья Андреевна Толстая (1900 — 1957) была дочерью Андрея Львовича Толстого (1877 — 1916) от брака с Ольгой Константиновной Дитерихс (сестра жены известного толстовца В. Г. Черткова). Первым мужем С. А. Толстой (с 19 октября 1921 года) был Сергей Михайлович Сухотин, сын от первого брака толстовца М. С. Сухотина, женатого вторым браком на дочери Л. Н. Толстого Татьяне Львовне, тетке С. А. Толстой. Сергей Сухотин стал известен тем, что в декабре 1916 года вместе с великим князем Дмитрием Павловичем, князем Феликсом Юсуповым и В. М. Пуришкевичем принял участие в убийстве Распутина. После революции он некоторое время исполнял должность комиссара Ясной Поляны (его сменила дочь писателя Александра Львовна Толстая). Брак с Софьей Андреевной оказался непродолжительным: в январе 1922 года С. М. Сухотин разбил паралич. Он расстался с женой, у которой уже после развода родилась дочь. Впоследствии, в 1925 году, парализованный С. М. Сухотин уехал за границу, где и умер.

В то время, к которому относятся первое из публикуемых писем (от 20 апреля 1925 года, первые 4 листа письма отсутствуют), Софья Андреевна переживала бурный роман с писателем Борисом Пильняком. Это было сильное чувство с нервным, каким-то «достоевским» оттенком. Есенин «увел» ее у Пильняка, и отношения со старым приятелем испортились в последний год жизни поэта, скорее всего, из-за этого. Свадьба Есенина и Софьи Толстой состоялась в июле 1925 года, после чего они уехали в свадебное путешествие на Кавказ. Официально брак был зарегистрирован только в сентябре, причем формальный развод с Дункан Есениным оформлен не был. Многими близкими Есенину людьми его недолговечный брак с Софьей Толстой осуждался даже больше, чем трагическая эскапада, в которую вылилась женитьба на Айседоре Дункан и «турне» по Европе и Америке за два года до того. Есенин не любил Толстую и даже не пытался скрывать это. Никто не мог понять, ради чего он женился. Тяжело читать такие строки о Есенине из письма матери Софьи Андреевны, О. К. Толстой, к Р. А. Кузнецовой, написанного 11 января 1926 года:

«Я вот абсолютно не понимаю его жизни, многое в ней мне даже отвратительно. Когда увидимся, расскажу более подробно, а в письмах невозможно: слишком безобразно и тяжело, непередаваемо. Сейчас мне одна знакомая рассказала, что Соню обвиня-

ют, что она не создала ему «юта», а другие говорят, что она его выгнала. Да какой же можно было создать уют, когда он почти все время был пьян, день превращал в ночь и наоборот, постоянно у нас жили и гостили какие-то невозможные типы, временами просто хулиганы, пьяные, грязные. Наша Марфа с ног сбивалась, кормя и поя эту компанию. Все это спало на наших кроватях и тахте, ело, пило и пользовалось деньгами Ес<енина>, кот<орый> на них ничего не жалел. Зато у Сони нет ни башмаков, ни ботков, ничего нового, все старое, прежнее, совсем сносившееся. Он все хотел заказать обруч<альные> кольца и подарить ей часы, да так и не собрался. Ежемесячно получая более 1000 рублей, он все тратил на гульбу и остался всем должен: за квартиру 3 мес., мне (еще с лета) около 500 руб. и т. д. Ну, да его, конечно, винить нельзя, просто большой человек. Но жалко Соню. Она была так всецело предана ему и так любила его как мужа и поэта, что большей преданности нельзя найти. Просто идолопоклонство у нее было к нему, к его призванию...» (Панфилов А. Есенин без тайны. М. 1994, стр. 183 — 184).

Действительно, Софья Андреевна искренне полюбила Есенина вопреки всему. Их короткая совместная жизнь, продолжавшаяся около года (с перерывом на месячное пребывание Есенина в психиатрической лечебнице П. Б. Ганнушкина, откуда Есенин вернулся в квартиру Толстых на Остоженке лишь затем, чтобы забрать вещи перед своим предсмертным отъездом в Ленинград), была омрачена чередой тяжелых сцен. После смерти Есенина С. А. Толстая сделала очень много для сохранения его литературного наследия. Она была хранительницей Музея Есенина при Всероссийском Союзе писателей. Музей закрыли — не прошло и двух лет с его открытия — в пору борьбы с так называемой «есенинищиной». В дальнейшем много лет Софья Андреевна была директором Музея Л. Н. Толстого в Москве. В те годы, когда творчество Есенина находилось под негласным запретом, она подготовила два сборника его стихотворений («Стихи и поэмы» в 1931-м и «Избранное» в 1946 году). Огромные усилия приложила С. А. Толстая также к восстановлению разрушенной гитлеровцами Яснополянской усадьбы.

Прошедшие трагические десятилетия страшно изменили жизнь страны. И близкие Софье Андреевне люди, и те, с кем она враждовала, одинаково исчезали в жуткой мясорубке. «Врагом народа» была объявлена «невозвращенка», ее любимая тетка Александра Львовна. Были репрессированы Борис Пильняк, Николай Клюев, Василий Наседкин, Иван Приблудный, первенец Есенина Георгий (Юрий), Вольф Эрлих, Илья Ионов, Илларион Вардин, Всеволод Мейерхольд... После ареста Мейерхольда была зверски убита у себя в квартире Зинаида Райх — и это преступление осталось нераскрытым. В какой-то момент С. А. Толстая «сломалась»; отсюда ее состояние, отмечаемое некоторыми современниками: «Софья Андреевна Есенина-Толстая, так много сделавшая для сохранения памяти о муже, была доведена до того, что на склоне своих дней, тяжело больная, обобранная и напуганная, отгородилась от всех одной лаконичной фразой: „Я по есенинским делам не принимаю“», — писала дочь сестры Есенина Александра Т. П. Флор-Есенина («Радуница». Информационный сборник № 1. М. 1989, стр. 64).

Пять из публикуемых ниже писем С. А. Толстой адресованы ленинградской поэтессе Марии Михайловне Шкапской (1891 — 1952). К середине 20-х годов Шкапская была автором шести поэтических книг: «Mater dolorosa» (1921), «Час вечерний» (1922), «Барабан строгого господина» (1922), «Кровь-руда» (1922), «Явь» (1923), «Книга о Лукавом Сеятеле» (1923), «Земные ремесла» (1925). На Петроградской стороне поэтесса держала литературный салон, в котором бывали ленинградские имажинисты, кое-кто из «Серапионовых братьев», Осип Мандельштам, Николай Тихонов, Юрий Тынянов и другие. Частично жизнь этого салона отражена в двух альбомах, наполненных фотографиями, газетными вырезками, стихотворными и прозаическими экспромтами и краткими дневниковыми записями хозяйки. После 1925 года Шкапская неожиданно перестала писать стихи, перейдя на журналистскую работу. Может быть, это было связано с гонениями на ленинградских антропософов, с которыми одно время Шкапская была близка, может быть, стала нетерпима религиозная нота, явственно звучащая в ее стихах, — как бы то ни было, с 1925 года не только не появилось в печати ни одного нового стихотворения Шкапской, но нет никаких признаков того, что она продолжала поэтическое творчество хотя бы для себя. В 1930 — 1932 и в 1942 годах Шкапская опубликовала пять сборников производственных очерков и одну книгу фельетонов — от поэзии это было неизмеримо далеко. Только в 1979 году ее избранные стихи были переизданы в Лондоне Б. Филипповым, что стало первым после долгих лет забвения напоминанием о талантливой поэтессе.

Два письма адресованы замечательному литературоведу, много писавшему о Л. Н. Толстом, Борису Михайловичу Эйхенбауму (1886 — 1959). И одно, насыщенное сведениями о жизни в воложинском Доме Поэта в Коктебеле, эпохи уже легендарной, — поэссе Евгении Константиновне Николаевой (1898 — 1946), автору книги стихов «Разговор с читателями» (М. «Узел». 1927). Все публикуемые письма хранятся в РГАЛИ (ф. 2182, оп. 1, ед. хр. 497 — письма к М. М. Шкапской; ф. 1527, оп. 1, ед. хр. 604 — письма к Б. М. Эйхенбауму; ф. 2291, оп. 1, ед. хр. 101 — письмо к Е. К. Николаевой). Цитируемые в примечаниях архивные документы также из РГАЛИ, поэтому указания на архив в архивных шифрах опускаются.

1

Шкапской Марии Михайловне

20 апреля <1925 г.>¹

Простите, родная моя, пришлось прервать письмо. Оказывается, моя идиллия отнимает много времени. Ведь нужно и хочется делать все, к<a>к полагается. Поэтому и яйца красила, и белки сбивала, и творог протираала, и со всеми христосовалась, и со всеми разговаривала (народу здесь пропасть — и старые и новые служащие, учителя, фельдшерицы, завхозы и т. д., и т. д.). Еще приятельница одна моя приехала и тетка моя Алекс<андра> Л<ьвов>на² здесь (я ее обожаю — она замечательная). У нас в комнате два пуделька живут по полтора месяца. Их и кормить и гулять надо, и вообще много смешной возни с ними. А к завхозу племянник приехал. Красивый, подлец, и 3-й день думает, к<a>к бы со мною в лес уйти. А мне ск-у-у-у-у-учно! А вчера мы все, во главе с теткой, целой оравой и окруженные деревенской детворой целый день к<a>к сумасшедшие бегали в лапту, в палки, бились в городки, и вчера я думала, что мне 12 лет. Ну, а сегодня... Сегодня я хожу раскорякой, к<a>к старый кавалерист, не могу смеяться — т<a>к все мускулы болят, думаю, что мне много больше 25 лет, в зале играют какого-то грустного Chopin'a, и сегодня я получила т<елеграм>му, что Б. А.³ не придет сюда. Почему — не знаю. Когда я ему сказала, что еду в Ясную, — он затрепыхался и попросился тоже. Должен был подобрать для приличия какого-н<и>б<удь> писателя и приехать на Пасхальной. И не придет. И Вы понимаете — вот т<a>к всегда и все. Вы пишете, весна. И т<a>к Вы хорошо о ней пишете. А я вот эти только 4 дня в Ясной ее немного почувствовала. Мариечка (простите, т<a>к захотелось назвать Вас), моя весна отшумела в те безумные, прекрасные первые дни марта. Отшумела. А теперь что? И Август, и октябрьские дожди, и июльские грозовые ночи, и январские морозы. А т<a>к к<a>к — вся я в том, что во мне, — то и не чувствую весны кругом.

Я очень перед Вами виновата, что не исполнила Вашего поручения к Зайцеву⁴. Но Кл<авдии> Ник<олаевны>⁵ я все не могла добиться, а адреса Зайцева я не знала. Получила Ваше письмо перед самым отъездом в Ясную. Вернусь в М<оск>ву в конце Пасхальной и сейчас же пойду к Зайцеву. Очень жаль, если все это Вас беспокоило и огорчало.

Была в прошлый вторник на 100-м заседании⁶ Союза Поэтов. Председательствовал Шенгели⁶. Выступало пропасть поэтов. Между пр<очим>, Адалис⁷ — в голубой кофточке с наивным отложным воротничком, лицо жутко бледное, глаза почти закрытые. Читала то же, что и нам тогда. Все-таки это необычайно очаровательная женщина. Читала жена Шенгели⁸. Стихи поганные, но сама прелестна. А он что-то не показывается на моем горизонте, и мне это грустно. Видаю Приблудного⁹. Представьте, его книжка скоро вый-дет — печатает «Никитинский субботник»¹⁰. Недавно видела Федорченко¹¹. Она почему-то знает, что мы с Вами дружим, бросилась на меня и стала говорить о Вас. Вы ей страшно нравитесь, и она хочет с Вами водиться. Ваня Прибл<удный> был в СПб., но к Вам не попал, п<отому> ч<то> ездил туда в одной рубашке, а адреса у него в пинжаке (!). С Есен<иным> он поссорился, п<отому> ч<то> тот говорит, что Ванька нечист на руку, и очень серьезно меня в том убеждал, и Б. А. тоже¹². Но я не хочу ни думать об этом, ни верить этому.

Слышали ли Вы, что 29 Мая в Феодосии будет праздноваться юбилей Макса (30 л<ет> лит<ературной> работы)¹³.

Ну, я ничего больше о «литературе для всех» писать не буду. Хотите о «литературе entre nous»?

Та ночь (или сутки?!) с Есен<иным> и Прибл<удным> прошли благополучно. Моя добродетель была подтверждена медведем Сергеем, кот<орый> сказал: «Ты ее люби. Она тебе верна. Я с ней всю ночь провел, и ничего не было». И сколько Б.¹⁴ ни отрицал, что не ему я верна, — С.¹⁵ не поверил. Но все-таки ежедневно и по нескольку раз звонил телефон и происходил такой разговор: С.: — «Поедем туда... поедем сюда... Приезжай ко мне, у меня собираются... Я приеду к тебе». Я: — «Занята. Устала. Не буду дома. Не могу, не могу...»

Скажите, что у меня характер!

Наконец последний вечер. Завтра он уезжает в Персию¹⁶. Моя дорогая, ведь я же нормальная женщина — не могу же я не проститься с человеком, кот<орый> уезжает в Персию? Докладываю Б. А. и еду к Сергею. Он уже пьет водку. Приходят всякие люди. Приезжает Б. А. Дорогая, представьте себе такую картину. Вы помните ту белую длинную комнату, яркий электр<ический> свет, на столе груды хлеба с колбасой, водка, вино. На диване в ряд, с серьезными лицами — три гармониста — играют все — много, громко и прекрасно. Людей не много. Всё пьяно. Стены качаются, что-то стучит в голове. За столом в профиль ко мне — Б.: лицо — темно-серое, тяжелое. Рядом какая-то женщина. И он то держит ее руки, то за плечи, то в глаза смотрит. А меня к<a>к будто нет на этом свете. А я... Сажу на диване, и на коленях у меня пьяная, золотая, милая голова. Руки целует и такие слова — нежные и трогательные. А потом вскочит и начинает плясать. Вы знаете — когда он становился и вскидывал голову — можете ли Вы себе представить, что Сергей был почти прекрасен. Милая, милая, если бы Вы знали, к<a>к я глаза свои тушила. А потом опять ко мне бросался. И так всю ночь. Но ни разу ни одного нехорошего жеста, ни одного поцелуя. А ведь пьяный и желающий. Ну, скажите, что он удивительный! А к<a>к они за здоровье друг друга пили! Необыкновенно забавно наблюдать. И вот наступила минута, когда мне было предложено ехать домой. Не поеду — с Б. А., наверно, все кончено. Хочу ехать — С. в таком бешенстве, такие слова говорит, что сердце рвется. У меня неск<олько> седых волос появилось — ей-Богу, с той ночи. Уехала к<a>к в чаду. С. был совсем пьян. На меня стал злиться и ругаться. С Б. даже не простился. Мне на другой день перед поездом звонил и всякие хорошие слова говорил. А с Б. т<a>к и не простились.

Не забуду, к<a>к мы с лестницы сходили — под руку, молча, во мраке, к<a>к с похорон. Что впереди? Знаю, что что-то страшное. А сзади, сейчас, вот за этой захлопнутой дверью, оборвалась очень коротенькая, но очень дорогая страничка.

На извозчике — о посторонних вещах и т<a>к далек, далек. Ко мне — ни за что. И тут на меня напал такой ужас. Еду и думаю: не пойдет, конец — а без него не могу. Голова с вина дикая, и мысли острые, острые. Вот подымусь на балкон и кинусь. Вероятно, он почувал что-то. Пошел ко мне. Шепотом, чтобы мать не услышала, говорили, зная, что слова, что главного нельзя сказать, п<отому> ч<то> сами не знаем. А главное, что говорили, вот думал, что у нас с С. было больше, что целовались и т. д. Потом его подзуживали разговорами обо мне и С. присутствовавшие, гл<авным> обр<азом> Галья¹⁷. Потом, что я «иконка». А с женщиной — мне в пику. Много, долго, мучительно и к<a>к-то тупо, п<отому> ч<то> что может быть непрошибимее мужской ревности. А потом пришла больная, изломанная, но настоящая страсть и к<a>к будто стерла все недоговоренное. А на другой день еще хуже. Пришел такой несчастный, измученный. Сказал, что уезжает. Должен наедине решить — может ли он мне быть мужем или любовником или просто другом будет. Марья Мих<айловна>, к<a>к я пережила эти 5 дней — не знаю. Ходила к<a>к перед постригом. А вернулся — сказал, что не уйдет. Опять я на жизнь глаза открыла. Вы простите, если Вам скучно, что я пишу. Эти неск<олько> суток для меня прошли, к<a>к года, и потому не могла не сказать о них. Стараюсь короче, но трудно. — Ну, потом пошло всячески. Очень, очень много тяжелого, непонятного, трудного. Недавно он сказал: «Ты мне с С. душой изменила». И мне стало очень страшно от этого.

М<ожет> б<ыть>, это правда. Совсем ничего не знаю. Знаю, что С. люблю ужасно, нежность заливающаяая, но любовь эта совсем, совсем другая. Скучаю без него очень; не жду, но грустно, что писем нет. Но ведь он т<а>к, вообще. А без Б. жизни не мысло. Он этого не понимает или боится понять. А минутами — хочу уйти от него, п<отому> ч<то> нет уже сил у меня на такую трудную любовь. Я очень устала. Мне хочется, чтобы меня очень любили, а не заставляли учиться любить знаменитого писателя, примитива и немца. Я ничего этого не умею, а учиться не хочу. Боюсь, что в моем письме много нелепостей. Но я ничего толкового Вам не скажу. Нельзя читать лекции по психологии, когда ходишь по канату. Да я с 5-го числа прошлого месяца ни разу еще на земле не стояла. Все балансирую под куполом. — Все это, дорогой друг, от сердца Вам пишу, п<отому> ч<то> чувствую Вас т<а>к же близко, к<а>к в М<оск>ве. Но если бы Вы были со мной сейчас, я, м<ожет> б<ыть>, поплакала бы Вам в жилетку, и Вы поняли, к<а>к я его люблю, негодая, медведя рыжего, милого. Надо кончать. Стихи! И пишите, пишите мне, т<ак> к<ак> Ваши письма нужны. Вы видите, что я не забываю и не отхожу от Вас и, главное, не мыслю себе этого.

Целую.

С.

От Ирины сцена ревности за Вас! Напишите подробно, что Чук<овский?> про меня говорил. Ужасно интересно. Целую всех Ваших.

2

Шкапской Марии Михайловне

Москва
30/III. 25

Дорогая моя, сегодня получила второе Ваше письмо. Спасибо Вам за все, за все. Не могу сказать, к<а>к мне хорошо, что Вы существуете и что мне с Вами так. Простите, очень любимая, что не пишу Вам сейчас. Обещаю через неск<олько> дней. Я очень серьезно и странно живу. И не хочу Вас тревожить. Вы не пугайтесь и не огорчайтесь. Мне просто нельзя говорить сейчас. Я очень чувствую силу ведущего меня — нас и потому глубоко и серьезно живу. Дай Бог только, чтобы то, что завязалось между Вами и мной, не разорвалось из-за моего молчания. Но я верю, что Вы меня понимаете. Просьбу с анкетами исполню наполовину — С. уехал¹⁸. Целую Вас, дорогая, и люблю и помню.

Соня.

3

Шкапской Марии Михайловне

Москва
11/I. 26

Дорогие, милые Марья Михайловна и Ирина, спасибо Вам за все, за все. Никогда не забуду Вашей ко мне доброты и помощи. Очень трудно что-н<и>б<удь> сказать, но чувствую к Вам обоим очень много.

Рвусь все время в СПб., но многое задерживает здесь. М<ожет> б<ыть>, приеду после 18-го (будет большое траурное заседание).

Теперь у меня к вам обоим большая, очень большая просьба. Пожалуйста, соберите для меня в СПб. все относящиеся к Сергею фотографии, рисунки, печатное (из газет и журналов, задним числом). Вы меня простите, что я вас т<а>к прошу. Мне очень неловко. Но на Вашу помощь я больше всего надеюсь. А мне все дорого. Деньги или вышлю, или приеду.

Мар<ья> Мих<айловна>, спасибо за чудесное письмо — отвечу, когда увидимся.

Еще раз простите, и спасибо вам, родные, милые. Ответьте хоть открыткой.

Соня.

4

Эйхенбауму Борису Михайловичу

Коктебель

16/VII. 26

Многоуважаемый Борис Михайлович, помните ли Вы наше свиданье весной и Ваше обещанье прислать мне свою статью о Есенине.

Простите, что беспокою Вас. Но сейчас я пишу Вам, чтобы спросить о судьбе этой Вашей статьи.

К годовщине смерти моего мужа Комитет по увековечению его памяти собирается выпустить сборник статей и воспоминаний. Материал подготавливается сейчас. Если Вы пришлете нам свою статью, мы будем очень, очень Вам благодарны¹⁹.

Я остаюсь здесь до 24-го, а затем возвращаюсь в Москву. Если у Вас найдется время, пожалуйста, напишите мне несколько слов относительно моей просьбы. Лучше на мой московский адрес: Остоженка, Померанцев пер., д. 3, кв. 8.

Мне очень дорого Ваше обещанье прислать мне свою статью, и я буду очень счастлива ее получить.

Как Ваша работа над Толстым? Как полное собрание в Ленгизе?²⁰ В Москве с Госиздатом все время неприятности и неудачи, т<а>к ч<то> судьба полного собрания очень неясна.

Слышали ли Вы о пожаре в Толстовском Музее? Произошел умышленный поджог, и сгорела вся Астаповская комната²¹.

Где и к<а>к Вы провели лето? Т<а>к жаль, что Вы не смогли приехать в Коктебель. Здесь очень хорошо. Меня только раздражает множество народу, но море, солнце и горы — прекрасны.

Здесь Ирина Карнаухова, кот<орая> шлет Вам привет.

Кланяйтесь от меня, пожалуйста, Вашей жене. К<а>к поживает Ваш чудесный сын?²²

Желаю Вам всего самого лучшего.

Уважающая Вас

С. Есенина.

5

Николаевой Евгении Константиновне

Коктебель

30/VII. 26

Моя милая, родная, дорогая, чувствую себя бесконечно перед тобой виноватой. Спасибо тебе за письма, очень, очень они мне нужны. Не могла собраться написать — то суета, то усталость, нервы, а главное, не могу я отделаться тебе коротеньким письмом. Неужели ты на меня сердиться и думаешь, что я тебя забыла? Постоянно ношу тебя в сердце своем и думаю о тебе как о самой близкой и любимой. И с кем попало стараюсь о тебе поговорить. И увидеть тебя хочу — до ужаса!

Очень мне жалко, думаю, что еще больше, чем тебе, что не поехали мы вместе. Ненавижу Коктебель, и вообще я очень несчастна. Как ты? Неужели не стало лучше? Меня твоя вторая стадия очень расстроила. Дитя мое, будь ты благоразумна, хоть кури поменьше и дуй этот чертов кумыс. Ты не написала, нравится он тебе или нет? Я его терпеть не могла.

О себе вот что: мне плохо, плохо. На пляже почти не могу лежать — сердце колотится, от купанья не сплю, от плаванья задыхаюсь, ветры издергали. Противопоказания: уже совсем черная, купаюсь три раза в день, улыбаюсь.

Сопоставь то и другое и выведи — стоило мне ехать в Коктебель? Ох, к<а>к я была права, когда не хотела ехать сюда. Людей — до черта! Все чужое и все ненужное и далекое. Я живу с Марусей²³, в ее комнате, проходной. Никогда я не могу за 10 минут вперед сказать, что я одна. Приходят, проходят... Хочется голову себе разбить. А уезжать некуда. Нет денег, мать в Судатке. Вернусь <вдрызг?> разбитой. Одна надежда на... но это потом! Имейте

терпенье. К<а>к всегда, здесь — компания Габричевских, Шервинских и их-ний огромный штат²⁴. И кроме — неск<олько> пар, неск<олько> одиноких и много, много женщин. Я со всеми хороша, определено ни с кем. Женщин беру без промаха. С мужчинами разговариваю только с сильно женатыми. А то один уж стал мне голову на плечо класть при лунном свете — ну их к... Из женщин каждая думает, что она мой лучший друг, и каждая к каждой ревнует. А я их сражаю рассказом о своем *настоящем* друге — Жене Николаевой.

Сегодня у меня кончился крупный флирт. Одна стерва, лезбиянка чистой воды, влюбилась, и извела она меня, судья дочь! Всё совсем по-мужски, и ухаживанье, и разговоры, и такие взгляды! Я не знала, куда деваться, краснела и терялась. А сегодня она спросила à toute lettre — да или нет. И я сказала, что, конечно, нет и никогда. Обещала отстать. Вот г... собачье!

Для другой я просто «половина ее души», т<ак> к<ак> она меня ежеминутно душит потными руками и чешет головку. Мать семейства и считает меня своей дочерью.

Было неск<олько> действительно ценных встреч и отношений. Между пр<очим>, твоя Звягинцева (она уехала уже). Она мне стихотворение посвятила²⁵. Прилагаю его и письмо ее. Она хорошая и тебя любит ужасно. Еще Лиза Парнок, сестра С. Я.²⁶. Очень хороша была и дорога Фрима²⁷. Ты о ней слышала от Ирины. Очень меня опекала. К моему большому горю, Надя Савкина²⁸ уехала через 3 недели. Ее вызвали домой, муж рыбой отравился и умирал. Ты очень ей понравилась.

Самый для меня ценный был Ив. Ник. Розанов²⁹. Он член Есенинского к<омите>та. Мы с ним говорили, говорили. Больше ни с кем не могу. С Максом — *ни слова*. От остальных всех берегусь изо всех сил, не пускаю и ни слова не говорю о Сергее.

Атмосфера малоценная, чуждая и малоинтересная. «Знаменитости» — второй сорт. Серг. Мих. Соловьев, Дурылин, Шервинский, Ланн (поэт и переводчик, сам милый и интересный)³⁰. Общее эстетско-интеллигентско-символистское и бездарь на бездарь. Хочется бомбочку бросить, да не знаю какую. Все мало-мальски приличное живет тихо и обособленно. Макс и Маруся хорошие очень. Пропасть хлопот, неприятностей, а толку никакого. Все бескорыстно и для души ничего, п<отому> ч<то> половина живущих — ерунда, остальные бездарные. Мне их обоих жалко. Марусю я еще больше люблю. Она прекраснейший человек.

Макс интересен для раскопок, и уютен, и толст.

Мамашка моя с Наташкой в Судаке. Я туда ездила на катере, оттуда пришла пешком.

Недавно получила известье, что умер отец Наташки. От неск<ольких> ударов. Странно, дорогая, узнать, что ушел отсюда и так и где-то человек, который ведь был когда-то моим *мужем*, всем в жизни и которому очень много отдала я и для которого была на всем свете я одна³¹.

Он прочел в газетах о моем браке, страшно рассердился, что «лгут», и не поверил. Хорошо, что до конца он не знал правды.

Вот пошла серьезная часть письма. С судом огромные неприятности. Написали Савкина и Надя Вольпин³². Шапиро почему-то молчит. Райх подала заявление, что Есенин был «двоеженец», т<ак> к<ак> у него к<а>к-то не был «оформлен» развод с Дункан; поэтому мне предлагается «отход». Не знаю, что будет. Тяжело очень, очень. И лично. Но я сама виновата, что вступила в борьбу с этими особами. Я должна была быть готовой. А главное, убей меня, я не понимаю, к<а>к можно все кричать о любви и бережении памяти и из-за злобы, ревности и жадности обвинять умершего в подлоге. Боже мой, что бы он сказал, если бы знал это!³³ Конечно, Катерина и Наседкин все знали заранее и не предупредили меня³⁴. А в моем отсутствии останавливаются в моей квартире! Ты можешь <уяснить?> психику этих людей?!

Я с ужасом думаю о возвращении в М<оскв>у. А с другой стороны, хочу и должна. Думаю к 1-му Сент<ября> наверное быть. Предстоит много работы в К<омите>те³⁵. Перепиской подготавливаю материалы для сборника воспоминаний К<омите>та. Получила согласие от Горького и ужасно этому рада. А еще какая-то потребность видеть людей, с кот<орыми> я могу свободно говорить обо всем и как-то разрядиться. От того, что я все несу в себе, я очень мучаюсь. Мне т<а>к хочется что-н<и>б<удь> слышать, вспомнить. Я

только стихи его читаю, к<а>к Евангелие, каждый день. И про себя, когда мне плохо. Точно помолюсь, и легче.

Дитя мое, нельзя ничего изжить. Понимаешь, ну ничего, ничего не проходит. Как часто удерживаешься от слез, от крика, от того, чтоб головой о стенку колотиться. Я не могу.

Мне надо одно — все время двигаться, менять людей, места, дома. Новое, новое, мчаться, только не останавливаться. И потому я Божьей милостью считаю то, что сейчас мне предлагается. Это моя надежда. М<ожет> б<ыть>, я с матерью поеду в... Америку! Вот чудо-то! Ей предлагают там лекции читать о Толстом и оплачивают проезд ей и мне. Я боюсь верить. Понимаешь, брата увижу, путешествие, впечатления, все новое³⁶. Настоящее лечение, то, что мне нужно. Думаю и надеюсь, что это будет не скоро, не раньше неск<ольких> месяцев, п<отому> ч<то> мне надо пропасть дел переделать в М<оск>ве. — Что тебе оттуда привезти? Дитя дорогое, только я там недолго, неделю останусь. А то очень соскучусь. — Напиши хоть открыточку, что получила это письмо. Пиши и помни, что я люблю тебя ужасно и ты одна у меня. Целую. Лечись.

Соня.

От Ирины давно ничего нет — не знаю, приедет или нет она.

6

Шкапской Марии Михайловне

Москва

30/XI. 26

Дорогая Марья Михайловна, мне грустно, что оборвалась наша переписка, и еще грустнее будет узнать, что Вы совсем забыли меня.

Это мое письмо деловое. Но это и проба — откликнетесь ли Вы мне? П<отому> ч<то> письмо Вам просто к<а>к старому другу все это время во мне назревало.

Вы мне говорили, что знаете того художника, кот<орый> писал Сергея в мертвецкой. Я даже не могла добиться ничего, кроме его фамилии (Мансуров?)³⁷. Этот портрет ужасно меня мучает. Но это ведь никого не касается, кроме меня. Но через месяц в Союзе Пис<ателей> открывается Есенинская выставка, и мне очень хотелось бы, чтобы этот портрет был на выставке. Это дело общее.

Дорогая, если Вам некогда, не берите этого дела на себя, только напишите мне имя и адрес этого художника.

Вот это моя очень большая к Вам просьба.

К<а>к и где Вы? Я ничего не знаю. К<а>к Глеб и мальчики?³⁸ Напишите мне хоть немного о себе. Я очень хочу о Вас узнать, очень хочу.

А у меня все т<а>к плохо, что и писать не стоит. Много больших неприятностей, болею, ужасные, унижительные семейные дела с судами.

И вообще я старая, грустная и скучная.

Напишите мне, что Вы меня помните и, м<ожет> б<ыть>, еще немного любите, к<а>к прежде. А я очень верный друг.

Целую Вас преданно.

Соня.

Не заметила, что сзади лист испорчен. Простите за уродство³⁹.

7

Шкапской Марии Михайловне

Москва
15 Авг. 1927

Милая, хорошая Марья Михайловна, не ответила сразу на Вашу открытку, п<отому> ч<то> только сегодня удалось выяснить насчет комнаты. Не могу помочь Вашей знакомой — у нас все уже съезжаются и нет свободной «площади».

Очень, очень была рада увидеть Ваш почерк, и грустно, что Вы т<а>к мало и только по делу пишете мне. Знаю, что сама виновата. Оправданье обычное, но правдивое — живу запутанно, растрепанно и очень невесело. Всегда хочу знать о Вас, дорогая, и люблю и помню Вас верно. Но писать т<а>к ужасно трудно, — мое прогрессирующее косноязычье и полное неумение говорить о важном — приводят меня в отчаянье. Путаюсь и тупею в собственном существе — глупом и несчастном. Иногда не только хочется, но даже нужно видеть Вас. Знаете, ведь после Вас я уже ни с кем не говорила и не переписывалась т<а>к, к<а>к с Вами. Очень было хорошо тогда и п<отому>, ч<то> Вы такая хорошая. Мне сейчас хочется написать Вам длинное объяснение в любви. Только Вы ведь не поверите. — Все, что я говорю, не игра в одиночество и непонятость, а просто итоги — скоро 30 лет, а жизнь моя неправильная. —

Иногда мне очень, очень страшно. —

Напишите мне о себе, о детях, о Глебе и обо всем. Мне т<а>к хочется о Вас знать. —

Весной я объездила весь юг, переводчицей с 3-мя американками. Скучно, трудно и чуждо. А лето все просидела здесь, п<отому> ч<то> Райх подала в Верховуд Крыленке. Я выиграла, но лето она мне испортила. Сейчас мы с Надей Вольпин заключаем новый договор на Собрание Сергея⁴⁰. Очень сложно и ответственно. — А в Сентябре открывается мой Музей⁴¹ и происходит Толстовский юбилей. — Устала и ненавижу Москву.

— Вам *очень* сердечно просит кланяться Богомильскийкий⁴². — Целую крепко. Пожалуйста, оставьте мне местечко в своей памяти.

Соня.

8

Эйхенбауму Борису Михайловичу

Москва
12 Авг. 1944

Глубокоуважаемый и дорогой

Борис Михайлович,

Ваше письмо и обрадовало, и смутило меня. Вы знаете, к<а>к мне хотелось видеть Вас в Ясной Поляне. Если помните, мы говорили об этом в Ваш последний приезд в Москву. Но у нас т<а>к еще не благоустроено, просто, даже примитивно, и в обстановке, и в столе, что я смутилась Вашим письмом, не зная, что же ответить Вам. Особенно пугает меня впечатление, которое вынесет Ваша жена⁴³ от нашего спартанского устройства, и то, что она не будет довольна своим отдыхом. И все же я решаюсь уговаривать и просить Вас обоих приехать в Я<сную> П<оляну> и простить нас заранее за то, что мы плохо подготовились к приему гостей.

Отвечаю на Ваши вопросы:

карточки возьмите только хлебные *обязательно*. Остальные — по Вашему желанию, т<ак> к<ак> их можно «отovarить» сухими продуктами в Туле и дополнять к нашему столу.

Мы можем предоставить Вам два общих обеда, очень простых, но сытных, литр молока и овощи из нашего огорода казенного для ужина. Все это по гос<ударственным> ценам. Дополнительно можно покупать сколько угодно молока по 30 р. и прочие продукты в деревне и на рынке. Хлеб стоит 30 р.

Комната на двоих, с кроватями и постельным бельем. Желательно, чтобы Вы привезли свои подушки, наши очень плохи. Меблировка убогая, бани и ванны нет, уборная наруже, посуды очень мало, лучше что-н<и>б<удь>, 2 — 3 вещи, захватить с собой. Но это не крайность, к<а>к н<и>б<удь> устроим Вас без особых лишений. Боюсь, что я Вас напугала и Вы перегрузите себя багажом. Поезда идут до станции Ясн<ая> Пол<яна>. Вышлем лошадь за Вами по Вашей т<е>л<е>гр<амме>.

Осень ожидается теплая и сухая и прелестная, такая, какая она может быть только в Я<сной> П<оляне>.

У нас очень тихо, мирно, и я надеюсь, что Вы сможете работать.

К сожалению, я не могла исполнить Вашу просьбу и устроить Мариенгофа⁴. Я <сняя> П<оляна> никак не приспособлена для Дома отдыха, а никаких иных связей у Мариенгофа с этим местом быть не может. М<ожет> б<ыть>, я виновата, что сказала ему когда-н<и>б<удь> какую-н<и>б<удь> любезность о посещении Я<сной> П<оляны>. Каюсь, но не помню. Вынуждена была послать ему т<е>л<е>гр<амму> с сожалением, а Вас решаюсь усиленно приглашать, п<отому> ч<то> Вы для Я<сной> П<оляны> не только очень дорогой гость, но и свой человек.

Пожалуйста, не сердитесь на меня за Мариенгофа. Я буду стараться всю жизнь услужать Вам в чем-н<и>б<удь> другом, но не в этом.

Если Вы поедете, д<олжно> б<ыть>, через Москву, повидаетесь со мной или моими сослуживцами и узнаете дополнительные подробности, какие я могла забыть.

Низко Вам кланяюсь, дорогой Борис Михайлович, и т<а>к надеюсь на Ваш приезд. Задержала письмо оттого, что все наши гостевые были в ремонте и я не знала, когда они смогут принять Вас.

Привет прошу передать Вашей жене.

С. Толстая-Есенина.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Начало письма отсутствует. Дата «20 апреля» стоит на четвертом листе.

² Толстая Александра Львовна (1884 — 1979, умерла в эмиграции) — младшая и любимая дочь Л. Н. Толстого. По его завещанию официальными наследниками назначались Александра Львовна, а в случае ее смерти Т. Л. Сухотина-Толстая, так как Л. Н. Толстой был уверен, что ими его воля (согласно которой семья Толстого лишалась доходов от издания его сочинений, становившихся всенародным достоянием) будет исполнена. После революции А. Л. Толстая декретом А. В. Луначарского была назначена полномочным комиссаром (потом — хранителем) Ясной Поляны. Пять раз арестовывалась ВЧК и ГПУ, допрашивалась заместителем Ягоды Аграновым. Осенью 1929 года выехала с лекциями об отце в Японию и в 1931 году заявила о своем отказе вернуться в СССР. С 1931 года жила в США. 15 апреля 1939 года был создан Толстовский фонд, в котором Александра Львовна и работала до конца жизни.

³ Пильняк (Вогау) Борис Андреевич (1894 — 1938, расстрелян), писатель.

⁴ Зайцев Петр Никанорович (1889 — 1970) — антропософ, поэт, прозаик. Автор воспоминаний о Есенине, написанных в 50-е годы и опубликованных в сокращении в газете «Литературная Россия» после смерти автора.

⁵ Вероятно, имеется в виду Клавдия Николаевна Васильева (1886 — 1970), антропософка, жена Андрея Белого. Поручение Шкапской было связано с передачей каких-то печатных оттисков, что выясняется из письма Шкапской П. Н. Зайцеву от 10 апреля 1925 года:

«Милый Петр Никанорович, очень рада была получить весточку от Вас в Москве в связи со смертью доктора (Р. Штайнера. — С. III). Очень рада, что кружок Ваш процветает, у меня такое хорошее впечатление осталось от посещения его.

Простите, что так вышло с оттисками. Я их оставила Соне Толстой с тем, чтобы она занесла Клавд<ии> Ник<олаевне>, а она раз не застала, кажется, дома, а потом К. Н. уехала» (ф. 1610, оп. 1, ед. хр. 37).

⁶ Шенгели Георгий Аркадьевич (1894 — 1956) — поэт, переводчик, теоретик стиха. Близкий друг Шкапской, состоял с ней в длительной переписке (его письма Шкапской опубликованы в 14-м томе исторического альманаха «Минувшее»).

⁷ Адалис (наст. фам. Ефрон) Аделина Ефимовна (1900 — 1969) — поэтесса. См. публикацию одиннадцати ее писем Шкапской за 1924 — 1931 годы в 13-м томе альманаха «Минувшее».

⁸ Манухина-Шенгели Нина Леонтьевна (1893 — 1980), поэтесса, член кружка «Литературный особняк».

⁹ Приблудный Иван (Овчаренко Яков Петрович; 1905 — 1937, расстрелян) — поэт, бывший беспризорник, боец дивизии Г. Котовского в гражданскую войну. Есенин одно время покровительствовал Приблудному и считал его своим учеником.

¹⁰ Речь идет о книге: Приблудный И. Тополь на камне. Стихи (1923 — 1925). М. «Никитинские субботники». 1926.

¹¹ Федорченко София Захаровна (1888 <в КЛЭ: 19.IX (1.X) 1880; по картотеке СП: 31.X.1888> — 1959) — писательница, автор книги «Народ на войне».

¹² Ср. в письмах Есенина к Г. А. Бениславской от начала мая и от 26 июля 1926 года: «Гребень сей Приблудный пусть вернет! У меня все это связано с капризами суеверия. Потом, пусть он бросит свою хамскую привычку обворовывать ближних!»

«Вчера Приблудный уехал в Москву. Дело в том, что он *довольно-таки* стал мне в копеечку, пока жил здесь. Но хамству его не было предела. Он увез мои башмаки. Не простился, потому что получил деньги. При деньгах я узнал, что это за дрянной человек. <...> Все это мне ужасно горько. Горько еще потому, что он треплет мое имя. Здесь он всем говорил, что я его выписал. Собирал у всех деньги на мою бедность и сшил себе костюм. <...> Повидайте его и получите с него три червонца. Сам я больше с ним не знаком и не здороваюсь. Не верьте ни одному его слову. Это низкий и продажный человек» (Есенин С. А. Собрание сочинений в 6-ти томах, т. 6. М. 1980, стр. 144, 147 — 148).

¹³ Макс — Максимилиан Александрович Волошин (1877 — 1932), поэт. О праздновании юбилея своей литературной деятельности он писал В. В. Вересаеву 24 марта 1925 года:

«Другим сюрпризом, меня ожидавшим, было формирование комитета для чествования тридцатилетия моей литературной деятельности. <...> Об этом вопрос подымался и раньше, но я упорно отказывался, т<ак> к<ак> на основании прецедентов знаю, что за каждое слово признания и похвалы приходится принимать ушаты грязи. <...> Но тем не менее это просочилось помимо меня: я получил ряд запросов, и в Феод<осии> образовался комитет по инициативе одного из старейших и почтеннейших русских педагогов — Юрия Андреевича Галабутского — еще моего гимназического учителя русск<ого> языка, ныне опять пришедшего в Феодосию преподавателем мест<ного> педтехникума. Вероятно, все это будет назначено на 29 мая» («Дружба народов», 1993, № 4. Публикация А. Ф. Маркова).

¹⁴ Б. А. Пильняк (он же «медведь», «примитив» и «немец»).

¹⁵ С. А. Есенин.

¹⁶ Есенин выехал в Баку 27 марта 1925 года, пробыв в Москве меньше месяца после своего возвращения 1 марта из своей первой поездки на Кавказ. Его намерение проехать из Закавказья в Персию либо в Турцию не осуществилось. Любопытно сравнить запись из дневника Михаила Кузмина от 1 сентября 1925 года, где передается рассказ художника К. А. Соколова: «...они в Батуми с Есениным спяна очутились в трюме итальянского парохода, и их хотели отвезти в Геную, а они, дураки, отказались. Забирали их как кокаинистов» (ф. 232, оп. 1, ед. хр. 63, л. 230 об. — 231).

Журналист Н. К. Вержбицкий вспоминал и о других попытках Есенина попасть из Грузии за границу:

«В начале декабря 1924 года мы с Есениным отправились в Батум.

До этого пост настойчиво просил меня достать документы на право поездки в Константинополь. Кто-то ему сказал, что такое разрешение, заменяющее заграничный паспорт, уже выдавалось некоторым журналистам. А свое намерение съездить в Турцию Есенин объяснял сильным желанием повидать «настоящий Восток» (по-видимому, это было новым вариантом его старого замысла посетить одну из стран Ближнего Востока, подогретого чтением персидских лириков и уже осуществляемым циклом «Персидские мотивы»). Один из членов закавказского правительства, большой поклонник Есенина, дал письмо к начальнику Батумского порта с просьбой посадить нас на какой-нибудь торговый советский пароход в качестве матросов с маршрутом: Батум — Константинополь — Батум.

По приезде в Батум мы остановились в гостинице» (цит. по кн.: Белоусов В. Г. Сергей Есенин. Литературная хроника. Ч. 2. М. 1970, стр. 158). Ср. упоминание об этой несостоявшейся поездке в письме Есенина Вержбицкому от 26 января 1925 года:

«В Константинополь я думал так съездить, просто ради балагурства. Не выйдет — жалеть не буду, а вообще начинаю немного собираться обратно» (Есенин С. А. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 6. М. 1980, стр. 174).

В результате всех этих неосуществленных проектов Есенин написал цикл «Персидские мотивы» так и не побывав ни в Турции, ни в Персии.

¹⁷ Гал а — Бениславская Галина Артуровна (1897 — 1926), любовница Есенина. Покончила с собой на его могиле. Описываемая С. А. Толстой вечеринка с участием вызванного Есениным трио гармонистов была устроена на ее квартире.

¹⁸ О каких анкетах идет речь, неясно. Об отъезде Есенина в Баку см. выше, примеч. 16.

¹⁹ Сборник, который составляла С. А. Толстая, издан не был. Неопубликованная статья Б. М. Эйхенбаума о Есенине находится в Государственном Литературном музее, в настоящее время готовится к публикации С. И. Субботинным.

²⁰ В 1922 году в Берлине в изд-ве З. И. Гржебина вышла книга Б. М. Эйхенбаума «Молодой Толстой», за которой последовала: «Лев Толстой. Кн. 1. 50-е годы» (1928), и в том же году вышли три первых тома Полного собрания художественных произведений Л. Н. Толстого в 15-ти томах, под ред. Б. М. Эйхенбаума и К. Н. Халабаева.

²¹ Очень жаркое лето 1926 года для москвичей озаменовалось кроме приезда Мэри Пикфорд и Дугласа Фэрбенкса и смерти Ф. Э. Дзержинского неоднократными случаями

поджогов выставок и музеев. В июне — июле было сделано шесть попыток поджогов: дважды на выставке картин АХРР, этнографической коллекции Румянцевского музея, Государственного музея мебели (4 июля), Толстовского музея (6 июля). Во всех случаях подбрасывались бутылки с горючей жидкостью. После поджога в Толстовском музее, где сгорела часть экспонатов, относящихся к уходу и смерти Толстого, 7 июля 1926 года состоялось экстренное совещание директоров всех московских музеев под председательством Н. И. Седовой (заведующей Отделом по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Главнауки, второй жены Л. Д. Троцкого, впоследствии высланной вместе с мужем). Были усилены меры охраны и контроля за посетителями, запрещено проносить с собой в музеи свертки и портфели и т. п. Принятые меры не помешали, впрочем, еще одной попытке поджога, на сей раз в Историческом музее 18 июля. Как писал автор заметки «Охрана музеев в Москве», «из опроса служащих Толстовского музея выяснилось, что неизвестный, совершивший поджог, расписался в книге посетителей левой рукой, вследствие чего подпись оказалась крайне неразборчивой. Некоторые служащие музея утверждают, что он уже посещал музей за несколько дней до 6 июля, когда был совершен поджог.

По описанию служителей музея, маньяк имеет вид рабочего, одет в черную блузу» («Вечерняя Москва», 1926, 8 июля). Поджигатель так и не был найден.

²² Дмитрий Борисович Эйхенбаум. Погиб на фронте.

²³ Имеется в виду Дом Поэта — дом М. А. Волошина в Коктебеле. Маруся — Заболоцкая Мария Степановна (1887 — 1976), вторая жена Волошина.

²⁴ Имеются в виду искусствовед и переводчик Алексей Георгиевич Габричевский (1891 — 1968) и поэт, прозаик и переводчик Сергей Васильевич Шервинский (1892 — 1991), часто отдыхавшие у Волошина в Коктебеле.

²⁵ Стихотворение поэтессы Веры Клавдиевны Звягинцевой (1894 — 1972) приложено к письму:

С. А. Толстой-Есениной

Слезу: тяжелых плеч понурость,
 Лица славянского овал...
 Какой Коненков вырезал
 Упавших рук немую хмурость?
 О, прелесть рода над тобой!
 Ее таинственная сила
 С твоей трагической судьбой
 В одно русло соединилась.
 Простоволосой головой
 Клонясь упрямо — входишь в море;
 Тебе бы волжские предгорья
 Предстали... Русских ветров вой...
 Твой смех, что в горсточке песок,
 Куда еще размахом грубым
 Его закинет терпкий рок?
 Каких еще питий пригубишь?

В. Звягинцева. Июль 26 г.

²⁶ Парнок Елизавета Яковлевна — младшая сестра поэтессы С. Я. Парнок и сестра-близнец поэта, джазового музыканта и танцора, выступавшего в ряде спектаклей театра Вс. Э. Мейерхольда, Валентина Парнаха.

²⁷ Возможно, имеется в виду Фрима Бунимович (Бунина Ирина Александровна), актриса, первая жена актера и чтеца Антона Шварца.

²⁸ Надя Савкина — жена поэта Николая Петровича Савкина, входившего в группу имажинистов, номинального редактора выходившего в 1922 — 1924 годах журнала «Гостиница для путешественников в прекрасном» (вышло четыре номера).

²⁹ Розанов Иван Никанорович (1874 — 1959) — историк литературы.

³⁰ Среди названных С. А. Толстой обитателей «коктебельской колонии»:

Соловьев Сергей Михайлович (1885 — 1942) — поэт, переводчик, затем священнослужитель, католик, с 1926 года епископ, вице-экарх католиков греко-российского обряда. Дворянский брат Вл. Н. Соловьева. Неоднократно арестовывался, ссылался, страдал душевным заболеванием.

Дурьлин Сергей Николаевич (1877 — 1954) — писатель, литературовед, доктор филологических наук. Принял сан православного священника; с середины 20-х годов, после двух арестов и ссылки, потерял возможность священнослужения; впоследствии занимался искусствоведением, этнографией, историей театра.

Ланн Евгений Львович (1896 — 1958) — переводчик английской литературы (в частности Диккенса), автор книги о литературных мистификациях, поэт, корреспондент М. И. Цветаевой. Покончил с собой.

³¹ Речь идет о Сергее Михайловиче Сухотине (1887 — 1926), умершем в эмиграции.

³² Вольпин Надежда Давыдовна (р. 1900) — переводчица, любовница Есенина (имела от него сына А. С. Есенина-Вольпина). Автор воспоминаний о Есенине «Свидание с другом», впервые полностью напечатанных в 1992 году в сборнике «Как жил Есенин».

³³ Тягостная история с дележом есенинского наследства продолжалась более двух лет после смерти поэта. Ф. А. Волькенштейн писал Е. К. Николаевой 15 июля 1926 года о С. А. Толстой:

«Со́ня — бедняжка. Ее дело получило оборот безнадежный и скандальный:

Мейерхольдиха и все мужички, «всем миром» прибывшие из деревни в суд, оспаривают действительность брака Есенина с Соней: он зарегистрировался с Соней, не расторгнув брака с Дунканшей!!!

Так поэты устраивают благополучие своих близких!

Ненавижу гениев и их великолепное презрение к земным мелочам и прозе!

Кроме того, вся эта ватага требует, чтобы с Сони сняли фамилию «Есенина». Этим мужичкам и еврейке Мейерхольдине невместно именоваться одинаково с внучкой Льва Толстого!!! Ох! Зубы сломаю, так скрипну зубами!

А из Пбрга приехала еще одна жена усопшего гения и привезла еще одного сына.

Пока не пишите Соне. Я составил Шапире осторожное письмо, чтобы не губить Соне отдыха. Дело отложено до 1-го сент.» (ф. 2291, оп. 1, ед. хр. 98).

Под «мужичками из деревни» имеются в виду родители Есенина, «еще одна жена» — Н. Д. Вольпин, Шапиро — по-видимому, адвокат, ведший дело со стороны С. А. Толстой. Позднее сестра Сергея Есенина Александра Есенина вспоминала: «Позорная тяжба за наследство длилась два с лишним года, и лишь после многих судебных разбирательств отец был установлен в правах наследования. (Суд все же учел, что в пятьдесят два года Александр Никитич «фактически был инвалидом и несколько лет жил на иждивении сына».) Родители, перепуганные захватническими действиями Райх, боялись, что она может забрать у них все, что принадлежало Сергею. Но так как, кроме книг, у них почти ничего не было, они спрятали эти книги в подполье в амбаре. Весной это подполье залило водой, и книги все попортились» («Радуница». Информационный сборник № 1. М. 1989, стр. 62).

³⁴ Есенина Екатерина Александровна (1905 — 1977), младшая сестра Есенина, и ее муж, поэт Наседкин Василий Федорович (1895 — 1938).

³⁵ Имеется в виду Комитет по увековечению памяти Есенина.

³⁶ Мать С. А. Толстой — Ольга Константиновна Толстая (1872 — 1971); брат — Илья Андреевич (1903 — 1970, умер в эмиграции). Поездка в США, о которой пишет Софья Андреевна, по-видимому, не состоялась.

³⁷ Мансуров Павел Андреевич (1896 — 1984, умер в эмиграции) — художник, близкий знакомый Есенина, Клюева. Был среди посетителей Есенина в «Англетере» накануне самоубийства. В 1929 году эмигрировал. См. его изложение событий последнего дня и вечера жизни Есенина в написанном в 1972 году письме О. И. Ресневич-Синьорелли, со множеством неточностей и ошибок памяти автора («Минувшее». Исторический альманах. Т. 8. М. 1992, стр. 171 — 174). С. А. Толстая в этом письме ошибочно названа «Софьей Ильиничной».

³⁸ Глеб — Шкапский Глеб Орестович, инженер, муж М. М. Шкапской с 1910 года. Мальчи́ки — двое их сыновей.

³⁹ Половина листа отрезана.

⁴⁰ Вероятно, имеется в виду Собрание сочинений Есенина в 4-х томах, вышедшее в Ленинграде в 1927 — 1928 годах.

⁴¹ Имеется в виду Музей Есенина, открытый при Литературном музее Всероссийского Союза писателей в Москве, в Доме Герцена на Никитском бульваре. Уже в 1929 году музей был закрыт, а С. А. Толстая назначена пожизненной хранительницей есенинских материалов.

⁴² Богомильский Давид Кириллович (1887 — 1967) — заведующий издательской частью писательской артели «Круг».

⁴³ Эйхенбаум Рая Борисовна (1890 — 1946).

⁴⁴ Мариенгоф Анатолий Борисович (1897 — 1962) — поэт-имажинист, один из ближайших друзей Есенина до его женитьбы на А. Дункан. Автор известного «Романа без вранья» — воспоминаний о Есенине. Мариенгофа и С. А. Толстую отличала взаимная неприязнь.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СВЕТЛАНА СЕМЕНОВА



ВОСКРЕШЕННЫЙ РОМАН АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

Опыт прочтения «Счастливой Москвы»

Прошло уже четыре года, как «Новый мир» неожиданно подарил читателям дотоле неизвестный роман Платонова «Счастливая Москва». Воскрес он с рассыпающихся ветхих листочков, из непрочной рукописно-карандашной плоти 1933 — 1936 годов (спасибо и М. А. Платоновой, сохранившей их в своем архиве, и кропотливому реставратору — Н. В. Корниенко!). Но реакция на это чудесное событие оказалась какой-то странной. Вспомним, каким литературно-критическим шквалом встречались до того «Ювенильное море», «Котлован», «Чевенгур», как разбегались споро-актуальные и обстоятельно-герменевтические перья, породив целую исследовательскую индустрию возвращенного Платонова. А тут — один Юрий Нагибин, почти на пороге ухода из жизни, рецензионно прочел «Счастливую Москву» как «самый страшный роман Андрея Платонова» («Литературная газета», 1992, № 6, 5 февраля), как гениальную, жуткую сказку о разного рода уродцах и психах «советского условного мира». Еще там-сям в интервью и опросниках прозвучало имя «Счастливой Москвы» как чуть ли не самого крупного и поразительного литературного события последних лет, но в чем эта поразительность, не раскрывалось, разве что шли ссылки на «загадочность» явления. Правда, в «Новом литературном обозрении» (1994, № 9) появился доклад западной исследовательницы Н. Друбек-Майер с устрашающим названием «Россия — «пустота в кишках» мира». Здесь образ центральной героини от отталкивающе-хтонической бабы-яги, каковой увидел Москву Честнову в ее эволюции Ю. Нагибин, взмывает в космические выси, представляя аллегорическим воплощением... Софии Премудрости Божией. Но чтобы буквально за волосы протащить героиню на метафизическое небо, понадобилась более чем сложная «риторическая стратегия», в которой задействованы и Вл. Соловьев, и особенно П. Флоренский (с такого рода обоснованиями: «Предположим, что Платонов читал книги Флоренского...»).

Как-то А. К. Горский, загубленный в 30-е годы замечательный мыслитель федоровской ориентации, сказал о Пушкине, что тот еще «не только не прочитан, но даже не разрезан». И если в отношении к поэту с таким парадоксально заостренным утверждением вряд ли кто согласится (во всяком случае, до знакомства со взглядом того же Горского на пока не замеченные «буйные всходы воскресительной эротики» в пушкинском творческом саду), то в случае с новым романом Платонова похоже, что это сущая правда. Увы, и не разрезан, и не прочитан, во всяком случае, в таком читательском количестве и качестве, как он того заслуживает. Кстати, не зря же до сих пор нет и книжного его издания в составе платоновских текстов, разве что где-то на Западе готовятся переводы...

Посему хотелось бы предложить читателям журнала, на страницах которого «Счастливая Москва» пока только и существует, старый добрый метод медленного, аналитического прочтения этого романа: что же в нем реально есть, в какой текстуальной, мотивной, образной плоти это есть живет и разворачивается. И тогда мысль о романе, о его героях, его душе и «идее» получает больше шансов на приближение к истине (естине) произведения,

во всяком случае, открывается путь дальнейших поисков и открытий этой истины.

Но сначала несколько общих слов о «Счастливой Москве». Создавалась она в период, может быть, самый мучительный для Платонова-писателя, когда после публикации в 1931 году повести «Впрок» он, объявленный — от Сталина до единомышленников критиков — враждебной «сволочью», «кулацким агентом», певцом «дураков и юродивых», на пять лет вычеркнутый из советской печатной литературы, пытался, по его собственным словам, «ломать самому себе кости», хребет своего «ошибочного» мировоззрения и эстетики. Что же вышло из этого прямо объявленного, модного тогда процесса «перекорки» и «переплавки»? На мой взгляд, мало из того, чего желала и требовала от него руководящая общественность.

Для себя Платонов так декларировал свою «стратегию перевоспитания»: он «изживает свои ошибки и недостатки», пробиваясь вперед сначала хотя бы одной «публицистической мыслью», чтобы затем продвинуться и всем «туловищем». Но как ни прорывался он будто бы «вперед» в своих литературно-критических статьях (на деле не раз идя в них на механический компромисс с требованиями времени), «туловище» его художественного творчества упорно тянуло его назад. Поражает контраст между тем, как Платонов искренне старается «перестроиться», заданно-примитивно отчитывается о своем творческом пути, своих идеологических и стилевых «катастрофах», самоумаливаясь до уровня понимания эпохи, и тем, что выражает он в своих повестях и рассказах, где он неуклонно остается верен себе, гениальной кривизне взгляда и стиля. Не мог он иначе, иначе у него карандаш не писал, сюжет не клеился, образ не вырисовывался, мотив не выпевался, сравнение не получалось... Начинать писать — и тут же включалось свое, и только свое. Возьмем ту же «Счастливую Москву»: она среди анонсированных им произведений нового его, реконструктивного этапа (вот, мол, скоро все увидят, как он исправился!), а вместо этого из-под руки выходит еще один фрагмент уникальной платоновской вселенной, со своими маниями и «тиками», своим великим «безумием», знакомыми героями. Судите сами — каждый год кладутся в стол значительные вещи и настоящие шедевры: в 1932-м — «Ювенильное море» и «14 красных избышек», в 1933-м — «Мусорный ветер» и первые главы «Счастливой Москвы», в 1934-м — «Джан», в 1935 — 1936-м — «Среди животных и растений». Замыкается этот период выходом в 1937 году в «Советском писателе» книги «Река Потудань» (включала семь рассказов и почти все из лучших платоновских вещей: «Река Потудань», «Бессмертие», «Третий сын», «Фро», «Глиняный дом в уездном саду», «Семен», «Такыр», написанных в 1934 — 1936 годах) — и тут же новым ударом по писателю, на этот раз беспощадно точным и особо чувствительным, — в самую нежную мякоть «туловища» (используя вновь слово Платонова). Обновительная и по-своему проницательная статья А. Гурвича («Красная новь», 1937, № 10) была сделана в жанре честного доноса, она действительно впервые обнажила сокровенные нервные узлы платоновского мира: глубокую его метафизичность, упертость в проблему смерти и фундаментального несовершенства бытия, «христианскую юродивую скорбь и великомученичество», «религиозный, монашеский большевизм», «религиозное душестройство» его героев. Но что значили такие констатации для 30-х годов?!

После этого критически-разгромного упора творчество Платонова, повидимости, переживает еще одну «защитную» метаморфозу. До самой смерти писателя, не считая военных рассказов, с того времени вышло лишь шесть его детских книжек, включая пересказы русских сказок. Но удивительное дело: этот вроде бы вынужденный уход в мир детства позволил Платонову в идеальной чистоте и детской наивности выразить свои заветные и дерзновенные чаяния, реализовав христианский критерий «будьте как дети». Детские души Платонова оказались наиболее органически пригодными «мехами», в которых было и сохранено «новое вино» его мировоззрения, его «идеи жизни».

Но «Счастливая Москва» написана до второго критического разгрома, пережитого Платоновым, и она входит в круг «взрослых» — многоплановых и многофокусных — произведений писателя. Гротескно-лирические узлы этого платоновского мира завязываются на скрещении высоких, н е в м е -

щаемых в мир сей идеалов — с карикатурами и эрзацами, замороченностями и мнимостями эпохи. И хотя предельно сгущенные гротески «Чевенгура», «Котлована», «Ювенильного моря» исчезают из «Счастливой Москвы», роман по-своему сохраняет и фантазмагорический, и сюрреальный элемент.

Итак, всего-то пятьдесят страниц журнального формата, а роман! Да, роман, никак это не повесть, что с компактным, однолинейным сюжетом и немногими персонажами; тут ряды судеб, где-то они пересекаются или неузнанно касаются друг друга, перекликаются и отталкиваются — явно симфонический, романский контрапункт, пусть в стяженном виде. Пройдемся по нему не спеша и вдумчиво, в той последовательности, в какой выстроил его Платонов.

Начинает он с того глубиннейшего травматического впечатления, которое ворвалось в сознание совсем маленькой девочки (будущей героини), а затем прочно поселилось в ее подсознании, поднимаясь оттуда в разные моменты ее жизни: «проснувшись от *скучного*¹ сна», девочка из окна увидела человека, бежавшего по улице с зажженным факелом («в *скучную* ночь поздней осени», затем раздался выстрел и крик — очевидно, убили человека, а затем и другие залпы и шум голосов в соседней тюрьме... (Кстати, заметьте, как с первой фразы романа начинается обычное для писателя обилие слова «скудный» — в нем суть платоновского самоощущения и самоопределения падшего, смертного мира.) Такой яркой картиной вошла — неузнанно для самой девочки — Октябрьская революция, открывшая время, в котором ей жить и действовать. Это же революционное время, с его неизбежными зловещими спутниками — эпидемиями и голодом, уносит ее отца, и «голодная, осиротевшая девочка» уходит в случайное бродяжничество по стране, проваливаясь, как это часто бывает у Платонова, от нестерпимого страдания в беспмятный сон души, чтобы однажды (как в новом рождении) очнуться в Москве, в детском доме, уже со смыслом нареченным именем Москвы Ивановны Честновой. Стоп-кадр момента ее пробуждения — густо значащ: она вдруг осознала себя у окна школьного класса, глядящей «в *смерть* листьев на бульваре». В этот же вечер, впервые в сознательной жизни съев булку с котлетой «из коров», она пишет домашнее сочинение. В первоначальный его вариант писатель предполагал дать более обнаженно метафизический текст, связанный с постоянным для него мотивом *п о ж и р а н и я* как неотъемлемой черты существующего статуса мира — разумеется, в непосредственно детском переживании: «Рассказ девочки без отца и матери о корове. Коров бывает мало, их ведь едят. У коровы по четырем углам стоят ноги. Из коров делают котлеты, всем дают по одной... Девчонки наелись котлет, сами лежат, спят и пахнут. Мне *скучно*». В окончательной редакции получается уже «Рассказ девочки без отца и матери о своей будущей жизни», торжествует императивно-сознательный импульс, из которого Москва будет усиливаться жить и строить себя: «Нас учат теперь уму, а ум в голове, снаружи ничего нет. Надо жить по правде с трудом, я хочу жить будущей жизнью, пускай будет печенье, варенье, конфеты (заметьте, котлет тут нет. — С. С.) и можно всегда гулять в поле мимо деревьев...»

Но уже с самого начала ее взрослой жизни прочерчивается будущая модель ее существования, раздираемого противоположными векторами: ее необыкновенная женственная прелесть страстно привлекает к ней мужчин, стремящихся запретить ее в тесноту собственнической любви (что и случилось в ее семнадцать лет, когда она вышла замуж за вцепившегося в нее «случайного человека»), а она все бежит от них безвозвратно в даль своей «таинственной, но высокой судьбы». Так и в первый раз она резко уходит от мужа, бродит весь день по Москве, пока ее ночью на бульварной скамейке не подбирает с виду «незначительный человек», который оказывается тридцатилетним Виктором Божко, землеустроителем, а позже работником «треста весоизмерительной промышленности». Именно он практически точно расшифровал ответ Москвы на его вопрос, что она любит больше всего: «Я люблю ветер в воздухе и еще разное кое-что», определив ее в школу воздухоплавания.

¹ Курсив в цитатах мой. — С. С.

С появлением на страницах романа Божко, по домашнему увлечению — страстного эсперантиста, в повествование входит новый идейный мотив — особое протестарского мессианизма, обернувшегося к 30-м годам верой в СССР как в счастливую, обетованную родину обездоленных трудящихся всего мира. Как раз в те же годы, что Платонов «Счастливую Москву», Н. Бердяев писал «Истоки и смысл русского коммунизма», где продемонстрировал «национализацию русского коммунизма», когда новое социалистическое отечество приняло черты священного царства, основанного на единой ортодоксальной идее, когда «произошло как бы отождествление двух мессианизмов, мессианизма русского народа и мессианизма протестариата». Бердяев вспоминает, как на одном собрании французский коммунист выразился так: «Маркс сказал, что у рабочих нет отечества, это было верно, но сейчас уже не верно, они имеют отечество — это Россия, это Москва». То же пишет и герой Платонова своим бесчисленным и ежедневным корреспондентам, белым, черным и желтым. Негра, потерявшего жену, Божко зовет немедленно в СССР: «здесь он может жить среди товарищей счастливей, чем в семействе», — знакомый еще по «Чевенгуру» мотив товарищества как нового типа родства — по классу, альтернативного «ветхим» семейным связям.

В случае с Платоновым можно говорить об особом преобладающем мотивном мышлении. Художественно-философский мотив (здесь это написание писем и типовые образчики посланий Божко, до того — сочинение Москвы) — излюбленный стяженно-поэтический способ выражения авторской мысли, различных сторон его мироощущения. С того же Божко зачинается еще один из постоянных мотивов, связанных с платоновским типом героев — мечтателей и преобразователей: вопиющий контраст между их великой, прекрасной «идеями», дерзанием тотально преобразить мир, исступленной деятельностью на этом поприще и жалким, смешным убожеством их физиологии: внешности, тела, самоощущения. Каждый лелеет свою мировую идею, решает столь же вселенскую загадку, чаёт быть «летающим и счастливым», и бессмертным, и состоящим в дружбе со всеми людьми земного шара — а сам внутренне несчастен, забвен, зарос одиночеством и грустью.

Раз в месяц к Божко заходит Москва Честнова, благодарная ему за денежную помощь, пока она училась, а затем и вовсе остается у него жить. Эта юная девятнадцатилетняя женщина «громкого сердца» наделена каким-то исключительным зарядом жизнечности. «Сердечная сила и здоровье», редкая природная красота всего ее телесного устройства питают ее спокойную уверенность в будущем, безотчетное любование собой, удивительное в мире вывихнутых мужских героев натурально-устойчивое и счастливое самоощущение. Одно слово: счастливая Москва! Такой она входит в повествование — открытой природе, небесным пространствам, солнцу, ветру и миру вообще, который, по ее первому чувству, подходит ей, «к ее телу, сердцу и свободе». Она внутренне сочувствует природе: та «столько потрудилась для создания человека, — как неимущая женщина, много родившая и теперь уже шатающаяся от усталости». Тут, очевидно, сам писатель додумывает за героиню, сливая ее ощущение со своим пониманием человека как венца долгого напряженного усилия природы (в ее эволюции) с подразумеваемым выводом о необходимости ответного восстанавливающего и одухотворяющего ее действия со стороны человека.

Но вскоре Москву подстергло первое испытание, испытание ее счастливой гармонии с миром. Став уже младшим инструктором при своей школе, она однажды, испытывая новый парашют, пропитанный особым лаком против атмосферной влаги, нечаянно спичками поджигает его и, фейерверком прочертив небо, успевает все же спастись, раскрыв запасной парашют. Но пока «она летела с горячими красными щеками и воздух грубо драл ее тело», а земля приближалась «еще тверже и беспощадней», ее коснулось прозрение оборотной, жесткой, губящей стороны природы и мира: «Вот какой ты, мир, на самом деле! — думала нечаянно Москва Честнова, исчезая сквозь сумрак тумана вниз. — Ты мягкий, только когда тебя не трогаешь!» Главные мужские герои, парад которых разворачивается далее в романе, — как раз из тех, кто активно трогает этот мир, напарываясь на страшное сопротивление и таинственной природы вещей, и собственной «подлой» и брешной природы.

После загорания в воздухе Москву на два года отстранили от прыжков. Ей дали две комнаты на пятом этаже недавно отстроенного дома, где жили люди профессий, привлекаемых новой действительностью: конструкторы, летчики, инженеры, философы... На какое-то время героиня уходит в одинокую мечтательность, проводя дни и часть ночи на подоконнике окна, восчувствуя «жизнь всемирного города», огромного живого организма, подключаясь к ней своим свободным воображением как его деятельный, вездесущий, энергетический агент. Быть всем одновременно и быть всюду — такое полубессознательное желание воистину божественной всепричастности томит душу платоновских героев и погружает их время от времени на каком-нибудь высоком этаже у раскрытого окна в блаженно-созерцательное состояние.

Но жить так долго не получается, реальность предъявляет свои права, и Москва Честнова определяется на учетную работу в райвоенкомат. Здесь среди «равнодушной идеологичности» казенного убранства и произошла ее встреча с одним из важных персонажей романа, неким вневойсковиком, странным человеком, живущим в полный разрез с представлениями героини: исхитрился он уйти от всех мужских общественных обязанностей, ни на какой военной службе не был никогда, избегал всяких сборов и перерегистраций. Первая же страница, ему посвященная, набрасывает выразительный портрет особого экзистенциального типа: это и его изношенная, небрежная, «скучная» внешность, и даже удивительно точный штрих — реминисценция из стихотворения в прозе Бодлера: «...на одно мгновение он вообразил себе облака на небе — он любил их, потому что они его не касались и он им был чужой» (название и отчасти «метафизика» той уже поэтической вещи позднее перекочевали в знаменитую повесть А. Камю «Чужой», в принятом у нас переводе — «Посторонний»).

Чувствуя какую-то свою вину в «чужой небрежной и несчастной жизни», Москва позднее пытается разыскать этого человека в его жилище где-то «в глуши Бауманского района», наводит о нем справку в местном самоуправлении, где толчется народ, заполняя свою жизнь суетой, «самоистощением в пустыжах». И выясняется, что вневойсковик, очевидно, и есть вопиющий случай такого «самоистощения»: существует сам по себе, без всякого интереса и инициативы, «пенсионером третьей категории», разве что неумоимо каждую ночь приводит всяких «некультурных, неинтересных», истраченных жизнью женщин... Во дворе убогого, запущенного дома, где жил вневойсковик, Москва видит старого скрипача, он играет ей Бетховена, и Москве при этом является странное открытие «неродственных» недр вещества мира, как бы приходящего в отчаяние от собственного жесткого, непроницаемого принципа бытия. (И этот метафизический мотив, идущий от Вл. Соловьева и Н. Федорова, и образ старого музыканта переходят затем в рассказ Платонова «Скрипка».) В том же эпизоде перебрасывается мотивный мостик к следующей главе романа, где наконец появляется искатель бессмертия Самбкин: «...по ту сторону забора — строили медицинский институт для поисков долговечности и бессмертия, но старый музыкант не мог понять, что эта постройка продолжает музыку Бетховена, а Москва Честнова не знала, что там строится». Зато писатель это знает и доносит свою мысль до внимательного читателя: искусство в своих высших образцах подвижно волей к бессмертию. А уж как понимает бессмертие платоновский герой рвущейся в будущее страны мирового пролетариата, мы узнаем вскоре.

Хирург Самбкин, молодой человек двадцати семи лет, напоминает нам ранних платоновских героев-преобразователей. Как они, «небрежный и нечистоплотный от экономии своего времени», он всецело вперед ни больше и ни меньше как в «безумную судьбу вещества», чувствуя за него постоянный «страх своей ответственности». Его взбудораженный ум держит в фокусе своего воображения ту грандиозную работу с материей мира, которая повсеместно разворачивается в стране; словно чуткий медиум, он внутренне подключен к коллективной душе озабоченных, ответственных строителей «советской земли» и, как они, не спит, вскакивает среди ночи, горя нетерпением что-то делать, и немедленно. Он звонит в тот самый строящийся медицинский институт, где уже открыли два отделения, и тут же мчится спасать от смерти семилетнего мальчика с огромной, в виде шара, опухолью на голове. Пронзительный рассказ о хирургическом вторжении под череп ребенка — своего

рода практическая медитация Самбикина над тонкой, таинственной гранью между жизнью и смертью, что так занимает его ум и сердце, желающие познать ее и уничтожить в пользу торжества жизни. Сколько бы Самбикин в крайнем, аварийном напряжении своих сил и внимания ни чистил опухоль, он не может полностью удалить бактерии гнойного воспаления (микроскоп все их обнаруживает), и тогда отчаявшийся хирург понимает: «чтобы совершенно уничтожить стрептококков, надо было искрошить не только всю голову больного, но и все его тело до ногтей на пальцах ног». Так неразрывно сплелись здоровье и болезнь в теле человека, так глубоко вгнездился болезнетворный микроб в ткани и фибры и жидкости организма, что неотъемлемо от них, как свет от тени, смерть от жизни. Как их разделить и развести, не уничтожив по пути самого тела человека? Платонов выбирает такие слова, описывая действия Самбикина: тот «взял резкий, блестящий инструмент и вошел им *в существо* всякого дела — *в тело* человека» (чуть смещенный намек на высказывание Н. Федорова: «Наше тело будет нашим делом»). Да, именно тело, человеческий смертный организм — «существо» горестной озадаченности Самбикина, в нем же — суть его главной жизненной задачи и дела. «Он тут же понял, насколько человек еще самодельное, немощно устроенное существо — не более, как смутный зародыш и проект чего-то более действительного, и сколько надо еще работать, чтобы развернуть из этого зародыша летящий, высший образ, погребенный в нашей мечте». Вот она, самая сердцевина нового эволюционного сознания, каким наделяются герои-испытатели Платонова: творческое, преобразовательное действие следует направить не только на внешний мир, но прежде всего на самого человека, его несовершенную, промежуточную, противоречиво-кризисную природу.

В шестой, центральной главе романа писатель собирает в районном клубе на своего рода комсомольскую ассамблею выдающихся молодых людей нового мира: это были инженеры и летчики, врачи и педагоги, артисты и музыканты, передовые рабочие, все достигшие ранней славы и несколько ее стыдящиеся. Среди них и новый герой романа, знаменитый инженер и механик, «расчетчик мирового значения» Семен Сарториус. Здесь же и конструктор сверхвысотных самолетов Мульдбауэр, с которым в роман врывается на мгновение мотив из идейного репертуара активно-эволюционного выбора: покорениевнеземного пространства, новая космическая судьба человечества.

Мысли и речи героев-преобразователей движутся, направляемые тем чувством и стремлением, что выражены в звучащем здесь же романсе на стихи Языкова: «Там за валом непогоды есть блаженная страна». И если для Божко эта «блаженная страна» уже «лежит за окном» и он думает только о том, чтобы сохранить «каждую крошку» ее добра, то дерзания других более онтологически серьезны, напоены превращенно-эсхатологическим порывом к тотальному преобразению природы вещей. Эту «блаженную страну» Мульдбауэр помещает в «синюю высоту мира», «воздушную страну бессмертия», где человек станет крылатым, «а земля останется в наследство животным». Впрочем, именно здесь Платонов подчеркивает известную трезвость своих искателей: «Присутствующие знали или догадывались об угрюмых размерах природы... о долготе будущего времени и о действительных масштабах собственных сил». Но, пожалуй, глубже, болезненнее всех чувствует невероятную трудность задачи Самбикин: он практически, как человек, внедряющийся в самые потроха человеческого тела, знает, где главное препятствие, основной камень преткновения. Сюда он явился с перевязки оперированного им мальчика, фактически безнадежного, «пришел подавленный *скорбью устройства человеческого тела*, сжимающего в своих костях гораздо больше страдания и смерти, чем жизни и движения». С таким организмом, с таким несовершенным устройством не очень-то разбежишься на великие космические дела! Он может предположить, глядя на «светящуюся воодушевлением» Москву (сердце ее потому так громко стучит, что «летать хочет»): «человеческое тело летало в каких-то погибших тысячелетиях назад... Грудная клетка человека представляет свернутые крылья». Но как их назад развернуть из этой клетки, как вытянуть человека из его жалкой и скорбной смертной природы? Самбикин тоже одержим идеей и практической задачей бессмертия. Работая с трупами, он обнаружил на срезах некоторых органов (прежде всего сердца и мозга) следы некоего таинственного вещества особой жизненной силы, которое, как

он полагает, организм хранит про запас с младенчества и выделяет как «последний заряд жизни» в момент смерти, но, увы, уже как «безуспешный выстрел» внутри умирающего. Найти источник этой девственной и могущественной «младенческой влаги», выделить ее из трупа, что на время становится ее резервуаром, и этой «творящей силой» омолодить и обессмертить еще живущих — такова суть его открытия, с которого маниакально не сходит его ум и эксперимент.

Первоначальный вид его идеи поражает характерным извращением: речь идет о том, чтобы «превратить мертвых в силу, питающую долголетие и здоровье живых». В таком сугубо гротескно-физиологическом виде повторяется логика, в которой живет весь ветхий природный мир (против которого ведь и ополчаются герои Платонова), «питающийся» прахом умерших, использующий их жизни и достижения как подножие для своего возвышения. Если кто соблазнится поверхностно увидеть именно здесь отражение федоровской идеи, тот ошибется: у мыслителя имеется в виду богочеловеческая реализация основного христианского чаяния — воскрешения всех умерших, бессмертия будущих прекрасных олимпийцев на костях ушедших поколений Федоров считал глубоко безнравственным. Какие-то истинные понимания и высокие дерзания Самбикина, как героя революционного, классового времени, подспудно искажаются полем его ценностей, отношением к прошлому и когда-либо жившим как к материалу и удобрению для будущего.

Этот вечер являет для героев светлую кульминацию их верований, надежд, чувства единства со своими братьями по поиску. Здесь наряженные в «лучший шелк республики» женщины и пришедшие мужчины, все — радостные и оживленные, устраиваются за общим столом, «желая есть *сразу со всеми вблизи*». «Честной Москве хотелось выйти и пригласить ужинать всех: все равно социализм настанет! Ей было по временам так хорошо, что она желала *покинуть как-нибудь самое себя... и стать другим человеком* — женой Гунькина, Самбикиным, вневойсковиком, Сарториусом, колхозницей на Украине... Перегородки между «я» и «другим», столь часто мучающие героев в мире Платонова, на время рухнули, как будто все предвосхищающе вышли в состояние какого-то соборного, бессмертного *всех единства*, уже сейчас «летающие и счастливые», как будущие люди. О том, каков тут разрыв этой осуществленной на миг в сердцах и воображении утопии с действительностью, нечего и говорить, достаточно представить себе не этот метафизический «социализм», а реальный, в котором «колхозница на Украине» в это время разве что умирала с голода — ведь первые шесть глав были окончены Платоновым в 1933 году! Так что обвал, упадок, кризис, что случится далее с героями, совершенно закономерен и в силу этого вопиющего разрыва...

Между тем в наших главных героев, в Самбикина и Сарториуса, в душу их, влез один и тот же червь, сразу подточивший цельность их духа: нарождающаяся любовь к Москве. Но если Самбикин пока решительно удалил ее от себя, то Сарториус уязвлен в самые глубины своего существа, и ему остается только бессильно рефлексировать над своим жгуче-невыносимым состоянием. Тщетно заклинает он: «Уйди, оставь меня опять одного, скверная стихия! Я простой инженер и рационалист, я отвергаю тебя... Лучше я буду преклоняться перед атомной пылью и перед электроном!» И одновременно — вразрез голове — сердце его стучит и горит одним безумным обожанием ее, «единственного, самого трогательного существа на свете». К тому же он понравился и Москве, о чем она признается ему со своей обычной откровенностью.

Седьмая глава посвящена их ночной поездке за город — сразу после встречи в клубе. Разворачивается мотив, связанный с половой любовью, один из самых значительных в творчестве Платонова. Здесь по-своему — идейный пик ее девальвации; здесь как нигде этот мотив развернут в многозначительные и в высшей степени экспрессивные картины. То преодоление эгоистического «я», помещение центра тяжести своей личности в другого, то абсолютное значение и ценность, которые получает в страстно-идеализирующем чувстве его объект, о чем писал Вл. Соловьев в «Смысле любви» (а Платонов прекрасно знал эту вещь), тут представлено в образах и деталях пронзительных, на грани эстетического риска. Содрогание всех чувств Сарториу-

са, сосредоточенность его на одном (точнее, на одной), обожание каждой ее клеточки и всего, связанного с Москвой, — предельны, обнаруживая себя в поэтике экспрессивного шока. «Он шел за нею, все время нечаянно отставая, и однообразно думал о ней, но с такой трогательностью, что, если бы Москва присела мочиться, Сарториус бы заплакал».

Физическая их близость в землемерной яме (как в могиле), заросшей бурьяном, обнаруживает всю тщету и муку существующей формы любви, не дающей настоящей целостности, слияния и единства. В этом романе именно через женщину ощущается особая неудовлетворенность любовно-плотским соединением; не признает его Москва за высший миг бытия, коронующий человеческое страстное существование: «Я выдумала теперь, отчего плохая жизнь у людей друг с другом. Оттого, что *любовью соединиться нельзя*, я столько раз соединялась, все равно — никак, только одно наслаждение какое-то». Оттого она так решительно бросает и Сарториуса, и других своих мужчин, отодвигая предлагаемый ими удел как ловушку, как явное не то, и спешит от них вдаль, надеясь где-то там найти настоящую жизнь. Смысл любви здесь, совсем по-соловьевски, никак не реализует себя в половом соединении («и на самом деле *не решает любви*, а лишь утомляет человека», как понимает про себя Сарториус). Выходит лишь отчаянная, обреченная на поражение попытка разрешить задачу «влечения людей в тайну взаимного существования». Обожание на этих путях никак не становится обожением.

Как известно, истинное дело любви Вл. Соловьев выводил к делу борьбы со смертью, к увековечению и преобразованию личностей, наконец, к воскрешению всех прежде живших для «высшего развития каждой индивидуальности в полнейшем единстве всех». Платоновские герои-преобразователи болесменее смутно или, напротив, осознанно, внутренне движимы близким чаянием, но их идеал теряет ту главную опору, без которой не мыслили дело преобразования мира и человека ни Федоров, ни Соловьев, а именно — веру и Бога, обретая черты надрывного человекобожеского титанизма. К тому же их исступленные практические реализации своей мечты изобилуют тем, что Соловьев называл «преждевременными, а потому сомнительными и неудобными подробностями», которых особенно много в работе хирурга Самбикина.

Его гонит нетерпение сердца, пронзенного мукой смертного бытия, ему кажется, что можно найти единую отмычку к загадкам мира и тут же чудесно открыть источники радикального обновления природы человека. Механик Сарториус являет другой подход: медленный и осмотрительный путь познания, опыта, изобретения. И на поспешные теории Самбикина об «основной тайне жизни» (с ними хирург и пришел навестить механика на его новой службе в Республиканском тресте весов) Сарториус внутренне улыбается «наивности» брата: «...природа, по его расчету, была труднее такой мгновенной победы, и в один закон ее заключить нельзя».

Тем временем, оставленный Москвой, Сарториус, жгуче по ней тоскуя, «покинул большую дорогу техники и забыл свою славу механика, которая могла бы стать всемирной», и начал свой путь нисхождением ко все большей забвенности и анонимности. Пока же, глуша свое нестерпимое чувство к Москве, он день и ночь изобретает новые весы для республики — предмет хотя и древнейший, но идейно центральный для системы, где каждому должно быть точнейшею отмерено по его труду, — «инструмент чести и справедливости», как в своем социалистическом воодушевлении мыслит о нем Божко.

И Сарториус, и Самбикин — из чреды платоновских героев, выломившихся из обычной нормы существования, — забывают и есть, и спать, — оба неуклюжие, дисгармоничные (разве что один короткий, а другой — длинный), как бы переходные в новый эволюционный тип человеческие существа, может быть, в тот самый «*homo sapiens explorans*» («человек разумный исследующий»), о котором говорил русский физик Н. А. Умов, тоже из плеяды мыслителей-космистов. Вот Самбикин везет Сарториуса в свой экспериментальный институт — показать свою работу по добыче из свежих трупов таинственного оживляющего вещества. Разворачивается дикая, шокирующая сцена расчленения мертвого прекрасного тела молодой женщины, изъятия из него сердца (для исследования на нем следов этого самого вещества), а затем обнаружения местоположения души где-то в «пустоте кишок». Таким экспрессионистским образом Платонов выражает тот железный низменный

факт, что до сих пор над людьми продолжает властвовать главный животный Владыка — Голод: «Эта пустота в кишках всасывает в себя все человечество и движет всемирную историю». «Мы эту пустоту наполним, — надеется Сарториус, — тогда душой человека станет что-нибудь другое». В этом жутком эпизоде нагнетается постоянный платоновский мотив: загадка смерти, непостижимость перехода только что дышавшего и чувствовавшего человека, для кого-то бесконечно дорогого, в мертвую неподвижную плоть. При виде мертвой девушки «с ясными открытыми глазами» механику «стало плохо; он решил бежать скорее в свой трест, явиться в местком и попросить какой-нибудь товарищеской помощи от ужаса своего тоскующего сердца». Именно этот ужас движет и безумной решимостью хирурга найти во что бы то ни стало «цистерну бессмертия», заключенную внутри человека. Странные желания, в которых так легко увидеть извращение с четким медицинским названием, посещают Самбикина, пока он анатомирует девушку: «...у него прошла мысль о возможности жениться на этой мертвой — более красивой, верной и одинокой, чем многие живые, и он заботливо обвязал ей бинтом разрушенную грудь», которую сам только что отрезал. В этой, восьмой, главе писатель только набрасывает мотив, что концентрированно развернется через две главы; тогда и у нас появится большая возможность найти, по какому ведомству его определить: то ли сексопатологии, то ли чего-то совсем иного...

Тем временем Платонов вновь сталкивает читателя с удивительным вневоисковиком. После любви в Сарториусом за городом Москва долгие часы бродит и ездит по столице-тезке, наблюдая «мелкий мусор» всеобщей жизни и остро чувствуя, что «люди ничем не соединены». В этот момент грустной оставленности она и отправляется к когда-то поразившему ее человеку. И тут писатель углубляет этот уже эскизно им прочерченный человеческий тип и особый его выбор себя в скучном смертном мире. Внутри себя Комягин (здесь впервые называется его фамилия) не ощущает ничего, кроме пустоты, порожного спокойствия («Я человек-ничто»), так тщательно вымел он свой внутренний мир от всякой мысли, чувства или желания, а как только нечто подобное зарождалось в нем, он тут же глушил его ростки, «например, усиленной жизнью с женщиной и долгим сном». Так Комягин принял свои меры против страдания и тоски сознающей себя смертной жизни. Когда-то он жил иначе: пытался рисовать картины, начинал писать и дневник, и стихи, оборванные на полуслове.

«И вот наступил август месяц одного из текущих лет. Шел вечер, пространство по небу удаляющийся долгий и грустный звук, отчего в каждое открытое сердце проникала тоска и сожаление. В этот вечер Москва Честнова постучала в дверь Комягина». Остановимся на мгновение и вслушаемся в эту щемящую музыку погибающего в каждом своем индивидуальном создании ветхого, послегрехопадного мира. От нее и закупорил все свои чувства Комягин, максимально анестезировав само свое ощущение жизни. «Мне ничего неохота, я все забываю, что живу, а вспомню — начинается жутко», — объясняет он себя неожиданной прекрасной посетительнице. Как бы в продолжение этого объяснения он достает из-под кроватного хлама свою любимую картину, хотя и неоконченную, но мысль ее и настроение выражены с полной очевидностью: там на пороге «безродного вида» большого дома некий «мужик или купец, небедный, но нечистый и босой», явно только что очнувшийся от сна, мочился с крыльца вниз и «глядел куда-то равнодушно в нелюдимый свет», а в надворной пристройке «пожилая баба... с выражением дуры глядела в порожнее место на дворе». Такой явлен здесь остановленный момент полуживотной, не помнящей себя жизни («человек сейчас снова отправится на покой — спать и не видеть снов, чтобы уже скорее прожить жизнь без памяти»), и весь пассаж разворачивается как выверенный философский мотив грустного идиотизма подобного существования.

И далее Платонов не устает разыгрывать свой мотив: к Комягину приходит его бывшая жена, «истертая женщина, измученная с давних пор», и он просит Москву оставить их для супружеской близости: «Она мне стала как брат, она теперь худеет и дурнеет — любовь наша уже превратилась во что-то лучшее — в нашу общую бедность, в наше родство и грусть в объятьях». Москва — в противоречивой, волнующейся смене переживаний: ей и понятен этот жалкий вариант убогого человеческого утешения, и она готова даже

на юродивую солидарность с такой участью («Я когда-нибудь приду к вам и буду женой»), и вместе отталкивается от Комягина как от «жалкого мертвеца», как от маленького земляного гада, каких она видела в детстве. В темном коридоре, прижавшись к канализационной трубе, Москва, «раздраженная и несчастная», слышит сквозь стену комнаты Комягина «звуки измученной любви и дыхание человеческого изнеможения», чувствуя «стыд и страх» и страшное биение сердца. Ее основной внутренней импульс — «разделить свою жизнь с кем-нибудь» (в идеале — сразу со всеми), что влечет ее по жизни и бросает в объятия другого мужского человека (как выразился бы Платонов), — в этом нечаянном уродливом зеркале подвергается очередному испытанию. «Но когда она сама делала то же самое, она не знала, что постороннему человеку бывает так же грустно, и неизвестно отчего». А теперь она знает и это и вновь рвется отсюда в свое неопределенное вперед.

Но писатель еще полностью не раскрыл свою идею, которую заявил уже в образе Комягина. Выйдя от внеюсковика, Москва двинулась к центру города, заглядывая по пути в окна домов, настолько ей была интересна многолюдная жизнь людей, но постепенно «ей делалось все более печально»: «все люди были заняты лишь взаимным эгоизмом», и она не знала, «к чему ей привязаться, к кому войти, чтобы жить счастливо и обыкновенно». Ее неотступное желание слияния с другими в какой-то вечной проникновенной дружбе — из области тех же метафизических чаяний, что и у мужских героев Платонова: порыв в иной, за-земной, не эгоистически-смертный, не самоотно-страстный, а прозрачно-всединный, бессмертный тип бытия.

Между тем ей сильно захотелось есть, и она зашла в ночной ресторан, где заказала ужин, хотя и не имела денег. Образ этого ресторана предстает настоящим философическим этюдом, в котором изошренно разыграна до логического конца мысль писателя. «Все время оркестр играл какую-то безумную *европейскую* музыку, содержащую *центробежные* силы; после танцев под эту музыку хотелось свернуться телом в теплоту и лечь надолго *в тесный уединенный гроб*». Одна эта фраза, конечно, далеко не в лоб, а тонким наведением нагружена огромным идейным смыслом: европейская музыка — образ западного фундаментального выбора ценностей, где в центре — атомарный индивид, центробежно устремившийся в свою, и только свою, самость и интерес; финальный тесный гроб — да, выхода из смертного порядка бытия здесь не предвидится, тут на него дано внутреннее согласие, и устраиваются временно и по возможности комфортабельно в его пределах. Идея дурной бесконечности последовательного вытеснения поколений, проходящих один и тот же удел, от рождения до смерти, лежащая в основе такого выбора и ветхой природной жизни, тут же воплощается в выразительном образе повторяющегося, заикленного, кругового танцевального движения в сферическом же зале ресторана, который сам «словно вращался»: «...здесь человек никак не мог вырваться из обычного — из *круглого шара* своей головы, где катались его мысли *по давно проложенным путям...*» Писатель настойчиво выводит фигуру круга, обреченного и безотрадного вращения по нему: «Многие гости забыли, где дверь, и в испуге кружились на одном месте посреди», «...музыка вращалась быстро, как тоска в костяной и круглой голове, *откуда выйти нельзя*». В противовес этой фигуре встает другая, та, по которой живут платоновские преобразователи: Москва вспомнила своих товарищей, в их груди «не вращалась эта сферическая, вечно повторяющаяся мысль, приходящая к своему отчаянию, — там была *стрела действия и надежды*, напряженная для безвозвратного движения вдаль, в прямое жесткое пространство». И когда новый ресторанный поклонник прелестной Москвы под один и тот же такт, что «играл и варьировал оркестр, как будто *какая* его по внутренней поверхности *полого безвходного шара*», бормотал ей такую же круговую, «вековую мысль о своей любви и печали, об одиночестве», то Честнова решительно прервала его: «Бросьте вы *буксовать* на одном и том же месте». А на его новый круговой заход с обращением к судьбе-уделу: «Мы рождаемся и умираем на груди женщины... так полагается по сюжету нашей судьбы, по всему *кругу счастья*», — Москва прямо выдвигает вектор своих товарищей: «А вы живите *по прямой линии*, без сюжета и круга».

Вырвавшись из сферического ресторанного пространства, весело отклонив предложение нового знакомого отправиться вдвоем за город, в поле, во

тму (она совсем недавно была там с Сарториусом — так что ей предлагался новый круг того же), напоенная ощущением молодой силы и свободы, Москва двинулась жить дальше по прямой линии, а та привела ее к строящемуся метрополитену, что приглашал плакатом на работу к себе, — и она тут же откликнулась на этот зов, на какое-то время заполнив свою счастливую «неопределенность жизни» необходимой людям конкретностью.

Оставив на несколько месяцев в шахте метро свою героиню, писатель в следующей, десятой, главе романа вновь обращается к Семену Сарториусу, который за это время уже изобрел и оригинальные точные весы, и еще кое-что, но так и не сумел справиться с «неотвязным отчаянием тоскующего чувства» к пропавшей дорогой женщине. Гениальный механик, он чувствует конструкцию и жизнь машин изнутри до последнего шурупчика, до их мучения на изнурительной службе неутомному городскому человечеству. И высшую свою задачу он формулирует в точном, как механизм, разрезе: «определить внутренний механический закон человека, от которого бывает счастье, мучение и гибель». Но при этом он глубже Самбикина глядит в «существо дела» — в самого человека: вряд ли голодные кишки — душа людей, «их сосущее чувство вполне рационально и поддается удовлетворению», если бы это было так, род человеческий давно бы сумел гармонизировать свою природу и двинуть ее вперед, и «всемирная история не была бы так долга и почти бесплодна». Какая-то иная, темная иррациональность, «что-то другое, более скрытое, худшее и постыдное», гнездится в естестве человека и распяливает его на дыбе его парадоксальной, трагической и подлой природы.

Что же это такое, что за «скверное лежит» в нашем теле, как выражается Божко в разговоре с Сарториусом о душе? И тут наш весоизмеритель и эсперантист к месту вспоминает, как в первой молодости его посещало одно и то же желание: пусть все на свете умрут, а он останется один среди земных богатств и с ним «одинокая красивая девушка» для неразлучной жизни. Все разлучает на этой земле: обстоятельство, случай, капризы и непостоянство того, кого избрало твое сердце, все другие — соперники на любовной и вообще жизненной дорожке, а так радикально всех убрал, расчистил место, нет вариантов, только Я и Она и все вокруг только Мое — вот она, наивно-злодейская, маргинально-«философская» (а-ля доморощенный, усугубленный Штирнер) юношеская греза. На это Сарториус, вообразив Москву, подтвердил: «Как мы все похожи, один и тот же гной течет в нашем теле!» Тут герои выходят на поддонные струи, круче, чем борьба за пищу, замешивающие человеческое бытие: эгоистическую самость, единственное «я», когда остальные предстают как нечто немислимое и невозможное, как чуждые, мешающие «вещи», да плюс страшной силы инстинкт обладания тем другим, кем ужалены твое чувство и страсть. Так и чуть позже, когда Божко подсунил механику полненькую девственницу с традиционной собственнической хваткой в любви — машинистку Лизу, чтобы отсосать его боль и тоску по Москве, эта Лиза «думала о том, чтобы как-нибудь безболезненно и незаметно испортить наружность Сарториуса», чтобы на него, как на урода, уже никто, кроме нее, не посягнул своим вниманием и чувством.

А тем временем постоянно угрожающие жалкому, беззащитному устройству человека смертоносные силы показали себя в отношении самого средоточия жизненности и прелестной женственной человечности — счастливой Москвы: в глухом подземном проходе метро, где она трудилась шахтером, на нее наскочили вагонетки и смяли правую ногу выше колена. Истекавшую кровью молодую работницу привезли в институт Самбикина как раз в ночь его дежурства. Хирург сидел за столом, на нем лежал тот самый оперированный им мальчик, но уже накануне умерший. «Самбикин в долгом одиночестве глядел голое тело умершего, как самую священную социалистическую собственность, и горе нагревалось в нем, пустынное, не разрешимое ничем». Не случайно, что именно в этот момент его пронзенное детской смертью сердце производит существенную коррекцию уже известной нам идеи: он понял, что исследуемое им жизненное вещество, «неистраченный заряд живой энергии» надо попытаться направить на восстановление самих умерших.

Его занятия кажутся какой-то невероятной дикостью, безумием, кощунством, протеском. Такова, на первый взгляд, и сцена проведенной им ампутации потемневшей, с набухшей «мертвой кровью» ноги Москвы Честновой.

Сначала разворачивается излюбленный мотив Платонова: предсмертные или в тяжелой болезни, под наркозом видения его героев, всегда густо насыщенные философским настроением, авторской мыслью. Пока Самбикин отрезал ее ногу, ей представлялось, что она бежит по улице «вниз к пустому морю, где кто-то плакал по ней», а по пути ее терзают животные и люди: первые рвут куски ее плоти и сжирают, вторые сдирают с нее одежду, вцепляются и не пускают уйти, вот уже и кости начинают с хрустом вырывать встречные дети, а она все бежит и бежит с единственным желанием — «лишь бы уцелеть, хотя бы в виде ничтожного существа из нескольких сухих костей». В таком кошмарном сгущении явился героине закон взаимного пожирания и вытеснения, царящий в мире. Такова и сила внутренней жажды существования в человеке — уцелеть, не пропасть, сохранить высшее благо — жизнь, хоть и в самом сокращенном, жалком виде.

Когда Москва очнулась, то оказалась укороченной лишь на одну конечность, жадный мир пока пощадил ее и не сглодал до костей, не стгноил до легкого, бесчувственного праха. «Ее обнимал Самбикин и пачкал кровью ее груди, шею и живот», он «поцеловал ее в рот», угарно дышащий хлороформом. Его любовь к Москве так иступленна, что это его не останавливает. Ее отнятую ногу он отослал к себе домой на хранение, как часть дорогого человека, хотя Москва резонно сказала о себе: «Я не нога, не грудь, не живот, не глаза — сама не знаю кто...» И когда через день Москва была уже на пороге смерти («начался жар и пошла кровавая моча»), хирург, обезумевший от любви и «нестерпимого горя», решился на первый практический опыт по реализации своей теории: он приготовил «таинственную суспензию» из «сердца и шейной железы умершего ребенка... и впрыснул ее в тело Честной» — что таки подействовало и спасло ее.

Зададим себе еще раз вопрос: действительно ли подобные действия Самбикина столь уж странно-патологичны и дики? Возможно, да, если оставаться на уровне сознания эпохи, ведущей свою интеллектуальную родословную от Карла Маркса или — расширим — от эпохи Возрождения, Нового времени, но стоит пойти в глубь веков, в животворящую мифологическую архаику, ставившую проблемы жизни и смерти со смелым, поражающим материализмом и даже физиологизмом (а именно в ее духе часто творил Платонов), как вид вещей сильно изменится. Вспомним Древний Египет с его удивительной погребальной, воскресительной культурой, озабоченной сохранностью целостной телесности умершего (мумификация). Один из центральных сюжетов египетской мифологии рассказывает о том, как злой бог пустыни Сет обманом погубил своего брата Осириса, закупорил его в ящик, залил его свинцом и бросил в воды Нила, а верная супруга и сестра Осириса Исида нашла его мертвое тело и извлекла из него некую мощную жизненную силу и с ее помощью зачала от него сына Гора, который позднее воскресил отца (по другим изводам мифа Исида сама воскрешает Осириса). В своих исканиях наш Самбикин — с интервалом в несколько тысячелетий — как будто идет по следу египетской богини. Шокирующие действия платоновского хирурга — со всем их крутым натурализмом и физиологизмом — дышат древней мифологической, материальной, телесной мистикой. Невозможно понять этого героя (и стоящей за ним авторской мысли) в кругу профанического или суженно-культурного сознания, которое может их легко заклеймить болезнью, патологией, некрофилией. Надо лишь учесть капитальный факт: некрофилия движима импульсом к разрушению и смерти, а Самбикин, напротив, — к восстановлению и воскрешению, к преобразению человеческого тела.

И разве всякое любовное, сострадательное внимание к трупам является признаком некрофилии? Вспомним — при всех понятных бесконечных дистанциях и пропорциях — высочайший Богочеловеческий образец: слезы и скорбь Христа при виде уже засмердевшего Лазаря, прежде чем Он совершил Свое воскресительное Дело Дел, из чреды тех Его дел оздоровления природно-смертного бытия, о которых Он говорил: «...верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» (Ин. 14: 12), явив их тем самым как задание облагодатствованному, вставшему на путь обожения человечеству. Правда, в случае с платоновскими преобразователями тут вся и загвоздка; у Христа сказано: «верующий в Меня», то есть действующий в потоках Божественной благодати, в соработничестве с Богом, а тут Боже-

ственная инстанция вовсе выпала (точнее, была выбита из сознания научени-ем эпохи) — отсюда то скучное томление, тот тоскливо-безнадежный фон богооставленности, бытийственной бессосновности, почти экзистенциальной заброшенности и абсурдности, на котором взмывают и опадают все онтологические дерзания героев.

К концу романа по существу остается только этот фон — «заунывный процесс неизменного существования». Если вначале там-сям пробивалась радостная, подъемная нота: молодые строители, непочатая энергия преобразования, мечты, взгляд вдаль — все сможем! — то постепенно смертная жизнь, законы материально-физического мира скручивают всех, идет неуклонный процесс избывания себя, ухода от активной деятельности, забвенности, разочарования, упадка. Мы увидим это буквально на всех персонажах романа.

На какое-то время Сарториус пытался вписаться в обычный удел человеческого счастья — с пухленькой Лизой, но уже к зиме (когда Москва попала в аварию) его перестали интересовать и новые «текущие удовольствия», и весы, и звезды, которые он научился «взвешивать на расстоянии». Постепенно о нем забыли его прежние товарищи, он «потерял славу всесоюзного инженера», его даже выписали с места жительства, и он поселился в своем незначительном учреждении, глуша механической работой «болящую скуку чувства» к исчезнувшей Москве; он видит ее лишь во сне, «жалкой или усопшей, лежащей в бедности последний день перед погребением», то есть в последней своей, разоблаченной от всех покровов и стигне, в последнем остатке ее на земле. В любовную близость с Лизой он бежал, «лишь бы утомиться и переменить мысли», после нее «долго спал с испытанным лицом и просыпался в отчаянии. Москва Честнова была права, что любовь — это не коммунизм (будущее) и страсть грустна».

Между тем всю зиму пожелтевшее и высохшее тело героини — вместе с природой за окном клиники — медленно выкарабкивалось к жизни, к новому весеннему возрождению. В конце апреля Самбикин увез ее к себе «на новых прочных костылях» (хотя внутренне она решила, что как «хромая баба» она теперь выйдет замуж за Комягина), а затем на юг, к морю. Но и здесь, хоть на протезе и с тростью, Москва — в окружении «полноющих на отдыхе мужчин»; такое волнующее эротическое облако носит она вокруг себя, что пишут они на ее трости свои инициалы и «символы безумных страстей». Даже какой-то старый горец, засмотревшийся на прелесть Москвы, принес ей совсем не по сезону откуда-то корзину винограда, удвоив ее внезапную сильную «блажь», а с ней в придачу в тряпочке свой ноготь с большого пальца, так объяснив ей свой странный дар: «Мне шестьдесят лет, поэтому я дарю тебе свой ноготь. Если б мне стало сорок, я бы принес свой палец, а если б тридцать, я тоже отнял бы себе ногу, которой и у тебя нету». Таким сильным, элегантно-кавказским, страстно-притчевым манером еще раз обличается огромная мощь любовного влечения к другой прекрасной половине, в том числе и в целом, близком к природе человечестве. Свою пытку любви проходил и городское дитя, хирург Самбикин, он часами бродил в прибрежной роще, умоляя «всю природу отвязаться от него и дать наконец покой и трудоспособность», и кончил тем, что перевел свое мучительное чувство из сердца в голову на правах «умственной загадки», бросил Москву, чтобы предварительно — до возможного уже навеки воссоединения с ней — посвятить себя загадке «проблемы любви в целом».

В таком состоянии «полной задумчивости по поводу всех важнейших задач человечества» и нашел нашего Самбикина одним зимним днем (так что прошло уже более полугода с кавказской поездки) зашедший к нему домой Семен Сарториус. Тут он и узнал от хирурга, что Москва вышла-таки замуж за Комягина и даже фамилию свою сменила, и, получив ее адрес, отправился в тот самый двор «в глуши Бауманского района», где когда-то искала вневойскового Москва. Только что отстроенный Институт экспериментальной медицины сверкает за забором электрическими огнями, а вот старый скрипач, как все в мире этого романа, пришел к своему финальному упадку: он уже не играет для людей, а сидит с шапкой и смычком, собирая себе милостыню как пенсию.

Сарториус входит в коридор коммунальной квартиры и становится напротив двери комнаты Комягина, прислонившись к канализационной трубе,

как некогда Москва. Все происходящее в этой комнате мы слышим его ушами. Сцена, занимающая предпоследнюю главу романа, пожалуй, самая в нем театрально-экспрессионистическая, вершина его гротесково-юродивой поэтики. Из разговоров Москвы с ее «мужем-сожителем» выясняется, что он и был тем человеком, что бежал с факелом в давнюю октябрьскую ночь. Развенчивается вся героиня и трагизм детского шокового впечатления: все, оказывается, было гораздо прозаичнее, а реальный виновник этой травмы — вовсе не погибший мученик, а вот он рядом с ней, жалкий человек («Ты теперь сторел и обуглился»), с чем он сам охотно соглашается. Москва (Комягин ее называет Мусей) все скрипит и гремит своей деревянной ногой, сопит, раздвываясь ко сну, честит последними словами своего мужа, не пускает к себе в постель («Я тебя вот поласкаю! — грозно отозвалась Москва. — Я тебя сейчас деревянной ногой растопчу, если ты не издохнешь!») и требует от него добровольного изъятия себя из жизни. Комягин ведет себя при этом кротко, он даже готов немедленно умереть. Он просит свою Мусю укрыть его голову плотнее одеялом и перевязать бечевкой потуже для прочности удушающего результата. Стуча деревянной ногой и вздыхая, Москва просто и естественно производит все эти дикие действия и укладывается дальше спать.

Всю эту бредовую ночь влюбленный механик стоит в коридоре, став свидетелем не только событий в комнате вневоевского, но и низовой жизни коммунальной квартиры: где-то слышатся «закономерные звуки совокупления», по канализационным трубам спазматически проталкиваются потоки нечистот, кто-то одиноко кричит в сонном кошмаре, а кто-то вымогает у Бога в молитве «чего-нибудь фактического». Так разворачивается один из мотивов жизни большого города, но не в обобщенной панораме, как в других местах романа, а, так сказать, в узко утробном разрезе. Сарториус при этом томится и ждет только одного — что Комягин умрет и он сможет войти к Москве и быть с ней только вдвоем, как когда-то за городом. И когда это все же происходит, мы уже вместе с ним не просто слышим, но и видим эту гиньольную мизансцену: горит яркий электрический свет, Москва на кровати под простыней, на подстилке из старых «Известий» 1927 года недвижно лежит завернутый с головой в одеяло Комягин с высунутыми пальцами ног и пятками в продранных носках. Сарториус пробует эти пальцы и пятки: да, ледяные, «наверно, умер», — и ложится в постель обнимать Москву.

Москва уже несколько сломлена и ожесточена жизнью, ее образ теряет свою прежнюю всепобеждающую лучистость, сама себя она называет «хромой, худой и душевной психичкой», особенно же в отношении к Комягину, в ее облике явно нагнетаются какие-то черты стервы, мегеры, «схидны», чуть ли не бабы-яги костяной ноги. Но для Сарториуса она «прежняя, любимая Москва, еще более милая и сердечная для него, что счастье и слава ее временно остановились», он проводит с ней, то плачущей, то стыдливо прячущей свою деревянную ногу, время до рассвета, и, когда она засыпает, лицо ее смотрится как «прелестное», «мирное и доброе, как хлеб».

Причудливо-балаганным увенчанием эпизода становится оживший Комягин (исхитрился не задохнуться под одеялом): терпеливо пролежал он на полу, не двигаясь и не завидуя, «свидетелем вновь сбывшейся любви Сарториуса», а тут к утру совсем замерз и запросился в постель к своей Мусе, на что та «открыла один глаз и сказала: „Ну ложись!“» В этой сцене с ее абсурдизмом и лубочно-«жесточкой» комикой — жена с любовником на постели, а придушенный муж в углу — разыгрывается важнейший мотив романа, который в конце так резюмирует герой, ушедший «за дверь и в город без прощанья»: «Сарториус понял, что любовь происходит от не изжитой еще всемирной бедности общества, когда некуда деться в лучшую, высшую участь». Здесь изувеченная, падшая ая Москва — вновь в своем главном сюжете. Она ведь не изобретатель, как Сарториус, не экспериментатор над человеческим телом, как Самбикин, она — особая женственная ипостась нового героя, рвущегося в счастливую общую жизнь. Она острее всех их ощущает несовершенство половой любви, не достигающей желанной цели. Отединение людей друг от друга не исчезает, как не отступает (особенно у мужчин) тоска любви, неутоленная жажда преображающего слияния с любимой. И герои отходят после — с глубокой печалью, стыдом, скукой. Когда Комягин, имея в виду свою частую любовь с женщинами, говорит: нет, это «не счастье. а бед-

ность одного вожделия! Любовь ведь горькая нужда, более ничего», Москва единственный раз — среди потока оскорблений мужу — признает: «Ты ведь не очень глуп, Комягин!»

Да, Комягин совсем не глуп и даже по-своему глубок, являя собой особый тихий вариант метафизического бунта против этого природно-смертного, «скучного» мира. Вспомним похожих бунтарей у Достоевского, правда другой, надрывно-громкой ноты (к примеру, Ипполита из «Идиота»), что решительно отказываются принимать существование на таких «насмешливых условиях», как «гармония целого» при их личном окончательном уничтожении. А вот логически «неотразимые» рассуждения идейного самоубийцы из статьи «Приговор» («Дневник писателя» за октябрь 1876 года): «...какое право имела эта природа производить меня на свет, вследствие каких-то там своих вечных законов?.. *сознающего, стало быть, страдающего*... я не могу быть счастливым... ибо знаю, что завтра же все это будет уничтожено: и я, и все счастье это, и вся любовь, и все человечество — обратимся в ничто, в прежний хаос», — что приводят его к решению истребить если не природу (это ему, увы, неподвластно), то хотя бы «себя одного, единственно *от скуки* сносить тиранию, в которой нет виноватого». Комягин тоже на свой лад возвращает обратно свой билет на человеческое существование, «сознающее, стало быть, страдающее», — тем, что систематически гасит это сознание, культивируя полуживотную жизнь, да готов и вовсе из нее устранился.

В завершающей главе романа Сарториус случайно встречается Комягина в городской толчее Каланчевской площади. В только что описанной сцене они ведь так и не увидели друг друга, хотя находились рядом в общей интимной причастности к одному существу, так что, когда «какой-то туманный человек» обратился к Сарториусу с просьбой указать ближайшее учреждение по производству гробов, тот лишь вспомнил, что где-то слышал голос этого человека. На любопытство механика по этому поводу неизвестный вынул паспорт с фамилией Комягина, но и эта фамилия ничего не сказала Сарториусу. Гроб ему — как объяснил прохожий — нужен не для близкого человека — жена у него жива, только сама ушла от него (последняя в романе весточка о Москве, так и не опознанная Сарториусом; опять двинулась она куда-то в даль жизни...), а для него самого, ему хочется заранее проиграть на себе «весь маршрут покойника» во всех мельчайших деталях: «Мне хочется заранее пройти по всему маршруту — от жизни до полного забвения, *до бесследной ликвидации любого существа*». Вот оно, самое страшное, что ждет всех: «бесследная ликвидация»; общество отделяется успешным ритуалом, и — жил ли, не жил — волны жизни смыкаются над покойным, ничего не оставляя на поверхности от человека. Подобную мысль любой нормальный гражданин будет всячески гнать от себя, стараясь чем-нибудь зацепиться в бытии — какими-то делами-свершениями, детьми (но надолго ли эта зацепка?), а каков наш жалкий Комягин, ну просто бесстрашный, стоический метафизик: ему бы в точности убедиться, что именно в таком буквальном порядке он исчезнет как никогда не бывший. Так в последней точке романного внимания к судьбе этого весьма немаловажного персонажа пробивается его суть: скрытая, глубинная *оскорбленность* самим порядком вещей, уделом пропащести и бесследности, поданная здесь в такой вроде бы смиренной, но на деле юродиво-обличающей форме. Эта оскорбленность оказывается у него общей с героями-преобразователями, только в отличие от них лишенной всякой надежды и дерзания на какое-то изменение порядка естества в космическом и человеческом мире.

Интересно, что последний герой, с кем оставляет нас Платонов в финале, Семен Сарториус, находит свой личный вариант солидарности с этим пропадающим в безвестности и уходящим в бесследность большинством живущих. Еще сразу же после любви с Москвой на кровати Комягина он особенно почувствовал свою разъединенность с теми миллионами людей, что уже «зашевелились на улицах, неся в себе разнообразную жизнь», а также свою неизбежную втисненность в собственное «однообразное тело», что так легко может «лечь в угол», как предполагавшийся мертвец Комягин. И тут Сарториуса осенила новая мысль, возможность расширения и преодоления себя: «...нужно исследовать весь объем текущей жизни посредством превращения себя в прочих людей». Глазами героя возникает образ Москвы уже не женщины, а «любимого города» (впрочем, связь обоих очевидна, по вариан-

там к роману, отец называет девочку как раз в честь «города чудного... очага центрального, очага родины»), города, «каждую минуту растущего в будущее время... отрекающегося от себя, бредущего вперед с неузнаваемым и молодым лицом». Вот бы научиться этой силе самопревосхождения и обновления — и Сарториус решает: «Стану как город Москва». И тогда, оставив и Лизу, и несоизмерительную службу, начав слепнуть (врачи нашли причиной его заболевания «отдаленные недра тела, возможно — сердце») и пролежав месяц дома в процессе какого-то «неопределенного превращения», он вышел в мир с новым «наболевшим зрением» и твердым решением. Бродя по городу, он всматривался в лица встречаемых, примериваясь, кем бы ему стать, «его томила, как бедное наслаждение, чужая жизнь, скрытая в неизвестной душе», и он пытался представить ее в своей голове и почувствовать в сердце.

Мотив выхода в другого, солидарности с участием самого маленького, забвенного человечка организует сюжет финальной главы романа. По своему содержательному составу этот мотив очень непрост, намешано в него много: и столь важный в свете соборных чаяний преображенного мира импульс выхода в ты-бытие, восчувствие другого не как чуждой, а то и враждебной вещи, а как самого себя, но вместе — в радикальном варианте Сарториуса — и бегство от себя, желание спрятаться от своей экзистенциально-смертной трагедии, от собственной задачи и, кстати, элемент личной, проигрываемой на персонаже, платоновской психотерапии в годы, когда, возможно, безопаснее всего было исчезнуть и пропасть в какого-нибудь Груняхина, как его герой. Довольно зловещий подтекст — огромной тенью бдительного Командора — сквозит как раз в том месте и моменте, когда бывший великий изобретатель воображает, в кого бы ему нырнуть, в кого перевоплотиться: «Улыбающийся, скромный Сталин сторожил на площадях и улицах все открытые дороги свежего, неизвестного социалистического мира, — жизнь простиралась в даль, из которой не возвращаются».

Но все же самый глубинный метафизический смысл этого мотива обнаруживается в сцене посещения Сарториусом Крестовского рынка, вылившейся в целый гротескно-лирический этюд. Писатель представляет барахолку как последний жалкий сток ушедших в неразличимость человеческих существований, что оставили после себя лишь разрозненные, прошедшие через множество рук анонимные вещи. Подробно описан и особый ряд, где продавались портреты «давно погибших мещан и женихов с невестами уездных городов» — он привлек особое внимание героя. Семен долго стоял, рассматривая их и представляя, как их намогильными камнями «уже вымостили тротуары новых городов и третье или четвертое краткое поколение топчет где-нибудь надписи» с их полными именами, отчествами и фамилиями, указанием их бывшего места в жизни и наивными эпитафиями. То, что совершает далее Сарториус, купивший себе тут же на рынке паспорт на имя некоего «уроженца города Нового Оскола Ивана Петровича Груняхина, 31 года, работника прилавка, командира взвода в запасе», — это буквально реализованный, если хотите, символический жест солидарности с тем большинством человечества, чье последнее надгробное запечатление (какая-нибудь «девица Анна Васильевна Стрижева» или «купец 2-й гильдии города Зарайска Петр Никодимович Самофалов») уже стерлось ногами новых поколений или скоро сотрется. В системе воскресительного и жизнетворческого идеала писателя здесь есть и внутренний бунт, подсознательно осуществленный героем романа, против единственно пока принятого и почитаемого идеала культурного бессмертия, выносящего из забвения лишь немногих выдающихся и избранных. Удивительный порыв — взять да соскочить с поезда своей жизни, может быть, мчащего тебя к славе, на каком-нибудь заброшенном полустанке и кануть там бесследно — этот порыв с постоянством возникает в творчестве Платонова.

Здесь, в «Счастливой Москве», Сарториус всю свою жизнь добровольно превращает в иллюстрацию этого порыва: обласканный страной изобретатель, на пороге мировой славы, он уходит с видной, блестящей авансцены в скромный служебный угол, а затем и вовсе сбрасывает с себя ярко-театральное латинское имя, чтобы пропасть под тусклой и пошлой фамилией Груняхина. Так настает его вторая, другая жизнь: он поступает на работу на пищевой части на какой-то «незначительный завод в Сокольниках», исполняет ее «с честью и усердием», а по вечерам, «томимый одиночеством и свободой»,

бродит по бульварам, изредка вырывая у ночных, сонных кондукторш последних трамваев кусочек «частной, текущей бесследно любви». Постепенно он увлекается и своей работой, и культурным досугом, начинает заботиться о своей внешности и еде и даже «мечтать о любящей, единой жене». Судьба Груняхина все больше входит в свои права, хотя, со временем став скромным дежурным инженером, он использует навыки прежнего существования.

Однако вскоре жизнь подбросила еще оставшемуся под Груняхиным Сарториусу новый выбор. В его рабочем соседстве произошла драма: старший монтер, красавец Костя Арабов, увлекшись «бригадиршей, французской комсомолкой Катей Бессонэ-Фавор», бросил прежнюю жену и двух сыновей, восьми и одиннадцати лет, и старший мальчик «застрелился из оружия соседа» («заскучал и самостоятельно умер»). Как объяснил Груняхин потрясенной француженке-разлучнице, «природа более серьезна, в ней блата нет», ее не перехитришь: положил Костя на один конец рычага немного «бесплатного золота» любви прекрасной девушки, а для равновесия его понадобилась «целая тонна могильной земли, какая теперь лежит и давит ребенка». И вот сам Груняхин бросился что-то уравнивать в чужом, крошечном горе: он делает предложение совершенно ему незнакомой, раздавленной жизнью, ожесточенной матери и остается с ней жить. Эта женщина, Матрена Филипповна Чебуркова, с «лицом некрасивым и нелепым до жалости», с бесцветными глазами, «умолкшими от одинокого труда по домашнему хозяйству», опавшими грудями и костистым мужским телом, с неутраченной болью по сыну (в которой, однако, все больше накапливалось «темного упоения собственной скорбью»), изживала на своем нечаянном муже «собственное раздражение и несчастье», была к нему болезненно требовательна и жестка, колотила чем попало, стоило ему чуть опоздать домой. Да и второй малолетний, но уже выдавший виды сын Семен держит Груняхина в строгости, грозясь, что не так, «живот шилом проткнуть».

В состоянии такого добровольного самоуничтожения, философской аскезы, в обличии самого скудного и безрадостного человеческого существования и оставляет Платонов своего героя в открытом финале «Счастливой Москвы». Причем нисхождение в незначительность, почти анонимность этого, пожалуй, наиболее близкого Платонову персонажа — вовсе не комягинского, экзистенциально-оскорбленного типа; тут скорее вырисовывается кенотическая линия отречения от существования для себя, торжествует любовь-жалость, любовь-жертва, любовь-агапэ. И это с достаточной очевидностью явлено в той последней мысли-чувстве, которой счел необходимым напоследок поделиться писатель со своим возможным будущим читателем и проститься здесь с ним. Иван Степанович Груняхин (бывший Сарториус, а по отцу, мелькнуло еще в начале романа, и вовсе деревенский Жуйборода) стоит над спящей женой и наблюдает, «как она вся беспомощна, как жалобно было сжато ее лицо в тоскливой усталости и глаза были закрыты как добрые, точно в ней, когда она лежала без сознания, покоился древний ангел. Если бы все человечество лежало спящим, то по лицу его нельзя было бы узнать его настоящего характера и можно было бы обмануться». Доброе чувство и грустная мысль — условно ставящие временную точку в этой вещи, части того огромного метатекста, каким является все творчество Платонова.

Какой знаменательный перепад начал и концов «Счастливой Москвы», имеющий отношение и к метафизике удела человеческого, и к ценностному освидетельствованию эпохи! Начальный взлет, энтузиазм, планы и дела, затем все большее вторжение и внешне смертоносных, и внутренне иррациональных сил. Все персонажи романа приходят к той иной форме «умаления» и «падения»: калека Москва, пройдя свои унижения и разочарования, вообще куда-то исчезает, Самбкин замирает в столбняке своей идеи-фикс, Божко женится на мещаночке Лизе, оставленной Сарториусом, сам Сарториус-Груняхин превращается в покорного подкаблучника своей несчастной жены-мегеры, Комягин покупает себе гроб, заранее готовясь к устранению в полное ничто. Как нигде в мотивах этого романа прослеживается лирико-поэтическая психотерапия самого писателя в ту пору, когда в его записной книжке могла появиться запись: «Трагедия оттертости, трагедия «отставленного», ненужного, когда строится блестящий мир, трагедия «пенсионера» — великая мука!»

При всей насыщенности духом и деталями времени своего создания, «Счастливая Москва», на мой взгляд, остается прежде всего еще одним формально цельным, отграниченным, уникальным фрагментом метафизической вселенной Платонова. «Надоело как-то быть все время старым природным человеком: скука стоит в сердце» — та самая скука, которой пронизано все ощущение мира и себя в этой вселенной, метафизическое чувство, обличающее маету, тягостность, недолжность павшего, смертного бытия. Сокровенные герои писателя, в том числе и «Счастливой Москвы» (а «душевный бедняк» — всегда ядро их образа), остро ощущают фундаментальную смертную бедность человеческого существования и как будто стремятся содрать все обычно маскирующие ее покровы: уйти с видного места в жизни в самую жалкую участь, не заботящуюся о красоте одежды или жилища, а во внутреннем самоощущении редуцироваться до «однообразного тела», единственной брэнной и временной собственности, и тем самым наиболее точно явить, без всяких иллюзий и прикрас, самую суть нашего заимствованного, преходящего, бесследного бытия.

И это поразительное самоощущение скучного послегрехопадного статуса бытия у Платонова глубоко и абсолютно серьезно, отнять его у него нельзя, и как ни дистанцировать его героев от него самого (что неверно, если делается радикально), их навязчивые идеи, их преобразовательные порывы не отбросить как сплошную нелепицу; да, они могут искажаться ценностями эпохи, могут быть замутнены, могут принять нелепо-гротескную форму, но импульс, ими движущий, для самого писателя абсолютно законен и истинен.

И социализм для героев «Счастливой Москвы» оправдан лишь тем, сумеет ли он не только устроить на более разумных, управляемых началах социальный мир или даже стихийно-природный (в смысле горьковского «права на погоду»), а прежде всего отрегулировать скорбное, жалкое, самоистребительное устройство самого человека. «Ведь и вправду, — рассуждает Божко, — пусть весь свет мы переделаем, и станет хорошо. А сколько нечистот натекло в человечество за тысячи лет зверства, куда-нибудь их надо девать!» И выясняется, что этот воодушевленный эпистолярный проповедник социалистического мессианского сознания «давно втайне боялся за коммунизм: не осквернит ли его остервенелая дрожь, ежеминутно поднимающаяся из низов человеческого организма!». Как ни странно, эти атеисты и поклонники новой системы оказываются удивительно близки религиозно-философской критике социалистического идеала, преодолевая (по-своему, в своем душевно-юридическом размышлении) то, в чем она упрекала этот идеал, а именно — мелкий, чисто социологический диагноз причин зла в человеке. Их, как если бы они были людьми христианского сознания, пронзает глубокая внутренняя «порча» послегрехопадной природы человека («скверное», «язва», «гниль»), фундаментальная противоречивость и несовершенность ее. Сам успех или провал мировой идеи и практики социализма Сарториус меряет онтологическими весами, где гиря успеха предполагает совсем другую антропологию, включающую и требование творческого преображения природы человека: «Теперь — необходимо понять все, потому что либо социализму удастся добраться во внутренность человека до последнего тайника и выпустить оттуда гной, скопленный каплями во всех веках, либо ничего нового не случится и каждый житель отойдет жить отдельно, бережно согревая в себе страшный тайник души, чтобы опять со сладострастным отчаянием впитаться друг в друга и превратить земную поверхность в одинокую пустыню с последним плачущим человеком».

Тринадцать глав «Счастливой Москвы» спрессовали в себе огромное, далеко нами не охваченное богатство философско-лирических мотивов творчества Платонова, многие из которых, как мы видели, проведены здесь с бесстрашной глубиной рефлексии и экспрессионистической эстетикой исполнения, с такой стереоскопией взгляда, которая не боится не свести концы с концами своего видения, ибо реальность, жизнь и природа все еще глубже, сложнее и необъятнее любого к ним подхода и любого самого благого дерзания.

ПО ХОДУ ДЕЛА

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ

*

ЧУЧЕЛО РОССИИ

Случилось то, что должно было случиться. Правительство и лично Президент пребывают в каком-то патриотическом экстазе, вчерашние розовые либералы вроде министра Козырева норовят записаться в державники, Черномырдин на встрече с ветеранами так заявил (смело, решительно), что, мол, нельзя вычеркивать Сталина из истории, в одной Москве воздвигли аж два памятника маршалу Жукову и т. д. и т. п., как по сценарию. Пишется моя заметка в мае, в дни празднования 50-летия Победы, а появится она, наверное, в сентябре, — но я не боюсь ошибиться в прогнозе: волна «казенного патриотизма» не иссякнет к осени. Это не временное явление. Это всерьез и надолго.

Погодите, погодите! Еще слабо вываляли в грязи «демократа», еще посадят его на шест в смоле и перьях и протащат перед веселой толпой, равномерно бия картонным молотом по картонной башке. Еще не признаете в лицо вчерашних общественных эманципаторов, наших Ивановых, Петровых, Сидоровых, равнившихся в загранки, как бизоны на водопой, чтобы, не зная ни одной английской фразы, рассказать американцам о кошмарах «русского коммунизма». Как они все, милые, в один день и без видимых над собой насилий заокают и заокают, показывая народные свои корни, как в очередь закричат в микрофоны о старенькой своей маме из деревни Пеньки под Орлом, под Рязанью, которая («как сейчас помню») провожала сыночка на полуторке в район и молвила на прощанье: «Помни же, сын...» Еще изумитесь, как ловко в стихах нашего поэта и гражданина N рифма «демократ — рад» поменяется на «патриот — вот». Еще Солженицын в глазах так называемого «передового мнения» окажется «слишком левым».

Так будет. Не так, так эдак. Для того, чтобы это понять, вовсе не обязательно читать газеты типа «Завтра» или посещать митинги патриотического фронта, на которых ничто не меняется и которые являются только крайним выражением массовой «обиды вообще» на «обидчиков вообще», а также хитрого использования этой концентрированной обиды в политических целях. Здесь ничего не происходит такого, чего бы не было вчера и что прогнозировало бы завтрашние общественные настроения. Есть приметы гораздо менее заметные и гораздо более верные.

Мелочи, мелочи... но какие выразительные! Поехали в Германию на конкурс наши парикмахеры. Победили, первый раз. Радости полный мешок. Приехали, дают интервью. «А как мы могли не победить? Ведь конкурс проходил 8 мая, в день капитуляции фашистов». Я всматриваюсь в лицо милой дамочки, руководителя группы. Шутит? Да нет, серьезно, губки поджала. Я так понял: она, видимо, считает, что они, парикмахеры, вносят свою лепту в народные торжества в связи с 50-летием Победы.

Открываю газету «Сегодня» за 11 мая. В еженедельной рубрике «Лаки Страйк»¹ высказываются Борис Кузьминский и Вячеслав Курицын. И вот оказывается, оба — патриоты. Самым главным впечатлением недели для Бориса Кузьминского

¹ Для непосвященных: «Лаки Страйк» — еженедельная рубрика, в которой постоянные авторы полосы «Искусство» говорят о самых главных своих впечатлениях прошедшей недели. Название, видимо, идет от любимого сорта американских сигарет работников полосы. А впрочем, не знаю. Переводится как «неожиданная удача».

были передачи, посвященные Дню Победы. «Полвека Победы... — говорит он. — Из немногих передач, которые не нуждаются в цвете». А Вячеслав Курицын 9 мая был на Поклонной горе. «Салют. Гул. Тепло... Тихая глубокая радость... Подошел молодой человек и рассказал, что сегодня в открывшемся здесь музее узнал как-то, что он — Герой Советского Союза. Но пятьдесят лет назад он получил более серьезную награду: тогда младшему командиру, не потерявшему в трех операциях ни одного бойца, в книжку делали запись, удостоверявшую право на пожизненное ношение военной формы. И он получил такую запись. Так все он и рассказал и побрел дальше в праздничной толпе еще кому-нибудь рассказать. Война закончилась». Такая трогательная история была с Вячеславом Курицыным в День Победы.

Кто бы мог подумать! Борис Кузьминский — «профи», эстет, лакомка, и Вячеслав Курицын — игрок, задира, провокатор. Ах, да они просто играют! — воскликнет кто-то. А вот и нет, родные мои! Все это, конечно, игра, но не просто игра, а игра с теми знаками и смыслами, которые именно в настоящий момент и являются наиболее актуальными. Я, например, давно понял, что по части «актуалок» ребятам из «Сегодня» надо верить на слово. Если вчера Вячеслав Курицын пел «На дворе осень. Постмодернизм», а нынче поет «Бери шинель, пошли домой», значит, завтра над «шинелькой» зарыдает наиболее элитарная часть интеллектуальной и художественной богемы.

Конечно, играют. Но и важно, во что они играют — в ковбоев или в партизан. Или... в русский реализм. Я приятно поразился, когда самая юная дебютантка «Знамени» Екатерина Садур на вручении ей премии заявила: я, мол, ваших модернистов не желаю. Я — русский реалист. Примерно в это же время в «Литературной газете» мама Кати Нина Садур сказала, что реализм в отличие от модернизма явление аристократическое. В нем нельзя спрятаться бездарности (кстати, тонкое замечание, жаль, что я раньше не додумался. Впрочем, и Георгий Иванов в «Китайских тенях» нечто такое писал). Итак, целая литературная семья — и, *entre nous*, весьма и весьма преуспевающая литературная семья — выбирает не что-нибудь, а — русский реализм. Bravo!

Когда Вл. Сорокин наконец издал свой «Роман», в критике началась, как положено, вакханалия. И чего только не писали! И «нарративное искусство»-то он возродил, и XX век-то он отразил, и кайф «чистого чтения»-то он нам подарил! Противники Вл. Сорокина, как положено, бросились на «кишочки» и трепали эти несчастные «кишочки» в святом моральном негодовании. Вот только, кажется, никто не заметил, что есть какая-то таинственная связь между прежним интересом автора к фашистской эстетике («Месяц в Дахау») и нынешним его интересом к эстетике русского реализма. «Месяц в Дахау» поразительно ловко вписался в процесс активизации в объединенной Германии интереса к фашистской культуре. Однако немец на подъем тяжеловат... И — как не помочь германским братьям с нашей «всемирной отзывчивостью!» В это же время в России модничал «соц-арт», заигрывая с «великой, неповторимой» советской культурой. Вл. Сорокин и здесь был первый: написал «Очередь», рассказы и сделал ряд громких заявлений о своей привязанности к сталинской архитектуре и романам Семена Бабаевского. И вот появляется новая вещь... Грибы, поросята, клюквенная водка, пшеничные поля, деревенские барышни и топот пьяных мужичков... И кстати, весьма добротная сделанная вещь! И кстати, Вяч. Курицын рекомендовал «новым русским» всенепременнейше «Роман» приобрести и положить возле заднего стекла «вольво» и «мерседесов». Для вас, мол, и написан. Такой русский, такой...

Я бы мог привести и еще примеры стремительной «патриотизации» общественной моды. Например, НТВ. Да там же «патриот» на «патриоте» сидит и «патриотом» погоняет! Или вот «державные» речи Олега Шишкина на «Эхо Москвы». Мы-то, положим, догадываемся, что Олег Шишкин, милый и талантливый, всерьез ничего и никогда не говорит. Да ведь не все догадываются. А радио работает для всех.

Я бы мог привести еще примеры, если бы... Если бы не было так тошно. Мне бы радоваться: наша, дескать, взяла! Мне бы злорадничать: что, мол, съели! Глядишь, и придет завтра богатый человек с мешком долларов и скажет: «На вот на русский реализм, на возрождение традиций! И поехали в ресторан — водочки с икоркой и с севрюжкой отведаем за наше, за русское возрождение!»

Тошно. Не Россия в цене. Чучело России. Противное чучело с бусинками вместо глаз и опилками в животе. И какое мне дело, что там продают: нефть, цветные металлы или русский реализм. И какое мне дело, кто продавец и кто покупатель. И какая мне разница, за что нынче платят валютой, а за что деревянными.

Я же знаю, что в романах Лескова и Тургенева можно найти фразы дико неловкие, почти графоманские, которых Вл. Сорокин в своей эстетской гордыне никогда себе не позволит. Что совсем не «в стиле» этой прозы ее главное очарование. Я же помню, как покойный мой деревенский дядька, протопавший от Смоленска до Праги, долго рылся в комод, но так и не смог отыскать медаль «За отвагу» сорок первого года («дети потеряли») и, как я ни просил, ни слова не рассказал мне о той войне. Я же понимаю, что отличие между «казенным» и «элитарным» патриотизмом есть, очевидно, в оттенках, но в глубине это явления одного порядка.

Я еще, слава Богу, не все забыл.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ЗАПЛЕЧНЫХ ДЕЛ ИСКУССТВО

Павел Когоут. Палачка. Роман. Перевод с чешского Е. Вихревой и В. Прусакова. М. «Текст». 1994. 446 стр.

Павел Когоут вдруг открылся нам с новой стороны. Местоимение «нам» в данном случае существенно: во-первых, роман написан почти двадцать лет назад; во-вторых, на русский язык и вообще-то переведена лишь малая часть произведений писателя, а соответственно наше представление о нем полнотой отнюдь не отличается. Но это стало очевидным именно после «Палачки». До сих пор казалось, что недостаточное знакомство с текстами как бы компенсируется знанием биографии: общий рисунок получался хоть и пунктирным, но логически ясным и определенным.

Молодой чешский драматург, ставший известным в конце 50-х, писал, что называется, свежо и, по тогдашним понятиям, смело — как и требовал период оттепели. Его пьеса «Такая любовь», горячая и искренняя, ощущавшаяся как пресловутый «глоток свободы», триумфально прошла по советским театрам; успехом пользовались и другие его вещи — «Хорошая песня», «Дом, где мы родились». В ту пору Когоут часто и охотно приезжал к нам. И хотя числился фрондером, в беседах с журналистами выражался всеми положенными словами — поздравлял советских людей с годовщиной Великого Октября и уверял: «Для нас, чехословаков, это тоже праздник. На моей родине его отмечают так же торжественно, как и в Советском Союзе»... Впрочем, очень возможно, что в шестидесятом это говорилось искренне.

В шестьдесят восьмом, однако, все изменилось: активный деятель Пражской весны, Когоут после вторжения вступил в открытую конфронтацию с новыми властями. С этих пор его имя попало у нас в черные списки, зато стало часто и с уважением поминаться на вражеских волнах. И те, кто имел привычку вслушиваться в пробивавшиеся сквозь глушилки голоса, могут вспомнить если не подробности, так общую линию судьбы. Участник всех акций протеста, самиздатский автор, один из создателей «Хартии-77» — программной декларации правозащитников, — Когоут после десяти лет противостояния и преследований был выдворен из страны... Избранные для второго, постперестроечного, знакомства тексты служили как бы подтверждением — или же иллюстрацией — диссидентской активности.

Пьеса «День ангелов» («Театр», 1991, № 2) исходит из реальной ситуации и имеет в виду реальных людей. Прототип героини Марии Радостовой — знаменитая актриса Власта Храмоштова, изгнанная с официальной сцены и создавшая «квартирный театр», в свою очередь подвергшийся гонениям и разгрому. Декларативная как манифест, драма демонстрирует борьбу всемогущей власти с человеком, у которого отняли все, кроме силы духа. Написанная уже в эмиграции, она, по словам самого Когоута, явилась «данью уважения» всем оставшимся на родине друзьям и «прежде всего заключенному в тюрьму... Вацлаву Гавелу». А также — призывом, обращенным к свободному миру: «Ликуй... но не забывай! И здесь были свои Марии и могут появиться вновь».

Действие пьесы «Мерзость» («Иностранная литература», 1994, № 5) происходит в тюрьме Рузино (пражский аналог Лубянки); содержание — допрос правозащитника-хартиста, с которым четыре следователя, то вместе, то поврозь, ведут свою циническую профессиональную игру; главная мысль — какими бы масками ни прикрывались гебисты, суть их едина: мерзость. Открытую публицистичность продемонстрировала и мемуарная книга «Из дневника контрреволюционера», раскрывавшая мировоззренческую эволюцию автора «от советских танков на улицах Праги в мае 1945 г. до советских танков на пражских улицах в августе 1968 г.». Политизированность Когоута подчеркивали и журнальные предисловия, неизменно делавшие упор на биографии, не забывавшие отметить дружбу с Гавелом,

а в литературный обзор включавшие те произведения, что легко вписывались в намеченный ряд. В результате, естественно, выстраивался образ писателя-борца, для которого слово — это оружие, а художественные средства суть именно средства.

Характерно, что роман «Палачка» в этих публикациях не упоминался: в однозначно простой картине жизни и творчества ему не находилось места. Хотя эту вещь вовсе несложно истолковать как фантастическую антиутопию, направленную против системы тотального государственного насилия. Наверное, так и было задумано. Ведь Когоут начал «Палачку» в 1972 году, когда от надежд на постепенное смягчение режима не осталось уже следа и впереди сгустился мрак. А закончил в 1978 году, когда власти позабыли даже стыд перед Западом, когда сам он был изгнан за границу, а его друг Гавел оказался за решеткой. В общем, торжествующая «мерзость» справляла свой бал — и это ее торжество, преувеличенное (или проявленное) зеркалом гротеска, как раз становится смысловой и сюжетно-образующей основой романа.

...Виртуоз и энтузиаст палаческого дела Берджис Влк, в петле у которого закончили жизнь многочисленные «враги народа», и его талантливый подручный Павел Шимса обнаруживают, к своей радости, что период относительно вегетарианской государственной политики подошел к концу. Их работа снова нужна и снова в чести. Вдохновленные новыми перспективами, палачи решают, что пора наконец поднять на должный уровень обучение их любимой профессии, пора приставить к делу не дилетантов-самоучек, как было заведено от века, но дипломированных специалистов, прошедших полный практический и теоретический курс. «Кто хочет вешать, должен ведать». Тщательно продуманный и разработанный проект получает одобрение в верхах, и вот — первое в мире учебное заведение для «исполнителей» открывает свои двери первым студентам... Ситуация, конечно, фантастическая, однако произросшая из реальности тоталитарного режима, сделавшего насилие главным способом обращения (или общения) с гражданами и вдобавок причившего самих граждан к безоговорочному одобрению таковой методы. Похожий смысловой ход Юлий Даниэль положил в основу рассказа «Говорит Москва», где власти объявляют «день открытых убийств»; подобная же логика заключается в оруэлловских «пятиминутках ненависти». Так что по своим идеям «Палачка» вполне уместается в уже привычные рамки антиутопии. За рамки выходит — вырывается! — форма.

Роман откровенно рассчитан на шоковое восприятие. Палачество здесь, конечно, символ — государственной жестокости, общественно одобренного террора и так далее. Но символ, имеющий предельно натуральное, физически конкретное воплощение. Своих героев Когоут показывает за работой. Во время обучения, когда профессор Влк и доцент Шимса демонстрируют обширнейшие теоретические познания в «пыточном праве», в «классическом» и «современном казневедении» и придирчиво оценивают успехи студентов. И во время многочисленных «акций», где они обнаруживают высочайший профессиональный уровень, приобретенный благодаря широкой практике. Палаческое дело рассматривается в романе со всех возможных точек зрения — психологической, физиологической, технической; палаческая «деятельность» описывается с дотошной точностью, в тошнотворно отчетливых деталях и подробностях, способных ошеломить, пожалуи, и читателя, привыкшего к выразительным кошмарам триллеров. «Ноги Хофбауэра коснулись фонаря, а голова раскачивалась прямо над толпой. Облитые бензином волосы слиплись и, казалось, вздыбились от ужаса. Влк отшвырнул канистру и... поднес огонек к волосам. Раздался резкий хлопок, словно вспыхнула огромная газовая конфорка. Несколько секунд комиссар оставался как бы внутри ослепительного нимба. Может, ужас, а может, невыносимая боль придали ему силы, и он выплюнул кляп. Он издал дикий вопль... Нечленораздельные вопли становились все пронзительнее — и внезапно оборвались. Пополз отвратительный смрад. Влк напряженно вслушивался в гробовую тишину... Ее нарушало только шелестящее потрескивание, словно кто-то мял оберточную бумагу... белое лицо на глазах превращалось в смутное. Небольшое тело начало съеживаться от жара и зашевелилось — это сокращались мышцы. Хофбауэр напоминал воздушного акробата».

Страшный и омерзительный лик Смерти как бы сросся воедино со столь же чудовищным ликом Эроса. «Любят» в романе только палачи, чья мощная мужская сила есть своего рода атрибут, принадлежность и привилегия профессии.

И любят они так, как подобает палачам, справляющим уμεлое насилие над беспомощной жертвой. «Он накрыл ее своим могучим торсом, стиснул сильными ладонями податливые груди, вонзил язык в ее рот... и беспощадно ворвался в ее лоно, протаранив плеву, словно барабанную шкуру. Лизинка закричала... Зажав ее тисками локтей и работая ляжками... он опять и опять проникал в ее девственное влагалище... и какое ему было дело до того, что ей становится все больнее и больнее»...

Несмотря на всю откровенную, плотскую конкретность описаний, палаческое распаленное сладострастие тоже должно восприниматься как символ. Причем вполне очевидный, открыто указующий на свой источник — близкую к фрейдизму концепцию, согласно которой власть тождественна сексуальному обладанию. И речь тут идет уже не только о Чехословакии (недаром ни разу не именованной) и даже не только о «социалистическом лагере» — речь идет о системе подавления как таковой. Нацеленный политический гротеск, произросший из почвы, распаханной советскими танками, обращается тотальной дистопией, в которой палачи всех стран встречаются как братья, а человек зажат тисками двойного насилия. Если его не истребляют — то имеют; если не имеют — то истребляют.

«Эротическая составляющая» этой формулы в романе даже более развернута. Что понятно: ведь физическому истреблению подвергается все же меньшинство, а большинство безропотно принимает потребные — непотребные — позы. И одна из основных задач романиста — небрезгливый анализ всеобщего непотребства, порождаемого или слабостью и страхом, или послушным безразличием, или же страстной готовностью отдаться вожделеющей силе.

Эти варианты разложены, распределены по действующим лицам, как по полочкам. И таковой расклад снова демонстрирует нам принцип, на котором держится весь роман: отчетливо значимый символ воплощается в конкретном образе. Правда, по части жестоких и шокирующих описаний Когоута оказывается явно сильнее, чем по части характеров: его персонажи откровенно схематичны. Но тем проще читается вся схема. Итак. Эмиль Тахеци, доктор филологии и гуманист, представляет интеллигентскую жалкую слабость, как бы подчеркнутую и подтвержденную слабостью мужской. Будучи несогласен с палаческим режимом, он способен, однако, лишь на краткую вспышку протеста, за которой следует возврат к привычной покорности. Его похотливая и неудовлетворенная жена Люция готовно отдается мужественной мощи палачей: она — та растленная и растлевающая «обслуга» режима, что стремится за сладостному единению (соитию) с властью. Наконец, их пятнадцатилетняя дочь Лизинка — заглавная героиня романа. Почти загадочное в своей неизъяснимой прелести и почти бессмысленное существо, по-детски жестокое, по-детски послушное, она воплощает в себе неразмышляющий и покорный народ, на который направлены безудержные воспаленные вожделения власти. Народ, изнасилованный и обученный насилию, народ, выступающий и жертвой, и палачом... Финал романа, когда училище торжественным балом отмечает первый выпуск и Влк, притискивая поочередно то свою юную любовницу-ученицу, то ее млеющую маменьку, мечтает о групповых экстазах, а Лизинка, только что сдавшая экзамен по повешению, не сводит глаз с «обработанного» ею «клиента» и, счастливая, «умиленно» произносит: «Он у меня даже не перднул», — этот достойно венчающий всю картину финал являет собою истинный апофеоз сладострастной жестокости и жестокого сладострастия.

Конечно, мучительские картинки для Когоута — не цель, а средство, употребленное, дабы вызвать омерзение к мерзости. Но. Цену принципа «цель оправдывает средства» мы давно уже знаем. И как происходит вытеснение и подмена, известно тоже. Литература в этом смысле мало чем отличается от политики, и «Палачка» — очередное тому подтверждение. Текст так перенасыщен жутью, что идеи естественным образом выпадают в осадок. Положим, квалифицированному читателю не стоит труда их обнаружить; однако свой пафос и значимость они безнадежно утрачивают. А смыслом и содержанием становится мерзость, самоупоенная и самодовлеющая, в открытую справляющая свой садистский бал. Мерзкая плоть — агонизирующая, вожделеющая, испражняющаяся насилием, страхом и болью; мерзкие души, растленные, извращенные, являющиеся, собственно, не более чем физиологическими выделениями плоти. То и требовалось показать? Каков предмет — таков и способ изображения? Каковы герои — такова и обращение с читателями? Это, впрочем, вопросы вообще к со-

временной словесности, под тем или иным предлогом присвоившей себе «пыточное право». И вопросы, в сущности, риторические, ибо литературная реальность никак не зависит от критика. Мы можем лишь констатировать, что, если отрицатель тоталитаризма обращается к его методам, он тем самым демонстрирует неразрешимую связь со своим кровным братом-врагом. Это тоже не только к Когуцу относится.

Алена ЗЛОБИНА.



«ИСПОЛЬЗУЯ ИЗВЕСТНУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ ДАНТЕ...»

Кремлевский самосуд. Секретные документы Политбюро о писателе А. Солженицыне. М. «Родина». 1994. 622 стр.

Странное дело: поглощавшая нас, казалось бы, с потрохами сиюминутная политическая реальность стирается порою из памяти со скоростью недавно прочитанного журнала. А вот противостояние Солженицына тоталитарной машине помнится хорошо: уж слишком из ряда вон выходящим это казалось. Быть может, именно потому, что было выше политики: тут схватились добро и зло, осмысленная свобода и маразмизирующий коммунистический деспотизм.

Рассекреченные ныне цековские документы (1963 — 1979 годы): протоколы заседаний Политбюро, регулярные донесения Андропова и т. п., собранные в объемный том, — история, как «бодался теленок с дубом», рассказанная стороной противоположной; «дуб» приоткрыл свои трухлявые дупла и — заговорило «коллективное руководство», скопище монстров, вместо русского в совершенстве владеющих новоязом. Удивительная книга: читатель видит борьбу полярных сил — энергичной и энтропийной, причем глазами второй. Так в изощренном детективе повествование ведется порой от лица преступника, хотя в итоге торжествует не его логика, а здоровая справедливость.

...Пружина «сюжета» начинает раскручиваться 5 октября 1965-го, когда Семичастный обращается в ЦК с секретной информацией о богатом улове: 11 сентября при обыске Вениамина Львовича Теуша («1898 года рождения, еврей, беспартийный, кандидат технических наук, лауреат Государственной премии, ныне пенсионер, проживающий в гор. Москве») у него были найдены произведения Солженицына, включая «В круге первом» и еще зековскую пьесу «Пир победителей» (для коммунистических глаз особенно невыносимую, а ныне с успехом идущую в Малом театре).

Солженицын в «Теленке» рассказывает, что воспринял этот провал как полную катастрофу, и только со временем открылась писателю провиденциальная логичность его. Тогда же карательный маховик начал набирать обороты, ибо к оперативным материалам, добытым стукачеством и прослушкой, добавились сами неопубликованные произведения.

Для цекистов гебисты сделали их развернутые аннотации; кто эти «рефераты» сочинил, Бог весть, не исключено, что давние друзья чекистов, советские литераторы: «Используя известную классификацию Данте, автор сравнивает заключенных с грешниками высшего круга ада»; по Солженицыну, в их пересказе, «хорошо было в прежней России: в тихом мире церквей, в религии, в этой уничтоженной правде народной, среди честной и доброй старой интеллигенции, в мир которой в свое время вошел человек, опоясанный гранатой». Во всяком случае, особо доверенные писатели получили гебистскую добычу на отзыв.

Прочитав, особенно разошелся Сурков, зная, что в ЦК поймут, простят и даже оценят простецкую грубость старого ветерана: в «Пире победителей» «армия наша представлена как сброд офицеров-мародеров и приспособленцев, сброд грабителей и насильников, армия, которую любимая автором «героиня» Галина называет «вашей» армией. И, как ни парадоксально, единственный «светлый» офицер из этой армии Нержин берется проводить эту суку и предательницу через фронт к ее жениху, владскому офицеру».

...Чем дальше — тем интереснее. Оправившись от шока после провала Теуша, «писатель-подпольщик» начинает беспримерную схватку с тоталитарной маши-

ной, неожиданно задавая ей свои ритмы, постоянно опережая, захватываяще обгоняя и переигрывая ее. Победные андроповские реляции суть закамуфлированные признания в импотенции ор ган о в. «Обмен мнениями» на секретариатах: впечатление, что мертвецы решают судьбу живого. Вроде бы все свои и считай что наедине — и ни одного честного слова. Скрипит либерал Косыгин: «Возьмите вы Англию. Там уничтожают сотни людей. Нужно провести суд над Солженицыным, а отбывать наказание его можно сослать в Верхоянск, туда никто не поедет из зарубежных корреспондентов: там очень холодно». Храбрится миролюбец Леонид Ильич: «Мы в свое время не побоялись выступить против контрреволюции в Чехословакии. Мы не побоялись отпустить из страны Аллилуеву. Все это мы пережили. Я думаю, переживем и это». Переживут... мертвяки. А в итоге — «совершенно секретно» — постановили: «Ограничиться обменом мнениями, состоявшимся на заседании», и т. д.

Самодур Хрущев был покруче, сам дебильный «волонтаризм» его первобытнее: с Пастернаком быстро расправились, вынудили «раскаяться», отказаться от премии, свели сначала в болезнь, потом в могилу. А тут орешек оказался покрепче, а клыки у «коллективного руководства» гнилые: история с солженицынской «нобелианой» — растянувшийся на годы триумф писателя.

Правда, как это ни поразительно, оказывается, первоначальный проект указа о солженицынской высылке, инициированный Андроповым и Руденко, был разослан высшей номенклатуре еще... 20 ноября 1970-го, за три с лишним года до реального ареста и высылки! И формулировка была тогда попышней: «За несовместимые с высоким званием гражданина СССР попытки опорочить Советское общество, за направленность литературной деятельности, ставшей орудием самых реакционных антикоммунистических сил в их борьбе против принципов социализма и социалистической культуры». Потом риторику подубрали, да и какие уж в 1974-м «попытки» — не попытки, а действия, несовместимые с принадлежностью...».

Идеологический ритуал достигает высшего пилотажа, когда Андропов в докладах в Политбюро приводит отклики возмущенных трудящихся, КГБ же, разумеется, инспирированные и сформулированные. Ладно, когда б для нас, «совков», — чтоб читали в газетах, но себе-то, своим же — зачем врать? Зачем играть в эти игры на «совершенно секретных» уровнях? Заморочки, не вмещаемые сознанием.

...Промедление с расправой давало иллюзию, что и «наверху» что-то теплится. 5 сентября 1973-го Солженицын «через окошко приемной ЦК» в единственном экземпляре передает Брежневу «Письмо вождям Советского Союза» и в сопроводительном пишет: «Вы увидите, что мое письмо написано не с публицистическим задором, не с упреками, а только с живым желанием убедить Вас. Я не теряю надежды, что Вы, как простой русский человек с большим здравым смыслом, вполне можете мои доводы принять, а уж тогда тем более будет в Вашей власти их осуществить».

В своих основных положениях это «Письмо...» и ныне актуально, как двадцать два года назад. «„Прогресс“ должен перестать считаться желанной характеристикой общества. „Бесконечность прогресса“ есть бредовая мифология. Должна осуществляться не „экономика постоянного развития“, но экономика постоянного уровня, стабильная. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ НЕ ТОЛЬКО НЕ НУЖЕН, НО И ГУБИТЕЛЕН. <...> И не конвергенция ждет нас с западным миром, но — полное обновление и перестройка и Запада, и Востока, потому что оба в тупике». Солженицын первым у нас понял и определил в с ю цивилизацию в ее нынешнем варианте как губительную и тупиковую, первым наметил контуры единственно спасительной «идеологии» будущего — идеологии самоограничения и разумного самостеснения.

Писатель прозорливо не предлагает и не ищет немедленной демократии; нельзя допустить ослабления властных рычагов управления: «Тысячу лет жила Россия с авторитарным строем — и к началу XX века еще весьма сохраняла и физическое и духовное здоровье народа. <...> Россия — авторитарна, и пусть остается такой, и не будем бороться с этим». Осуществить демократию может только сильная власть, слабая — приводит к олигархическому беспределу. Что предлагает Солженицын безусловно, так это отказ от государственной идеологии и экспансионистской — под маркой победного шествия по земле марксизма — политики. По существу, выход из коммунизма писатель видит в нацио-

нальном духовном возрождении, в создании живительных условий для нравственного и профессионального отбора, в местном самоуправлении вне вакханалий партийной игры.

...«Простой русский человек с большим здравым смыслом» через две недели после письма на заседании Политбюро отреагировал так: «На мое имя поступило заявление в ЦК КПСС от Солженицына. Он пишет, в отличие от всех предыдущих писем, несколько иначе, но тоже бред. Я просил т. Суслова ознакомиться с этим делом и дать его на ознакомление вкруговую членам Политбюро».

Вот так взять, арестовать и посадить Солженицына кремлевские инкубы не способны решиться, хорошо б выслать, указ-то давно заготовлен, да кто же примет? Уже докладывает (тоже, конечно, сов. секретно) в ЦК Капитонов, что рабочий норильского рудника «Медвежий ручей» т. Панфилов сказал: «Солженицын заслуживает участи предателя со всеми вытекающими из этого последствиями» — а все ничего не происходит.

Хуже того, дает себя знать «опасение со стороны спецслужб противника за судьбу Солженицына. Запад явно стремится к тому, — тревожатся Андропов и Руденко, — чтобы предотвратить дальнейшее нагнетание обстановки...». То нагнетали, негодяи, теперь вот стремятся предотвратить нагнетание!.. А это «может снизить активность тех, кто заявляет о необходимости депортирования Солженицына из Советского Союза на Запад». Так, «представляется целесообразным вызвать Солженицына к заместителю Генерального прокурора СССР т. Малярову М. П.» — и тем раскрутить новый виток противусолженицынской истерии, рескрипировать новую провокацию.

И вдруг — Вилли Брандт протягивает руку помощи, не столько Солженицыну, сколько ЦК, и 2 февраля 1974-го заявляет: «Солженицын может свободно и беспрепятственно жить и работать в ФРГ». Был ли то порыв, расчет или внушение инфильтрированных в окружение канцлера агентов, пока не ясно, но, во всяком случае, Андропов неспешил ковать железо, пока горячо: «Представляется целесообразным через неофициальные каналы войти в контакт с представителями правительственных кругов ФРГ». «Сегодня, 7 февраля, т. Кеворков вылетает для встречи с Баром с целью обсудить практические вопросы выдворения Солженицына. <...> Дальнейшее промедление, — почти умоляет Андропов Генсека немедленно задействовать указ о лишении писателя гражданства, — может вызвать для нас крайне нежелательные последствия внутри страны <...>. Солженицын стал своеобразным примером безнаказности».

Чем пугает? Чего боятся? Вряд ли массовых беспорядков. Боялись быстрого нравственного раскрепощения общества, увлеченного примером писателя, его огненным словом.

И уже 8 февраля наш представитель имел встречу с доверенным лицом Брандта; а 12 февраля сопосол опять «по неофициальным каналам», столь безотказно работавшим в ФРГ, просит немецкий МИД о встрече на другой день в 8.30 утра. Все спешат: «Солженицын может догадываться о наших замыслах и выступить с публичным документом, который поставит как нас, так и Брандта в затруднительное положение. Если в последнюю минуту Брандт, несмотря на все его заверения, по тем или иным причинам изменит свое решение, то Солженицын остается под арестом и по его делу прокуратура ведет следствие». Но немцы не подкачали и как по нотам в союзе с гебистами провели операцию — вплоть до вручения огромного букета цветов Солженицыну на аэродроме Франкфурта — от германского Министерства внутренних дел, — как выясняется, верною в данном деле компаньона Лубянки.

...Солженицын депортирован, уезжает его семья, но госбезопасность неутомна, Андропов продолжает кормить ЦК небывлицами о солженицынской жизни, самыми грубыми и примитивными, зато укладываемыми в привычную партийную схему.

И надо сказать — тут уж и я прямой свидетель, — третья эмигрантская волна вольно-неволью стала играть на руку советским властям. Пока можно только гадать, кто там выполнял прямое задание, кто выступал в качестве «полезного идиота». Известный, ныне покойный, писатель рассказывал мне, как в первые свои эмигрантские дни услышал от бойкой супруги популярного литератора-диссидента: «Ну что, свернем Исаичу шею?» «Я изумился, возразил, что, по-моему, у эмиграции другие задачи». Но многие охотно выполняли этот незримый «социальный заказ», тем более что с какого-то времени он стал совпадать с «заказом»

стороны противоположной: так на Радио «Свобода» мне настоятельно рекомендовали пореже упоминать Солженицына в своих передачах. Солженицын окончательно перестал устраивать идеологов США, еще со времен Даллеса отождествлявших игравший военной мускулатурой СССР — с Россией, гибнущей в последней стадии истощения. И конъюнктурщики вроде свободинского журналиста Б. Парамонова, лакомые до пирога пожирней, с середины 80-х годов стали «вдруг» утверждать нечто прямо противоположное тому, что говорили до этого.

...Суть конфликта не исчерпывается противостоянием «коммунизм — Солженицын». Это, повторяю, выяснилось еще на Западе, но куда острее — сегодня. Вернувшийся на родину писатель здесь, в сущности, одинок: ни державники, ни демократы не считают — и правильно — его своим. Солженицын не подпадает ни под какую традиционную в России «классификацию» — это глубоко оригинальный мыслитель с опытом XX века. Солженицын, которому «шили» чуть ли не хомейнизм, на деле не догматик, но органик, любящий Россию — по точному определению отца Александра Шмемана — «зрячей любовью», слышащий музыку истории вплоть до нынешнего момента во всей ее полноте, в диссонансах и ладе, в удачах и поражениях. Никакого лубка, сусальности, но и никакой чернухи, делающей нашу историю прокаженной: Солженицын и любит русского человека, и умеет с него спросить. Его мировоззрение полифонично, несводимо к упрощенному знаменателю, но и не бескостно, а имеет не поддающийся эрозии нравственный стержень. Он и максималист, и — минималист, понимающий, что суть социального выздоровления не в смене одной политической команды другой. СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА после умонепостижимого геноцида — духовного, демографического, даже географического, когда уничтожались и уродовались целые пространства и ландшафты, когда непоправимо «обезобразили сердце России, дорогую нашу Москву», — он считает высшей задачей, отвергая реформы, не спешащие этому сбережению.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.



ИВАН БУНИН ПЕРЕД ЗАГАДКОЙ РУССКОЙ ДУШИ

Юрий Мальцев. Иван Бунин. 1870 — 1953. Франкфурт-на-Майне — М. «Посев». 1994. 432 стр.

Издательский анонс уведомляет: «Новая книга Ю. Мальцева «Бунин» — первое наиболее полное систематическое исследование жизни и творчества великого русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе». Систематичность и полнота в исследовании несомненно присутствуют. Они свидетельствуют, в частности, и о том, что культурно-просветительный потенциал русского зарубежья (активный участник правозащитного движения, Ю. Мальцев покинул СССР в 1974 году) все еще не иссяк. Хотя в книге достаточным образом представлена канва жизни Бунина, страниц, связанных с его творчеством, в ней несравнимо больше. Книга, с одной стороны, комментирует и систематизирует все наиболее существенное из написанного и сказанного о Буине (такой подробной бунинской библиографии мне прежде видеть не приходилось), с другой — дает целый ряд вполне оригинальных трактовок его творческого наследия, писательского метода и мироощущения.

Автор вводит в оборот значительное количество эмигрантских и иностранных источников («иностранный критика по-настоящему открыла Бунина лишь недавно»), в основном с недоверием относясь к советским исследованиям по Бунину. У советского литературоведения есть, впрочем, свои заслуги перед Буниным — в первую очередь это учтенные Мальцевым две книги «Литературного наследия» (т. 84); библиография Мальцева, к сожалению, ограничена началом 80-х годов, и жаль, что в его поле зрения не попала, например, основательная статья В. Смирнова в первом томе биографического словаря «Русские писатели. 1800 — 1917» (1989). Более всего Мальцев доверяет добротным публикациям А. Бабореко и часто ссылается на них, оспаривая отдельные выводы и положения работ Т. Бонами, О. Михайлова, В. Афанасьева, В. Гейдеко, В. Лакшина, опровергая давнюю статью В. Шкловского «„Митина любовь“ Ивана Бунина». Некоторые выпады в

сторону устаревших исследований актуальными уже не выглядят. Хорошо, что неизбежный, вызванный отношением не гладким объектом исследования и обусловленный в первую очередь вульгарно-сопциологическими и утилитарно-идеологическими попытками трактовать Бунина полемический задор не стал доминантой книги (полемика, как правило, вынесена в примечания) — гораздо интереснее и содержательнее ее положительная, объективно-ценностная сторона, связанная с глубоким проникновением в бунинские тексты.

Автор справедливо не относит Бунина к числу «писателей с направлением», но мировоззрения он его, понятное дело, не лишает, пробуя реконструировать это мировоззрение по художественным деталям. При этом Мальцев не раз подчеркивает неприязнь Бунина ко всякого рода отвлеченным, абстрактным схемам, к самоуверенному интеллектуализму. «Ум всегда талантлив», — говорил Бунин, цenia «талантливый ум» и испытывая антипатию не к интеллекту вообще, а к тотальному панлогизму и рациональному схематизму. В отношении Бунина можно сказать, что он действительно мыслил образами, полагая, что и философия начинается с удивления, тем более искусство...

Мировоззрение Бунина Мальцев определяет как антиномичное и антидогматическое, — но оно не было разорванным и крепилось религиозно-культурной органикой, глубоким, обостренным чувством «своего» — родового и национального (вовсе не враждебного сменяющему Бунина всю жизнь страстному желанию познать «чужое», проникнуться им, его художественному любопытству). Выстроенность и цельность бунинского мировоззрения подтверждает тонким наблюдением Мальцева об иерархичности: «В иерархии Бунин видит мудрость высшего порядка жизни <...> Иерархия <...> есть одновременно и умаление и возвеличение: умаление индивидуалистического эгоизма и возвеличение нашего высшего существа, всего того высшего и лучшего, что есть в нас». Отроческая религиозность, ранние впечатления Церкви и церковного питания Бунина всю последующую жизнь, хотя ему доводилось терять церковную веру, — Мальцев аккуратно уточняет маршруты религиозных странствований художника. Но неотлучно пребывало с Буниным его внутреннее, сокровенное знание о духовной вертикали, которой держится мироздание, — знание о высшем Судии, о неизбежности воздаяния, «чувство священной законности возмездия, священной необходимости конечного торжества добра над злом и предельной беспощадности, с которой в свой срок зло карается. Это чувство есть несомненная жажда Бога, есть вера в Него» («Жизнь Арсеньева»).

Мальцев напоминает и о многообразии культурных источников, питавших творчество Бунина: фольклор, древнерусская книжность, жития, апокрифы, творчество Пушкина, раннего Гоголя, Толстого, Чехова, — но все это столь обширные предметы, что обозреть их невозможно и в самой обстоятельной монографии.

«Свое» для Бунина — это Россия, русский характер, загадочная русская душа, с ее невысказанными полюсами, напряжением между ними, антиномичностью. У Мальцева этому посвящена отдельная, едва ли не самая увлекательная глава — «Загадки русской души». Он отмечает, что взгляд Бунина на русский национальный характер обусловлен «двойственной (и оттого загадочной) природой русского человека: европейски-азиатской». Сам писатель в «Окаянных днях» так определит эту двойственность: «Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом — Чудь, Меря». «Древнюю Киевскую Русь Бунин оплакивал и любил до самозабвения, азиатчину ненавидел <...> азиатчина и <...> пыль засасывает Русь».

Автор тщательно отслеживает и фокусирует художественно проработанные Буниным негативные черты поведения и психологии его персонажей (при этом старается иметь в виду, что Бунин рисовал не только нравственные изломы и характерологические слабости, но и образы, исполненные чистоты и святости, хотя в целом был довольно невысокого мнения о состоянии массовой простонародной религиозности предреволюционного времени): «неспособность к нормальной жизни»; «преувеличенное мнение о себе, самодостаточность»; «грубость, сквернословие, зависть, скрытность»; «в отношениях с чужими, иностранцами — кичливость, презрение»; «равнодушие к добру и злу, лживость, плутоватость»; «экзистенциальная тоска и отвращение к будням»; «жажда гибели»; «бесконечная небрежность к жизни»; «иррациональность и непредсказуемость поступков»; «постоянный разлад между словом и делом»; «шаткость и неукорененность в бытии»; «игра жизнью, принятие на себя личин и ролей». Но Мальцев вместе с тем напо-

минает, что Бунин «никогда не позволяет себе впасть в обличительный тон, его повествование исполнено чувства меры и дает ощущение предельной правды и объективности. <...> Сатирические или гротесковые преувеличения ему чужды. <...> Когда из-под его пера выходила сатира, он прятал ее в стол и никогда не публиковал».

Исследователь напоминает также и о том, что Бунина менее всего интересовали всякие социологизмы в разработке русской темы — вместо фатальной зависимости характера от среды и общественных отношений, его социально-экономической обусловленности, свойственной народнической литературе и большинству писателей-«знаньцев», он дает экзистенциальные основы души, укорененной в глубинах национальной истории и психологии. «Я должен заметить, что меня интересуют не мужики сами по себе, а души русских людей вообще... Меня занимает... душа русского человека в глубоком смысле, изображение черт психики славянина». В «Деревне», «Суходоле», в целом ряде блестящих рассказов о русских людях, живущих на земле и с земли — крестьянах, мещанах, оскудевших дворянах, всех этих нищих, юродивых, праведных, грешных, — Бунин обнаружил прежде всего понимание нации как духовного организма и не разводил по разным углам особенности сословной психологии, но живописал единое национально-психологическое целое, где светлое, святое уживается и конфликтует с темным, греховным.

Вокруг этих произведений, в особенности вокруг «Деревни», в свое время существовала значительная критическая напряженность, до известной степени сохранявшаяся и по сию пору. «Пасквиль на Россию», «тенденциозный деготь», «изобличение России, русского народа», — писал А. Бурнакин (В. Буренин) в «Новом времени». «Классическая критика Чаадаева — чуть ли не национальный панегирик рядом с соответственной критикой Бунина» (А. Дерман, «Русская мысль»). И контрвыпад Бунина в «Окаянных днях»: «Если бы я эту «икону», эту Русь не любил, не видел, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так бесперывно, так люто? А ведь говорили, что я только ненавижу. И кто же? Те, которым, в сущности, было совершенно наплевать на народ, — если только он не был поводом для проявления их прекрасных чувств, — и которого они не только не знали и не желали знать, но даже просто не замечали, как не замечали лиц извозчиков, на которых ездили в какое-нибудь Вольно-Экономическое общество»...

Бунин, как известно, обладал весьма воинственным осознанием собственной правоты. Это, конечно, многих раздражало и продолжает раздражать, но затеянная им большая литературная тяжба, бывает, способна помочь сохранить равновесие во времена рухнувшей «лестницы ценностей», которую, по замечанию К. Мочульского, Бунин знал.

«...Потом И. А. доказывал, что Россия Блока с ее «кобылицами, лебедями, платами узорными» есть в конечном счете литература и пошлость.

— Не надо забывать, сколько тут идет от живописи, от всяких «Миров искусства», от того, что писали картины, где земли было вот столько (он показал на три четверти), а неба — одна щель и на нем какая-то лошадь и овин. А России настоящей они не знали, не видели, не чувствовали!

— А я думаю, что если вы — русский человек, то вы один из полюсов русской жизни, — стоял на своем Степун.

— Это была кучка интеллигентов, — не слушая, говорил И. А. — Россия жила помимо нее.

Потом Федор Августович читал — очень выразительно — Блока.

— Теперь я понимаю тайну их успеха, — сказал И. А. — Это эстрадные стихи. Я говорю не в бранном смысле, понимаете. Он достиг в этом большого искусства...»

Цитирую из «Грасского дневника» Г. Кузнецовой фрагмент разговора Бунина со Степуном — на мой взгляд, яркую иллюстрацию к образу Бунина — яростного спорщика и оппонента «нового искусства». Об отношении Бунина к Блоку Мальцев упоминает вскользь. Для нас тоже существенно в данном случае другое: напор, с которым говорит Бунин, коль скоро речь заходит о подлинности в изображении России. Тут он был несгибаем, признавая за подлинное совсем немногое — Толстого, Чехова, но не Шмелева, не Ремизова, не Блока... Замечание об эстрадности немаловажно: стихотворения Бунина не эстрадны совсем, не рассчитаны на декламацию, прочтение вслух — такими и должны быть стихи, в которых поэт слышит не гул, не стихию, а тишину и молчание. О поэзии Бунина Мальцев

говорит по преимуществу в ее связанности с прозой. По-моему, все-таки поэзия Бунина существует как отдельная область его творчества. Мальцев, правда, сам отмечает, что находились ценители, которые величие Бунина видели именно в его стихах, например В. Набоков.

...Как бы ни был Бунин бесстрашен в изображении «своего» — смысловое ядро его «русского образа» стремилось к свету. В художественном сознании писателя «Русь» одолевала «Чудь» и «Мерю». В его памяти, в его искусстве Русь восстанавливала утрачиваемые в эмпирической жизни светлые черты. Бунин стоял перед Русью, отходившей в область предания, исчезающей («Все еще Русь, Русь. Но уже на исходе, на исходе»)... исчезнувшей, но всегда загадочной, манящей, вечно живой в тайниках его волшебной памяти. «Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть. И еще в том была (уже совсем не сознаваемая нами тогда) прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была — Россия и что только ее душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох березовом лесу.

...миновала и для нас сказка: отказались от нас наши древние заступники, разбежались рыскающие звери, разлетелись вещие птицы, свернулись самобранные скатерти, поруганы молитвы и заклятия, иссохла Мать-Сыра-Земля, иссякли животворные ключи — и настал конец, предел Божьему прощению» («Косцы», один из первых рассказов, написанных в эмиграции, еще «по-живому»).

Но не таково ли одно из загадочных свойств Руси: изнемогать не изнемогая, исчезать не исчезая, а оставляя некий «малый остаток», вновь способный плодоносить в свое время...

В 10 — 20-е годы в среде людей «нового искусства» существовало устойчивое представление, что Бунин — писатель устаревший. Сам Бунин начал свою атаку на «новую поэзию» в 1911 году с отзыва «О сочинениях Городецкого», написанного по просьбе академика А. Шахматова для Академии наук; его борьба с претензиями «нового искусства» была продиктована не желчным характером, а высокими требованиями, предъявляемыми им к творческому акту и его результатам. В. Вейдле заметит уже задним числом и больше риторически: «И как ухитрились проглядеть бунинское искусство в том самом литературном лагере, где только и была художественная культура, достаточная для его оценки». Любопытно, что в ранние годы близкий к кругам «нового искусства» академик В. Жирмунский, перечитав Бунина в 60-е годы, подтвердит мнение своей молодости об устарелости описаний у Бунина. Современность стала смотреть на это несколько иначе. «Является ли, скажем, проза Бунина прогрессом по отношению к прозе Толстого, Лескова, Чехова или даже Эртеля? — спрашивает П. Басинский («Новый мир», 1993, № 11) и отвечает: — В прозе Бунина стилистическая традиция русского реализма как бы впервые „смотрит на себя в зеркало, осознает свою внешность, как некую ценность, которая дорогого стоит”». Можно и так, с одной маленькой поправкой: язык у Бунина «не лезет вперед» (Г. Адамович).

Мальцев довольно искусно продвигает прозу и поэзию Бунина в сторону «модерности» (этим словом Бунин сам обозначал новизну своего творчества) и символизма (глава «Модерность»). Он специально исследует лексические и синтаксические «сдвиги» в языке Бунина, исследует оксюмороны, стилистику, ритмику, композицию, сложность субъектно-объектных отношений внутри повествовательного целого. Его наблюдения свежи, во многом убедительны. Вывод, что «мироощущение Бунина при всей его ностальгии по утраченному раю и тяге к классическому идеалу гармонии, благородной ясности и простоте — это все же мироощущение нового человека разорванной и трагической эпохи», трудно оспорить, но к нему хочется добавить, что «мироощущение человека разорванной эпохи» не обязательно продуцирует разорванное мировоззрение — мировоззрение Бунина разорванным не было...

Некоторые сближения с модернизмом все же не вытекают из основной логики исследования. Так, Мальцев считает, что с модернистами Бунина роднит «чувство неустранимого одиночества». Но точно ли это сказано? Постоянно испытывая чувство экзистенциального одиночества, Бунин, как представляется, акцентировал в стихах и в лирических миниатюрах не модернистское, утратившее органическую непосредственность романтизма одиночество непонятого художника, а вообще глушь и затерянность человеческого существования на бескрайних

просторах русской равнины, в пустынях Палестины и Ближнего Востока, в тропических лесах, на океанской шпире, в безднах истории, перед лицом молчаливой вечности. Это как бы общечеловеческая оставленность, брошенность («Мы сели у печки в прихожей, / Одни, при угасшем огне, / В старинном заброшенном доме, / В степной и глухой стороне... / Ночь — долгая, хмурая, волчья, / Кругом все снега и снега, / А в доме лишь мы да иконы / Да жуткая близость врага».)

Значительнее всего в книге, пожалуй, то, что написано о борьбе Бунина-художника с временем (главы «Прапамять», «Элизий памяти»), о том, что основные интенции его искусство «антиисторично или, вернее, метаисторично». Позиция Бунина оказывается по существу враждебна теориям прогресса и обращена не в сторону сомнительно улучшенной будущности, а к тому, что сам художник называет Всебытием. «Мистика «исторического прогресса», присущая сознанию нового человека, — это одно из самых нелепых суеверий безрелигиозного общества, утратившего живую связь с подлинными корнями жизни», — замечает по этому поводу Мальцев. Сам Бунин писал об этом так: «Поэзия не в том, совсем не в том, что свет / Поэзией зовет. Она в моем наследстве. / Чем я богаче им, тем больше я поэт. / Я говорю себе, почуяв темный след / Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве: / — Нет в мире разных душ и времени в нем нет!»

Рассуждения Мальцева о свойствах и способностях художнической памяти вкупе с трактовкой субъекта и субъектности в прозе Бунина приводят его к использованию таких понятий, как «трансцендентальный субъект», «феноменологический принцип», «феноменологический переворот в искусстве», «феноменологический роман» — по отношению к «Жизни Арсеньева» (для сравнения он предлагает «определение Пастернаком „Охранной грамоты“ как „автобиографической феноменологии“»). Продуктивным выглядит сопоставление с поисками Пруста: «Память всегда трансцендентна, ибо в ней проявляется наше надвременное естество. Как и у Пруста, именно в памяти прожитое обретает подлинную жизнь, наконец открытую и названную. И эта подлинная жизнь бессмертна», но «у Бунина преобладает именно интуитивный элемент <...> тогда как у Пруста интуитивное и подсознательное оказывается объектом сознательного исследования и теоретизирования, уводящего в сторону от живой жизни» (последнюю категорию Мальцев специально рассматривает в философической главе «Живая жизнь»). Вся эта часть безусловно заслуживает более обширного обсуждения и научной дискуссии.

Конечно, кое-что мы знали о Буине и до появления книги Мальцева — его заявление о незнании Бунина в России несколько утрировано и свидетельствует скорее о намерении непременно быть первооткрывателем. Но Бунина и знали, и не знали — восхищение «Темными аллеями», смелыми любовными сценами, тональностью, языком, художественными деталями, извлекаемая из Бунина возможность ностальгического сопереживания по поводу былой России — это еще не весь Бунин. Мальцев же дает возможность различить черты всегда нового и таинственного мастера, чья «конкретность, чувственность и биологизм пронизаны волнами мощной поэзии, которая выводит его из сухости нашего времени и сближает с мистиками прошлого». Здесь Мальцев употребляет слово «мистика» в его старом, положительном смысле и совершает существенный прорыв — приближает нас к более адекватному прочтению Бунина, удачно совмещая в своей работе дотошную филологию с философской эссеистикой и элементами импрессионистической критики.

Означает ли это, что Мальцев исчерпал Бунина? Разумеется, нет. Искусство Бунина, при всей его чистой, неангажированной художественности, отсутствии морализма и поучительства, тем не менее — как и всякое искусство классического звучания — содержит в себе некий завет, над разгадкой смысла которого еще предстоит потрудиться. Да и филологически Бунин далеко не прочтен. А «путь к бунинской философии, — Мальцев цитирует эти слова В. Ходасевича, — лежит через бунинскую филологию».

Олег МРАМОРНОВ.



КНИГА ДЛЯ ВСЕХ И НИ ДЛЯ КОГО

Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. Перевод с немецкого Якоба Голосовкера; Стихотворения. Перевод с немецкого В. Микшевича. М. Издательская группа «Прогресс», Библиотека журнала «Путь». 1994. 512 стр.

Яков Эммануилович Голосовкер слишком мало заботился о том, чтобы сделанное им вовремя обрело публичное существование, он предпочел писать «в стол». Получивший прекрасное образование филолог-классик, переводчик, философ, поэт, автор объемных романов... До недавнего времени его знали по антологии «Лирики Древней Эллады в переводах русских поэтов» (которую он собрал и прокомментировал) (М. — Л. 1935), по книге «Достоевский и Кант», вышедшей в 1963 году, теперь и по работе «Логика мифа» (М. «Наука». 1987). Но это — микроскопически малая часть произведенного им. Дважды архив Голосовкера погибал в пожаре — он настойчиво возвращался к пройденному, пытаясь соединить пережитое и высказанное в единство мифа (см.: Голосовкер Я. Миф моей жизни. — «Вопросы философии», 1989, № 2). Не знаю, будут ли у этого мифа преемники. Голосовкер был одиноким мыслителем.

Шестьдесят лет назад, в 1934 году, в издательстве «Academia», в серии «Мастера стиля» должен был выйти в свет «Заратустра» в переводе Якоба Голосовкера. Однако в том году книге не было суждено появиться. Вряд ли надо объяснять почему.

Сегодня голосовкерский перевод знаменитой книги Фридриха Ницше — один из нескольких, предложенных разными переводчиками. «Заратустра» в русском языке существует давно. Издатели предпочитают воспроизводить первый перевод, сделанный еще в начале века Ю. Антоновским. Однако и этот перевод, признаваемый обычно «добротным», подвергается редакторской агрессии. Так, по признанию издателя недавнего двухтомного собрания сочинений Ницше К. Свасьяна (Ницше. Сочинения. В 2-х томах. М. «Мысль». 1990), он внес изменения в переводческую версию Антоновского. И изменения эти были связаны с попыткой передать языковые новации Ницше, внести в русский текст ритм и рифму, присущие книге о Заратустре. Еще одна редакторская утопия — помочь переводчику «справиться» с оригиналом...

Заметим, что такое усилие возможно только в предположении, что работа переводчика и редактора — сродни. Что и тот и другой — суть «инструменты», посредством которых «оригинал» имеет шанс состояться еще раз, в «другом» языке. Переводу Голосовкера редактор не нужен. И я даже осмелюсь сказать, что ему (в каком-то смысле) не нужен и оригинал...

Попробую объяснить. Но для этого мне придется вернуться еще к одному заявлению К. Свасьяна: «Читатель, знакомый с оригиналом, сразу же согласится, что перевод «Заратустры» — вещь весьма условная. Это настоящая сатурналия языка, стало быть, языка не общезначимого, не присмирненного в рефлексии, а сплошь контрабандного, стихийного и оттого безраздельно тождественного со своей стихией. Современной лингвистике логистического или соссорианского изготовления <...> нечего делать с этим языком; он для нее навсегда останется исключением из правила. Может быть, лучше всего охарактеризовало бы его то именно, что не подлжит в нем переводу, его непереводаемость...» И Свасьян выстраивает «трехступенчатую непереводаемость» «Заратустры»...

Что ж, дело редакторов и исследователей-гуманитариев говорить о бесконечности задачи перевода. И вот загадочная судьба непереводаемости витает над «Бытием и временем» Мартина Хайдеггера, на подозрении у читателя переводы текстов Жака Деррида... Да мало ли что еще. Мифология «непереводаемости» на самом деле очень органична для нынешней нашей ситуации в области современного гуманитарного знания. Мы только начинаем открывать континент западноевропейской философии XX века, только начинаем нарабатывать свой современный опыт мысли и, следовательно, находить язык, способный его выразить. А вообще-то мифология «непереводаемости» еще никогда не мешала даже тем, кто ее продуцирует, пускаться в переводческие опыты.

Знаком того, что «Заратустра» Якоба Голосовкера действительно состоялся, было для меня ясное ощущение, что эта книга способна к независимому от вопросов к оригиналу существованию. Как будто русский текст отслоился и стал жить своею интенсивной внутренней жизнью. Голосовкеру удалось сделать, может быть, самое главное: установить ритм чтения, создать единую мелодическую основу текста. И, попадая в эту свободную стихию языка, начинаешь двигаться в ней, кажется, почти независимо от личного усилия. Прежде всего — от усилия «понимания», «осмысления», которое удерживает нас на дистанции по отношению к постигаемому предмету. В голосовкерском языке «Заратустры» невозможно занять такую внешнюю позицию. В нем совершенно естественным образом начинаешь жить сам, удивляясь богатству предоставляемых тебе возможностей выражения.

«Так говорил Заратустра» называют поэмой, «лирическим священным произведением» (см.: Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше. СПб. 1911). По выражению самого Ницше, «это или поэзия, или пятое евангелие, или еще что-нибудь другое, что не имеет названия...» (из письма от 14 февраля 1882 года издателю Шмейцнеру). А вот еще одна авторская попытка определения «Заратустры»: «Я открыл мой «Новый свет», о котором еще не знал никто...» (из письма к Овербеку от 6 декабря 1883 года). «Заратустра» — своего рода Первокнига, и язык ее — новоизобретенный первоязык. Может быть, поэтому и не надо пытаться определить «жанровую» или «стилистическую» принадлежность этого странного произведения. И не является ли то, что часто опознают как «библейскую интонацию», скорее проявлением самой ситуации изначальности. В величественном и медленном «библейском» языке живет напряженная, стремительная, импульсная, ироничная и предельно независимая речь Ницше.

Все сказанное мною сейчас — вовсе не об «оригинале», но именно о его удивительном эквиваленте, который мы имеем сегодня в виде перевода Якоба Голосовкера.

Русский Заратустра спустя 110 лет со времени своего появления на свет...

Ницше для Голосовкера был фигурой избранной — он тоже «один мыслитель» (так Голосовкер называл себя). Голосовкер не только перевел четыре книги «Так говорил Заратустра» и фрагменты и планы пятой книги, но и тогда же, в 1934 — 1935 годах, написал комментарии: «Система философии Ницше» и «Истолкования символов поэмы „Так говорил Заратустра“». Тексты эти в числе многих других погибли при пожаре (см.: Голосовкер Я. Миф моей жизни. Предисловие Н. Брагинской. — «Вопросы философии», 1989, № 2).

И в своих произведениях, и в, казалось бы, более относимых к «ремеслу» работах — в комментариях, переводах — Голосовкер ощущал себя Автором. В этом романтическом пространстве условны все дисциплинарные, технические различия. Все производимое — произведение. Таким авторским произведением является и голосовкерский перевод книги Ницше.

Идя из своей глубины, Голосовкер органично располагает в той текстовой форме, которую задал Ницше. А это — форма афоризма, форма «этос-стиля» (см.: Подорога В. Метафизика ландшафта. М. «Наука». 1993). Афоризм отрицает волю к системе, он живет свободно и импульсно, захваченный потоком становления, допуская соучастие в своем движении, но не предполагая строгого, линейного смыслового освоения. Поэтому и «пунктуация» Ницше — не долг грамматической конвенции, но необходимо организующие ритм этого движения знаки замедления, ускорения, иные жесты, выражающие состояние... Знаками состояний являются и так называемые «неологизмы» ницшевского языка — неожиданные его физические сращения. Считывая эти состояния и пытаясь их выразить, Голосовкер использовал, в частности, форму дефисной конструкции. Так появились «промельки-тени», «мокреди-грусти», «волока-облака» и «моргуны-шепгуны», «притворщики-псы», «мышы-ханжи» и «мышеловки-сердца»... Странные сращения, своеобразные кентавры — сложное единство гетерогенного. Но часто и там, где графически не выявлен дефисный знак, он присутствует своей энергией стягивания расположенных рядом языковых элементов в единство образа-метафоры: «я странник и ходок на высокие горы», «мысли, неслышно ступающие голубиными ногами»... Этот язык не притой на скорости «считывания смысла», его физическая плотность замедляет ритм нашего движения и делает невозможной его плавность.

К сожалению, устало уступив советскому требованию «понятности для читателя», в 80-х годах, при подготовке текста в надежде его опубликования, А. В. Михайлов снял некоторые из этих конструкций. В настоящее издание не вошли и интереснейшие предложенные Голосовкером варианты перевода. Все это возможно будет восстановить, видимо, уже при более полном издании работ Голосовкера.

«Заратустра» нынешнего издания — это аккуратная, небольшого формата книга, существующая в пяти тысячах экземпляров. В ее корпус традиционно включена и четвертая часть произведения Ницше, в 1885 году отпечатанная в сорока экземплярах, только семь из которых Ницше роздал друзьям (видимо, их одних полагая способными стать его читателями). В этом же издании — избранные стихотворения Ницше в прекрасных переводах В. Микушевича. А также достаточно подробные предисловие и комментарии А. В. Михайлова, благодаря настойчивым усилиям которого и смогла появиться эта книга.

Однако читателем «Заратустры» стать не так просто. Это вовсе не вопрос доступности издания, начальной грамотности или вразумительности перевода. Войти в произведение Ницше можно, только находя внутри себя возможности проживания создаваемого им мифа. И это, безусловно, удалось Голосовкеру — шестьдесят лет назад. Он — настоящий, состоявшийся читатель Ницше, дающий шанс другому стать этим читателем.

Е. ОЗНОБКИНА.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В ПЛЕНУ ОТВЛЕЧЕННЫХ СХЕМ...*

Размышляя над историческими судьбами России в столь переломном для нее XX столетии, невольно в который уже раз сталкиваешься с жестокой закономерностью, точно выраженной известным каламбуром: «История учит, что она ничему не учит». И хотя «умом Россию не понять», но необходимо наконец попытаться определить основные факторы, влияющие на ее исторические зигзаги, чтобы как-то воздействовать на них, тем самым предопределив результирующий вектор исторического развития...

Как ни рассматривай историю, а двигали ее люди мыслящие — ибо без интеллекта, и интеллекта выдающегося для своего времени, влиять на исторический процесс невозможно. Но мы остановимся не на вождях, а на том слое общества, который вырабатывал передовую для своего времени идеологию и так или иначе воздействовал и на вождей, и на формирование самих идеалов общества. Тут мы увидим, что у русской интеллигенции своя стезя — справедливость. Можно проследить, как формировалось это мироощущение историческими катаклизмами России, религиозными канонами, географическими и другими факторами, но факт остается фактом: идеалом интеллигенции России всегда была социальная справедливость, построение светлого, справедливого общества. В розовом тумане представлялось такое идеальное общество, правда, труд, самосознание являлись здесь основополагающими величинами. За это интеллигенция шла на муки и на смерть. В плоть и кровь интеллигенции вьелся тезис: государство, власть есть орудие притеснения и несправедливости.

Но в XX веке история дважды — в 1917 году и в наше время — подарила нам уникальный шанс для построения свободного демократического общества, и тут накопленные веками гены социальной справедливости и идеализма сыграли дурную шутку с российской интеллигенцией. В 1917 году она сделала все, чтобы скинуть самодержавие, а дальнейшее развитие событий было пущено на самотек, так как считалось, будто основное свершилось и теперь сам народ сделает все, что надо, и построит это самое «светлое» и «доброе». Чем все кончилось, мы знаем.

Сейчас Россия имеет все шансы на успех. Но мы видим, как по мере развития процессов реформирования жизни в посткоммунистическом обществе интеллигенция играет в них все более неоднозначную роль.

Интеллигенция показала неспособность и нежелание осознать свою роль в изменившейся исторической ситуации, выступать активным авангардом реформ; она не смогла поменять привычного образа мышления, определявшего во многом ее место в социальной и духовной структуре старой России. Конечно, гораздо легче рассуждать о демократии и номенклатурных реформах на интеллигентских кухнях и в литературных журналах, чем сделать попытку превратить их в подлинные реформы и в подлинную демократию. Отказ большей части интеллигенции от участия в насущно необходимом, активном реформировании общества ставит перед подлинными сторонниками реформ вопрос о выработке новой социальной стратегии. Это в первую очередь касается поиска наиболее оптимальных путей России в формировании рыночной экономики, с учетом своеобразия национальных особенностей и необходимости подлинного, а не поверхностного усвоения универсальных фундаментальных основ современного гражданского общества.

Особенно нетерпима ситуация с отсутствием подлинной интеллектуальной элиты в условиях углубляющегося кризиса реформ, смысл которых после отстра-

* На протяжении последних нескольких лет «Новый мир» неоднократно печатал статьи о русской интеллигенции — Д. Лихачева, Р. Гальцевой, Д. Штурман, А. Быстрицкого и многих других авторов. Письмо Л. Афонского — еще одно мнение в ряду этих публикаций. — *Ред.*

ивания начальных этапов рыночного механизма так и не свелся к формированию российского варианта рыночного общества. Увлекаясь построением демократических механизмов, реформаторы-интеллигенты забыли, что подлинное гражданское общество строится не только на соответствующих демократических преобразованиях, но и на формировании подлинного структурно-общественного идеала, соответствующего национальным интересам, мечтам, надеждам и традициям страны. «Расколдовывая» (термин Макса Вебера) общество от чар коммунистической идеологии, разоблачая ее многочисленные мифы, они превратили демократию как таковую в некий новый идеал, оторванный от реальной жизни. Это непонимание наложило у них на привычную у русских интеллигентов традиционную нелюбовь к государственной власти.

Профессор Московского университета, один из интеллектуальных лидеров сопротивления большевизму, П. И. Новгородцев писал о периоде после Февральской революции: «Политическое мирозерцание русской интеллигенции сложилось не под влиянием государственного либерализма Чичерина, а под воздействием народнического анархизма Бакунина. Определяющим началом было здесь не уважение к историческим задачам власти и государства, а вера в созидательную силу революции и в творчество народных масс. Надо только распатать и разрушить старую власть и старый порядок, а затем все само собою устроится; эту анархическую веру Бакунина мы встречаем одинаково у князя Львова (первого главы Временного правительства. — Л. А.) и у Керенского. На почве таких воззрений нельзя было, конечно, организовать ни народовластия, ни управления. И если, по собственному свидетельству Временного правительства, «рост новых социальных связей стал отставать от процесса распада», если государство стало разрушаться, то это зависело не от одного действия стихийных центробежных сил, но и от бездействия власти»¹.

В своих воспоминаниях о Временном правительстве В. Д. Набоков, один из лидеров партии кадетов, заметил, что его идеология была сродни идеологии анархизма.

Таким образом, традиция анархо-либерализма, как и неистребимого социалистического утопизма, характерная для русской интеллигенции с середины XIX столетия, стала неотъемлемой чертой и мировоззрения советской интеллигенции, прежде всего лучшей, демократической ее части. Борьба с советским тоталитаризмом лишь усилила эти ее черты, в значительной степени заменив единospасающую идею социальной справедливости на не менее утопическую в постсоветской реальности идею абсолютного значения прав человека. Психологически понятная выстраданность этого идеала (через сталинский ГУЛАГ, брежневские психушки и тюрьмы) не отменяет его утопизма как панацеи в решении всех проблем бывшего СССР — нынешних стран СНГ.

Еще в 1918 году известный общественный деятель В. Н. Муравьев, подводя итоги первого этапа «великой освободительной» русской революции, подчеркивал: «Русское интеллигентское мирозерцание есть доведенное до конца отвлеченное построение жизни. В основах русского социализма и в значительной мере либерализма лежит отрицание истории, полное отрицание и отвержение действительности совершающегося. Интеллигентская мысль есть мысль о человеке, о мире, о государстве вообще, а не об этом человеке, об этом мире, об этом государстве»².

К сожалению, в советское время в условиях уничтожения и слома старой интеллигенции, когда большая ее часть исчезла как самостоятельная духовная и интеллектуальная сила, новая интеллигенция израсходовала громадные запасы нравственных, интеллектуальных и духовных сил на сопротивление (зачастую бессознательное) советской идеологической машине, стремившейся сделать ее частью своего механизма. Интеллигенция невольно занималась повторением пройденного, наивными поисками «истинного Ленина» и «истинного Маркса» как некой подлинной правды, скрытой «проклятыми бюрократами» и «негодьями сталинистами». Все это приводило ее к открытию заново задов левоинтеллигентской мысли как Запада, так и России. Отсюда массовые социал-демократические,

¹ Новгородцев П. И. Восстановление святынь. — В кн.: Новгородцев П. И. Об общественном идеале. М. «Пресса». 1991, стр. 566.

² «Вехи». «Из глубины». М. «Правда». 1991, стр. 413.

анархо-синдикалистские, даже неонароднические увлечения русской интеллигенции в процессе освобождения от советско-большевистского наследия.

Таким образом, подобные социалистическо-народнические взгляды с сильным анархическим привкусом, столь характерные для русского образованного сословия до семнадцатого года, стали восприниматься новой «демократической» и преодолевавшей советизм и большевизм интеллигенцией как вершина демократической мысли прошлого и основная веха на пути к российскому демократическому будущему.

В 80-е годы, когда окончательно выявилась ложность концепции «социализма с человеческим лицом», наша интеллигенция, перейдя на либерально-рыночные, капиталистические позиции, тем не менее сохранила и даже усилила свое анархическое неприятие государства и глубокую неприязнь к его структурам, независимо от их идеологического наполнения. Это совершенно обесценило важное само по себе изменение интеллигентской позиции в отходе от социалистических утопий к либерализму. Фактически сознание русской постсоветской интеллигенции эволюционировало от весьма анархического «демократического социализма» к крайне расплывчатым идеалам «анархо-либерализма» — идеологии, ранее в природе не существовавшей, как и анархизм, она — продукт исключительно русской мысли. Это удивительная идеология, порожденная крахом длительное время существовавших в сознании российской, а позже русско-советской интеллигенции разного оттенка социалистических утопий. Это — своеобразный синтез неизжитого утопизма самоуправленческого толка, с его убеждением в возможности устраивать жизнь на самостоятельных групповых началах, без учета важности жесткой, юридически оформленной, хоть и правовой, государственной структуры.

В экономической науке подобные взгляды наиболее ярко развивала, например, Лариса Пияшева, а в политике — Валерия Новодворская. Даже в проекте конституции А. Сахарова подобные взгляды нашли свое отражение. Таким образом, представление, что права личности и права отдельных самоопределяющихся народов выше «имперской» государственности, буквально въелось в сознание мыслящей части постсоветской русской демократической интеллигенции. В этом странном мировоззрении, сочетающем идеи, свойственные западным крайне левым, с признанием необходимости развития на русской почве частной собственности и капиталистическо-рыночных отношений, совершенно отсутствует позитивно-государственная компонента, свойственная любому подлинно созидательному, не утопическому идеологическому мировоззрению, будь то консерватизм, либерализм или «нормальная» европейская социал-демократия.

Таким образом, антигосударственные настроения старой русской интеллигенции не только не исчезли в советский период, как надеялись философы «веховского» направления (Новгородцев, Франк, Струве), но и усилились из-за постоянного противостояния советскому тоталитаризму со стороны интеллигенции, смешавшей последний с наследием русской исторической государственности, которая, вопреки расхожему интеллигентскому мнению, никогда не исчерпывалась самодержавием. Однако традиции земской компоненты русской государственности, оформившейся в 1612 году, во времена ополчения Минина и Пожарского и первых сильных земских соборов, не уничтоженной даже после установления петровской формы самодержавия (что показал 1812 год) и окончательно завершившейся в России Александра II с возрождением земств в 1864 году, оказались совершенно чужды освобождавшейся от советского наследия новой русской интеллигенции. Ориентируясь на концепцию социальной или, как вариант, либеральной демократии в их позднезападном воплощении, советская и постсоветская интеллигенция не только не учитывала разницы исторического наследия России и Западной Европы или США, но и не желала признаваться в шаткости своих столь тяжко и мучительно вновь обретенных идеалов. Относясь к идеям демократии, либерализма и плюрализма как к религиозной догме в той же степени, как их отцы и деды — к социалистическим и марксистским постулатам, она, обожествив эти понятия, создала из них столь же жесткий каркас, как и ее марксистские предшественники. Подобный подход к либеральным ценностям как к основе жизни и всеобъемлющей тотальной модели существования человека и общества, включающей иные идеологемы, ведет к полному отрыву от реальных жизненных основ, отказу от учета каких-либо народных, национальных интересов. Истериические реакции на любые правительственные действия (или бездей-

вия) стали нормой в этой среде. Мыслить себя в оппозиции к власти, которой приписываются все возможные и невозможные грехи, стало методом политического выживания для этого слоя демократствующих интеллигентов. Все это не ново — все повторяется.

Данная эволюция отечественных демократов встречает все меньше поддержки и понимания в обществе и народе.

Б. Н. Чичерин, выдающийся русский либеральный правовед середины XIX века, писал: «В практической жизни оппозиционный либерализм держится тех же отрицательных правил. Первое и необходимое условие — не иметь ни малейшего соприкосновения с властью, держаться как можно дальше от нее. Это не значит, однако, что следует отказываться от доходных мест и чинов. Для природы русского человека такое требование было бы слишком тяжело. Многие и многие оппозиционные либералы сидят на теплых местечках... делают отличную карьеру и тем не менее считают долгом при всяком удобном случае бранить то правительство, которому они служат... Но чтобы независимый человек дерзнул сказать слово в пользу власти — Боже упаси! Тут поднимется такой гвалт, что и своих не узнаешь. Это — низкопоклонство, честолюбие, продажность. Известно, что всякий порядочный человек должен непременно стоять в оппозиции и ругаться»³.

Подобное мышление исключает выработку какого-либо не догматического, не ограниченного национально и при этом самобытного взгляда на решение российских проблем. Интеллигентский идеализм, отсутствие реального созидательного начала уже во второй раз в истории России XX века становится главным препятствием на пути преодоления утопического мироощущения и самосознания нашей образованной элиты. Однако в наш исторический период, в условиях необходимости срочного формирования новой жесткой антикризисной системы ценностей, такая ситуация все более нетерпима. Откровенный, хотя и, видимо, неосозанный, антипатриотизм и антигосударственная позиция интеллигенции превращается во все более разрушительный фактор нашей общественной жизни, становясь орудием в сложной борьбе многих сил (отечественных и зарубежных), стремящихся превратить Россию в сырьевой и технологический придаток западной экономики, а государство — в конгломерат слабо связанных между собой конфедеративно организованных местных номенклатурных групп и их лидеров при сохранении лишь формального единства страны. В этих условиях анархо-либеральные идеи постсоветской русской интеллигенции — это главная идеологическая сила, мешающая формированию здоровой государственно-либерально-реформаторской программы выхода страны из кризиса. Прекраснодушие нашей интеллигенции играет с ней все ту же злую шутку, что в 1905 и 1917 годах. Забывая о судьбе своих предшественников, сгинувших в подвалах Лубянки или на Колыме от рук уголовников, они ведут себя и всю так называемую демократическую общественность к тому же исходу.

Как напоминал в 1923 году в ситуации, близкой к современной, тот же П. И. Новгородцев: «Не о том сейчас должна идти речь, чтобы торжествовать победу революции и подводить ее итоги... Надо раз и навсегда признать, что путь «завоеваний» революции пройден до конца и что теперь предстоит другой путь — «собрания русской земли и восстановления русского государства».

Когда русские демократические партии писали в старое время свои программы, они имели своей целью сделать Россию из несвободной страны свободной. Теперь перед всеми русскими людьми стоит задача неизмеримо более тяжкая и настоятельная — сделать родину нашу из умирающей живую.

...Воссоздание России может быть совершено только подвигом и порывом общего национального объединения, только духом связанности высшими началами и святынями, сознанием ответственности перед целым. Дух классовых разделений и революционных требований должен... замолкнуть и замереть... И при этом совершенно второстепенным является вопрос, кто именно осуществит это великое дело спасения России. Те люди, которым удастся сделать так, что в России снова можно будет жить и дышать, а не погибать физически и нравственно, и будут желанными избранниками народа... Те, кто прочно станет на смену советской власти, будут, очевидно, достаточно сильны для того, чтобы откинуть всякие партийные условия и программы, как ненужную ветошь... Глубокое непонимание условий и обстоя-

³ Чичерин Б. Различные виды либерализма. — «Общественные науки и современность», 1993, № 3, стр. 120.

тельств обнаруживают те, которые пытаются уже сейчас установить, какие конституционные формы примет власть, призванная к спасению России. Формы будут те, которые в тот момент будут соответствовать желаниям и нуждам народным. В разоренной... стране невозможно будет мечтать о сложном аппарате государств Запада, сохранивших свои материальные и культурные средства. ...Мудрость политиков, воспитавших свою мысль на старых партийных программах и спорах... тут не поможет. Люди старых воззрений и чувств, неисправимые интеллигенты и догматики, они принадлежат прошлому. Мы же должны готовиться к будущему, которое потребует от нас новых мыслей и новых чувств»⁴.

Эти мысли, столь созвучные современному духовному состоянию России, кажутся прямым предостережением и призывом к живым интеллектуальным ее силам — сплотиться наконец не на основе очередной утопической идеи переустройства общества, а на основе реальной, практической концепции воссоздания и укрепления возрожденного Российского государства как основного гаранта подлинных необходимых реформ в стране.

Конкретно это означает, что в исторической ситуации, сложившейся у нас к исходу первой половины 90-х годов, есть два реальных выхода из посткоммунистической кризисной обстановки.

Первый выход — развитие России по латиноамериканскому пути с подчинением экономики крупным западным, в первую очередь американским компаниям, заинтересованным в том, чтобы превратить нашу страну в сырьевой придаток их экономик. В этой связи напомним важное признание известного «специалиста по России», профессора Ричарда Пайпса, сделанное им во время одного из популярных российско-американских радиомостов, где он сказал: «В интересах мировой и российской демократии является продолжение в России состояния контролируемой анархии в следующие 5 — 10 лет». Из подобного заявления можно сделать вывод, что в условиях нынешнего российского кризиса США проводят ту же политику, что и Запад в целом в 1905 — 1907 и в 1917 — 1921 годах. Тогда Запад, всемерно поддерживая сепаратистские движения и всякого рода крайние революционные организации в России, делал все для дестабилизации динамично растущего конкурента. Вспомним равнодушную, граничащую с потворством политику Англии по отношению к русским террористам-эсерам в годы первой революции, когда Великобритания превратилась в основной склад, а также источник оружия и финансов для российских экстремистов. История опломбированном вагоне и помощи, оказанной немцам генеральным штабом в 1917 году Ленину и его партии, не нуждается в комментариях.

Примером такой тактики в наше посткоммунистическое время является вытеснение России со всех рынков вооружений под лицемерные возгласы отечественных пацифистов («не ведающих, что творят!») о «новой» имперской российской политике и желание во что бы то ни стало, с помощью Международного валютного фонда (МВФ), поставить наши крупнейшие отечественные высокотехнологичные производства под жесткий контроль их западных конкурентов.

Второй вариант выхода — развитие национальной экономики путем использования того высокоразвитого потенциала, который советский военно-промышленный комплекс накопил за годы противостояния коммунистического режима крупнейшим западным державам. Тогда военно-промышленный комплекс из затратного механизма пожирания национальной энергии должен превратиться в основу постиндустриального прорыва России в новое будущее.

Сейчас крайне необходимо, чтобы наша интеллектуальная элита стала локомотивом для продвижения России по новому пути, а не помехой этому. Не превращение в жизнь общих мест марксизма, не воплощение в действительность либеральных прописей без учета национальной специфики страны, не народнические поиски справедливого общества на основе общинного устройства, а развитие национальной промышленности как основы обновления страны, устремляющейся в XXI век, — вот, думается, единственно верное направление России на пути прогресса и развития.

Л. АФОНСКИЙ.

⁴ Новгородцев П. И. Восстановление святынь. — В кн.: Новгородцев П. И. Об общественном идеале, стр. 570, 571.

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



РУСКИ АЛМАНАХ. Земун/Сремски Карловци. Издавач: Книжевно друштво ПИСМО, 1992, № 1, 2; 1993, № 3; 1994, № 5.
РУССКИЙ АЛЬМАНАХ.

Поразительнейший факт: в Югославии, в стране, с именем которой в нашем сознании прочно закрепилось слово «война», с 1992 года регулярно выходит на сербохорватском языке издание, целиком посвященное русской литературе и культуре, — «Руски алманах». Довольно солидный том — около трехсот страниц, формата чуть меньше, чем новомирская страница, прекрасная бумага, мелкий и при этом хорошо читаемый шрифт, красочная, но не кричащая обложка. Издатель — Раша Ливада. Главный редактор — Зорислав Паункович. Редакторы: Корнелия Ичин, Ирена Лукшич, Душко Паункович, Ениса Успенски. Эти имена я привожу здесь вдобавок потому, что все они представлены в альманахе еще и как наиболее активные переводчики русской литературы. К этому переводческому списку надо добавить имена Петра Вучича, Бисерки Райчич, Алексея Арсеньева, Марианы Булашович, Драины Ромадански, Радмилы Мечанин, Пешара Вуйчич и других, чтобы хоть как-то представить коллектив, силами которого делается альманах.

Не имея возможности оценить уровень переводов, попытаюсь описать характер задачи, поставленной перед собой издателями, и уровень ее решения.

Структура этого издания повторяет традиционную структуру русского толстого литературного журнала. Здесь «корпусная» часть — проза, поэзия, мемуаристика, и «штитная» — эстетическая, философская, историческая, литературно-критическая эссеистика.

Проза в четырех вышедших выпусках альманаха представлена творчеством Владимира Маканина, Михаила Кураева, Олега Базунова, Людмилы Петрушевской, Сергея Довлатова, Зуфара Гареева, Нины Садур, Сергея Каледина, Вячеслава Пьецуха, Юрия Мамлеева.

Поэзия: Сергей Аверинцев (духовные стихи), Ольга Седакова, Виктор Коркия, Леонид Аронзон, Леонид Губанов. (Этот список покороче: возможно, тут срабатывает «европейское» отношение к месту поэзии в периодике.)

Публикации: Гайто Газданов, Георгий Иванов, Зинаида Гиппиус, Елена Гуро, Михаил Кузмин, Максимилиан Волошин, Леонид Добычин, Сигизмунд Кржижановский и другие.

При некотором временном отставании (перед нами срез нашей литературной жизни скорее конца 80-х, чем 1992 — 1994 годов) — впрочем, отставании понятном: требовалось время для перевода на сербохорватский, на подготовку издания — список этот выглядит вполне репрезентативным. Конечно, здесь могли быть и другие имена, также определявшие литературу тех лет, но и данный подбор достаточно объективно демонстрирует характер художественного мышления современной литературы.

Это «корпусная» часть, теперь — о «штитной» (разделение условное — весь альманах набран одинаковым шрифтом). При обилии рубрик («Взгляды», «Рецепция», «Письма», «Портрет», «Разговор», «Критика» и т. д.) и разнообразии помещенных там материалов нет ощущения бесформенного случайного собрания. В отборе и размещении текстов видна своя логика. Здесь отражается не только культурная жизнь России, но и процессы, идущие, видимо, в культурной жизни Югославии, определяющие интерес именно к этим, а не другим явлениям нашей эстетической, философской, исторической и политической мысли. Прежде всего это внимание к ключевым, переломным моментам русской истории XX века,

имевшим значение и для всей Европы, и для славянской Европы в первую очередь. В рубрике «Под созвездием секиры» (№ 5) напечатаны извлечения из сочинений Василия Розанова, Алексея Ремизова, Георгия Федотова, Бориса Эйхенбаума, Ивана Бунина, посвященных Октябрьской революции. В № 1 дана подборка мнений западных гуманитариев о солженицынской концепции возрождения России: Пьера Бриансона, Мишеля Тати, Витторио Страда, Жоржа Нива, Альберто Калавари и других. В № 5 — лагерные воспоминания Дмитрия Панина, прототипа Сологодина из «Круга первого».

Русская историческая и философская мысль представлена отрывками из книги Николая Данилевского «Россия и Европа», статьями Бердяева «Философская истина и интеллигентская правда», Михаила Гершензона «Творческое самосознание» из сборника «Вехи», фрагментами из книги Розанова «Люди лунного света», работами Льва Гумилева и Георгия Гачева.

Другая сквозная тема альманаха — взаимодействие наших культур и литератур. Прежде всего это интерес составителя альманаха к фигурам русских эмигрантов. В № 2 публикуется проза русских писателей, оказавшихся в Югославии, — Владимира Вольда, Виктора Экстердорфа, Михаила Иванникова, Екатерины Траубер. Очерки Бисерки Райчич о пражском периоде жизни Марины Цветаевой, Виктора Кривулина о Сергее Дягилеве, Алексея Арсеньева о Нине Берберовой — в № 5.

В разделах эстетики и литературоведения выступают не только русские авторы (скажем, Константин Кедров с работой «Вселенная Велимира Хлебникова» — № 3), но и польский исследователь Йозеф Чапски («Противостояние: Розанов — Мориак» — № 3), американские поэты и культурологи Майкл Дэвидсон, Лин Хейнзиэн, Рон Силлимен, Баррет Уоттен, написавшие в соавторстве оригинальное исследование «Ленинград» (№ 5).

Довольно широк, хоть и специфичен, охват рецензионного отдела — от «громких» книг Шафаревича и Лимонова до мемуаристики Анастасии Цветаевой, прозы Гайданова, драматургии Льва Лунца, альманахов «Живая старина» и «Вестник новой литературы».

Значительный, повторяю, объем каждого выпуска альманаха и разнообразие материалов не позволяют в короткой заметке представить его содержание во всем богатстве, но уже из перечисленного можно увидеть ряд несомненных достоинств этого издания. Прежде всего — достаточно высокий уровень культуры. Полнота картины современной русской литературы, разумеется, в той степени, в какой это вообще возможно в ежегоднике. А главное, наличие определенной концепции, согласованность и неслучайность помещаемых материалов. Видимо, это одно из наиболее серьезных и культурных изданий за рубежом, посвященных русской культуре и литературе.

...И все-таки как это получилось, что именно в Югославии, именно там, где «грохочут пушки»? Кто взял на себя труд организовать и обеспечить сложнейшую работу большого коллектива редакторов, переводчиков, литературоведов? На титульном листе «Руски алманаха» значится: «Покровитель — СРПСКИ ПЕН ЦЕНТАР». Именно так: ПЕН-клуб, международное писательское сообщество, как раз и созданное вот для такой работы — не для внутрицеховых разборок и коммунальных дразг, а для защиты литературы, для обеспечения ее жизнедеятельности даже в таких непростых условиях, какие сложились сегодня на территории бывшей Югославии.

С. К.

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Андрей Битов. Оглашенные. Роман-странствие. М. Ред. «Другие берега». 1995. 270 стр. 5000 экз.

Кароль Вотыйла. Крипта. Избранная поэзия. 1939 — 1978. Составление, перевод с польского А. Базилевского. Предисловие С. Аверинцева. М. «Вахазар». 1994. 92 стр.

Сборник стихов нынешнего Папы Римского Иоанна Павла II.

Еврейская народная песня. Антология. Составитель М. Д. Гольдин. СПб. «Композитор». 1994. 448 стр. 5000 экз.

Александр Коковихин. Около себя. Стихи. Йошкар-Ола. Марийское книжное издательство. 1995. 143 стр. 1000 экз.

Первая и многообещающая книга молодого поэта.

В. Кондратьев. Привет с фронта. Повести, рассказы. М. «Художественная литература». 1995. 526 стр. 10 000 экз.

Марина Кулакова. Стихи Александрины. Нижний Новгород. Литературное приложение к журналу «URBI». 1995. 40 стр. 1000 экз.

Плод совместного творчества — верлибры Кулаковой и книжная графика художника и дизайнера Андрея Куликова.

Александр Кушнер. На сумрачной звезде. Новые стихи. СПб. «Акрополь». 1994. 104 стр. 2000 экз.

Юй Ли (Старец Ли в бамбуковой шляпе). Полуночник Вэйян, или Подстилка из плоти. Роман. Двенадцать башен. Повести. Случайное пристанище для праздных дум. Эссе-размышления. Перевод с китайского Д. Воскресенского. М. «Художественная литература». 1995. 558 стр. 10 000 экз.

Борис Можяев. Затмение. Рассказы. Очерки. М. Редакция газеты «Труд». 1995. 432 стр. 20 000 экз.

Сергей Надеев. Игры на воздухе. Две книги. Стихи. СПб. «ИНАПРЕСС». 1994. 176 стр. 1000 экз.

Людмила Понько. Невинные. Повесть. Рассказы. М. «Аслан». 1994. 188 стр. 1000 экз.

Первая книга молодого прозаика; попытка художественного осмысления «бытийных» проблем нашей сегодняшней действительности на материале афганской войны, последствий распада СССР, новочеркасской трагедии 1962 года.

Николай Энтелис. Клеймо. М. 1995. 259 стр.

Автобиографические заметки, стихи поэта-сатирика, многолетнего автора «Крокодила», «Огонька», «Правды».

●

Ж. Базен. История истории искусства от Вазари до наших дней. М. «Прогресс — Культура». 1995. 526 стр. 5000 экз.

В. И. Вернадский. Письма Н. Е. Вернадской. Составление Н. В. Филиппова. М. «Техносфера». 1994. 367 стр. 2000 экз.

А. С. Грибоедов. Горе от ума. **М. О. Гершензон.** Грибоедовская Москва. М. «Дружба народов». 1994. 240 стр. 15 000 экз.

Игорь Дедков. Любить? Ненавидеть? Что еще?.. Заметки о литературе, истории и нашей быстротекущей абсурдной жизни. М. ИЦ «АИРО-XX». 1995. 156 стр. 1000 экз.

Н. Зоркая. Фольклор. Лубок. Экран. М. «Искусство». 1994. 238 стр. 10 000 экз.

Культурное наследие российской эмиграции. 1917 — 1940. В двух книгах. М. «Наследие». 1994. Книга первая — 520 стр. 1000 экз. Книга вторая — 520 стр. 1000 экз.

Доклады и сообщения более чем ста участников Международной научной конференции «Культурное наследие российской эмиграции. 1917 — 1940 гг.», посвященные развитию русской политической, исторической мысли за рубежом, философии, истории, литературы, искусства.

В. В. Розанов. О писательстве и писателях. Собрание сочинений. М. «Республика». 1995. 734 стр. 25 000 экз.

Составитель С. Костырко.

ПЕРИОДИКА



«Грани», «Звезда», «Знамя», «Иностранная литература», «Литературная учеба», «Литературное обозрение», «Москва», «Наш современник», «Нева», «Новая Юность», «Русская мысль», «Урал», «Уральская новь»

Виктор Астафьев. Так хочется жить. Повесть. — «Знамя», 1995, № 4.

Дорога на фронт. Дорога с фронта. «Новый мир» предполагает отрецензировать эту повесть.

Дмитрий Балашов. Ядвига. Историческая повесть. — «Москва», 1995, № 3.

Повесть о польской королеве Ядвиге войдет в исторический роман «Святая Русь», над которым работает автор.

Василий Белов. Два рассказа. — «Москва», 1995, № 3.

«Лейкоз» и «У котла». Второй печатался в малотиражном (ныне) журнале «Север». Рассказы связаны общими персонажами.

Василий Белов. Медовый месяц. Повесть. — «Наш современник», 1995, № 3.

Русская деревня. Сорок первый год. Парней и девок гонят рыть окопы.

Поль Верлен. Мои тюрьмы. Перевела с французского Майя Квятковская. Вступительная статья Михаила Яснова. — «Нева», 1995, № 3.

Автобиографическая проза поэта (1893) о его тюрьмах — от первого карцера до последних кутузок.

Александр Верников. Сигарета. Рассказ. — «Уральская новь» (Челябинск), 1995, № 1-2.

Окончание (так!) рассказа «Экзамен по научному атеизму», печатавшегося ранее в журнале «Урал» (1993, № 8), которое может читаться и как самостоятельное произведение. Их (уральские) нравы.

Борис Виан. Осень в Пекине. Роман. Перевела с французского М. Аннинская. — «Иностранная литература», 1995, № 3.

В написанном осенью 1946 года на одном дыхании и без единого черновика романе Б. Виана (1920 — 1959) нет речи ни об осени, ни о Пекине. Считается одной из лучших его книг.

С. Витицкий. Поиск предназначения, или Двадцать седьмая теорема этики. Фантастический роман. — «Звезда», 1994, № 10; 1995, № 3.

Редакция «Звезды» заранее анонсировала это произведение как фантастический роман знаменитого современного петербургского писателя, в силу ряда жизненных обстоятельств взявшего себе псевдоним. Книга написана в 1992 — 1994 годах. Отдельное книжное издание («Текст») вышло точно в том же оформлении, что и собрание сочинений братьев Стругацких.

Олег Волков. Начало крестного пути. Из «Воспоминаний старого тенишевца». — «Москва», 1995, № 3.

Осень 1917 года. Петроград отдан на разграбление «человеку с ружьем».

Игорь Гергенредер. Птенчики в окопах. Повесть. — «Грани», № 175 (1995).

Написана на основе устных рассказов отца писателя о гражданской войне. Автор, из семьи русских немцев, в настоящее время живет в Германии.

Дело о запрещении журнала «Телескоп»... — «Вопросы литературы», 1995, выпуск I, II.

Новые документы о П. Я. Чаадаеве. Публикация Л. Саповой, В. Сапова. Вступительная статья В. Сапова.

Иван Есаулов. Странная статья как жанр. — «Вопросы литературы», 1995, выпуск I.

Полемика с новомирскими статьями Александра Архангельского «ПРОЗА МИРА» (1993, № 1) и «Огонь бо есть» (1994, № 2).

Зиновий Зиник. Бал-маскарад. Повесть. — «Нева», 1995, № 3.

Эмигранты разных «волн» на ежегодном балу в лондонском «Кафе Рояль», что на Пикадилли.

Как издавали, как издают и как надо издавать И. Бабеля. — «Вопросы литературы», 1995, выпуск I.

Выступления В. Ковского, Э. Когана, Б. Сарнова, А. Эппеля, Г. Белой — участников «круглого стола» в редакции «Вопросов литературы», целью которого было рассмотрение проблем издания, прежде всего текстологии произведений И. Бабеля.

Сергей Кара-Мурза. Операция на открытом сознании. — «Наш современник», 1995, № 3.

Статья о телевидении. «Можно утверждать как общий тезис: с точки зрения сохранения сложных и тонких общественных структур («неатомизированного» общества) свобода сообщений неприемлема. Наличие этических табу, реализуемых через какую-то разновидность цензуры, является необходимым условием для того, чтобы поддерживать разрушительное действие информации ниже некоторого приемлемого, критического уровня».

И. Касатонов. Флот выходит в океан. — «Звезда», 1995, № 3.

Главы из книги адмирала И. В. Касатонова о его отце — адмирале флота В. А. Касатонове (1910 — 1989). К 300-летию Российского флота.

Светлана Кистенева (Углич). К портрету «героя ушедшего времени». — «Русская мысль», Париж, № 4071, 30 марта — 5 апреля 1995.

Об одном из светских знакомых Лермонтова — Константине Федоровиче Опочинине (1808 — 1848), возможном прототипе Печорина.

Г. М. Козинцев. Письма писателям и литературоведам. Публикация, вступительная заметка и примечания В. Г. Козинцевой и Я. Л. Бутовского. — «Звезда», 1995, № 3.

Небольшая часть писем кинорежиссера, хранящихся в государственных и личных архивах. «Станиславский почему-то упорно дарил Чехову совершенно бессмысленные коробки из дерева в стиле рюс. Очевидно, они сочетались в его представлении с творчеством Чехова» (из письма Е. Л. Шварцу из Ялты от 6 июня 1955 года).

Вячеслав Кондратьев. Из переписки. Вступительная статья А. Когана. Публикация Н. Кондратьевой и А. Когана. — «Вопросы литературы», 1995, выпуск I.

Переписка с А. Адамовичем, В. Астафьевым, Г. Баклановым, В. Быковым, Д. Граниным, И. Дедковым, В. Некрасовым, Е. Ржевской.

Григорий Кружков. Видение цыганки: Йейтс и Блок. — «Грани», № 175 (1995).

Статья известного переводчика и поэта.

Владимир Крупин. «„Едрит твой налево“, — сказала королева». Рассказ. — «Москва», 1995, № 3.

Японский профессор-русист беседует с рассказчиком о еврейском вопросе, русской литературе и о том, почему на автобусе написано двадцать восьмой, если он сорок четвертый.

Борис Крячко. Во саду ли, в огороде. Повесть. — «Грани», № 175 (1995).

Ироническая проза. Шестидесятые годы. Визит вице-президента США Никсона в СССР. Автор — русский писатель, живущий в Эстонии.

Вячеслав Курицын. О сладчайших мирах. — «Знамя», 1995, № 4.

В связи с книгами А. Жолковского «НРЗБ», Р. Каца «История советской фантастики» и М. Эпштейна «Новое сектантство».

Владимир Личутин. Вознесение. Глава из романа. — «Москва», 1995, № 3.

Глава из третьей книги исторического романа «Раскол».

Артур Мейчен. Холм грез. Роман. Перевод с английского Любоми Сумм. — «Урал», 1994, № 10-11.

Рубрика «Modern Classics». «Артур Мейчен, — пишет в предисловии В. Исаков, — несомненно, самый что ни на есть классик из всех, что были представлены до сих пор в этой рубрике. И самый, прошу прощения за вульгарность, «модерновый». Потому что модернист он беспримесный, 999 пробы...» Кроме того, В. Исаков почему-то считает нужным уверить читателя, что авторское предисловие никогда ранее не печатавшегося по-русски английского прозаика А. Мейчена (1863 — 1947) к публикуемому роману — «не мистификация. К чему бы это?»

Борис Можаяев. Страдания с переплясом. Из записных книжек. — «Москва», 1995, № 3.

О прохождении повести «Живой» в «Новом мире». Твардовский. Виноградов. Кондратович.

«...Ничто не может заменить религию». Сокровенные письма Георгия Чулкова. Предисловие, публикация и комментарии Я. В. Леонтьева. — «Звезда», 1995, № 3.

Четыре письма 1926 — 1932 годов писателя Г. И. Чулкова (1879 — 1939) к народо-волке В. Н. Фигнер.

Опыт современного рассказа. — «Литературная учеба», 1995, № 1.

Рассказы Игоря Кепельмана и Сергея Долженко с послесловием молодого прозаика Олега Павлова, которому редакция «Литературной учебы», «не во всем разделяя его вкусы», предложила быть составителем и ведущим этой новой рубрики в 1995 году. «Русская литература самосохраняется в рассказе, развивая в нем главное — свой жизненный дух и цельность» (О. Павлов).

Борис Парамонов. Маркиз де Кюстин: интродукция к сексуальной истории коммунизма. — «Звезда», 1995, № 2.

Постоянный ведущий рубрики «Философский комментарий» в своем парафрейдистском репертуаре. В данном случае — о влюбленности знаменитого французского гомосексуалиста де Кюстина в русского императора Николая I. Буквально так.

Михаил Покровский. Завоевание Кавказа. Главы из исследования. — «Звезда», 1995, № 3.

Автор — тот самый недоброй памяти историк М. Н. Покровский (1868 — 1932), внесший немалый вклад в разгром русской исторической науки. Редакция «Звезды» считает, что публикуемые главы из работы, написанной в начале 1900-х годов, свободны от «сегодняшних национально-патриотических страстей».

Русское зарубежье. 1918 — 1995. — «Звезда», 1995, № 2.

Специальный тематический выпуск журнала «Звезда» содержит в том числе такие материалы:

Дневник капитана лейб-гвардии Преображенского полка Дмитрия Дмитриевича Литовченко. Публикация Т. Д. Литовченко-Вышеславцовой.

Николай Рязановский. «Возникновение евразийства». Перевод с английского И. Виньковецкого под редакцией Н. Ермаковой.

Даниэль Бон. «Преступление без наказания». Русская эмиграция глазами французских спецслужб. «Похищение генерала Кутепова». Фрагменты из книги. Предисловие А. Н. Цамутали. Перевод с французского А. В. Карельской.

Письма А. М. Ремизова, И. А. Бунина, М. А. Алданова, Г. В. Адамовича к Роману Гулю. Публикация Григория Поляка.

Письма Марины Цветаевой к Вадиму Рудневу. Вступительная заметка, публикация и примечания Е. Лубянниковой и Л. Мнухина.

Владислав Ходасевич. «Статьи о литературе». Публикация Григория Поляка. Вступительная заметка Ив. Толстого.

Владимир Набоков. «Символы Роу». Вступительная заметка, перевод с английского и примечания Н. Махлаюка и С. Слободянюка.

Аркадий Белинков. «Опущенные фрагменты из книги о Юрии Олеше». Вступительная заметка и публикация Н. Белинковой-Яблоковой.

Екатерина Садур. Чужой дневник. Повесть. — «Новая Юность», 1994, № 5-6. Детство. Юность. Школа. Сны.

Валерий Сендеров. Евразия: прошлое или будущее, реальность или миф? — «Грани», № 175 (1995).

Критика евразийства 20-х годов и его современных истолкователей.

Николай Славянский. Теорема Архилоха. — «Грани», № 175 (1995).

Об искусстве и религии: «Для искусства нет проблемы религии, это проблема художника».

М. Строганов. «Полярная звезда». К символике авантюра альманаха К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева. — «Литературное обозрение», 1994, № 11-12.

Русские масоны.

Борис Тарасов. Две Европы Достоевского. — «Литературная учеба», 1995, № 1.

Статья вторая. Первая — «Литературная учеба», 1994, № 6.

Ив. Толстой. Тропой тропы, или Почему не Набоков был автором «Романа с кокаином». — «Звезда», 1995, № 3.

Полемика с Н. Струве, некогда предположившим, что за псевдонимом «М. Агеев» скрывался В. Набоков (см., например, послесловие Н. Струве к советскому изданию М. Агеева 1991 года). Аргументы Ив. Толстого носят эстетический, а не биографический характер.

Оскар Уайльд. Письма. Вступительная статья и комментарии Ю. Фридштейна. Составление А. Образцовой и Ю. Фридштейна. Перевод с английского В. Воронина. — «Вопросы литературы», 1995, выпуски I, II.

Большая часть писем публикуется на русском языке впервые.

Составитель А. Василевский.

Продолжается подписка
на самую популярную
ежедневную газету России
и стран Содружества

ГАЗЕТА ТРУД

ДЛЯ ВСЕХ
И
ДЛЯ
КАЖДОГО

Наши индексы:
50130 - ежедневный
32068 - субботний

Отдел рекламы:
тел.: 200-0338, 200-0518, 200-0117,
200-0165, 299-4840, 299-4200.
Факс: 200-0124.

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям номера «НОВОГО МИРА» только в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Anatoly Kudryavitsky, Andrei Filozov and Inna Kabysh.

We are publishing the short stories «Greet Lenin!» by Mikhail Kuraev, «An Avocado Stone» by Galina Shcherbakova, «The Reef» by Valery Bylinsky, as well as the ending of the book «A Novel of Education» by Nina Gorlanova and Vyacheslav Bukur (the beginning is in No. 8).

The section «New Translations» is presented by the short story «A Talk Sample, 1945» (translated by Dmitry Chekalov).

In the section «Literary Heritage» we are publishing travel notes by Ariadna Efron, «Our North Still Attracts Us...»

The section «Publicistics» contains essays «After the Jubilee» by A. Panarin and «Architectural Symbols of Russia» by M. Gromov.

The section «Diaries. Memoirs» presents peasant notes by Mikhail Peskov.

In the section «Publications and Reports» we are publishing «Memoirs About Sergei Yesenin» by Ekaterina Eiges, as well as a selection of letters written by S. Tolstaya-Yesenina, the poet's last wife (publication and comments by Sergei Shumikhin).

The section «Literary Criticism» is presented by an essay by Svetlana Semenova, «The Revived Novel by Andrei Platonov. (An Experience of Reading of «Happy Moscow»)».

Polemical notes by Pavel Basinsky, «The Scarecrow of Russia», are to be found in the section «By the Way».

In the section «Book Review» Alena Zlobina reviews a novel by Czech writer Pavel Kogout, «The Hangwoman»; Yuri Kublanovsky reviews collected documents connected with A. Solzhenitsyn; Oleg Mramornov reviews a book about Ivan Bunin written by Yuri Maltsev; Elena Oznobkina reviews a new edition of the book «The Way Zarathustra Spoke» by Nietzsche.

In the section «Editor's mail» we are publishing an essay by L. Afonsky about Russian Intelligentsia.

The issue also includes our traditional sections «Russian Books Abroad», «Bookshelf» and «Periodics».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Бигов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, А. А. Ким, С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)

Коммерческий директор В. Д. Васковский

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции. 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.5.95 г. Подписано к печати 10.7.95 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать.

Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 22,58 усл. кр.-отт. 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 31 600 экз. Зак. 2520. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**ДО КОНЦА 1995 ГОДА И В 1996 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ
ОПУБЛИКОВАТЬ:**

С. С. АВЕРИНЦЕВ. О слове в Откровении и слове в поэзии;
АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ. Первый и последний (ста-
рец Федор Кузьмич и император Александр I);

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, часть
третья);

В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);

СЕРГЕЙ БОЧАРОВ. «Событие бытия» (о Михаиле Бахтине);

МИХАИЛ БУТОВ. Свобода (повесть);

ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ. Рассказы (из наследия);

БОРИС ЕКИМОВ. Очерки и рассказы;

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. Повесть без сюжета;

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. Отчего затянулась «гибель богов»?
(фашизм как феномен европейской культуры);

Н. КОРЖАВИН. В соблазнах кровавой эпохи (воспоминания,
часть вторая);

ЯАН КРОСС. Аллилуйя (рассказ, перевод с эстонского);

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новый роман;

Е. Э. МАНДЕЛЬШТАМ. Воспоминания;

МАРИНА НОВИКОВА. Ужасы (продолжение статей «Мар-
гиналы» и «Символы»);

ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина (роман); Митина каша (рассказ);

ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ. Новые рассказы;

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. Маканин нового времени;

ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА. Лавина (повесть);

ТОРНТОН УАЙЛДЕР. Каббала. К небу мой путь (романы,
перевод с английского);

ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ. Упырь (рассказ, из наследия);

АЛЕКСАНДР ЧУДАКОВ. Чехов между верой и неверием;

МАРИЭТТА ЧУДАКОВА. К истории национал-большевизма в
России;

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Love-стория (повесть);

а также новые произведения **АНДРЕЯ БИТОВА**, **РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ**, **АНАТОЛИЯ КИМА**, **ИГОРЯ КЛЯМКИНА**, **МАРКА КОСТРОВА**, **МИХАИЛА КУРАЕВА**, **АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА**, **ЮЛИИ ЛАТЫНИНОЙ**, **СЕМЕНА ЛИПКИНА**, **ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ**, **ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА**, **ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО**, **МАРИНЫ ПАЛЕЙ**, **НИКОЛАЯ ПЕТРАКОВА**, **ЕВГЕНИЯ РЕЙНА**, **БЕЛЛЫ УЛАНОВСКОЙ**, **ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ**, **ЮЛИЯ ШРЕЙДЕРА**, **ДОРЫ ШТУРМАН** и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**